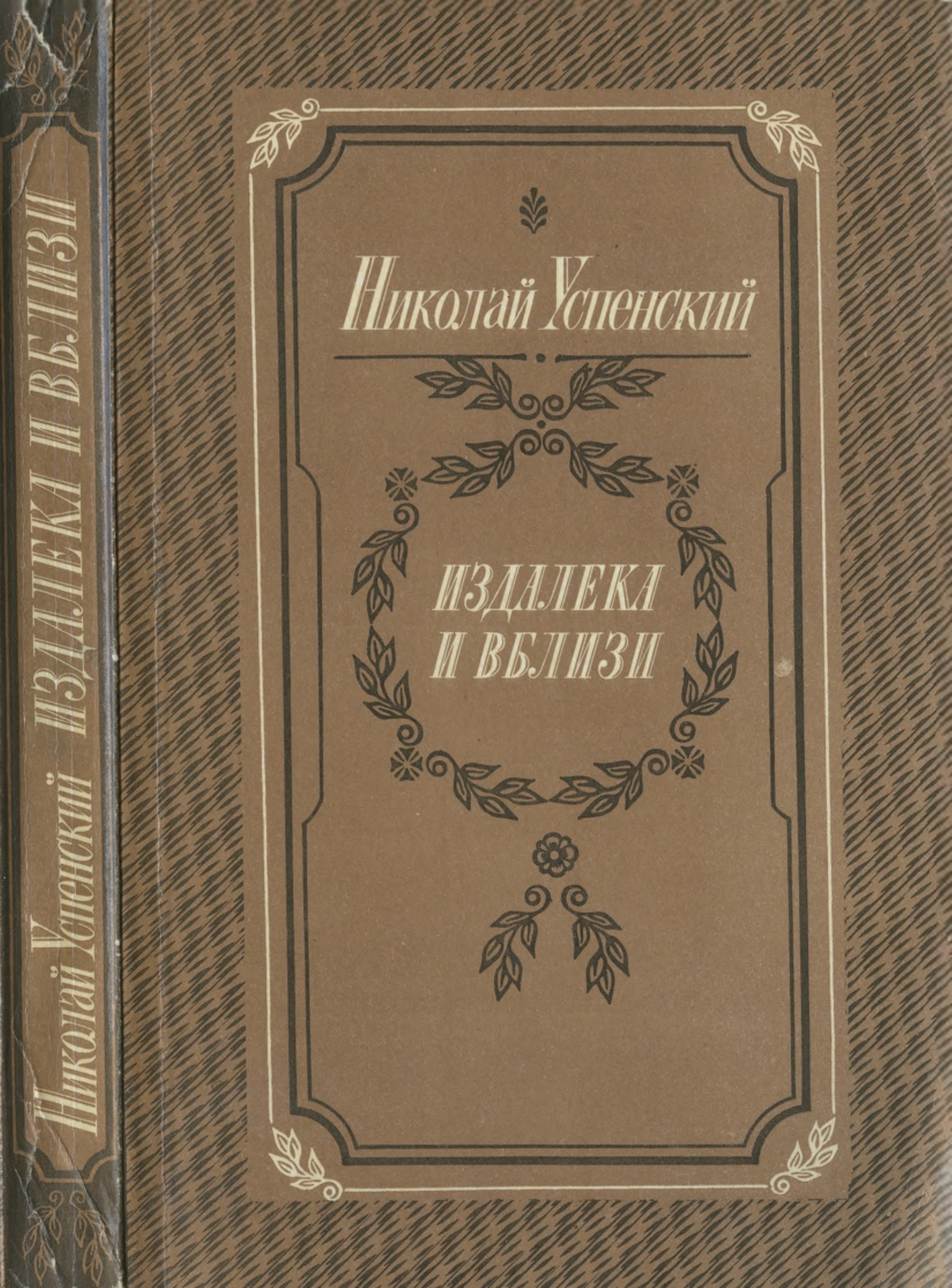

Николай Успенский
Издалека и вблизи
Николай Успенский
Издалека и вблизи



Николай Успенский



ИЗДАЛЕКА И ВБЛИЗИ

Николай Успенский

ИЗДАЛЕКА И ВБЛИЗИ

ИЗБРАННЫЕ
ПОВЕСТИ
И РАССКАЗЫ

Москва «Советская Россия» 1986

Р1
У77

Составление, вступительная статья и примечания
С. И. Чупринина

Оформление **Б. А. Диадорова**

Успенский Н. В.
У77 Издалека и вблизи: Избр. повести и рассказы/ Сост., вступ. ст. и примеч. С. И. Чупринина.— М.: Сов. Россия, 1986.—400 с.

Книгу талантливого русского писателя-демократа Николая Васильевича Успенского (1837—1889) составили рассказы и повести шестидесятых — семидесятых годов: прославившие писателя среди современников «очерки простонародного быта» и более поздние произведения о жизни разных сословий русского общества этого периода. В сборнике прослеживаются наиболее характерные особенности художественного мастерства писателя: насмешливый юмор, точность бытовых примет и речевых характеристик, тяготение к гротеску, и главная — умение писать «о народе правду без всяких прикрас» (Н. Г. Чернышевский).

У $\frac{4702010100—224}{М\text{-}105(03)86}$ 104—86 Р1

РАЗНОЧИНЕЦ

Жизненный путь и литературное наследие Н. В. Успенского

1

Когда в ночь на 21 октября 1889 года Николай Васильевич Успенский перерезал себе горло подле одного из домов Смоленского рынка, где ютился нищенствующий московский люд, солидные литературные журналы никак не откликнулись на трагическую кончину писателя, а издания помельче проводили его в последний путь то ли сокрушенным вздохом, то ли риторическим вопросом:

«Многие ли из современной публики, не говорим уже, читали, но хотя бы слышали об этом писателе?»[1]

И невольно задумываешься о страдальческой участи «одного из первых и крупнейших народных писателей»[2], чей талант был отмечен и поддержан в самом начале творческого пути и Н. А. Некрасовым, и И. С. Тургеневым, и Л. Н. Толстым. Почему, в самом деле, русской общественностью так скоро забылось даже имя Успенского, первая книжка которого вызвала заинтересованно-сочувственный отзыв Ф. М. Достоевского и послужила поводом для знаменитой статьи Н. Г. Чернышевского «Не начало ли перемены?»? Отчего и в XX веке его произведения переиздаются с перерывом в несколько десятилетий (1931—1957—1986 гг.), а в литературной табели о рангах ему отводится предельно скромное место?

Существует мнение, что всеми своими — и литературными и житейскими — бедами Николай Успенский был обязан исключительно самому себе, вернее, своей дурной наследственности, скверному воспитанию и ужасному характеру.

Мнение небезосновательное, по крайней мере, на первый взгляд. К. И. Чуковский, подробно исследовавший биографию Успенского, с понятной горечью замечает, что все ближайшие родственники писателя, родившегося в 1837 году[3] в многодетной и полунищей семье сельского священника, были горькими пьяницами[4], да и сам Николай Васильевич рано пристрастился к выпивке. Хотя, по сообщению И. А Бунина — другого биографа Успенского, «пить начал Н. В. уже лет под сорок; то есть, разумеется, пить как следует»[5].

Засвидетельствованный мемуаристами процесс «растления души»

---

[1] Новости.— 1889.— № 295.

[2] Бунин И. А. Собр. соч.: В 9 т.— М., 1957.— Т. 9.— С. 495.

[3] По некоторым недавно обнаруженным данным, Н. В. Успенский родился не в 1837 г., а в 1834 г. (Вопросы литературы.— 1965.— № 5.— С. 253—254).

[4] См., напр.: Чуковский К. Судьба Николая Успенского//Успенский Н. Собр. соч.— М.; Л., 1931.— С. IX.

[5] Бунин И. А. Собр. соч.— Т. 9.— С. 499.

незаурядного, как можно предположить, подростка с успехом продолжался в почти непременной для деревенских поповичей семинарии, нравы которой так хорошо известны читателям по хрестоматийным «Очеркам бурсы» Н. Г. Помяловского и оживают во всей своей каннибальской красе на страницах автобиографического рассказа самого Успенского «Декалов». Розги, водка, карты, взяточничество, угодничество и наушничество, тайный разврат при показном благочестии, процветавшие в тульской семинарии, развили в смышленом, хотя и на редкость скверно учившемся Николке привычку к грубому шутовству, скандальному «балаганству», сохранившуюся вплоть до самой смерти, вскормили в нем — и это, пожалуй, главное — чувство лютой обиды на весь мир и прежде всего на тех, кому в жизни выпала более легкая доля.

Особенное раздражение неизменно вызывал у дерзкого бурсака его двоюродный брат Глеб, которому посчастливилось родиться в обеспеченной семье тульского палатского секретаря, пользоваться отцовским выездом и отцовскими связями, учиться в гимназии и т. д. и т. п. Годы, десятилетия пройдут, прежде чем неизжитая досада выплеснется в воспоминаниях Николая Васильевича о Глебе Ивановиче, который и на писательском поприще оказался удачливее своего двоюродного брата:

«Мое отрочество и детство Глеба Ивановича Успенского,— с чисто семинарским «витийством» и подпирающим под самое горло сарказмом пишет автор книги «Из прошлого»,— представляли собою два радиуса, центром которых служил нам общий дедушка, пономарь Чернского уезда, имевший счастие принимать в своей скромной хижине И. С. Тургенева. Направления упомянутых радиусов выражались в том, что я, несмотря ни на какие метеорологические пертурбации, совершал путешествие в семинарию пешком, а юный Глеб Иванович ездил в гимназию на щегольской пролетке и прилежно учился, ежедневно отдавая строгий отчет в своих успехах родителю; я всячески старался уклониться от слушания лекций семинарских профессоров и возвращался из рассадника благочестия в свою квартиру, встречаемый известием кухарки, что руководители моего умственного и нравственного развития все, без исключения, разошлись по трактирам. Глеб Иванович, как ученик, был образцом трудолюбия и прилежания, а мое имя было синонимом упорной лености, не поддающейся никаким мерам, в числе которых первенствующее место занимала экзекуция...»[1]

Николай Успенский оказался действительно неподдающимся или, как сказали бы сейчас, «трудным» подростком. Семинарию он бросил, едва дотянув до богословского класса, и отправился... нет, не в тульский трактир, как того следовало бы ожидать, и не в родное Ступино Чернского уезда, а в петербургскую Медико-хирургическую академию,

---

[1] Успенский Н. В. Из прошлого.— М., 1889.— С. 134.

сразу же попав в среду молодой, бурно проявлявшей себя разночинной интеллигенции.

Впрочем, не проучившись в академии даже года (о том, в каких ужасающих условиях шла учеба, смотри рассказ «Брусилов», опять-таки автобиографический), Успенский бросил и ее, свой разрыв с мечтами о высшем образовании и докторской карьере ознаменовав вполне бурсацкою выходкой: препарируя руку трупа, он изрезал ее на куски, изломал выданные ему инструменты, разбросал их по палате — и ушел. Куда ушел? Зачем? Почему? Были собраны на экстренное заседание профессора академии, и... святотатца изгнали из ее стен с позором.

Вот тут бы, казалось, уже и концу приблизиться: призрак «нищебродства», кабацкого ухарства и буйства, всего того, что к рубежу веков станут называть «босячеством», замаячил перед Николаем Успенским все грознее и определеннее. Но судьба готовила ему еще один и, как выяснилось позднее, последний шанс.

2

Еще студентом академии он напечатал два рассказа «из русского простонародного быта» в еженедельном журнальчике «Сын отечества», издававшемся при ближайшем участии постаревшего, но все еще популярного Барона Брамбеуса (О. И. Сенковского). Рассказы эти, набранные самым мелким журнальным шрифтом и даже без указания фамилии автора, прошли не замеченными — как публикой, так и критикой. Да и денег, надо думать, безвестный новичок получил самую малость.

С третьим рассказом — это было «Хорошее житье» — Успенский направился было в «Отечественные записки», редактировавшиеся в ту пору С. С. Дудышкиным, но там, как вспоминал впоследствии писатель, нашли, что «язык слишком народен и непонятен для публики...»[1]. Оставалась последняя слабая надежда на «престижный» некрасовский «Современник», прославленный именами Тургенева, Толстого, Дружинина, Григоровича, Чернышевского, Добролюбова...

Успенский явился к Некрасову — и был обласкан сверх всех ожиданий, сверх всякой меры. «Хорошее житье» и прибавленный к нему «Поросенок» тут же были отправлены в типографию, причем Некрасов распорядился печатать их самым крупным шрифтом на первых страницах ближайшего журнального тома. Автору был назначен вполне приличный для дебютанта гонорар, а через год с ним заключили условие, чтобы он сотрудничал исключительно в одном «Современнике», и за это, кроме гонорара, ему обязались платить ежемесячно по пятьдесят рублей, что, как говорят, было достаточно для более или менее безбедного проживания в столице.

Началась самая светлая полоса в жизни Успенского. Его рассказы

[1] Успенский Н. В. Из прошлого.— С. 2.

и очерки, на которых едва чернила успевали просохнуть, незамедлительно шли в печать, и «сам» Добролюбов уже через пару лет настойчиво рекомендовал пополнить хрестоматию для юношества произведениями двадцатитрехлетнего писателя (Современник.— 1860.— № 4). И «сам» Чернышевский многократно беседовал с новым для журнала автором, а затем посвятил его творчеству обширную, программной значимости статью (Современник.— 1861.— № 11). И «сами» Тургенев, Толстой, Григорович — первые писатели эпохи и к тому же аристократы, люди «света» — одарили поповского сына знакомством, лестным своею короткостью. И «сам» Некрасов, когда Успенский захотел продолжить образование на историко-филологическом факультете Петербургского университета, обратился к бывшему тогда ректором Плетневу с просьбою назначить стипендию «очень талантливому», «обещающему много в будущем» студенту. Успенский, правда, поучился в университете недолго, но Некрасов и потом не оставил его своим попечением.

«Однажды, в трескучий зимний мороз,— вспоминал впоследствии Успенский,— я пришел к Некрасову, чтобы передать ему один из своих очерков. С знаменитым поэтом сидел известный ветеран-беллетрист Д. В. Григорович.

— Знаете, что я вам посоветую, Успенский,— начал Николай Алексеевич,— поезжайте-ка за границу.

— Да на какие же средства?..

— У вас есть прекрасные средства...

— Правда, правда,— произнес бархатным баритоном Дмитрий Васильевич.

— Средства эти,— продолжал Некрасов,— ваши рассказы... Их в «Современнике» напечатано так много, что из них выйдет довольно солидный томик. Я издам их в свет, а вам дам денег на путешествие, которое для вас будет очень полезно... В Париже теперь живет Тургенев, в Ницце Добролюбов, во Флоренции Боткин, автор «Писем об Испании». Если хотите, мы вас снабдим письмами к ним»[1].

Все, словом, складывалось наилучшим образом. Оставалось вроде бы только благодарить судьбу, сведшую начинающего писателя с кругом «Современника», радикально-демократической и либеральной творческой интеллигенции.

Но не таков, совсем не таков был, увы, Николай Васильевич Успенский, чтобы благодарить судьбу или пользоваться случаем для расширения своего культурного кругозора. Вернувшись из-за границы, где он провел около года[2], Успенский тут же устроил Некрасову публичный скандал, обвиняя его в нечестности денежных расчетов. При этом,

[1] Успенский Н. В. Из прошлого.— С. 6—7.

[2] Своего рода отчетом о поездке Успенского за границу могут служить его письма поэту К. К. Случевскому, опубликованные в приложении к книге К. И. Чуковского «Люди и книги шестидесятых годов» (Л., 1934.— С. 273—295).

стремясь заручиться поддержкой Чернышевского, умудрился и его грубо задеть, так что спустя всего два месяца после выхода прославившей Успенского статьи «Не начало ли перемены?» Чернышевский вынужден был потребовать от своего недавнего любимца формальных извинений.

Извинения Чернышевскому были принесены[1]. Но в своей распре с Некрасовым — абсолютно, как утверждают исследователи, не мотивированной и безусловно оскорбительной для чести издателя «Современника» — Успенский не унимался. И естественно, был исключен из круга «Современника». Вернее, вышел все-таки из него сам, с треском хлопнув дверью, подобно тому, как это несколькими годами ранее случилось в Медико-хирургической академии.

Вряд ли можно выяснить, что именно было пружиной затеянного Успенским и смертельно опасного для него же самого скандала. Виновата ли склонность к вину («В то время он уже пьянствовал так, что редко бывал в трезвом виде»)[2], писательское ли самомнение, махровым цветком распустившееся в атмосфере дружественных похвал и покровительствования, фанаберия ли «нигилиста из бурсаков»... Важно то, что именно на самом крутом подъеме творческого пути, когда будущее казалось безоблачным и ум теснили дерзкие литературные планы[3], «вдруг он сорвался и полетел словно в яму,— безостановочно, покуда не очутился на дне»[4].

3

Поначалу, впрочем, о «дне» и помину не было. Попытавшись представить свой, как принято считать, сугубо денежный раздор с Некрасовым как эпизод в истории идейного размежевания писателей — либералов и «аристократов» с «Современником»[5], Успенский на первых порах был, с одной стороны, поддержан в материальном отношении Толстым и Тургеневым, а с другой — с распростертыми объятиями принят во враждебных Чернышевскому изданиях («Искра», «Отечественные записки», «Русский вестник», позднее «Вестник Европы»).

Но что же из этого вышло? Толстой тогда же, в 1862 году, пригласил Успенского в Ясную Поляну и перепечатал у себя в журнале его «Хорошее житье». Но Успенский в Ясной Поляне надолго не задержал-

---

[1] См. публикацию «Н. Г. Чернышевский. Переписка с Н. В. Успенским»//Звенья.— М.; Л., 1934.— Т. III—IV.— С. 583—587.

[2] Чуковский К. И. Судьба Николая Успенского.— С. XXV.

[3] «...Вы не знаете, какой у меня план для романа,— писал он Случевскому из Парижа.— Фу! Где вам знать! Какой-нибудь Дюма написал бы 30 частей (томов) на этот сюжет».

[4] Чуковский К. И. Судьба Николая Успенского.— С. XXVII

[5] «Следуя примеру Тургенева, Толстого, Гончарова и Достоевского, я,— говорил Успенский в книге «Из прошлого»,— прекратил всякие сношения с незабвенным поэтом и издателем «Современника» (с. 7—8).

ся, на прощание рассорившись, по своему обыкновению, с гостеприимным хозяином и далеко окрест разнеся слухи о его «барских причудах».

Еще хуже обернулось дело с Тургеневым, который безвозмездно предоставил Успенскому в своем Спасском несколько десятин земли, чтобы тот жил, ни в чем не нуждаясь и спокойно занимаясь писательством. Но Успенский и там не усидел («...Скука одолела меня...— жаловался он впоследствии.— А была осень.... Вокруг моей хижины бушевал порывистый ветер и завывали волки...»[1]), пожил сначала в Петербурге с Глебом Успенским, помыкался потом там и сям и, наконец, нежданно вернувшись в Спасское, задумал продать выделенный ему участок земли в чужие руки. Уговоры одуматься, усовеститься результата не имели[2], и Тургеневу пришлось заплатить Успенскому за свою же собственную землю...

Литературные дела тоже довольно скоро разладились. Стоило поддержавшим Успенского умеренно-либеральным в ту пору «Отечественным запискам» заявить, что в новых своих рассказах писатель становится наконец-то «чистым художником» и тенденция уже не берет у него перевеса над формой, как «Современник» тут же подверг Успенского уничтожающей критике, весьма сурово оценив и новые его вещи и старые — те самые, что так охотно печатались «Современником» прежде и на его же страницах были широко распропагандированы Чернышевским.

Перемена в отношении критиков «Современника» к былому своему автору объяснялась, конечно, как мы еще увидим, меньше всего «местью» за «отступничество», но во враждующих с Некрасовым и Чернышевским изданиях предпочли истолковать дело именно таким образом. «Отечественные записки», во всяком случае, воспользовались удачным поводом обвинить орган радикальной демократии в «партийной» кастовости и лицемерии. «Современник», впрочем, стоял на своем, и его влияния на просвещенную публику было вполне достаточно, чтобы за Успенским закрепилось не только прозвище «человеконенавидца» (в этическом плане) и «ренегата» (в плане идеологическом), но и репутация бесталанного беллетриста «с крошечным куриным миросозерцанием и крошечной куриной наблюдательностью».

Общественное мнение не знало пощады, росли, надо думать, и болезненные наклонности самого Успенского, так что вся его жизнь в семидесятые и восьмидесятые годы превратилась в беспрерывную вереницу унижений, скандалов, «балаганства», все новых и новых ударов судьбы. Выдержав экзамен на звание учителя русского языка и словесности, он пытается преподавать, но всякий раз срывается — и в итоге, без

---

[1] Успенский Н. В. Из прошлого.— С. 29.

[2] См.: Чуковский Н. Люди и книги шестидесятых годов.— С. 133.

разрешения дирекции покинув Первую московскую военную гимназию задолго до окончания учебного года, едва не оказывается под военным судом — за «дезертирство» и невыплату выданных ему денежных средств. Он уже в конце семидесятых годов по страстной любви женится на шестнадцатилетней поповне и тут же погрязает в раздорах с тестем из-за приданого, а когда жена, кочевавшая с ним из деревни в деревню, погибает, Успенский берет гармонику, чучело крокодила и горячо любимую двухлетнюю дочь, чтобы петь и плясать с нею в трактирах, и в трактирах же за деньги рассказывает биографии знаменитых русских писателей.

Глядя на отснятые во время путешествия по заграницам фотографии щеголеватого, красивого молодого Успенского, больно сравнивать их со свидетельствами мемуаристов о распухшем от пьянства, лохматобородом старике в арестантской овчинной бекеше, которому каждый случайный собутыльник мог «закатать в шею».

Да вот, пожалуйста,— приведенный И. А. Буниным рассказ лобановского кабатчика об Успенском в последние годы его беспокойной жизни:

«— Известно,— бродяга был. Чудной какой-то. Он, может, там и ученый был, только мы этому не верили. Какое же, к примеру, ученье, когда шлялся нищебродом? Раз пришел ко мне. Мы с женой сидим, чай пьем. «Дай, пожалуйста, чайку стаканчик».— «Нету, говорю, весь уже выпили».— «Ну, хоть стаканчик!»

«Да нету же.— Зло меня даже взяло.— Не заваривать же для тебя».

«Ну, хоть теплой водицы из самовара; дай, ради бога — душа пересохла».

«Это, говорю, дело другое. Авось не жалко». Налил ему стакан воды. Так, поверите, затрясся,— глотает, обжигается. Потом говорит: «Дай водочки».— «Да у меня не кабак».— «Да ведь знаю, говорит, торгуешь».— «Ну, а знаешь — деньги давай».— «Денег нету».— «Ну, и водки нету».— «Так возьми, говорит, что-нибудь».— «А что у тебя?» — «Возьми штаны». Поглядел я штаны эти, а там вместо штанов опоясья одни остались. На кой они мне черт. «Ну, возьми гармонию. Я потом выкуплю». Дал я ему за гармонию четверть. Он тут же всю ее с мужиками и выпил. Хорошо. Только дня через два — становой ко мне. Что такое? Оказывается, это все Николай Василич обработал. Подал заявление, что мы водкой без патента торгуем и гармонию у него отняли. Да ведь как оборудовал! Совсем я было пропал, да следователь хороший попался. Рассказал я ему при свидетелях, что он гармонию мне подарил — ну и выпутался почти. Следователь даже поругал его. «Бродяга, говорит, ты! Как же ты можешь напраслину возводить на человека?» И действительно, попутал его бог. Зарезался, слава богу, как пес какой...»[1]

---

[1] Бунин И. А. Собр. соч.— Т. 9.— С. 499—500.

И все-таки как ни трагичны эти подробности нищей, скитальческой жизни писателя, еще больней, пожалуй, думать о его общественном падении. Критика, с середины шестидесятых годов подвергшая писателя остракизму за «измену» прогрессивным идеалам, позднее вообще перестала о нем вспоминать, а если и вспоминала, то с безусловной уничижительностью[1]. Новые книги, собрания сочинений Успенского почти не расходились, и Тургенев уже в 1868 году говорил в одном из писем о «фиаско... насчет продажи сочинений Успенского». Солидные литературные журналы один за другим закрылись перед писателем, и Успенский, побывав в иллюстрированных «Будильнике», «Сиянии», «Ниве», «Осколках», под конец жизни докатился до ультрареакционного, охотнорядского «Развлечения», где помещал свои полные пасквильных выдумок мемуары, вызвавшие единодушно резкий протест русской общественности.

Что же в итоге?

Итог известен: «Зарезался, слава богу, как пес какой...» И пожалел о нем, окончательно запятнав тем самым память о писателе-демократе, только известный своим мракобесием князь В. П. Мещерский. «Умерший писатель, принадлежавший, как известно, к консервативному лагерю...— указывал князь с притворным состраданием,— не был служителем либеральной музы, не был писателем, изливающим либерально-народнические ламентации,— поэтому он умер нищим, голодным и холодным в стране, где существует Литературный фонд, в громадном городе, где издается несколько газет и журналов. Двери последних были закрыты для покойного. Еще бы! Он не принадлежал к той либеральной клике, которая не прочь проводить до кладбища гроб человека, ею же уморенного голодом»[2].

4

А теперь давайте вернемся к самому началу, в ином аспекте взглянув на писателя, чья участь выделяется своим драматизмом даже на фоне неприкаянных судеб многих других писателей-разночинцев пореформенной эпохи.

Только ли в тяжелом характере и скверных привычках все дело? И действительно ли причина расхождения Николая Успенского с передовыми людьми его времени коренится в том, что он с годами отрекся от прогрессивных идеалов своей юности, предал заветы радикально-демократического лагеря, переметнувшись в стан «охранителей» и ура-патриотов, вроде князя Мещерского и сотрудников «Развлечения»?

---

[1] Единственным исключением является сравнительно сочувственная по отношению к писателю статья Н. К. Михайловского «Сочинения Н. В. Успенского», помещенная в февральской книжке «Отечественных записок» за 1877 г.

[2] Цит. по кн.: Чуковский К. Люди и книги шестидесятых годов.— С. 149.

В предлагаемый вниманию читателя однотомник вошли наиболее характерные для Успенского произведения шестидесятых — начала семидесятых годов. И думается, современному читателю нетрудно будет убедиться в том, что, изменяясь, конечно, в частностях, в деталях, и мировосприятие и творческая манера писателя в целом и в главном сохранили удивительную устойчивость. В «Егорке-пастухе», да и в более поздних вещах Успенский, по сути, тот же, что и в «Хорошем житье», «Змее» или «Сельской аптеке». Тот же насмешливый, злоязыкий юмор. Та же точность бытовых примет и речевых характеристик. То же тяготение к гротеску, к сатирической гиперболизации «свинцовых мерзостей» российской действительности второй половины XIX века.

И та же беспощадная, безыллюзорная правдивость.

Вот в ней-то, кажется, а совсем не в присочиненном «ренегатстве»,— существо писательской драмы Николая Успенского. Недаром ведь Чернышевский, начав свою знаменитую статью 1861 года с вопроса: «Чем г. Успенский привлек внимание публики, за что он сделался одним из любимцев ее?» — так ответил сам себе:

«Нам кажется, что причиною тут не одна бесспорная талантливость,— мало ли было произведений, написанных с талантом и все-таки не возбуждающих ни малейшего участия к себе? Есть у г. Успенского другое качество, очень сильно нравящееся лучшей части публики. Он пишет о народе правду без всяких прикрас»[1].

В чем же состоит эта «правда без всяких прикрас»? В том, по глубокому убеждению Успенского, что российское крестьянство в массе своей, за вычетом немногих исключительно даровитых натур, то ли пребывает еще в состоянии вековечной спячки, то ли замордовано уже до полной идиотичности, до вытравления хотя бы рудиментарных признаков умственной, духовной и нравственно-культурной жизни. Его интересы всецело связаны с мечтами о том, как бы прокормиться, и, в еще большей степени, о том, чтоб такое из домашнего скарба снести кабатчику в обмен на косушку или осьмушку «очищенной». Любовь в этой среде сведена зачастую к грубому блуду, набожность к варварским суевериям, а художественный инстинкт проявляет себя только в пьяных песнях да россказнях о шатающихся по ночам мертвецах. И — никаких перспектив, никаких порываний к лучшей доле; эти мужички сами отволокут любого «смутьяна» или «агитатора» к становому, с враждебной опасливостью относясь даже к тем из деревенских, кто, подобно героине рассказа «Колдунья», попытается своим трудом, своими силами выбиться из застарелой нужды.

Под стать мужикам и сельская «аристократия», если это слово,

---

[1] Чернышевский Н. Г. Литературная критика: В 2 т — М., 1981.— Т. 2.— С. 212—214. В дальнейшем все ссылки на статью «Не начало ли перемены?» даются по этому изданию, в тексте, с указанием страницы.

даже взяв его в иронические кавычки, можно применить к приказчикам и священникам, причетникам и фельдшерам, прасолам и целовальникам.

Попадаются, конечно, в общей массе и посмышленее, побойчее, но их активность, лишенная какого бы то ни было нравственного стержня, направлена исключительно на то, чтоб разбогатеть, «окулачиться» за счет нещадно спаиваемых крестьян (рассказ «Хорошее житье») или за счет столь же нещадно объегориваемых «господ» (повесть «Федор Петрович»).

А сами «господа» — как дореформенные, так и пореформенные? Прочтите «Деревенскую газету» и «Из дневника неизвестного», «Федора Петровича» и «Сашу», «Деревенский театр» и «Издалека и вблизи», «Родственное свидание» и «Небывалый случай» — разве под наносным слоем «благовоспитанности» и «просвещенности», пусть даже на прогрессистский манер, не торжествуют в точности такие же развращенность, апатия, недомыслие, что и в простонародной среде, только тут эти качества выглядят еще гаже, ибо они породнены с праздностью, сытостью и бесконтрольным своеволием?..

А теперь попробуем вообразить, как эти «очерки народного быта» читались публикою, чьи представления о крестьянах были связаны с Антоном-Горемыкой Григоровича, Хорем и Калинычем Тургенева, с дворовыми людьми, о которых рассказывали Аксаков в «Семейной хронике» и «Детских годах Багрова-внука», Толстой в автобиографической трилогии. Какие ощущения испытывала публика, понимая, что в кругу описанных Успенским хоботовых, загвоздкиных и галкиных не приживутся, да и не могут прижиться ни рудины, ни лаврецкие, ни иртеньевы?..

Шок — вот слово, которое приходит на ум, когда знакомишься с откликами современников на первые публикации Николая Успенского (очерки эти, заметим, вообще были первым словом писателей-разночинцев в русской литературе; произведения Слепцова появились в «Современнике» лишь в 1862 году, Помяловского, Левитова и Решетникова — в 1864-м, а Глеба Успенского — в 1865-м).

Достоевский в статье, специально посвященной «Рассказам» 1861 года, мог, конечно, указывать, что Успенский, как верный описыватель народного быта, «явился после Островского, Тургенева, Писемского и Толстого» и потому «цена ему теперь совсем не та». Но Достоевский же и признавал, что если предшествовавшие Успенскому «замечательные писатели» «заявили в литературе сознательно новую мысль высших классов общества о народе»[1], то в произведениях Успенского народ едва ли не впервые, быть может, сам сказал о себе правду; и правда эта была такая, что «хуже всякой лжи». Во всяком случае она резко контрастировала и с крепостническими иллюзиями насчет богобоязненных, преданных престолу и господам, трудо- и чадолюбивых мужичков, ко-

[1] Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч.: В 30 т.— Л., 1979.— Т. 19.— С. 178—179.

торым под барскою опекой гораздо уютнее, покойнее, чем на постылой воле. И с призывами Льва Толстого учиться у крестьянских детей нравственности и подлинной культуре. И с надеждами на скорую крестьянскую революцию, которая принесет стране конституционные свободы, с распространенным в обществе мнением о том, что русский народ уже созрел для деятельности на социально-историческом поприще.

От соблазна обвинить Успенского в «неправдивости», в сознательном искажении истины о народе критики на первых порах воздержались: слишком силен был вызываемый его рассказами «эффект присутствия», слишком велико доверие к знанию жизни, непринужденно продемонстрированному молодым писателем. Зато с характерной для русской общественно-литературной традиции непременностью тут же возник вопрос: зачем? Зачем писатель из народа так обидно, с такими душераздирающими подробностями, с такою будто бы даже озлобленностью — вот, мол, вам, и еще, и еще! — говорит о народе? Что он хочет этим сказать? К чему призывает?..

«Старуха», «Поросенок», «Змей», «Обоз» никак вроде бы не поддавались однозначной идеологической интерпретации в категориях «левизны» — «правизны», «прогрессивности» — «реакционности», и в первых же отзывах критики писатель, заподозренный в «общественном индифферентизме», был зачислен в разряд бытописателей-фотографов, с холодным и бесстрастным равнодушием фиксирующих «мелочи жизни», не умея при этом «отличить глубоко раздирающего стона бедняка от уличного крика пьяницы»[1]. «Он приходит, например, на площадь,— сердито писал об Успенском Достоевский,— и, даже не выбирая точки зрения, прямо, где попало, устанавливает свою фотографическую машину. Таким образом всё, что делается в каком-нибудь уголке площади, будет передано верно, как есть. В картину, естественно, войдет и всё совершенно ненужное в этой картине или, лучше сказать, в идее этой картины. Г-н Успенский мало об этом заботится... Если б из-за рамки картины проглядывал в это мгновение кончик коровьего хвоста, он бы оставил и коровий хвост, решительно не заботясь о его ненужности в картине»[2].

Применительно к писательской манере Успенского характеристика, данная Достоевским, в общем-то справедлива. Предвосхищая позднейшие эксперименты писателей-натуралистов (а начиная с Чехова и реалистов) по детализированному, м н и м о бесстрастному воспроизведению «мелочей жизни», по «граммофонному», как выразился Корней Чуковский, способу записи и передачи разговорной речи, Успенский действительно кое в чем отступил от традиций высокой русской классики с ее преимущественным вниманием к психологическому миру личности, с ее «указующим перстом», нацеленным в самую сердцевину обществен-

[1] Цит. по кн.: У с п е н с к и й Н. Повести, рассказы и очерки.— М., 1957.— С. 603.

[2] Д о с т о е в с к и й Ф. М. Полн. собр. соч.— Т. 19.— С. 180.

ного бытия, с ее, наконец, поистине завораживающим искусством соединять «поэзию и правду» в пределах емкого и цельного художественного образа

5

По части «поэзии» Успенский, незачем скрывать, заметно уступает своим великим современникам, но разве, спросим впрямую, одной только «правды» — чистой, беспримесной, не офальшивленной грубой тенденциозностью — мало для того, чтобы писателю было воздано должное — пусть не как врачевателю и исцелителю общественных язв, но хотя бы как их безжалостному диагносту?

И в самом деле, «правда» Николая Успенского о забитом, притерпевшемся к своим несчастьям, бездеятельном и бездуховном простонародье только раз пришлась ко времени: на рубеже пятидесятых — шестидесятых годов, когда общественное мнение было наэлектризовано толками об освобождении крестьянства и когда публицисты «Современника», поддерживаемые революционно настроенной молодежью, били во все колокола, надеясь разбудить народную волю и народный гнев.

Вот тогда-то Некрасов и схватился за безыскусные, казалось бы, «очерки народного быта». Вот тогда-то идеолог радикальной демократии Чернышевский и написал свою знаменитую статью, воспользовавшись рассказами Успенского как материалом, свидетельствующим о том, что крестьянская масса уже доведена до крайнего отчаяния и что нужно лишь поднести зажженный фитиль, чтобы рванули пороховые погреба слежавшейся за века классовой ненависти.

Энергично доказывая эту мысль, Чернышевский, не вдаваясь, впрочем, в эстетические тонкости, оспорил почти все упреки, которые предъявлялись (да и впоследствии будут предъявляться) автору «очерков народного быта». Писатель искусственно принижает и тем самым унижает своих героев? Вот уж, по мнению критика, неверно; заслуга Успенского как раз «в том, что он говорит о мужиках без церемоний, как о людях, которых он сам считает и читатель его должен считать за людей, одинаковых с собою, за людей, с которыми можно говорить откровенно всё, что замечаешь о них» (с. 254). Писатель, не скрывая темных и «низких» сторон крестьянского быта и патриархальной морали, говорит «о народе бог знает что, жестоко оскорбляющее нашу сантиментальную симпатию к нему» (с. 217)? И правильно делает, ибо вошедшее в либеральную привычку идеализирование мужика, по словам Чернышевского, действительно «прекрасно и благородно,— в особенности благородно до чрезвычайности. Только какая же польза из этого — народу?» (там же),— и не полезнее ли вскрыть гнойники беспощадным скальпелем, чем покрывать их сусальным золотом?..

И последний упрек — в том, что Успенский выводит на первый план не героев, не яркие в своей нравственной неординарности натуры, а, что называется, «серую скотинку». Чернышевский поначалу вроде бы

соглашается: да, среди персонажей Успенского почти исключительно «люди дюжинные, люди бесцветные, лишенные инициативы» (с. 225), но затем и этот факт оборачивает к выгоде для писателя: в том-то и существо дела, что даже «в жизни... дюжинного человека бывают минуты, когда нельзя его узнать, так он изменяется или порывом благородного чувства, или мимолетным влиянием чрезвычайных обстоятельств, или просто наконец тем, что не может же навек ему хватить силы холодно держаться в неприятном положении» (с. 245). Придет час, и близкий уже час, уверен Чернышевский, и эта самая рутинная, пошлая масса выдвинет своего Вильгельма Телля (с. 253), своих героев, вождей и трибунов!..

Давали ли напечатанные к тому времени произведения Николая Успенского основания для такого агитационно-идеологического истолкования? Положительный ответ здесь, наверное, возможен, но с существенными оговорками. Будучи по своим убеждениям «коренным» демократом, причем настроенным в высшей степени критически по отношению и к правительству, и к либеральной вере в возможность благодетельных реформ[1], Успенский вместе с тем никак не может быть назван революционером. Идее крестьянской революции он не сочувствовал прежде всего потому, что не верил в ее осуществимость, и не случайно Чернышевский завершает свои исполненные энтузиазма рассуждения о выводах, на которые будто бы наталкивают «Рассказы» 1861 года, сомнением: «...Как понравится наша статья г. Успенскому?» — и сам же себе отвечает: «Она решительно не понравится ему...» (с. 254).

Мы не знаем, как отнесся Успенский к прославившей его статье «Не начало ли перемены?». Но с полной уверенностью можно утверждать, что он не смог (или не захотел) стать литературным знаменем, первым беллетристом радикально-демократического лагеря. Будь иначе, он дал бы, надо думать, укорот своим денежным претензиям в эпизоде с Некрасовым. Будь иначе, и издатели «Современника», наверное, нашли бы способ сохранить Успенского в числе ближайших авторов журнала.

И тут наводит на размышления то обстоятельство, что разрыв писателя с журналом совершился в дни, когда даже самым последовательным радикалам становилось ясной иллюзорность надежд на скорое и победоносное революционное потрясение. В кругу «Современника», да и в других слоях передовой интеллигенции начался интенсивный поиск альтернативных идеологических вариантов, и пропагандистская

[1] В этом смысле чрезвычайно характерно письмо Успенского Случевскому от 24 июня 1861 г.: «...находятся же такие пакостные люди, как, напр., Боткин, которые стоят за Александра Николаевича (Александра II.— *С. Ч.*). Боткин, когда я сказал... что манифест русский — вероятно вздор и что я не верю в освобождение, он меня принялся ругать закорузглым невеждой... потом сказал: «Новые положения, недавно объявленные правительством,— превосходны, и пусть ваш мужик околеет — если не воспользуется этими положениями...» (См.: Чуковский К. Люди и книги шестидесятых годов.— С. 285).

надобность в той правде, которую говорил о народе Успенский, попросту отпала.

Он всюду оказался чужим.

И среди консерваторов, инстинктивно чуявших, что произведения Успенского по своему объективному смыслу камня на камне не оставляют от устоев «православия, самодержавия и народности».

И среди либералов-реформистов, обескураженных едкостью, с которою Успенский высмеивал как всякого рода «преобразования» в сфере народного просвещения, здравоохранения, судопроизводства, так и саму идею барской опеки над народом.

И — это в особенности — среди стремительно утверждавшихся в отечественной печати народников, которые, объявив себя наследниками «партии Чернышевского», в дальнейшем практически вытравили из идеалов радикальной демократии ее революционный дух.

Народники благоговели перед «исконно» крестьянской мудростью, верили в нерушимое нравственное здоровье простолюдинов, готовы были пойти на выучку к мужику, а Успенский, словно бы нарочно, все множил и множил в своих рассказах разного рода «уродства» и «вывихи», демонстрировал симптомы тяжкой социальной болезни, избавиться от которой будет нелегко. Народники возлагали все свои надежды на сельскую общину, как на прообраз «чисто русского» социализма, а Успенский показывал, что, во-первых, община уже разлагается, выделяя из себя кулачье, мироедов, а во-вторых, и в нынешнем своем, полупатриархальном состоянии она держит бедноту в рабстве, не меньшем, чем крепостное.

И тогда Успенского назвали клеветником.

«В его рассказах,— писал плодовитейший из критиков-народников А. М. Скабичевский,— народ представляется в невообразимо безобразном виде: каждый мужик непременно или вор, или пьяница, или такой дурак, каких и свет не производил; каждая баба такая идиотка, что ума помрачение... Что удавалось Н. Успенскому мельком увидеть или услышать, он передавал в сыром и конкретном виде, с единственной целью показать, как русский мужик невежествен, дик, смешон, загнан и забит, как тонет он в грязи невежества, суеверий, пошлости. Забитость, тупоумие, отсутствие всякого человеческого образа и подобия в героях Николая Успенского одуряют вас, когда вы читаете его очерки»[1].

Вот это-то продержавшееся в печати несколько десятилетий мнение об Успенском как о человеке, злонамеренно будто бы оклеветавшем русский народ, и погубило окончательно доброе имя писателя в глазах широкой дореволюционной читательской аудитории. Критика и шедшая вслед за нею публика рассуждали о народнической прозе П. Засодимского, Н. Златовратского, Г. Успенского, Н. Каронина-Петропавлов-

[1] Цит. по кн.: Чуковский К. Люди и книги шестидесятых годов.— С. 137.

ского, выясняли свои отношения с авторами «антинигилистических» романов (А. Писемский, Н. Лесков, В. Крестовский), спорили сначала о натурализме на отечественной почве (П. Боборыкин, И. Ясинский, Н. Морской), потом о «новом литературном поколении» (М. Альбов, А. Чехов, К. Баранцевич и др.), по традиции были приметливы к новым созданиям И. Тургенева, Л. Толстого, Ф. Достоевского, И. Гончарова, а Н. Успенского словно бы вовсе не брали в расчет.

А между тем талант его, идя в общем-то на убыль, чему, надо думать, в огромной мере способствовало чувство «неуслышанности», «невостребуемости», и во второй половине шестидесятых годов, и в семидесятые годы не раз мощно проявил себя, причем в гораздо более, чем прежде, социально острых и вместе с тем лиричных произведениях.

Успенский написал и опубликовал в «Отечественных записках» повесть «Федор Петрович» (1866), едва ли не первым, быть может, в русской литературе обнаружив, что на смену нищающим, сдающим свои социальные позиции помещикам приходят кулаки, кабатчики, сельские «капиталисты» и они-то все последовательнее прибирают деревню к своим рукам.

Критика промолчала.

Успенский с сатирической меткостью обрисовал в повести «Издалека и вблизи» (1870) типические фигуры русских дворян, потерявших жизненные ориентиры в пореформенную эпоху (здесь и толстовцы, и охотники переустроить хозяйство на «рациональный» лад, и те, кто верит в возможность жить по старинке).

Повесть появилась в солидном «Вестнике Европы», но критика и тут семь лет хранила гордое молчание, пока Н. Михайловский, снисходительно похвалив писателя за то, что его повесть «по замыслу охватывает чрезвычайно интересный мотив современной русской жизни»[1], не поставил ему в вину несочувственность к новейшим «прогрессистским» веяниям и прежде всего к распространенному в те годы «хождению в народ».

Успенский рассказал в «Егорке-пастухе» (1871) трогательную историю двух любящих крестьянских сердец, показав, как идиллия, пройдя испытание фарсом, обернулась в итоге — из-за чиновничьего равнодушия и косности крестьянского «мира» — подлинной трагедией, но и в этом случае ответом писателю было почти полное общественное безразличие.

6

У читателя может возникнуть, пожалуй, впечатление, что произведения Успенского, пережив свой «звездный час», начисто выпали из

[1] Цит. по кн.: Успенский Н. Повести, рассказы и очерки.— С. 644.

русской литературы, не участвовали в ее движении и лишь в двадцатые-тридцатые годы нашего века были вновь вспомнены — уже как архивный документ, имеющий исключительно историческое, историко-литературное значение. Так ли это?

Не вполне так. Истинную цену автору «очерков народного быта» знали прежде всего великие его современники — русские писатели, и если Тургенев, сопоставляя Николая Успенского с Глебом, утверждал не без личной и вполне понятной неприязненности, что «у Глеба в десять раз больше таланта»[1], то Лев Толстой, по свидетельству мемуариста, говорил как раз обратное: «Я ставлю Николая Успенского много выше превознесенного другого Успенского, Глеба, у которого нет ни той правды, ни той художественности»[2]. Нелишне упомянуть и о том, что И. Бунин в начале своего творческого пути замышлял писать биографию Успенского, собирал свидетельства очевидцев и поместил о нем несколько содержательных заметок в тогдашней печати[3]. Или о том, что М. Горький неизменно, хотя, может быть, и не вполне точно именовал Успенского «родоначальником и зачинателем чисто народнической и народолюбческой литературы»[4].

Дело, впрочем, не только и не столько в благосклонных отзывах. Оказав заметное, никем не оспариваемое, хотя пока и недостаточно изученное влияние на писателей демократического, а впоследствии и народнического лагеря (у него сначала учились, затем с ним спорили, но ведь и полемика есть форма освоения традиции), Успенский исподволь «сказался» во многих и многих классических произведениях, посвященных мужицкой доле и вообще тяжкой участи русского простонародья. Это относится прежде всего к толстовской «Власти тьмы»[5], к чеховским повестям и рассказам «Мужики», «Новая дача», «По делам службы», «В овраге», где в полемике с утешительными сказочками позднего народничества о мужике — праведнике и «богоносце» — сознательно или, скорее всего, неосознанно, опосредованно учтен и опыт забытого, казалось бы, писателя. С еще большей определенностью следы воздействия Успенского обнаруживаются в предреволюционной прозе Бунина, некоторых других писателей, группировавшихся вокруг горьковского «Знания».

И вот тут-то, в соотнесении с получившей дальнейшее развитие

---

[1] Тургенев И. С. Полн. собр. соч. и писем. Письма. Т. 11, с. 13.

[2] Захарьин И. Н. (Якунин). Встречи и воспоминания.— Спб., 1903.— Т. 2.— С. 214.

[3] См.: Лит. наследство.— М., 1973.— Т. 84.— Кн. 1.— С. 309—314.

[4] Цит. по кн.: Успенский Н. Повести, рассказы и очерки.— С. 17.

[5] Характерно, впрочем, что, пересказывая свой разговор с Толстым о «Власти тьмы», Успенский, по его словам, резко порицал автора за чрезмерность мрачных красок и выведение на первый план натур типа Матрены, Анисьи и Никитки: «...этакие люди, по-моему, не должны быть вносимы в сферу искусства и быть проводниками каких-либо идей...» (Успенский Н. В. Из прошлого.— С. 157—158).

традицией, особенно очевидной становится неосновательность и несправедливость тех упреков в «клевете на народ», которые адресовались Успенскому на протяжении нескольких десятилетий. Он действительно больше говорил о мрачных, неприглядных сторонах крестьянского и разночинского быта, нежели о том, что заслуживало поэтизации, светлой грусти. Он действительно, словно бы не замечая или почти не замечая проявлений социального протеста, нравственного противостояния косной среде, рисовал по преимуществу картины духовной спячки, варварской грубости в нравах, помыслах и запросах.

Но, говоря так и рисуя все это, Успенский, как подчеркнуто было еще Чернышевским, смотрит на простонародье не со стороны, не как заезжий «французик из Бордо» или скучающий барин в белых перчатках, а как свой, беспримесно родственный этому полуголодному, полупьяному, нищему и несчастному люду. Для него нет тайн в этой среде, но для него и жизни нет, кроме как в этой среде, и обида, которая душит, озлобляет Успенского, это обида не на народ (так обижались барышни из хороших семей, разочарованные неуспехом своих «хождений» по деревням), а *за* народ, никак не могущий вырваться из болотной трясины, не почуявший пока — пока! — в себе сил, достаточных, чтобы подняться к вершинам своего исторического предназначения.

Народолюбие Успенского резко враждебно и по отношению к показному преклонению «опрощающейся» интеллигенции перед смиренным богатырем и мудрецом в худом армячишке, и по отношению — тоже незачем скрывать — к нетерпеливым попыткам разбудить дремлющее крестьянское море, вызвать так скоро, как только удастся, подобный урагану «русский бунт». В его рассказах о России и русских в XIX столетии силен элемент не только социальной критики, но и, если можно так выразиться, «национальной самокритики». Но все-таки это именно народолюбие, и чуткий к подобным вещам Достоевский недаром отмечал, что «г-н Успенский, во-первых, любит народ, но не за что-то и потому-то, а любит его как он есть. Для него все дорого в народе, каждая черта; вот почему он так и дорожит каждой чертой. С виду его рассказ как будто бесстрастен: г-н Успенский никого не хвалит, видно, что и не хочет хвалить; не выставляет на вид хороших сторон народа и не меряет их на известные, общепринятые и выжитые цивилизацией мерочки добродетели. Он и не бранит за зло, даже как будто и не сердится, не возмущается. Сознательный вывод он предлагает сделать самому читателю»[1].

Все это — кажущееся бесстрастие, неявность авторской позиции, доверие к читательской способности самостоятельно сделать «сознательный вывод», небоязнь, наконец, «цинических», «бесстыдных» деталей и сюжетов, если они требуются по условиям художественной задачи,— сильно осложнило взаимоотношения писателя с современной ему критикой. Но это же проложило Успенскому дорогу в XX век, связало

---

[1] Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч.— Т. 19.— С. 182—183.

его опыты с литературными исканиями новейшей эпохи, и, перечитывая сегодня «Обоз», «Поросенка», «Змея», «Сельскую аптеку», видишь, как отложился юмор Успенского в «пестрых» рассказах Антоши Чехонте, как ожили и заиграли многие приемы, первоначально опробованные автором «очерков народного быта», в «сказовой» прозе двадцатых годов и, в особенности, в сатирах Михаила Зощенко, как лукавые герои-рассказчики Успенского протягивают руку Василию Шукшину с его «Беседами при ясной луне» и «До третьих петухов», Василию Белову с его «Плотницкими рассказами» и «Бухтинами вологодскими...», Борису Можаеву с его «Историей села Брехова...».

Одно только существенное уточнение. Было бы непростительной натяжкой считать М. Зощенко или П. Романова, В. Шукшина или Б. Можаева прямыми «наследниками» Николая Успенского. Очень может быть, что им и не попадались никогда на глаза ни «Поросенок», ни «Грушка», ни «Хорошее житье»; интервалы в два-три десятилетия между очередными переизданиями сочинений Успенского делают вполне вероятной такую возможность. Так что же тогда,— случайные совпадения перед нами?.. Нет, скорее типологическая общность, обусловленная тем, что обращение к сходным художественным задачам требует в свою очередь и обращения к в общем-то определенному, санкционированному традицией типу художественных средств, приемов образо- и сюжетостроения, способов обработки живого просторечия.

Или, еще вернее, перед нами следование традиции, которая не одним, конечно, Николаем Успенским завещана, но которая и ему, оставшемуся почти безымянным, обязана очень все ж таки многим.

Так бывает в развитой культуре: книги писателя, если он не включен стоустой молвой, преданием в число наших «вечных спутников», уходят со временем как бы на периферию литературного процесса, имя его тускнеет в сознании и читателей и литераторов грядущих поколений, но зерна, оброненные им в родную почву, выживают, идут в рост, и, любуясь изобильными всходами, мы не часто вспоминаем, кто же был первым или одним из первых сеятелей.

Но иногда, хотя бы иногда вспоминать нужно. И, оглядываясь на страдальческую, полную мук, горя, заслуженных и незаслуженных обид жизнь автора «очерков народного быта», заново прочитывая избранные страницы его литературного наследия, думаешь и о драматических судьбах талантливых разночинцев в пореформенной России, и о классической нашей литературе, облик которой будет безусловно неполон без таких, как он, художников второго ряда, и о той, издревле завещанной нам традиции взыскательной, зрячей, а коли понадобится, то и «беспощадной» любви к своему Отечеству и своим соотечественникам, которой верой и правдой служил писатель Николай Васильевич Успенский.

Сергей Чупринин

СТАРУХА

Был сентябрь в исходе; вечерело; шел дождик. В средине села Горемыкина, перед грязным мостиком с изломанными перилами, по ступицу в грязи стоял длинный обоз с рогожами. От усталых лошадей валил пар, некоторые из них встряхивались, громыхая уздами и бляхами на шлеях; иные вытягивались, перекашивали свои челюсти и заносили морду вверх, чтобы вытянуть из переднего воза торчавший клок сена; а иные уныло посматривали на постоялые дворы, от которых неслись хриплые голоса дворников, сидевших на крылечках в нагольных тулупах: «Ночевать пора, ночевать!»

Извозчики, стоявшие по бокам обоза, молчали. Из дворников никто не двигался с места и не решался подойти к ним, понимая всю важность пропасти, утвердившейся на улице. Наконец, спустя немного времени, один из них, с рыженькой бородой, соскочил с своего крыльца и, хляская ногами, подбежал к извозчикам.

— Что же?.. Пожалуйте,— заговорил он,— просим милости; двор просторный, чистый, никого нет... изба теплая — с трубой.

И дворник показал на трубу.

— Овес почем? — спросил один извозчик.

— Лишнего не возьмем,— произнес дворник.— Поворачивайте.

— Да что поворачивать... ты скажи, овес-то почем?

— Экой чудак! думает, что его тут облупят. Ну, обыкновенно, семь гривен; поезжай куда хошь — везде равно.

— Нет, не равно: в Яшках небойсь мы платили по шести.

— То в Яшках, а то здесь,— продолжал дворник,— разя мы строим? чай, бог. Трогайте, ребята... любо будет.

— Да Яшки-то отсюда всего десять верст; в Камчатке эни, что ли?

— Ну будет толковать: шесть гривен и я возьму; да уж овес какой, парень! истованное золото. Задвигайте.

— Задвигать-то задвигать,— произнес другой извозчик, снимая шляпу и почесывая виски,— да раненько.

— Какой раненько? ночь на дворе. Нешто дальше поедете?

— Неужли ж тут останемся? десять верст отъехали; да и ночевать? — подхватил третий извозчик.

— В гибель такую...— покачивая головою, говорил дворник,— разя не видишь, что это такое? каторга... давеча один купец бился, бился,— так и остался у меня ночевать.

— Ты нам не указывай, мы знаем без тебя...

— Как знаете... А куда, примерно, трафите?

— В Калугу.

— Подряду везете?

— Подряду.

— А то задвигайте, ребята: ночью прихватите, не совсем ладно; грязь, слякоть... упаси господи.

— Эй, Петруха, трогай! — раздался голос сзади обоза.

— Пехра, пропади вы совсем,— забормотал дворник, направляясь к двору.— Только знает, как бы поголдить, набить цену. Поезжай! Авось держать не стану... калянется, как ахремовский мужлан.

Обоз тронулся. Дворник, взошедши на свое крыльцо, увешанное лаптями, котелками и большими кусками сырой баранины, принялся обчищать лучинкой сапоги. На лавочке, облокотясь на резные перила крыльца, сидел купец в калмыцком тулупе, покрытом синим сукном, и курил сигару.

— Грязненько,— сказал купец, глядя на сапоги дворника.

— Есть...— помолчавши, произнес последний.— Народец, пропасти на вас нет... выбежишь — думаешь: будет прок; а он почешет с тобой зубы и завернет рыло на сторону.

— Русский мужик любит покаляниться,— проговорил купец и отплюнул в сторону.

— Еще как любит-то: иную пору ломается, ломается, из себя выйдешь.— «Фаддей Семеныч! хоть трыночку сбавь, хоть грошик...» А не знает, что тут грошика если не возьмешь,— разоришься, кругом разоришься; а для

меня таперича он копейку, другой копейку... говорится пословица: «С миру по нитке...» Эко грязь, притка тебя возьми... никак не отскоблишь.

— Это справедливо,— сказал купец, закинув одну ногу на другую.— Вот теперь, куда ни поверни, наш брат то же самое...

— То-то и есть,— приподнявшись, заговорил дворник,— эхти-хти... век жить — не орех грызть... что это зачерствел как ситник-от? надо отдать его распарить — работники съедят,— заключил он, снимая с полки хлеб.

Купец молчал.

— Вы где спать будете, Иван Осипыч? — спросил его дворник.— Если угодно, так на сеннике; там важно...

— Нет, признаться, я боюсь на сене спать: говорят, в нем бывают разные веретеницы и казюльки всякие. Оно, может статься, и впрямь: обыкновенно, сено, значит, привозят с лугов; а на лугах, бывало, ходишь, сколько их под ногами!.. кишмя кишат...

Купец отплюнул.

— А мы вот всё на сеннике бесперечь... и то сказать, как намаешься день-то, забудешь про веретениц и про все...

— Где-нибудь лягу, не беспокойтесь.

— Да у нас, слава богу, есть где лечь, окромя сенника: дом, кажись, не маленький... Чушь, куды, куды, гладкая, чу-ушь!..— завопил вдруг дворник на свинью, которая из сеней заносила свою ногу на крыльцо. Чрез минуту свинья и дворник скрылись в сенях за дверью.

Купец погладил свою бороду.

— Здравствуй, касатик,— всходя на крыльцо, произнесла какая-то старуха с мутными впалыми глазами, одетая в дырявый зипун и повязанная истертой, мокрой тряпицей.

— Здорово, бабка,— сказал купец.

Старуха молча вынула из-за пазухи красную деревянную чашку, поставила ее на лавку и, покряхтевши, села.

Дождик усилился; с повети потекли ручьи; загудела подставленная к крыльцу кадушка. На улице с мокрым платком на шляпе быстро проехал мужик в порожней телеге, от которой летели в разные стороны брызги; под крыльцом брехнула собака и с визгом заежилась от пробиравшегося к ней дождя.

Купец запахнулся полою тулупа.

— Эк, какой полил!..— сказал он, глядя на дорогу.

— Да; так и хлещет,— заговорила старуха.— Теперь

других мужичков застанет в поле... ишь, зги не видать... Как бы, избави господи, хлебушек не попрел.

Старуха вздохнула.

— Ты чья? — спросил ее купец после небольшого молчания.

— Да я здешняя, кормилец,— горемыкинская; а живу за этой слободой, туда... назади, недалеко от этой церкви. Можа, когда проездом видел нашу слободу; барский дом там стоит... высокий, каменный· в нем никто не живет.

— Отчего ж так?

— Да барыня-то наша в Москве.

— А при вас, значит, управитель или староста?

— Управитель и староста — оба.

Купец и старуха помолчали.

Из сеней отворилась дверь, и на крыльцо вошла толстая высокая дворничиха, во всем ситцевом.

— У! какой...— глянув на дождь и сморщившись, произнесла она.

— Да, хорош; дробен дождик...— проговорил купец, доставая из пачки сигару.

— Здорово, Кузьминишна! — сказала дворничиха приподнимавшейся старухе.— Что ты?..

— Да все к тебе, родная моя; вот творожку пришла попросить ребятенкам: голодают ни на што не похоже... не откажи, матушка,— кланяясь, говорила старуха.

— Ладно. Я вот подою коров, кстати и молочка дам.

— О кормилица ты наша! дай бог тебе здоровье! Век буду молить.

— Не видали тут нашего малого? — перебила дворничиха, обращаясь к купцу.

— Он давеча лошадей вел на реку поить.

— Пропал, шельмец,— пробормотала она и, повернувшись, ушла в сени.

Купец закурил сигару.

— Ай у вас коров-то нет? — спросил он старуху.

— Да нетути, сударик,— третий год никак не обигорим коровенки; телочка одна... восьмой месяц пошел с сердохрестной недели.

— Не на что, видно, купить?

— Вестимо, не на што: живу в чужой семье, кормилец, с своей невесткой; бедность...

— В чужой семье?

— В чужой, родимый,— жалобно произнесла старуха.

— Отчего так?

— Да двух сыновей отдали в солдаты, касатик мой; старик помер, невестка вышла за другого,— осталась я одна; меня и перевели в их семью. Копочусь теперь с малыми ребятенками. Просилась было на птичный двор,— приказчик не позволяет, говорит: без тебя птичницы есть.

— Гм... А за что, примерно, сыновей отдали?

— Да кто знает, кормилец... отдали — и все тут. Одного, младшего-то, полагать надо, отдали за дело; а другого — как есть ни за што, так-таки ни за што, родимый мой.

— Ну, верно, качества какие-нибудь строил?.. За какое дело младшего отдали?

— Вишь... как бы тебе сказать... да если бы старшего не отдали, и младший не пошел бы.

— Каким же манером?

— Да так, касатик.

— Ну, за что старшего отдали?

— Я тебе баяла, желанный мой, что ни за што, вот как есть ни за што: диви б мужик был плохой, а то работящий мужик-то; бывало, чего-чего он...— на все горазд: и плотничал и того... санки ли сделать, другое ли что... Без него мы были как без рук. Опосля он бросил все, ничем не стал займаться, это перед солдатчиною-то: ходит как помешанный; а то пропадает, уйдет куда ни на есть, неделю целую не показывается домой,— да что я? больше недели; вот словно чуял... вестимо, не перед добром...

Старуха понурила голову и вздохнула.

— Вишь ты,— снова начала она,— это было Михайловым днем: женили мы его; сыграли эту свадьбу; глядь-поглядь, примечаем: молодая, жена-то его,— красивая была, бог с нею, баба,— его недолюбливает и так совсем вот не ластится. А он, сердечный, был на лицо не совсем гож: оспа, еще когда он был махоньким, всего изуродовала. Да ведь и то сказать, кормилец, что не родись хорош-пригож, а родись счастлив. А он, голубчик мой, соколик ясный, родился непригож, да и несчастлив.

— Так, так,— вникая в слова старухи, сказал купец.

— Все ничего. Ну, она это, значит, его недолюбливает; уж видим все, что недолюбливает: за обедом ли сидит... хоть бы те одно слово промолвила. Он к ней там зачнет: «Что ты, Варвара Борисьевна? — ее звали Варварой,— что ты невесела?..» — кусочек ей подложит. Он ее любил и уж и-и... вот как любил! перед богом... А она, касатик, все нет, да и на поди... такая мурогая завсягды.

Вот как обжились они, Петруша,— его звали Петрушей — начал следить за ней: нет ли, дескать, на сердце кручинушки али зазнобушки, не любит ли она кого. Подмечает раз, другой — все нет... и виду никакого... на работе такая же, как и дома. Ну, тем и кончилось, что нет да и нет. Вот раз к нам приходит староста и говорит... дело было летом... «Петр Семеныч, говорит,— это приказчик,— велел вашей Варваре собираться на барский двор, и муж, говорит, пускай придет с ней». Думаем промежду себя: «Зачем это?» У нас о ту пору все были дома, и она и Петруша. Старик говорит: «Что ж? сходи, Петруша; зачем-нибудь понадобился; авось он тебя не съест». Петруша надел зипун, собрался это: «Ну, говорит, Варвара Борисьевна, пойдем прогуляемся»; шутник был, голубчик мой. А она на него так и зевнула: «Да ступай, говорит, лихоманка тебя возьми», и черным словом его... «Ступай один; без тебя дорогу знаю». Старик в это время ковырял лаптенки, сидел на конике; обидно ему, стало быть, показалось; да как же не обидно? грубая... известно, баба, кормилец. Сидел, сидел, жалко ему стало Петрушу, да и молвил: «Когда ты, Варвара, будешь умна, за что всегды зычишь на него? иной бы тебя, говорит, чем ни попадя...» — и побранил ее. Она невзлюбила: должно, не по нутру... накинула зипун, повязала платок писаный,— она все в писаных ходила,— и хлопнула что ни есть мочи дверью. Старик мой покачал, покачал головой — и только. «Жалко, говорит, Петрушу,— смерть жалко!..» Вот они ушли к приказчику, а мы ждем; помню, я тут качала на обрывке ее мальчика, это невесткина-то: сижу... качь да качь... Смотрим, приходит он один уж перед вечером.

— Так. А вы всё поджидали?

— Да, а мы всё поджидали. «Ну, Петруша, зачем?» — спросили мы. «Да что, говорит, приказчик оставляет Варвару на кухне работницей; ласково таково со мною обошелся: «Я, говорит, с твоего согласия... если не хочешь, как хочешь; у меня ей будет хорошо; я хошь платы не положу, зато от работы ослобоняется. Известно, когда понадобятся ей деньги, я дам и деньжонок; платок коли куплю». Мы подумали... «Что же, говорим, отчего не так? Приказчик, знамо, если захочет, и так возьмет ее к себе — насилкой; а коли добрым словом молвил, так и быть по сему; хошь одна баба была в доме, да ведь и при ней-то, подумали мы, не красно было: иногды сердце изнывает, глядючи на ее грубости».— «Если ты, Петруша,— это говорит старик,— соглашаешься, так, пожалуй, и мы соглас-

ны».— «Отчего же, говорит, не согласиться! Я рад, что ей это по ндраву; почему что, когда мы выходили от приказчика, она на меня: «Живи, говорит, Петька, да не тужи»,— это она-то ему,— и ухмыльнулась... Она его все Петькой называла. «Что ж ко мне, Варвара Борисьевна, часто будешь ходить?» — спросил он ее. Она опять засмеялась, да и сказала: «Разя на деревне баб мало, окромя меня?»

— Вор-баба,— произнес купец, разевая рот и осеняя его крестным знамением.

— Что и говорить, кормилец! — продолжала старуха, утирая нос рукавом,— какая вор-то; вот послухай. Ну, это она живет у приказчика; а я забыла сказать: старику моему не совсем хотелось отдавать ее; еще перед этим он говорил: «Не годится, мол, отпускать»; да и тут же баял, что поперечить приказчику не ладно: пожалуй, ссору заведешь с ним — и не приведи господи... Он же у нас был зелье такое... теперь его сменили. Ну, живет она у него месяц, другой,— глядим, баба переменилась, право! Словно вот тебе другая стала: разбитная такая... в курагодах, в гульбищах бесперечь... поет, пляшет... просто совсем другая; а запреже с ней и этого не бывало. Только вот что сделалось... одна беда: Петрушу она совсем кинула.

Старуха замолкла.

— Вишь... это, изменила... Ну, ну,— проговорил купец,— скажи-ка ты мне: приказчик холостой был али женатый?

— То-то что нет, кормилец.

— Смекаю...— сказал купец, доставая третью сигару.— Ажно ль вор и приказчик; штука, я вижу...

— Известно,— продолжала старуха,— наше дело темное... кто знает?.. я уж тебе буду говорить по порядку, как было: знамо, судить — не наше дело; а что одно я знаю, желанный мой, Петруша пошел ни за что.

— Рассказывай, рассказывай!

— Вот ладно. Не забыть бы тебе: у меня был другой сын, меньшой, я тебе говорила; он был в то время парнюгой,— Григорьем звали. Важнейший был; только, как бы тебе сказать, угрюмый такой завсягды. Тот-то веселый; а этот, кормилец, нелюдим больше: николи он не причешется и умывался редко. Бывало, перед праздником говоришь ему: «Ты бы, Гриша, подрезал виски-то, вишь какие лохмы, да причесался»; тряхнет головой, бывалыча — и вся недолга. Не любил чисто ходить; а славный

был сынок, соколик мой ясный: николи грубого словечка не скажет. И с тем-то братом, с Петрушей-то, жили они душа в душу — неразрывно: куда один, туда другой. Тот, старший, на задворке, бывалыча, сидит, санки строит да прибаутки читает, а этот супротив его... Придешь к ним, они как раз перестанут балясничать и оба примутся за работу; да я все видела, все знала, что они делают. Вестимо, сударик, мать: своему детищу не чужая. Голубчики мои, лебеди мои, оба спорхнули, улетели, бог ведае куда. Оставили мать-старуху мыкать горе... Господи, царь небесный!..

Рассказчица отерла свои глаза концами головной тряпицы.

— Вот как сейчас вижу их,— произнесла она и замолчала.

— Известно, дело материнское... жаль...— сказал купец.— Так что же приказчик-то?

— Сейчас, кормилец,— продолжала старуха.— Ну вот, что бишь?.. Варвара-то сначала ребенка у себя на барском дворе держала; а то однова, праздником, принесла его к нам в люльке и говорит: «Пускай он у вас будет; мне неколи за ним ходить: работищи пропасть, говорит, с утра до ночи ног не слышу». Мы взяли ребенка: худищий такой сделался, зачиврил вовсе. То ходить было начал, когда у нас был; а то поставишь его на ножонки, а он так и гнется, так и подгибается, как плетка, сердечный,— рубашка на нем закорюзла. Старик тут сказал невестке: «Ты, мол, наведывай ребенка-то, да не забывай, что у тебя и муж тут». А слухи, кормилец, пошли нехорошие: кто е знает... начали болтать на боярщине разные разности. О ком толк? Все, бывалыча, об нашей невестке: в приказчицы, говорят, попала, такая-сякая... кастят ее ни на что не похоже. Петруша приуныл; ходит повеся голову. Только однова старик и говорит ему: «Не сходить ли, Петруша, к приказчику, да не взять ли бабу-то?» А Петруша молвил: «Хорошо, как даст он ее теперича». Тут старик как гаркнет: «Как, говорит, не даст? Я ее насилкой вытащу оттуда».— Так и расходился старик-от мой. Это с ним бывало редко: знать, задело за живое... а уж ума... ума палата... перед господом... уж такой-то был ум, что и-и-и... я его смерть боялась: так-то...

— Дело известное, муж...

— Как же можно, сударик, знамо... Вот Петруша говорит: «Нет, батюшка, не тронь ее: почем знать? можа,

она и ни в чем не повинна; мало что говорят... мужик дурак: соврет, и слухать нечего. А вот, говорит, я буду подсматривать за ней; уж во что ни станет, всю подноготную открою». Старик промолчал.— Опосля я узнала, что Гриша — меньшой-то — сделал вот что: я говорила тебе, что они с Петрушей жили душа в душу, ну, и стакнулись, должно, между собою: каким ни было побытом разведать все. Так Гриша, я узнала, сделал что же? Раз зимою, только что выпал второй, не то третий снежок, он пришел на барскую кухню к невестке, известно, проведать,— пришел, да и залег на печку; говорит, издрог до смерти, сем погреюсь.— Приказчик был дома; невестка сидела за столом, вышивала подзатыльник и потихоньку наигрывала песню. Вот Гриша лежит, да и высматривает: не придет ли в кухню приказчик, да не выйдет ли чего? А притворился, что спит,— уж он не раз так делал, да все не удавалось, что ли, не знаю, а тут случилась какая оказия: вдруг входит в кухню приказчик; высокий был такой; прямо осмотрелся кругом и подходит к невестке, а сам ухмыляется и ловит ее... хочет обнять; то-то грех, кормилец...

— Это приказчик-от?

— Да, он.

— Затейник ажно ль был; нечего сказать. Ну, что же?

— Только невестка вдруг заморгает ему... так, вишь, и встрепенулась — и указала рукой на печь.— Он, приказчик-то, повернулся, глянул на печь и вышел вон. Гриша как раз, не будь дурен, прибежал к Петруше, да и все рассказал. А мы эвтим делом с отцом ничего не знали. Слышу послышу, Петруша уж был у приказчика, отпрашивал Варвару. Дело было так: пришел он к нему и говорит: «Петр Семеныч! отпустите, говорит, жену, не терзайте моего сердечушка, что вот так и так...» Приказчик только послышал эвти речи, как затопает, как загорланит: «Как, говорит, что?.. пред кем ты?.. смеешь... зазнался, говорит, захрюкался...» — да так его в шею и прогнал, совсем прогнал.

— Ну, а что же старик-то?

— Дальше, больше, тут перед заговеньем старик мой захворал: горячка сделалась; одно к другому. Петруша мой совсем руки опустил, словно кто ворожбу навел на него: мрачный такой. Глядь-поглядь,— слышу он побил жену. А за что побил? Известно, как, разузнамши все ее шашни-то, стал говорить ей, чтобы она сама сошла от

приказчика; а она и говорит: «Мне и тут хорошо»; он начал ее ругать, выпытывать у ней, правда ли, что она живет с приказчиком, ай нет?.. Согрешенье, сударик... увещать стал, это счунять; а она отвернулась от него, ругнула и пошла: «Харя твоя дурацкая, говорит, шут тебя скудахтал, дурака этакого». Он, вишь, стоял, стоял, да как пустится за ней, истованный тот... догнал ее у барской конюшни и давай буздать... что сделаешь, касатик? И поколотил ее; поколотил, желанный ты мой, да и закаялся: уж как за это ответил-то, господи!.. Заутра приказчик призывает его к себе: «Ты как, говорит, смеешь бить жену? Знаешь, она тебе закон, то, другое...»

Вот... а старик все лежит; лопочет бог ведает что; горячка, вестимо дело, нешто она шутит; изведся, бедный, словно сухая былинка. Вот, кормилец мой, смотрю: наране Петруша пропал, сгинул совсем... ни дома, ни на боярщине — нигде нетути: пропал... Проходит день, все нетути; я спрашиваю у Гриши: «Не знаешь ли, куда подевался?» А он: «Сам, говорит, ума не приложу»; староста приходит, спрашивает: «Куда того...» — «Сами, говорим, не знаем».

Только однова, поздно вечером, сидели мы вдвоем: я старику давала пить, а Гриша шлею чинил. Откуда ни возьмись, входит Петруша, хмельный, расхмельный,— и так вот его и швыряет в стороны. «Здорово, говорит, матушка-кормилица, как живешь?» А сам все шатается по избе. Мы ему тут инды как обрадовались; Гриша вскочил это, бросил шлею и прямо к нему... Петруша говорит: «Давай, Гриша, поцалуемся». Стали цаловаться. Потом подошел ко мне и со мной поцаловался. Я ему говорю: «Где, мол, Петруша, пропадал?» А он махнул рукой и молвил: «Там гулял, говорит, матушка, куда ворон костей не заносил». Я вижу, что допытаться у хмельного трудно, не стала спрашивать, а только сказала: «Поесть не хошь ли, Петруша? Чай, проголодался?» — Мы о ту пору хочь и поужинали, а я тогда в залавке на всякий случай спрятала картох; да, признаться, и есть-то было некому. Он говорит: «Нет, матушка, картох я не хочу, а вот спать хочу». Мы: «Ну приляг, говорим, себе, приляг, касатик». Он брякнулся на хоры — это подле отца — и захрапел. А две недели пропадал. Приказчик про это знал; да как не знать? И раза два уж посылал старосту искать его; но, знамо, не нашли. Он все бродил по постоялым дворам, а то больше по заводам. Недалече от нас тут заводы: один винный, а другой сахарный.

— Так он на винном больше? — сказал купец, заслоняя ладонью рот, чтоб унять зевоту.

— Право слово, не знаем, кормилец; может, больше и на винном.

— Так что же? ты говоришь, он пьяный пришел.

— Да, да, пьяный. Лег он это заснуть, уснул; немного годя и мы легли. Ребенок у нас о ту пору не кричал, здоровенький такой был: поправился, живучи у нас, и спал он со мною. Ну полеглись все, старик все лежит в забытьи: нет, нет — да и забормочет... Вот рано-ранешенько встаю я; слышу, вторые петухи... оделась это, засветила лучину, подхожу к хорам — хвать, Петруши нет. «Господи, батюшка, не ушел ли опять? — думаю себе.— Разя на задворке? да зачем? незачем бы ему туда: еще рань какая...» Одначе я не утерпела: взяла, накинула полушубчишко и пошла на задворок. Темно, никого не видать; я на задворке-то давай его кликать, это гаркнула разов пяток: мол, Петруша, а Петруша!.. нет, не откликается, и нигде ничего не шелохнет... только куры спросонья трюкают... как мне стало тошно! перед господом богом... скука одолела такая...

Рассвело. Петруши все нет; Гриша пошел его искать; искал долго — не нашел. Вот тут, кормилец, подступило к нам такое горе, такое горе, что и-и сказать нельзя... вишь ты: на другой день, это, значит, после второго побега моего Петруши-то, на барском дворе у скотницы пропали деньги, и диви бы маленькие... ажно триста рублев. Э-э... ну... того... скотница эта, старушка, бог с ней, была добрая такая и бережливая.

— Откуда же у ней такие деньги?

— Вестимо, касатик, копеечками собирала: то вытчет холсты кому, выбелит, то тальки прядет, бывалыча, на сторону, и что дадут ей за работу — она все в сундук да в сундук; в холсты завертывала. А все это она для своей дочери: дочь была лет уж, почитай, двадцати; только сватались за нее как-то плохо; не то чтобы она, как тебе сказать, была полуумная; а вот с дуринкой больше, но смирная и работящая, нечего таить. Ну, пропали деньги, сгибнули совсем и невесть куда. Скотница тут сейчас к приказчику жалиться... что так и так, сударик, пропали; а сама и-и плачет, и-и голосит. Как же можно,— жалко, родимый. Только приказчик выслушал ее и говорит: «Ступай, я знаю, кто это поддел...» Смотрим, он пишет к барыне в Москву, что вот мужик Петр, говорит (мой Петруша-то), блажит, распутничает, бьет жену, пьянствует,

находится в побегах. В другой, говорит, побег,— в тот денек, когда он убежал это,— у скотницы пропали триста рублев, ну и там... что окромя некому: все мужики, говорит, хорошие: только вот один напался блажной; его надыть в солдаты беспременно. Известно, сердит был, родимый ты мой; гнал, что ни на что не похоже. Сколько раз добирался до него,— говаривал старосте: «Найди, мол, ты мне его; пропасть ему некуда...»

— Однако того...— сказал купец, выгибая спину и заводя руки за затылок,— не пора ли на боковую...

— Чай, день-то нахмытался, касатик,— проговорила старуха с видом участия.

— Досталось. Пойдем, бабка, в избу; холодновато, кажись. Я вот в тулупе озяб, а тебя, чай, в кафтанишке пробирает напорядках. Пойдем погреемся.

— И то, родимый. Оно, вестимо, наше дело крестьянское: иногды бывает такая стыть... знамо, привычка... а студено и теперь: напуще вот ноги *околели*...

На улице совсем стемнело; дождик перестал; только слышались с крыши капели. На селе в разных местах мелькали огоньки. Старуха и купец пришли в избу; в ней у стола ярко горела лучина, воткнутая между зубцов длинного светца; на лавке у окон сидела дробненькая девочка лет тринадцати в запачканной рубашонке и держала на коленях беловолосого жирного мальчика в ситцевой рубашке: он ел из горшочка молочную кашу, кривлялся и поминутно съезжал с коленей своей няньки.

Старуха, поклонившись на все четыре угла широкой избы, медленно села на край коника.

Купец снял с себя тулуп, положил его на хоры и, оставшись в одном жилете, из-под которого выбегала в складках дикая ситцевая рубашка, проговорил: «Господи, благослови!» — и завалился на боковую.

У печи в это время хозяйский малый с широким лицом, обложенным пушистой бородой, в полушубке и с палкой в руке — вел разговор с бабою над лоханью с помоями.

— Ну, чего ты гогочешь? — говорил он бабе, закрывавшей свои губы передником.

— О, провалиться тебе! — щуря глаза, бормотала баба.— Хи-хи-хи, ну, уж... ха-ха... бедовый, право слово.

— Так вот тебя и поддену палкой-то,— говорил малый.— Вишь, скалит зубы, как кобыла на овес... ну, что же ты?..

Баба закатилась со смеху.

— Бери, что ль, палку да поддевай, тебе говорят, лоханку-то. Понесем.

— Как я поддену? ишь ты, не даешь... О! да домовой те расшиби,— о-о-о... ха-ха-ха...

В это время вошла в избу хозяйка с подойником в руках. Баба с малым в одну минуту подхватили лоханку и понесли ее на двор.

— Посиди, Кузьминишна,— сказала хозяйка старухе, снимая с бруса ситцевый передник.— Вот иду доить; коровы только закусили.

— Хорошо, матушка, посижу, родная моя: мне спешить некуда.

— Кто это? — внимательно разглядывая купца на хорах, проговорила хозяйка.

— Я,— произнес он, выставив кверху одно колено и держа правую руку поперек лба.

— Это Иван Осипыч. Да что же вы тут легли? вы бы в горнице: там есть кровать.

— Ничего, все едино; да я еще не совсем размундирился; полежать вздумалось, не больше того... после, пожалуй, перейду в горницу.

— В горницу перейдите; вас тут прусаки поедом съедят... намедни как-то я легла на печке... все ноги изъели... пятнами, пятнами... особливо это место...

— Ваш хозяин куда это пошел? — спросил дворничиху купец.

— Да кума проведать, Ивана Орефьича, на ту сторону.

— Чудачина,— произнес купец.— Сейчас он со мною встретился в сенях; значит — темь хоть глаз выколи... и не узнает меня: щупает руками и спрашивает: «Кто это такой?» — «Я».— «Кто ты?» — «Да узнай»,— говорю. Он теперича и принялся перебирать: «Гаврил Сидорыч, там... Семен Захарыч». Я ему: «Эно куда полез, говорю, а еще арихметчик... своего постояльца не узнает».

— Гм...— произнесла хозяйка,— он у меня такой... тоже иную пору и меня не узнает, когда в сенях придется; обыкновенно, темнота...

Вскоре хозяйка вышла.

В избе настала тишина; у стола по временам шипели в ведре горячие оскретки, падавшие в него с нагоревшей лучины. За печкой однообразно чирикал сверчок.

Купец зевнул во весь рот.

— Что ж, старуха, замолкла? — сказал он, наконец.— Досказывай, чем кончилось дело.

— А спать-то разя не будешь? можа, я тебе помешаю?

— Ничего; я не засну еще долго; рассказывай.

Старуха кряхнула и начала:

— Ну, слухай, касатик. Вот видишь ты это, я тебе сказывала, приказчик написал барыне письмо, как триста рублев пропали.

— Да, да, ну?..— произнес купец, поворачиваясь на бок и подкладывая руку под голову.

— Так вот дела какие: написал он. Петруши все нет, пропал, да и шабаш. Вот опосля крещения, слышим, снаряжают старосту, десятского, с ними мужиков — человек шесть — искать Петрушу. Мы думаем и дивуемся: что, мол, это значит? Вдруг заегозили, искать да искать. Ну, это поехали они; на дворе уж было голомя. Глядь, часа через два — везут его, голубчика, на санях, и прямо к барскому двору. Мы так и всполошились: скорей бежать туда... Гриша мой давно там; а я, известно, дело старое, ковыляю полегоньку; хоть и рада бы душенькой добежать поскорееча, да ничего не сделаешь. Подхожу к приказчикову дому: батюшки! народу целый полк; я это спрашиваю: «Где он, Петруша-то?» Говорят, у приказчика. А тут парни и мужики голдят мне: «Ну, бабка, прощайся теперь, Петрухе несдобровать: деньги украл. И диви бы, говорят, мужик блажной, а то смирный мужик: никто не чаял от него даже вот тебе дурного слова». Я... ах ты, господи... неужли это правда? а самое вот так и подмывает, так и подмывает; сердце вырваться хочет; тошно как, и-и... я спрашиваю: «Где его нашли?» Говорят: «Вот тут, за лесом идет по дороге».

— Куда ж это он шел?

— То-то я сама спрашиваю: «Куда ж он это шел?» — «А кто знает, говорят, можа шел и сюда, в село». Только промолвили это мужики,— вижу: он выходит из приказчикова дома, сходит с крыльца и вот худищий, прихудищий, узнать нельзя: голову повесил, смотрит в землю, а по бокам идут староста с десятским. Я сейчас бросилась к нему и так и заголосила на всю улицу. Он, Петруша-то, говорит: «Не плачь, матушка, не плачь!» — эхма!.. ну, того... а я знай голошу. Тут староста говорит: «Садись, Петруха, я тебя довезу до двора». Он сел и баял мне: «Садись, матушка, вместе». Я прилепилась на наклеске, а сама залилась... и поехали. А с нами, не забыть бы тебе, ехал еще мужик — Фролка, высокий такой, здоровый: говорят, дубы с корнем дергал, когда был навеселе. Сошли мы с саней, приехали-то; староста говорит этому Фролке: «Останься, мол, здесь с Петрухой: приказчик велел его караулить».

Фролка с нами идет в избу, я смотрю... а у самой рубашка так и дрожит. Пришли мы в избу. Петруша помолился образам, поклонился нам, а мы ему поклонились. Дальше он обернулся к хорам и говорит: «Батюшка не выздоравливал?» — «Нет, говорим, сударик»; а старик весь в жару, так и мечется; одежу всю скопал. Петруша посмотрел, посмотрел, глянул на ребенка,— ребеночек-то спал на загнетке,— сел на коник, облокотился на стол и, что ни есть мочи, залился слезами... так вот его и колышет; как река льется, сердечный, инды страсть глядеть... горя-то, горя что видели, кормилец, не приведи господи! Годя немного я спрашиваю у Фролки: «Что, дескать, родимый, зачем это Петрушу брали к приказчику, что он ему говорил? беспременно тут что-нибудь есть».— «Да аль не знаешь, говорит, его в солдаты везть приказано? от барыни пришел приказ». Батюшки! как услыхала я это, так и не помню... словно он меня дубиной шарахнул. Подбежала я как раз к Петруше, повисла ему на шею и закричала благим матом: «Петрушенька, родимый ты мой, золотой ты мой! что с тобой хотят делать?»

Перед вечером,— о ту пору мы все были дома,— Петруша маленько остепенился, не плакал; а только все сидел, закручинившись, и бесперечь вздыхал. Я подхожу к нему, изобрала времечко, и говорю: «Петрушенька, касатик, не терзай ты моего сердечушка, скажи правду: ты взял деньги у скотницы ай нет? скажи, родной, я так и буду знать». Он, голубчик, поднял голову, глянул на меня, а слезы так и брызнули из его глазушек... «Эх, матушка, говорит, матушка! знает одна моя грудь да подоплека, что я вынес за напраслину... бог с ними»,— говорит и махнул рукой. Ну, ничего... что бишь?.. вот в сумерках посылаю Гришу к Варваре на барский двор, чтобы она пришла сюда к нам, последний вечерок хоть провела с мужем да помогла мне замесить лепешек, курицу ощипать ему на дорогу. Теперича, стало быть, Гриша сходил на барский двор и говорит, что не застал ее. Маланья, старуха там проживала,— Маланьей звали,— говорит, что кажись, пошла в горницу к приказчику; «А я,— это Гриша-то,— ждал ее долго, да не дождался». Только Петруша на это и молвил: «Пускай уж, когда так, лучше не приходит,— не надыть»,— она вечером так и не пришла. Вот перед тем, как зажигать лучину, Петруша говорит Фролке и Грише: «Ну, ребята, прощайте. Бог знает, коли увидимся. Знать, пришла неминучая, говорит... пойдемте, так и быть, ребята, напоследках к Акулине...» — и взял

шапку; Акулина, солдатка, шинок в то время держала от нас через два двора. Я... «что ж, голубчики, сходите себе!» уж рада, что Петруша, можа, на время забудет горе; а деньжонки были: мы уж успели взять три целковых у десятского под жеребенка-стрыгуна. Я говорю: «Подите себе». Фролка молвил: «Как бы приказчик меня не увидал с вами в шинке-то?» — одначе ничего, пошел. Осталась я одна в избе: жуть после них такая... вот сем, думаю, потороплюсь, просею муку; хватилась — ночевок нет; поскорей надела чекмень Петрушин и пошла к соседке, чтобы кстати занять у ней яиц. Ну, там поговорила это с ней, поплакала и прихожу опять домой; скука такая, смерть... помню, отворила дверь, а мальчик-то проснулся, стоит подле двери, держится за притолоку и кричит, зовет меня, уж собирается плакать. Я взяла его на руки, и как мне его жалко было!.. дала ему яичко в руки забавиться и посадила его на лавку; а сама стала вытирать чугуны. В избе глушь, никого нет; только сверчок за печкой жужжит да старик иногды залопочет... Припомнила я, вот так-то одна останусь, каждый день все так-то будет: все никого нет да нет. Старик не надежен, Петруша скоро сокроется с моих глаз — и замерещилось мне тут: как его повезут, покатит он невесть куда, в дальнюю сторонушку... давай я плакать; вытираю чугун и голошу, вытираю и голошу... Э-эх... а мальчик-то сидел, слухал, слухал, да как себе.

— Верно, смыслил, каналья, мальчик-от!

— И-и... где? еще несмыслечек был... вовсе махонький... ну, в это время вошел Петруша с мужиком и Гришей; увидал, что мальчик плачет, и говорит: «Чему ты, Федя? не плачь, братик». Вижу, хмельненек. Взял он его к себе на руки, да: «Ах затянем, говорит, ребята: «Сидит ворон на березе»? — любимая, бывалыча, его песня: вчастую все поет, как «пропадать тебе, мальчонка, в чужой дальней стороне; ты зачем это с своей родины бежал, ни у кого не спросился, окромя сердца своего, бросил мать свою...» — да и тут же раздумал: «Нет, говорит, что-то не по себе, лучше даром...» — и опять задумался. Фролка все у нас: известно, приставлен караулить; а Гриша около печки стоит, все смотрит... он о ту пору не пил ничего; а ходил с ними к Акулине так: все от Петруши-то отстать не хочется; вестимо, последний вечерок с ним проводит. Поужинали мы тут, тихо таково, скучно... сбираемся спать; Петруша стал раздеваться... «Ах, говорю, Петрушенька, забыла я тебе на ночь принести рубаху, кормилец ты мой,

Что сделаешь? Из ума вон». Ну, эвтим делом полеглись спать; я, почитай, всю ночь глаз с глазом не сводила. Пропели первые петухи; это слышу все. Старик так и мечется, кричит, что не след: перед зарей ему всягды хуже было. Вот вдруг слышу, кто-то стучит в окно; глядь, Петруша слезает с печи; а он, сердечный, тоже не спал. Я говорю: «Куда ты, Петруша?» Он: «Да вишь, говорит, стучит кто-то, пойтить отворить» — и пошел. А это староста; и дает Петруше приказ, чтобы он на рассвете был совсем готов, что лошади под него будут. Петруша входит в избу и говорит: «Матушка, ты бы печку затопила»,— а сама слышу, он плачет. Как мне подступило вдруг тошно: душа с телом расстается... Ну, как раз я затопила печь, все поднялись; я это суечусь как угорелая: принесла из пуньки рубах, трое чулок, говорю: «Переоденься, Петруша»,— и поставила ему отцовские сапоги: они были покрепче. Он стал одеваться; Гриша ему помогает, а сам утирает глаза; потом они оба примутся говорить между собою полегоньку. Я смотрю на них, так-то рогачом подперевшись, а у самой слезы, слезы... перед господом богом... просто руки и ноги подкашиваются. Вестимо, кормилец, разя шутка?.. Соколы вы мои дорогие, голубчики сизые, где вы, касатики мои? По белу свету, на чужой сторонушке бродите... Оставили меня, горемычную, беззащитную...

Старуха заплакала.

— Так что же? — произнес купец.

— Сейчас, кормилец...

Молчание.

— Вестимо,— продолжала старуха,— разя не больно: свое детище всякому того... что бишь я?.. ну, это Гриша себе стал сбираться, говорит: «Я провожу Петрушу до города». Я ему сказала: «Ты бы, касатик, у приказчика спросился, а то серчать станет, еще неравно побьет». Гриша пошел к приказчику, увидал там Варвару и наказал ей, чтобы она пришла проводить Петрушу. Немного годя они оба с Варварой приходят. А приказчик в то время еще не вставал: как быть? мы послали Гришу к старосте, хоть у него спроситься, староста говорит: «Не мое дело». Петруша и сказал: «Собирайся, не бойсь; брата да не проводить? Авось он едет не куда-нибудь на праздник; ступай, говорит,— запрягай свою лошадь,— поедем». Гриша взял и пошел. Ну, это к нам пришла невестка; пришла, помолилась образам, поздоровалась и стоит у двери, словно чужая; вестимо, уже одичала. Вот Петруша ей говорит: «Прощай, Варвара Борисьев-

на! не поминай лихом». Она молчит. «В солдаты разгуляться едем...» — это он-то ей. Она все молчит. «Так-то, говорит, теперь ты на слабоде... одна, погуливай...» Она знай молчит, голову повесила. «Эх, говорит, загубила ты меня! не миновал-таки неминучей дороженьки... оставайся, бог с тобою! верно, доля моя такая...» Глядь, она и прослезилась,— право слово! верно, в укор пришло. Дальше он ей говорит: «Поплакать у меня есть кому, вот что; да слезы, вишь, не помогают горю»,— и замолчал. Тут вдруг старик опомнился; просит пить; опомнился и того... это с ним бывало редко: почитай, все лежал в забытье. Правда, он приходил в себя и запрежа, вот когда Петруша бегал, да все ненадолго. В то время, бывалыча, я ему толковала: «Петруша, мол, бегает невесть где»; а он скажет: «А?..» — и смотрит... «Петруша бегает, слышишь?» — «Кто это?» — спросил он. «Петруша».— «А-а-а...» — и опять в забытье, опять забормочет. Вот и тут тоже: опомнился он, я подаю ему пить и говорю: «Простись с Петрушей-то!.. едет в чужую сторону,— благослови его, простись»,— говорю. Петруша подошел к нему и баял: «Прощай, кормилец батюшка! должно, николи тебя не увижу,— прощай!..» — обнял отца-то и зарыдал. Старик только проохал и залепетал, как ребенок, по-прежнему. Петруша стоит, плачет над ним, совсем убравшись. «Вот, говорит, и благословить некому».— «Поди, говорю, поди, касатик мой,— сама тоже голошу,— поди я тебя благословлю, все равно, и за отца и за себя». Сняла с божничка два образа и благословила его. Тут слез было, желанный мой, тут слез, что и-и... плачу сколько было... только входит вдруг староста и говорит: «Что, совсем?» — «Совсем, сударик».— «Ну, с богом!.. Лошади приехали... помолись, говорит, Петруша, да и ступай». Эх, пришла, родной ты мой, последняя минута. Петруша как обхватил меня, так и замер... «Прощай, говорит, матушка, родная моя! не оставляй в молитвах». Я уж тут ничего не помню. Помню только: вышла я на улицу — на дворе метель такая была; Петруша сел это; санки покатились, заехали за плотину. Он сидит да машет мне, машет шапкой-то, все машет, дескать... ну! все машет... Гляжу, и совсем скрылись. Грохнулась я наземь и долго годя очнулась, когда меня принесли в избу.

Соколик ты мой! Вот другой год и весточки не шлет,— заключила старуха, потупилась, крепко зажала рукой глаза и зарыдала.

Долго раздавался в пустой избе ее глухой, бессильный

плач. Длилось молчание; купец продолжал лежать навзничь; сидя на лавке под окнами, в которые равномерно барабанил крупно дождик, спала девочка, запрокинув к стене свою голову.

Лучина начинала гаснуть; старуха, как будто очнувшись, наскоро отерла полой зипуна свои глаза, поправила светец и села на прежнее место, поддерживая концы головной тряпки у своего подбородка.

— Охма-хма... Я тебе говорила, что если бы старшего не отдали — и младший не пошел бы. Оно так вот и приключилось. На другой день, после отправки Петруши, старику сделалось так плохо, так плохо, что и сказать нельзя: охает, мечется в разные стороны, то туда бросится, то сюда. Вижу, дело не ладно; пошла за священником. А Гриша еще не оборачивал из города. Не то чтобы было далече, а он там дожидался, пока Петруше забреют лоб. Ну, ничего; сходила за священником. Пришел причт. Исповедовали старика, дали глухую исповедь, причастили, особоровали. Перед обедом он богу душу отдал — царство ему небесное! Какой был старик-то... Ума сколько, право слово... я его смерть боялась.

Что ж? мы жили с ним хорошо. Ну, вот мы похоронили его. Гриши все нет, и помочь было некому. Невестка как проводила мужа, так ни разу и не пришла ко мне. Я к ней тоже не ходила. Позвала я тут родных: все больше кумушки у меня, куманьки там... сватьюшки. Аграфена Федоровна Ухабовская была, это Егор Петрович, Анна Егоровна — дьяконица. Много было народу, всех не пересчитаешь.

Вечером, опосля похорон-то, гляжу это, приезжает Гриша. А ему уж сказали там на селе, что, мол, отец твой помер. Вот он не отпряг еще лошадей, летит в избу, сердечный. «Матушка, говорит, батюшка помер?..» — «Помер, говорю, голубчик мой, соколик ясный, помер. Видно, на то воля божия...» Он посидел, посидел за столом, потом как махнет рукой: «Эх!» — говорит,— и ушел из избы. Закручинился малый,— беда, закручинился как...

Проходит месяц, другой. Мой Гриша в избу, почитай, отвык ходить; только ночевать придет. А то сидит на огородах али в овин забьется — и кто его знает, что он там делает? Вестимо, должно, все плачет. И Петрушу-то жалко, ведь, бывалыча, шагу без него не сделает, и отец-то помер — поневоле запечалишься да [illegible].

Дальше-больше, проходит весна, [illegible] Гриша в одном положении. Бывалыча, [illegible] «Что

ты, Гришенька, того... горем не поможешь..» — куды!.. малый как раз возьмет и уйдет. Вот наступила осень; свозили, убрали рожь, овес. Только слышим — что ж слышим? — скотницы деньги нашлись. И не то чтобы нашлись совсем, а разведали, что их украл конторщик. И каким побытом?.. Тут-то мы вспомнили Петрушу... Ах, мол, Петруша, Петруша! сгиб понапрасну. Ну... дело было вот как: повадился конторщик ходить к скотницыной дочери. А она, я тебе баяла, с дуринкой; была такая нескладная, бог с нею, девка; окромя там, известно, работы, чего другого... Вот повадился. Ходит раз, другой к ней и прочухал, что у ее матери есть деньги. Можа, сама дочь же проболтнулась ему про них. Он стал ее замасливать, уговаривать, что я тебя замуж возьму, пятое, десятое... Девка поверила и, должно, тут как-нибудь проболтнулась, что деньги в холстах. Он, не будь дурен, и схапал их. Обыкновенно, не наше дело осуждать,— бог с ним; да вот Петруша-то пошел ни за что, как есть. Враг ажно ль силен. Тут все мужики так и ахнули; все вот наповал толкуют про Петрушу, перед господом богом. «Ах, Петруша, Петруша!» Бывалыча, придут ко мне, говорят: «Срезали твою головушку ни за что ни про что». А больше озлобились все на приказчика. Известно, дело прошлое; а ведь и вправду он всему виной.

Только что после этого прилучилось, родимый ты мой? — такая беда, такая сокруха, что и на поди... Гриша... то-то молодость, обыкновенно, неопытность — незнайка... что бы так, того... а то... видишь ли — он, Гриша-то, горевал, горевал по брату да по отцу-то,— ну, вдруг, как узнал, что деньги нашлись, что Петруша изведал напраслину, думать, думать, да и задумал... о, ихма, ихма... Ну, я тебе баяла, что он почитай со мной не сидел дома, а бродил невесть где. Вот однова сижу я долго вечером,— пряла; сижу и думаю: «Где ж, мол, это Гриша? бывалыча, он приходил ужинать, а теперича давно ночь на дворе — его нет. Да сем, думаю, закушу одна; ему оставлю». Только я и поужинала без него, убралась, стало быть: потушила лучину, а сама легла спать. Признаться, мне тогда вовсе не спалось: дума одолела, и тут же зубы болели; так, бывалыча, и ноют... Вот лежу я, не сплю; уж за полночь дело, слышу: кто-то колотит в дверь, так колотит, что вся изба трясется; поднимаю голову: пуще, пуще... Сейчас вскочила я, вынула из горнушки лаптенки; пока обулась, пока что... никак ничего не сыщу. Выбегаю в сени, отворяю: что ни есть мочи кричит какой-то мужик:

«Бабка! твоего сына поймали!..» — «Где поймали, как?» — «На барских скирдах... поджигать хотел.— Ну!..»

— Что это ты такое рассказываешь, Кузьминишна,— входя в избу, сказала дворничиха.— Вот тебе творожку и молочка. Возилась, возилась, тряс ё расшиби...

— И-и, желанная ты моя! дай бог тебе здоровье, касатка моя,— воскликнула старуха, с неизъяснимым выражением благодарности глядя на горшок с чашкою в руках хозяйки.

— В закутах грязь какая ужастенная... проходу совсем нетути. Как ты пойдешь, Кузьминишна? дождик полил словно из ведра.

— О-о...— произнесла старуха, покачивая головой.— Небойсь сильный?

— Да, силен. Что ж это Иван Осипыч так и не пошел в горницу; ишь растянулся. Иван Осипыч, Иван Осипыч! — толкая купца, твердила дворничиха.— Прусаки вас тут поедом съедят.

— Аль он заснул? — спросила старуха.

— Да, вишь, как заснул, и не растолкаешь. Иван Осипыч, Иван Осипыч, эй, Иван Осипыч!

Дворничиха дотолкалась-таки до того, что купец забормотал: «Рассказывай, рассказывай! я слышу»,— и повернулся к ней спиной.

— Вестимо, намаялся, сердечный,— проговорила старуха.— Чай, все в дороге да в дороге, нешто она шутит?

Через минуту старуха, попрощавшись с дворничихой, вышла из постоялого двора.

1858

ПОРОСЕНОК

— Вот к слову пришлось, Аксинья Тихоновна, про воров-то... дом-от яма, гляди прямо... У одного мужика была лошаденка, лядащая такая: все, бывало, на огородах и днюет и ночует. Приходит к ней вор ночью. Видит, нечего взять, живот плетень плетнем, ног не волочет. Подумал маленечко, да и говорит: «Сем, штуку выкину»,— и зажег ей хвост. Как ты думаешь?.. известно, лошадь со всех ног бросилась куда глаза глядят. Вор за ней, кричит: «Берегись!..» — а огонь так и развевается.

— Царь небесный!..

— Да-а-а!.. вот что делают озорники. Говорит пословица: «Кошке игрушки, а мышке слезки».

— Точно-с... точно-с... Что же, Федосья Николавна, лошадь-то жива осталась аль уж где?..

— Жива... поди! на другой день ноги протянула.

— Грех какой!..

— А вечор она убежала на большую дорогу. Там ее и нашли. Говорят, ехали о ту пору чьи-то господа, глядят: что за полымя такое?.. Верно, салом каким намазал, разбойник: долго горело... Это лошади господские как увидали, что мчится огонь навстречу, так и бросились в сторону, насилу кучер сдержал.

— Насилу сдержал... чего не бывает, Федосья Николавна, на белом свете! Я думаю, это все по злобе... Вот тоже, говорят, в Осинках, когда еще покойник был жив, мерина удавили...

— Воры?..

— Полагают, что воры. А вестимо, дело божие... под самый перемет подпихнули-с... вон как!..

— Э! не скалозубят ли, Анисья Тихоновна? вор скореича сведет животину долой со двора, чем того...

— Думают, так точно сделалось... одначе кто знает? А вот, Федосья Николавна, я вам расскажу сущую правду

про вора... Со мной случилось... Только никакой особенности не было... украл, и вся недолга... про поросенка-с... Ей-богу! Сказать?..

— Ну-ко, ну-ко... я послушаю.

— Извольте послушать. Знаете, у меня прежде, при покойнике, существовали свиньи, то есть как снег белые,— господь с ними,— таких завсегда поросят жаловали, что ни на есть самых лучших: с дивушки дашься; провалиться, не вру...

— Я помню...

— Право-с. Теперь, стало быть, поехала я, осенью, поросят продавать в город В... я, и Агап мужичок со мной... поросятенок пяток всего взяли. Вот, мать моя, приехатчи в город, сейчас остановились на хлебной площади. А народу там, знаете, в базарный день бесчисленное множество-с... додору нет. Вы, чай, бывали там?..

— Как же, бывала.

— Хлебушек продавали-с?

— И хлебушек продавала, и по разным оказиям всяческим...

— Так изволите видеть: остановились мы на площади, отпрягли лошадь. Агап мне говорит: «Анисья Тихоновна! я пойду ведерочек купить».— «Поди, говорю, поди купи». Он и ушел.— Слышите? осталась я одна: села на телеге с плетушкой и сижу с поросятами. Вокруг меня эвто торговки всякие с пирогами, с грушей горячей, мужики, купечество разное, с посудой, кто с чем. Я взяла подтыкала платье-с и села, ожидаю покупателей.— Вскоре, сударыня ты моя, подходит ко мне купчик молоденький такой, щеголек, подходит и спрашивает: «С какими товарами?» — «С поросятами», говорю. «Покажи». Я открыла плетушку. Он вынул одного и осведомляется касательно цен. «Как цена?» — «Без лишку: полтора рубля».— «Таких, говорит, цен нонеча не бывает, а ты скажи настоящее». Я говорю: «Уж для почину, так и быть, рубль с четвертью». Он вынимает кисетик и выкладывает мне. Пересчитала я, «так точно-с», говорю, и перекрестилась. Подходит другой покупатель, также полюбопытствовал товар, спросил цену и отдал денежки. Гляжу-с, идет третий, Федосья Николавна. Идет в синей поддевке, худощавенький, на лице у него шов. А глядеть, честный. Право-с. Как раз подходит и осведомляется: «Почем поросята?» — «Рубль с четвертью». Знакомых же, сударыня моя, вокруг меня никого нет. Засим говорит такие речи (прасол он, что ли, [illegible]): «Держи гривенник

задатку, остальное сейчас принесу». И пошел. Я сижу. Годя немного, друг ты мой, вижу, он идет обратно.— «Что, цел, говорит, поросенок, которого я торговал?» — «Цел, милый человек; как давича двоих продала, только и есть, опричь никто не брал».— «А цел гривенник?» — «Цел-с»,— и показала ему в горсти гривенник.— «Дай его сюда, отвечает он мне, я тебе огулом все деньги отдам». Я отдала. Полез он после того в плетушку, выбрал поросенка, вытащил его за заднюю ножку и несет... сам удаляется от меня... Я кричу: «Сударь! почтенный человек! куда вы?.. деньги пожалуйте!..» Он издали вопнет: «За мной иди, за мной, дома отдам». В одну минуту нырнул в народ и исчез, аки прах какой. Что делать, Федосья Николавна? как быть?.. поросят бросить не на кого; бежать вслед ему не приходится: товар весь растаскают. Я кричу: «Ах, батюшки, заступитесь за вдову: поросенка унес один человек». Подвернулся тут какой-то мещанин, спрашивает меня: «Чего ты, говорит, тетушка?» Я: «Так и так, поросенка унес один человек, я его совсем не знаю». Он говорит: «И я не знаю»,— и отошел. Потом подходят ко мне, сударыня ты моя, два молодых юношей, обнявшись промежду собою, и спрашивают: «Что ты кричишь, тетенька?» Я ответствую: «Покража, голубчики мои, сотворилась; не знаете ли сего человека? в синей поддевке?» — «Э! говорят, у него рубец на щеке?» — «Так, так, рубец...» — «Нет, говорят, не знаем»,— засмеялись и ушли.

— Бедовые!.. тут держи ухо востро да востро: с ног смотают,— женское дело...

— Именно с ног смотают, мать ты моя родная...

— Ты бы жаловаться скорее... чего ж смотреть?

— Вот-с извольте дослушивать, Федосья Николавна. Я, конечно-с, намеревалась жаловаться. Ведь вы сами посудите: мое дело вдовье,— кто мне что припасет?.. Следственно, сами рассудите, по-божьему... Приходит Агапушка с ведерками. Я ему сказываю: «Как нам, Агапушка, быть? — рассказываю ему все,— примета, дескать, такая-то, в синей поддевке...» Только что вы думаете? А Агап его знает... «Эвто, говорит, Анисья Тихоновна, прощалыга надменный, ибо всем известный; я его и дом знаю». Как раз, значит, уложил ведерки, перепоясался и пошел к нему на дом. «Одначе вряд ли мы, Анисья Тихоновна, разыщем»,— объяснял он мне таким манером. «Почему?..» — «Так как он есть вор, по этой причине вора изловить трудно».— Но я доказала ему: «Ты хоть посмотри сходи, поросенок с приметой: правое ушко сечено

и хвостик в дегтю...» Затем Агап приходит туда, всходит в горницу, сидит хозяйка, что-то работает; а поросеночек по полу ходит... Слышите? дай бог исчезнуть, не лгу... ходит, вот как есть ходит, похрюкивает себе полегонечку... Примерно, Агап ведет такие речи с хозяйкой:

— Здравствуйте, матушка. Где ваш супруг?..

— Тебе на что?

— Да дельце есть.

— Мой супруг на торгу...

— На торгу... А я у вас поросенка возьму. Почему возьму?.. потому что он наш собственный...

— Не смеешь брать, его мой супруг купил.

— Нет, не супруг; а в спасов день его нам законная свинья пожаловала. Следственно, я должен взять.

— Ступай вон,— говорит,— мужик. Ты,— говорит,— сам свинья, рыло нечесаное.

Агап приходит и докладывает: не дает поросенка. Вот тут, Федосья Николавна, я встала и говорю: «Агапушка! покарауль, голубчик, поросят, видно, сидемши-то, ничего не высидишь; что будет, то будет, иду к купеческому голове». А сейчас помереть, ни за тысячи рублев не пошла бы жалиться, если бы голова не был мне знаком; то есть я, сударыня ты моя, теперича порешусь на какое другое дело, опричи жалобы. Истинно справедливо говорю. Всегда дрожмя-дрожу, как злодейка какая, ежели придется что касательно начальства. Такой характер.— У Агапа же я не забыла спросить дом того человека... недалеко от площади он... такой низенький...

А купеческий голова знаком мне по тому случаю, что я брала у них в лавке, что требовалось; покупала, значит, харчи всякие, ни у кого больше, только у них. Прихожу. Он собирается куда-то идти и встретил меня уже на лесенке.

— Здравствуй, Анисья Тихоновна,— говорит он мне.

— Здравствуйте, батюшка Прохор Антипыч.

— Что ты?..

— Заступись, отец родной: поросенка украли.

— У тебя украли?

— У меня, Прохор Антипыч.

— Как так?

— Сижу я на торгу с плетушкой; подходит человек. «Почем поросята?»...— и все подробно описала.

— Давно? — спрашивает он меня.

— Недавно-с...

— А как недавно?..

— Не могу вам подлинно рассудить, только очень недавно.

— Посиди,— говорит,— здесь. Я собрался по одному делу к его высокородию тутошнему городничему, потолковать с ним о важной материи, так намекну ему и про твою покражу. Поди сядь,— говорит. Я вошла в лавку и присела там. Городничий же как есть, мать моя, жил насупротив головина дома — рукой подать... Пошел он, а у меня сердце так и замерло... Ну, да потребуют к городничему?.. что я могу сказать ему с своим бабьим толком?.. трясусь, точно самодерга какая. Глядь, вижу, Федосья Николавна, действительно входит в лавку солдат, возглашает:

— Кто здесь женщина?..

— Я, милый человек.

— Вы просительница?

— Я просительница.

— Пожалуйте к городничему.

— Ну! иду, голубушка ты моя, иду... ногами совсем не обладаю... ступить не могу... Дорогой служивый меня спрашивает:

— Относительно поросенка дело затеваете?

— Относительно поросенка-с...

После этого я ему:

— Научи ты меня, господин служивенький, как, примерно, объясняются супротив городничего? как его величают?

Он сказал:

— Говори: ваше высокородие, да смотри в ноги не забудь шаркнуть.

Всхожу в палаты, стою у двери, жду, а сама, родная ты моя, перед господом богом шепчу про себя: «Помяни, мол, царя Давыда и его кротость; помяни царя Давыда и его кротость...» Вдруг из дальних покоев грядет он ко мне в шелковом, матерчатом таком балахоне, с трубкой; эвтак из-за пазушки крестик виднеется. А за ним, мать моя, голова, почтительно сложимши руки за спину. Подходит.

— Ты просительница?

— Я, ваше высокородие...

Сама в ноги.

— Встань,— говорит.

Я встала.

— У тебя поросенка украли? — Каким манером?..

— Так и так, ваше высокородие... сижу с плетушкой

на хлебной площади, жду покупателей,— и все расписала... а у самой в глазах такие нешто огоньки, беда-с... Что с моей натурой делать, Федосья Николавна? Намесь, ей-же-ей не лгу, старшины в церкви испугалась: «Передай, говорит, свечку Смоленской»,— и толкает меня; всполошилась ужасть как... Даже он заприметил; опосле выговаривает: «Чего ты, говорит, взбеленилась, дурища этакая!»

Дальше-с, городничий, выслушавши меня, подумал и пошел в комнаты. Я стою у двери. Выносит мне, государыня моя, купеческий голова писулечку и гласит: «Ступай к квартальному во вторую часть на Пощечинскую улицу». Потом сам городничий кричит мне: «Сходи, тетенька, с моим солдатом, он тебе укажет дом». Я и побрела. Солдат со мной. Идем да поговариваем, беседуем, дорогой-то. Разговорились. Слово за слово, мать моя, он и держит такие словеса: «Не тужи, сердечная! поросенок теперича отыщется, ежели милость твоя будет пожаловать мне на полштоф...» Конечно-с, совестно было отказать. Деньги я, Федосья Николавна, завсегда при себе находила; ибо, знаете, дело мое вдовье, неравен всякий случай может случиться... дала ему. Он то есть зашел, выпил; скоро управился. В это самое время зазвонили к вечерне. Дом у квартального такой особенный, деревянный; отдельно стоит на пустыре; на воротах лежат хищные звери, зеленой краской выкрашенные. Недалече будка-с. Ну-с, вот мы входим в хоромы самые. У двери стоит солдат, вычищает платье. Он обращается к нам:

— Что вам угодно?

— Доложите,— говорю,— вашему барину,— и подаю записку.

— Касательно чего потребствие имеете?

— Касательно поросенка-с... так и так.

Он пошел и доложил про нас. Квартальный выходит с стаканом чаю в руке и с моей записочкой. Читает. Прочитал и говорит:

— Ты просительница?

— Я-с, ваше высокоблагородие.

— У тебя поросенка украли?

— У меня-с.

— Что же, ты хочешь найти его?.. Поди-ко сюда в комнатку, потолкуем о твоем деле.

Поставил стакан на прилавочек в прихожей и ведет, голубушка ты моя, меня в махонькую каморочку, тут и есть направо. Запер за мною дверку и вопиет:

— Ты как смеешь беспокоить городничего? а?

Я так с испуга и раскисла. В глазах, верите богу, вот как замутошилось, что хвартального из виду потеряла.

— Да говори: почему ты беспокоила городничего? почему не обратилась ко мне?

— Ваше высокоблагородие,— говорю,— я и не ведала даже, где городничий жительствует, и не думала к нему ходить. Первоначально я осмелилась утруждать купеческого голову.

И слышать не хочет; шумит:

— В часть тебя, дрянь такую... в часть запру... эй! солдаты!..

— Батюшка! помилосердствуйте... что хотите с меня извольте взять, только избавьте муки... все возьмите...

— Да что с тѐбя взять-то, с пасквили?

— Вот целковый...

Он протянул руку... и отворил дверь.

— Смотри,— говорит,— ежели ты теперича когда вторично будешь жаловаться городничему, я с тобой не расстанусь так.

— Не буду,— говорю,— никогда...

Слава богу, отлегло от сердца.

— Как же,— спрашиваю,— ваше высокоблагородие, относительно поросенка, прикажете уйти мне?..

— Сейчас,— говорит,— со мной пойдешь вместе.

Ну, думаю, Федосья Николавна, не чаяла вживе остаться... такой характер заноза у меня...

— А знаешь,— спрашивает он,— дом того человека, что унес у тебя поросенка?

— Знаю-с. Недалече от площади.

В скором времени мы пошли с хвартальным; вдобавок с нами два солдата идут. Только что мы, сударыня моя, приходим к тому домику, крохотный такой, и идем прямо в покои; хвартальный упереди. Видим: на лавочке сидит женщина, вяжет чулок; вокруг ее никого нет. Сейчас хвартальный вскинул взорами и спрашивает:

— Где твой муж?

Она поднялась, обдернула фартук и гласит:

— Мой муж на работе-с.

— На какой работе?

— Канаты сучит.

— В котором месте?

Она маленько подумала и доложила:

— В Грязной улице, у своего хозяина.

— Ты врешь? — сказал хвартальный.

— Никак нет-с. С мальства не учнлась эвтому делу, чтобы врать...

Хвартальный обернулся и повелел солдату сходить в Грязную улицу и разведать все. Мы стоим, ожидаем. Хвартальный сел, закурил пипочку такую, а сам ни слова. Солдат приходит уж долго годя.

— Что?..

— Да что, хозяин говорит, у меня его нет. Я не знаю, что за человек такой есть.

Хвартальный как разозлится, милая ты моя, только нешто зубами поскрыпел.

— Я тебя попотчую,— говорит он ей на прощанье, как совсем выходил.

Вся причина, поросенка не отыщем никак.

— За мной идите,— говорит хвартальный.

Мы пошли. А уж, Федосья Николавна, становилось поздно. Куда ведет, в толк никак не возьму. Сердце у меня не на месте. Думаю: «Как Агап на площади? чего доброго, не растаскали бы последних...» Вот-с идем из одной улицы в другую, как повернем за угол, так хвартальный обращается:

— За мной идите.— И все дальше да дальше.

Очутились мы перед чистеньким домиком. Хвартальный остановился у калиточки и начал дергать за веревку... зазвенел колокольчик... Калиточка отворилась, и показался кто-то с надворья. Он спросил: «Дома?» — и ушел туда. Слышите? Ждем, сударыня ты моя, после этого; проходит с час времени, ничего нет, проходит другой, мы разговариваем: «Что, мол, такое значит?»

Солдаты мне объясняют:

— Он еще долго не воротится. Ежели уж засиделся на месте, то скончания не будет сиденью...

— Как же, служивенькие, так?

— Да так. Не будет ли вашей милости пожаловать нам на полштоф, а то нам пора отправляться...

— А я-то, господа квалеры, с кем останусь? Теперича я и дороги не найду.

— А с нами же,— говорят,— и останешься, ежели пожертвуешь опохмелиться... Мы даже проводим вас после таких делов...

Размышляю в своем разуме: «Надо дать!.. что, как взаправду они уйдут?..» Дала. Вторая причина, отказать не приходится, взяла и дала. Недалече, сударыня моя, тут был кабачок... Я осталась у калитки, стою. Солдаты

вышли скоро. Глядим, выходит с надворья хвартальный, смотрю — за ним другой, тоже хвартальный, стало двое их. Теперь, Федосья Николавна, милая ты моя, тот, что с нами был прежде, сделался хмелен, а другой нет: не совсем чтобы хмелен. Хмельной идет да покачивается и называет другого своим приятелем. Другой отвечает только: «Спасибо»,— говорит... Захмелявший шумит: «За нами идите!» — и все шатается... А тот глаголет ему. «Нехорошо, говорит, не качайся!..» Таким манером, сударыня моя, мы идем. Солдаты ведут речи промеж себя, что хмельной хвартальный, когда тверезов, дока бывает... на все дела мастер... Только что как выпьет, нехорош делается... Приходим, мать моя, к прежнему дому, где вор-то жительствовал; всходим. Опять его хозяйка сидит, чулок вяжет. Сию минуту тверезой хвартальный обращается не к ней, а ко мне:

— У тебя поросенка украли?..

— У меня, ваше высокоблагородие.

— Кто,— говорит,— видел твоего поросенка в эвтом самом доме?..

— Мой Агапушка,— говорю...

— Позвать!..

Я как раз отправляюсь с одним солдатом за Агапом на площадь и больно уж рада, что по крайности узнаю, как он там, сердечный, справляется? Дорогой, Федосья Николавна,— что вы станете делать? — солдат опять просит опохмелиться. Ну, уж тут я ему прямо сказала: «Ты, мол, голубчик служивенький, посмотри, сколько у меня деньжонок осталось? на, пожалуйста, посмотри: всего, вишь, навсего три четвертака». Он отвечает: «Ну не надо!.. главное дело, говорит, я так спрашиваю: дескать, нет ли опохмелиться?» Ну приходим мы на площадь; стало темненько; вижу — вдалеке сидит Агапушка, ждет... никого нет на площади. Подхожу, смотрю, поросят всех раскупили... ну, слава богу!.. «Пойдем, говорю, Агапушка, к хвартальному»; сели на телегу и подъехали к тому дому.

Спрашивает хвартальный Агапа:

— Ты тут видел поросенка?

— Тут-с, как же не тут, когда наш поросенок меченый, хвостик в дегтю и прочее...

Потом говорит хвартальный супротив хозяйки:

— Ты что ж говоришь, анафема, что у тебя не было поросенка?

А хмельной хвартальный себе:

— Ты что ж, анафема, разговариваешь, будто у тебя нет поросенка?.. В часть ее! эй!..

Но тверезой отвечает ему: «Не кричи, говорит, нехорошо!..»

Хозяйка же только твердит: «Знать не знаю, что есть за поросенок такой на свете». Бились, бились! вдруг хмельной хвартальный подходит ко мне и спрашивает:

— Да ты что ж, говорит, дурища, молчишь? а? Я за тебя стараюсь, шумлю здесь от души сердца, а ты не разговариваешь?..

А тверезой на Агапа:

— Ты врешь, дурья порода! ты здесь и не был.

— Как не был?..

— Я тебе говорю, что ты не был... ты послушай меня, что я говорю: ты не был!..

— Нет, я был...

— Врешь!..

Да как пошли, как пошли... батюшки!..

— В полицию вас всех,— кричат.

А хмельной хвартальный объясняет мне:

— За водкой надо посылать!.. Ты у меня не размышляй, а дело делай. Я тебе сказываю так точно... чтоб в акурате водка явилась...

Только после таких разговоров, голубушка моя, окончилось тем, что поросенка так-таки не разыскали (вор — бедовый). Хвартальные же между тем сказали друг другу:

— Пойдем в трахтир, их сам шут не разберет!..

И пошли. Мы постояли маленько и себе пошли.

Жалко поросеночка-то... право слово... как налитой, господь с ним!.. сама три недели кормила...

1858

ХОРОШЕЕ ЖИТЬЕ

Целовальник с подстриженной бородкой, одетый в синюю суконную чуйку, распахнувшись и упершись левой рукой в свое колено, сидел за столом против своего приятеля, низенького мещанина, который пристально смотрел ему в лицо и курил трубку. Дело происходило за двумя бутылками пива.

— Да, братец ты мой, такой жисти, кажись, не будет супротив той, как я служил целовальником в Покровском... Нет!..

— Ты ведь перва был приказчиком у какого-то купца?

— Как же, как же... три года выслужил в Ливнах.

— Ну, а как торгашом-то сделался?

— Попросту: стало быть, сказать тебе по секрету, у хозяина поддели на Егорьев день пудов шесть сахару, чистого рефинаду.

— Вот как! и сделался торгашом?

— И сделался торгашом. Да что! должность самая пустая эта, Иван Иваныч. И какой случай, сударь мой: прихожу опосле к одному купцу найматься, в сидельцы,— «нет, говорит, мне таких не надо». А хозяин, тресни его бока, все расписал про меня; вся причина, толстобрюхой вникнуть не мог, как было дело: воровал-то не я, значит, а товарищи; я только принимал. Прихожу к другому, тот говорит: «Не надо!» Бился, бился, так приписался в торгаши. Что сделаешь! Близко локоть, да не укусишь.

— Эвто точно...

— Бывало, едешь, едешь с горшками али с дегтем, смехота, ей-богу!.. орешь, хочь бы те на грош кто купил. К примеру, в рабочую пору: в целом селе ни души. Горланишь: «Соли, дегтю, табаку, мол, лежит баба на боку». Хоть что хочешь делай! ей-же-ей... индо горло распухнет кричамши. На твое зеванье только собаки вякают.

— А никак, Андрей Фадеич, тут прибаутки какие-то читают! Мне их не приходилось знавать.

— Есть и прибаутки, там: «Ей тетки, молодки — охотницы до водки, старые старухи — охотницы до сивухи...» Мало ли! Да все пустое, Иван Иваныч. Я б, кажется, теперича не взял тысячи рублев ездить опять по деревням да распевать эти прибаутки. Вот целовальничья жизнь! ай люли!.. надо прямо говорить.

— За что тебя сменили?

— Вспоминать не хотца! (целовальник шепчет на ухо мещанину): то есть в моем кабаке убийство приключилось... ну и...

— М-м...

— Да я не роблю; разве я роблю? У меня опять будет место, целовальничье же, и скорехонько.

— В Запиваловке?

— В Запиваловке. Говорят, кабак не плоше нашего Покровского... пьяниц довольное множество.

— А видно, хорош был кабак в Покровском? Расскажи-ка мне что-нибудь про него.

— Одолжи-ко мне своей трубочки... что-то в горле першит. Год назад я там сидел. Слободка порядочная; народ все однодворцы, такие забубенные головы... люди важные! Вся причина, покровский народ пить здоров.— Уж как пойдет пьянствовать — держись шапка. Оттыкай бочки!.. жену пропить готов совсем с утварью. И житье, Иван Иваныч, было расчудесно: благоприятели, мужики-то... Вот сказывают целовальники, что на больших дорогах, говорят, на хлеб не добудешь... а тут знай разевай пошире рот... Оно хоть и сменили меня, не замай! лучше авось не сыщут. Ноне кто живет по чести? бают: «Своя рубашка к телу ближе». Так ли?

— Подлинно, Андрей Фадеич.

— Как же можно? Да ты, братец мой, рассуди: теперича идет мужик в кабак, несет он, положим, полушубок али везет телегу, телега новая, колеса шинованные, недавно обтянул, просит: «Дай ведерку!..» Ну с чего же не дать? и-их! По мне, вещия ли хорошая, деньги ли, статья одна: что в лоб, что по лбу, все едино! Перва-наперво я, как только поступил в кабак, тоже почеремонился, не хотел брать... Приводит мужик теленка,— говорю: «Ты отвяжись от меня лучше... здесь кабак, не скотный двор». Он вдруг на меня: «Да ты что ж куражишься? первый ты у нас, что ли? законодатель, вишь, пришел; до тебя небойсь жил целовальник, не токмо телят, лошадей принимал».

Точно, принимал лошадей. Думаю: «Что же?..» — и пошел с того времени, да как пошел... хе, хе, хе... благодарствуют мужики... кланяются, кричат: «Отец!»,— примутся иную пору обнимать, ей-богу! «Вот так боготворитель, вот защититель! отцов таких мало...» Смотрю на них, смеюсь...

Сидишь иногда эвтак, помышляешь: что значит поставить кабачок-то родной в селе, что твой улей с медком; ишь льнут!.. со всех сторон; отбою нет... завсягды народу злей, чем на ярмарке. Поди же в поле, на большой дороге... разя уж стыдь загонит какого проезжего, и тот — выпил шкалку, косушку много, закусил крендельком и марш вон: ты жди.

И такое диво, Иван Иваныч: наш священник раз до трех пытался снесть кабак в сторону, подальше от села: говорит, на церковной земле стоит, помнишь, истребить задумал пьянство и подавал куда-то прошение — нет! о сю пору стоит себе, дескать, мне и тут хорошо... Как следует быть, приезжали судьи, мерили землю (в акурате у меня попили). Говорят священнику, Лександром его звали, Погожев прозывался: «Дело твое, бачка, маленько с хвостиком; кабак на пол-аршина стоит от церковной земли; законное он место занимает». Бачка и остался, кабысь несолоно хлебал. Опосле почал в церкви гласить проповеди, увещает мужиков: «Что вам, православные, кабак-то, сласть какая, что ли?» Мужики слушают...

Вспомнил я про одного мужичонка, пьяница был, оторви голова! и плутина... бесперечь сидит на своем крыльце, выжидает: как бы где ломануть?.. с кабака глаз не сводит. Кабак же, надобно тебе сказать, стоял на самом на юру, ровно среди улицы. В тихую погоду я возьму нарочно выдвину из сеней бочки, что были с вином, всполоснy их, да с боку на бок переворачиваю, и-и-и запах идет... а мужик сидит...

Однова в воскресенье заблаговестили к обедни, тронулся народ, эвтот мужик тоже: честь честью вышел из двора, снял шляпу, перекрестился и бредет, словно к обедни. Отошел чудок, да как вдарится к кабаку и прилетел, говорит: «Давай скорей!» — вынимает подпояску. Смотрю, дверь отворилась, бежит его жена, цап его за виски, кричит: «Вор, мошенник, куда те родимец занес?». Схватила его, давай куделить... Сама ведет вон. Меня смех так и разбирает. Что же? убежал-таки. Ну мы с ним тут посмеялись порядком; говорит: «Баба дура, нешто она понимает!..»

Главная вещь, доложу тебе, кабачок был самою что

ни на есть благостынею, истинно тихая пристань. По этому случаю он не токмо что для выпивки находился, а как палата какая. Там и суд, и питра, и все: уж ежели задумали порешать какое дело, сейчас все гурьбой идут к кабаку, почему что нет места гоже; чуствия такого нет в другом месте. У них, знаешь, всеми вещами орудует ихняя сходка. Сходку собирает староста: с прутиком, понимаешь, расхаживает; за ним дела больше никакого нет. По правде сказать, пустая башка. А повыше там есть еще начальство: писарь, старшина, голова. Эвти жили не в нашем селе, а верст за пять, в деревне Анишине: в Анишине опять есть кабак и гульба такая же, как у нас: вчастую сам голова сберет мужиков к кабаку, на ихний счет нарежется и растянется; а мужики над ним песни поют; голова только бормочет: «Хорошенько, ребята!» Наша сходка почесть никогда не обращалась к начальству, кроме как ежели убийство, пожар сотворится где; сами все обделывали. Да ведь, поди, к примеру, покража учинилась, поди проси голову: сперва надо его небойсь упоштовать,— упоштвуй; а там он пошлет к старшине; эвтого тоже надыть уботворить; а там привяжется писарь — ему... Да неизвестно, пойдет ли дело в ход; а то правого и виноватого отхолят, и ступай, почесывай спину: «Ты, дескать, не воруй, а ты не разевай рот, не беспокой начальство». Что и толковать! А вот сами миром, собором... лучше!..

Расскажу, братец ты мой, я тебе оказию, как, стало быть, наш мужик пить-то охоч, да здоров. Пьянствует так, не роди мать на площади!.. ахти!.. Знамо, для меня эвто лучше требовать нельзя! мне какое дело! По мне хочь (в рассуждении чего избави боже, защити мать пресвятая богородица всякого православного христианина), хочь на месте опейся... мне все равно; что я, матка али дядька их, что ли?

Первым делом покровский мужик замешан вот на чем: как, значит, утро забрезжилось, заря еще не занималась, ни росинки во рту нет, глаз путем не прочистил, а уж чухает: как бы дерябнуть где да как бы объегорить кого! Ежели надуть некого, тащит что-нибудь свое; а если есть — прижидает времечка. Одно слово, одни под другим подкапывает, один другого поддевает. Так расскажу... историй, сударь мой, не оберешься... Хочь, к примеру, возьмем такого сорта материю: весенней порой нашей сходке нужно было решать, когда выезжать в поле,— запахивать землю? с которого дня? с легкого али еще с

какого? У мужиков делалось все собща: косить ли, жать ли, колодезь ли чистить, обманывать ли кого, всегда собиралась сходка. И прежде, как станут толковать, сложатся перва на четверть, ведерку, как какое дело потребует, и почнут судить. Тут тоже, касательно запахиванья. Выпили они четверти с полторы, давай судить: «Как? что? когда?» Ну порешили таким манером: запахивать чтобы беспременно в четверг, не в среду. «Смотри, мол, ребята, в четверг!» Так. После все разошлись по домам. Вот проходит понедельник, вторник. В середу, батюшка мой, и выезжает один мужик в поле (по чести сказать, бедный); помолился, занес соху и пошел пахать свою землю, сам озирается: не видит ли кто его; знает, что в середу не положено. Пашет. Прошел ряд, другой, глядит: идет мужик; за плечами несет мешок с мукой.

— Здорово, кум.

— Здорово.

— Бог помочь.

— Спасибо.

— Что, рыхла земля-то?

— Рыхла... ничего... Земля добро... Знатная.

Прохожий мужик поглядел на небо:

— А что, небось теперя давно журавли прилетели? Ишь парит как!

— Таперь прилетели. Мишутка сказывал, недели две, как прилетели.

— Гм... Ну, прощавай.

— Прощавай.

И пошел мужик, идет дорогой да говорит:

— Постой ты у меня, я те журавлями такими попоштвую, другу-недругу закажешь по середам запахивать.

Приходит на село — прямо к старосте. Староста взял тросточку и ну ходить по дворам, постукивать под окнами:

— Эй! православные! ко цареву кабачку!..

Живо все собрались.

— Что?

— Да что? Федька запахивает землю.

— Как?

— Да так.

— Ребята! беги туда, к нему.

Человек шесть бросились в поле, подхватили у Федьки соху — и к кабаку. Я сижу под окошком, щелкаю подсолнышки, сам ухмыляюсь: «Мол, дружки!.. к чему прицепились».

— Ну-ко,— говорят,— Фадеич, отпусти две четвертки. Бог послал поживу: соху в поле нашли; вишь, до четверга забралась туда.

Я говорю: «Подите возьмите» (вижу, соха добрая). Две четверти невелика важность. Да смеюсь им: «Когда вы, бояре честные, перестанете кабак-от набивать всякою упряжью?»

— А все тогда же,— говорят,— когда нас на свете не будет.

Хорошо. Федька же, братец ты мой, стоит, смотрит на соху, так и дрожит: умолять не может сходку, а дрожит. Ну, ладно! Взяли мужики вино, выносят из кабака, а в сенцы ко мне волокут соху. Федька глянул на ее, да как бросится всем в ноги, кричит:

— Братцы! сошник хочь отдайте!..

Мужики ему бают:

— Одначе ты, Федор Зобов, ловок; словно набитых дураков нашел; кабысь мы не знаем, что в сошнике все и дело-то!.. Ловок, нечего сказать!

Потом обращаются к нему:

— А вот, Федор Зобов, не хочешь ли с нами выпить? Ладней будет.

Мужик совсем отказался; стоит, не знает, что делать, растерялся. Опосле, выпивши, ему толкуют: «Э! Зобов... Соха куда ни шла! вещия нажитая... живы будем, сыты будем!» И то дело! А староста успел назюзиться переж всех: тычет палочкой в землю, себе бормочет: «Живы будем, сыты будем...» (Зобов Федька все молчит). Комиссия, Иван Иваныч, с эвтим народцем! Главная сила, любопытно смотреть на них, как расчагокаются, как расчагокаются, берись за бока да покачивайся. Так-то иное время долгонько не видишь никого, может не поверишь, ей-же-ей! скука берет... право! а показалась эвта сходка, чуешь, гвардия-то идет, размахивает руками... Ге, думаешь, вот они, голубчики!.. и ничего...

— Как же, Андрей Фадеич, а начальство ежели?.. Ничего, что принимаете рухлядь всякую?.. чай, не показано...

— Знамо, не показано. Ты, Иван Иваныч, гляди сюда: все эвти вещи разя держишь в кабаке? и-и!.. Кто же себе враг, живьем так-таки, и отправляешь куда след: имеешь на стороне ботворителя такого... Да ко мне хочь за полночь приезжай, хочь чиновник какой — ни крохи не найдет: все спущено! Тоже ведь надо налицо иметь деньги, как же быть? и раболепствуешь...

— Вот что...

— А ты полагал, у меня в кабаке-то лавка? шалишь!.. кажинную тряпку живьем на базар. Так-то, сударь мой. Ты бы лучше спросил вот о чем: что было бы нашему брату делать, ежели бы не было кабаков в селах? Что тогда?.. какая жизнь целовальнику была?.. Нешто понес бы тогда мужик за десять верст соху или женину поняву? Нет!.. А это милость божия, что несут: неси, пожалуйста!.. душа наша кривая, все прямая, и мед и тот прет.

— Расскажи-ко, Андрей Фадеич, еще какую историю; право, занятно.

— Как занятно-то, слушай!.. Выпьем-ко... Эй, Карпуша! дай нам другую парочку... Например, такого рода случай: в запрошлом году требовалось из нашего села выбрать ратника. Ну, здесь мужикам много не удалось попить; не на того напали. Сходка должна была выбрать ратника из своей братии, кого, значит, заблагорассудит. И сошлись они к кабаку. Староста похаживает посередке, понукивает:

— Что же? как? кого, ребята? надыть что ни на есть лядащего, понимая, вора какого али лошевода.

— Да знамо,— говорят,— кого ж больше, как не Петрушку Носа, что два раза в остроге сидел за покражу.

— Его!

— Ну его, так его! туда ему дорога... поделом, незымь его разгуляется... незымь!

Все согласились — и пошли было; только отошли шагов десять от кабака, один и кричит: «Стой, малый!» — сам думает. Мужики остановились: «Что?» — «Да вот что: оно Петрушку-то мы сдадим, да как бы не было худо; ведь ратников скоро обещались распустить по домам; а Петрушка ежели воротится назад, так подпустит красного петуха — шабаш!.. вот что сделает!» Мужики так, знаешь, и разинули рты: «Э, малый, заговорили, и впрямь так; не надыть: вор захочет, все сделает,— он своей головой не дорожит. Коли так, пускай идет Ахрем, он же на очереди». А Ахрем, Иван Иваныч, точно был на очереди; но запрежде его совсем не думали отдавать, потому что одинокий был: никак человек шесть детей имел, мал мала все меньше, жену (она в то время была брюхата), больше никого; а сам был хвор, нездоров. Иные из мужиков тут упирались, не хотели его сдавать; мол, на кого бросить семью? на что лучше — воры есть: одначе нет! Все порешили таким обычаем: ежели Ахрем не напоит

допьяна всю слободу, и толковать много не след: в ратники! Я тебе докладывал, что так и чухают, с кого бы сорвать выпивку? Сам себе говорю: «Да! напоить всю слободу махина порядочная... кабы согласился!»

Призывают Ахрема, сбились к кабаку.

— Ну, Ахрем, как полагаешь?

— Да что,— говорит,— ребята: у меня не токма что напоить всю деревню,— кажись, дома жрать нечего! поди вон, ноне зиму последняя коровенка издохла; а на гумне ни былинки, ни травинки.

— Неужели уже на четыре ведра не достанет?

— Я ж вам баю, у меня вот до чего дошло: хлеба скоро не будет!

Мужики думают, соображают, как ухитриться?

— Это,— говорит один,— того... балы, чтобы, к примеру, на четыре ведра не достало. Врет! вишь, гнет экося околесицу: трескать нечего! Одно калянство, упрямость одна. Не хотца попоштовать...

— И то, малый,— заговорили все.— Ежели бы боялся ратников, последние колеса заложил да поднес бы. Верно, не боится, а не боится — не трожь, идет!

Тем и покончили. Меж тем пошли они к Петрушке Носу, к вору, говорят ему: «Пожертвуй, Петр Анисимыч, на ведерку: остаешься, голубчик... мы тебя пожалели; малый-то ты добрый. Ахрем за тебя идет». И сдернули с Носа, только не ведерку (ведерки не дал, собачий сын), а всего пол-осьмухи.

Опосле, братец ты мой, как повезли Ахрема, смех!.. окружили его телегу, шумят: «Прощавай, Ахрем! вся причина, не помышляй много... не отчаявайся!.. Слышь, царь-батюшка обещал ратников скоро воротить».

Ахрем сидит, сам утирает слезы... Жена его шибко убивалась! от телеги-то никак не отволокут...

Он не воротился назад. До Ливен почитай дошел, идучи из Севастополи; передовым будучи, песни играл и говорил своему земляку: «Микит! придем в свой город, надену красную рубаху, пойдем песни заиграем». (Что на уме-то подержал!) А Микита говорит: «Хорошо, Ахрем, как велит бог дойти до своего города, я заприметил, что ты пить воду бестолков». Он, глядь, под Ливнами попил воды и скочурился.

Я панахиду об нем отслужил в Туле; ездил упряжь разную продавать...

Мужики наши услыхали про смерть его, рассуждают, стоят у кабака: «Верно, на роду ему напечатано, что не

воротится: другие вон воротились». Хе, хе, хе, хе... Обращаюсь к ним из окошка: «Что ж, ребята, товарищ-то ваш воротился?» Стоят, почесывают виски: «Нет, не воротился...» — «Соломатники! говорю им, что бы вам тогда урезонить его? и сами бы населезенились, и товарищ был бы цел».— «Такой, говорят, каменный попался...»

Одно слово, день-деньской шляются, то и норовят, как бы попьянствовать, взогреть кого. Смотрю на них: ну корову за рога! али имущество какое; чего дремать? Однова, что ты думаешь? вот чудо! Сидят они супротив кабака на срубленном дубу и говорят о чем-то; смекают, должно, дерябнуть... сидят, думают. Думали, думали да взяли пропили дуб, на котором сидели,— бог свидетель! вот, дивись, колено какое сотворили... Что значит замысловатый народ-от. Мне же и невдомек об дубе: где целый валялся, общий — ихний, его и колыхнули! Отпущаю вино, говорю:

— Ишь дерево-то!.. Я об нем словно и забыл; без призору совсем валялось.

— Мы,— бают мужики,— думали, что ты не примешь.

— Какой? подавай знай!.. толковать там!

Опосле облапили меня, кричат: «Заступитель! отец!» ха, ха, ха... Стало быть, уважение им делаю. А за дуб-от я в тот же день дал пятачок свезть в город и получил билетиками три целковых. У меня будь знаком, ходи дальше!

Да, Иван Иваныч, житье было хорошее, хорошее... знатное житье... Кажинный раз продовольствие чувствовал: пей, ешь сколько влезет; и карман никогда засухи не видывал.

А вот, доложу тебе, ежели у кабака не приходится иметь дела, положим дождь ежели идет али сиверка, ненастье, так мужики собирались в ригу, недалече стоит она, пустая: громадища такая, на каменном фундаменте построена. Над воротами же у ней содержится надпись такого происшествия, написано: «Вход в сарай... для, теперича, угощения и поштванья крестьян покровских вином из питейного кабака с продажею пива». Как то есть важно выведено! грамотей какой-то постарался.

Раз летом, во время дождика, мужики заключались в эвтой самой риге, сидели, запивали наемные луга; десятин пятнадцать купили, и попойка была богатая: три ведра взяли. Народу собралось много; был там с ними тоже вкладчик, отставной дьячок, он находился для потехи больше: веселил компанию. Еще некий мужик Ерем-

ка. Он слыл запевалой; мухортный такой мужичонка: на вид две денежки, грош сдачи. Но пел ловко; как зальется: «Сидит ворон на березе»,— унеси ты мое горе! аки певчий какой, и руку приложит к виску. Дьячок же петь вовсе не умел; за то, говорят, и отставили его, что уши в церкви драл до самой до болятки... А игрец был лихой: захочет откачать вприсядку, откачает! сдествует миловидно: смотри! и больше — прибаутки сочинял. Мой кабак он все звал «капернаум... пойдем в капернаум». Вчастую мужиков учил, чтобы как можно пошибче пьянствовать: «Я, говорит, однова ехал из Тулы, когда на шест садились куры (дьячок стихами бесперечь говорил). Пришло мне на ум заехать в капернаум. Хорошо. Тогда я заехал в харчевню, лошадь женнюю пропил: потом телегу с хомутом, седелку с кнутом, узду с махрами, дугу с вожжами, чулки с сапогами, хе, хе, хе... мешки с пирогами, трубку с чубуком, кисет с табаком». Подлинно, Иван Иваныч, оно было так: он дочиста пропился, маленько только жаль, что не у меня, а в Анишином кабаке; но вот что случилось с ним в нашем селе: некогда Руднев «принял на себя труд гонять лошадей своих на пруд; он с пруда домой пошел, на пути в кабак зашел». И пропил, батюшка ты мой, как бы тебе сказать, не солгать, что бишь... дай бог память... забыл... нет; да что же я? я-то что? Гнедую кобылу пропил... Он было хотел саврасую; но я не взял, почему что жеребая лошадь: где мне с ней возжаться? Он, сударь мой, и пропил гнедую. Ну, таким манером гуляли мужики в своей риге; я тебе хочу рассказать про одно воровство. Воров мужики больно презирали: попался вор, аминь! лучше улепетывай куда подальше: всего оберут, последние сапожонки снимут. Про дьяка будет речь впереди, мы порасскажем про Еремку-запевалу. Когда все в риге шумели, кричали, смеялись на Руднева, иные боролись, иные плясали, хозяин той риги вдруг как заорет во все горло:

— Ребята! стой! несчастие приключилось.

Все в одну минуту притихли.

— Что?

— Пропажа сделалась.

— Где? кто? где?

— Здесь. От ворот замок пропал.

— Обыскивать!

— Обыскивать! Обыскивать!

— В кружок!

— Становитесь в кружок!

Пошла работа: давай обыскивать всех дочиста. Сейчас ворота приперли, стали в кружок: «Раздевайся!» Старосту первого... посмотрели — нет! другого — тоже нет. Третьего, четвертого... С кажинного снимали чекмени, сапоги, у дьячка за галстуком осведомились. Вот Еремка-запевало видит, что до него очередь доходит — шмыг замок в сторону... отбросил. Сам, ни в чем будто не бывало, стоит, кричит: «Обыскивай кругом!» Ан дело-то и сметили.

— Ты что бросил?

— Ничего.

— Врешь! ты бросил вот замок.

— Я не бросал.

— Васька, ты видел? бери, держи, вяжи!..

И уж как все обрадовались вору-то, как батюшке родному.

— Веди к кабаку!

Грязь на улице,— ничего! прут гурьбой. Доскреблись до кабака. Крепко держат вора.

— Ну, малка, как?

— Да много разговаривать нечего: бегите к нему домой, везите телегу.

Вор бросился бухать в ноги то тому, то другому. Нет, поздно. Староста дал ему в спину, чтоб попусту не вякал. Привезли телегу: телега, Иван Иваныч, новая и такая, знаешь, всё с резьбой. На Миколу я продал ее веневскому ямщику за четырнадцать рублев. Важная посудина!

— Ну, сколько же вам? — говорю.

— Три ведра!

— Ведро, больше не дам; поверенный бранится, спрашивает: «Куда так много вина выходит, слышь?»

— Давай хоть ведро,— кричат.

Я отпустил; телегу живо отправил на постоялый двор к куманьку. Вот они у меня в сенях принялись пить; сажают с собою Еремку-вора. Он не отказывается; присуседился к ним. Дьячок за прибаутки взялся; поднялось веселье, куда что!.. Некоторые спрашивают у Еремки:

— Ну, что? таперь не будешь воровать?

— Я, ребята, право слово пошутил,— говорит.

Мужики отвечают:

— Да и мы шутим с тобой. Коли ж не шутим? Ведь тебя бы следовало драть, домового; а мы, вишь, что делаем? угощаем твою милость. За эвто, мотри, чтобы ты нам спел песню.

— Нет, братцы, сил не хватает.

— Врешь, споешь, чертов сын. У нас благим матом затянешь.

Точно; как нализался Еремка, все позабыл: играл песни напропалую. Когда мужики распили вино, начали они придумывать, чинить совет, что бы еще пропить у вора. Народец эвтот чем больше пьет, то больше ожесточается, входит в настоящую силу: норовит натесаться до самого нельзя... Кричит:

— Ребята! иди опять к Еремке: бери, что на дворе увидишь.

А вор Еремка захмелел: кабыть ополоумил совсем, орет:

— Там,— говорит,— у меня передки от водовозки стоять, цопай их сюда; смотри овцу не вздумай привесть али живота какого.

— Ладно,— говорят мужики.

Гляжу в окно: один везет передки, другой ведет овцу. Помираю со смеху:

— Сколько?— спрашиваю.

— Ведро!

— Полведра!

— Давай!

И пошли гулять; дождик тут перестал маленько; вышли на улицу; вино поставили на траву, и кто во что!.. Еремку заставили песню играть: он подбоченился, разинул пасть, задрал, закатился в вышину (голос звонкий), подхватили — трогай! Только по всему селу раздается. Горланили, горланили,— перестали. Обратились к дьячку.

— Ну-кася, Руднев, следствуй трепака! кажи нам, где раки зимуют.

Дьячок подобрал полы, невзирая на грязь, ударил трепака. «В обмочку, кричат, в обмочку». Согнул колена, зачал в обмочку[1] ногами вывертывать; сам прибирает: «Ходи, изба, ходи, печь, хозяину негде лечь...» Веселье поднялось такое!.. На селе бабы, девки выступили из домов, смотрят... истинно праздник! А тут же промеж сходки кто цалуется, кто лезет к рылу с кулаками; известно, пьяному чего не взбредет на ум!

Между эвтим вино опять вышло все; спохватились они, сбились в кучу, шумят: «А что, малый, почто вор-то не поштвует нас? Забыл? мы не токма пропьем догола

[1] Вприсядку. (*Примеч. Н. В. Успенского.*)

весь дом его, в острог упрячем: воров не приказано держать в деревне!»

Послали в третий раз к Еремке на дом. Он же ничего не слышит, не чует и знать не хочет: топчется в грязи ногами, покручивает платком на воздухе.

Через четверть часа, смотрю, ведут жеребенка (стригунок чаленький,— славная скотинка). И какая, Иван Иваныч, история: здесь мужики берут у меня вино, а Еремка, еле жив, увидал своего жеребенка, подошел к нему, заломил шапку набок и кричит: «Ты зачем сюда? а? вон пошел отсюда! Вина захотел? Ты у меня не смей... Чтобы эвтого не было... Ни, ни... Хозяин будет пьянствовать и лошади тоже?.. прочь пошел!» Потом: «Коняш, коняш!..» — комедия!

А как разведал, что его жеребенка пропивают, облапил его за шею и говорит: «Вот оно что!.. прощавай же, коняшка! Родимая моя!.. Верно, судьба твоя такая... плохая... пропьют тебя мужики — черти... Вишь, жеребятины, дьяволы, захотели».

Как взяли мужики еще ведро — ну гулять! Я тебе говорю, праздника веселей.

К вечеру все так натискались, нарезались, ног не волокут: растянулись у кабака на грязи и хрюкают... Один бормочет, насилу язык поворачивает: «А! говорит, попался... Не воруй! поделом вору мука...» Еремка же, братец мой, то-то разбойник!.. лег носом в грязь и тоже кричит: «Не воруй!» Ха, ха, ха... Чудеса!..

Вот так-то пьянствуют,— коси малина! Кажинный почесть день гульба, кажинный день: подрался кто — выпивка! Скотина на чужой огород зашла — выпивка! Чья собака взбесилась — опять выпивка! К примеру, вечером пьют, наране идут опохмеляться; таким обычаем зарядят недели на три! От кабака совсем не отходят; при нем и днюют. Один мужик, слышь, до того пропился, что приходит однова ко мне в кабак с мешком в руках и говорит:

— Фадеич! дай полштофик. Я тебе штуку принес.

— Какую?

— Да вот... (и развязывает мешок). Боюсь, что ты не возьмешь.

— Ну-ко, покажи.

Гляжу, в мешке собака. Залился я со смеху.

— Ах ты,— говорю,— молодец, молодец!.. С чем привалил... Нет, под эвти сбруи мы не даем...

Через никак день он сговорился с дьячком Рудневым

меня обокрасть, выкачать вино из бочек. Действительно, в полночь в самую они подступили к кабаку, проломали в крыше щель, залезли в сени, где стояли бочки, выкачали семь ведер и только было стали отправляться, как в то время нагрянула на них сходка. Она подкараулила дружков. (Я сплю; ничего не слышу.)

— Что несешь?

Воры смешались. Говорят сходке:

— Ребята! вот вам три ведра, отвяжитесь.

— Давай!

Сходка взяла три ведра и идет к кабаку. Воры как раз останавливают мужиков, говорят: «Куда вы? Ступайте дальше от кабака; целовальник неравно узнает: он все скрось брюхо-то у тебя видит». Сходка говорит: «Небойсь не увидит. Мы тихо разопьем». (Я все сплю.) Подсели мужики к кабаку и принялись за питру. Перва тихо шло, а как напились, давай шуметь, потом засучили рукава да драться. Слушаю: что за крик? Выбегаю в одной рубахе; такое несказанное пьянство!

— Ребята,— говорю,— вы воровать!..

— Кой черт, воровать!..— И рассказали мне все как следует, докладывают только: «Мы с тем уговором, Фадеич, тебе открыли, чтобы ведро нам за работу».

— За ведром не постоим; а где теперь они?

— У дьячка.

Народом нахлынули мы на дьячков дом и слаудили воров. Мужик, что собаку-то приносил, вывернулся, оправдался перед начальством, а обвинил одного дьячка. Его представили в острог.

Перед отъездом он как нешто отзванивал трепака! приговаривал: «Эх, прощай, голубчик Ваня, скоро будет тебе баня!..» Его Иваном звали.

Так-то, сударь ты мой, Иван Иваныч; такие-то дела! Да, хорошо, оченно хорошо было жить в Покровском. Вспомнить любо!

Молчание.

— А что, Андрей Фадеич? Слушал я тебя, слушал, знаешь ли, что пришло мне в голову? Брошу я кошатничать! наймусь-ко я себе в целовальники! такой жизни я, признаться, нигде не слыхивал...

— И отменно сделаешь. Один тебе совет от меня, выбирай кабак не тот, что в поле стоит, а в селе: как в бывшем моем Покровском; да спуску ничему не давай!..

1858

ГРУШКА

Жив еще старичок-то — мой тятенька... ни единого волоска на голове, а тоже иное время пустится в присядку! чуден родитель!.. Когда же захмеляет, то всегда запевает: «Ай ты, молодость... буйная!» разинет рот, а там ни одного зуба нет!

— Потап Егорыч! а вы знавали Ипполита Иваныча?

— Нет-с. А что?

— Ничего. У него все, знаете, пословица: болван!

— Г-мм...

— Потап Егорыч!

— Чего-с?

— А я, значит, вот что: мне теперича хотелось то есть знать от вас: почему вы не женитесь?

— Да я, Сидор Семеныч, уже был женат. Разве в другой раз?..

— Ну в другой.

— И то ведь думаю посвататься; но боюсь, Сидор Семеныч: моему-то тятеньке до меня дела нет; я кажинную материю должен сам сообразить. Жениться, говорит пословица, не напасть, да чтоб женившись — не пропасть...

— Я понимаю. Но поискать девку-то можно.

— Обвенчался я, Сидор Семеныч, с одной купеческой дочерью,— истинно закаялся; подхватил, можно сказать, такую скотину,— сам не рад... Грушкой дразнили...

— Что ж так?

— Так-с...

— А как вы, Потап Егорыч, мыслите насчет супружества?

— Я так мыслю, что жена должна быть супружницей своему мужу... одно слово жена... она обязана чувство-

вать все, понимать всякие мужнины добродетели; так как чрез эвто самое может произойти глупость...

— Справедливо. Я знавал некоего купца, так он свою жену в гроб вогнал.

— Известно; мы знаем доподлинно, что жену во гроб вогнать — ничего не стоит, потому что жена для своего мужа — все равно — плюнуть да растереть...

— Вот! я сейчас тоже доказать хотел. А ваша жена плоха была?

— Так плоха, Сидор Семеныч, что прямо одёр была супруга... и первое дело — обманщица... Значит, не судьба моя! хорошо, что убралась она, царство ей небесное!..

— Позвольте, Потап Егорыч, табачку понюхать... Вы мне опишите поподробней... Готово!..

— Я с ней познакомился еще очень далеко до свадьбы. В ту пору я был приказчиком, сидельцем.

— Да, да, приказчиком.

— Вот и да! Однова гулял я летним вечером... Сначала-то, Сидор Семеныч, пойдет весело... ничего... занятная история. Ну, и гулял. Вот эвтак в одной руке держу тросточку, а в другой пеньковые перчатки и помахиваю ими на все четыре стороны. Стало темнеть. Я начал теперь размышлять: «Не пора ли, дескать, домой?» Думаю: «Пора!» — и пошел. Смотрю — на тротуаре идут две девушки: одна то есть горничная, а другая самая моя супружница, примерно, покуда девушка Аграфена. Хорошо; глаза у ней черные, брови черные... «Сем, говорю, подлабынюсь, попытаю счастие...» В случае, какова ни мера, можно тягу дать. Захожу сбоку и веду речь...

— Позвольте, Потап Егорыч, к кому это вы подходите?

— Да то-то к Грушке: купца Мурашкина дочь.

— Ну?

— И говорю: «Куда, сударыня, гуляете?» Она отвечает: «А вам на что, мон шер?»[1].

— Нам, значит, особенной важности мало... осведомиться желательно — не больше того.

— В эвтот раз иду,— говорит,— с гулянья.

— А нельзя ли полюбопытствовать, как ваше имечко?

— Аграфена Власьевна Мурашкина.

— Так-с. Что же вы, Аграфена Власьевна Мурашкина, стало быть, теперича домой отправляетесь?

---

[1] Мой милый? (от фр. *mon cher*).

— Домой,— говорит.

— Ну, а ежели внезапно смеркнется?.. Не опасно одним вам, примерно, идти?

— Нисколько: наш дом-то вот он!

— Где?

— Вот он.

— Гм... так, следовательно, до свиданья!

— Прощайте-с... А как вас зовут, мусьё? — спрашивает она.

— Меня, стало быть, зовут Потап Егорыч Свиньин.

Комедь эвта тем и кончилась. Одначе я дела не бросил. Зачал я с того времени прогуливаться у ее дома, все, знаете, по вечерам. Попробовать не мешает. Дом у них каменный; мезонин слишком здоровый выведен. Разгуливаю себе. Она сидит у окошечка, вяжет чулок али колбает что,— сама, понимаете, романсы поет. И пела она, скажу вам, Сидор Семеныч, ладно; пела, как бы доказать — чисто певчая какая... голос манерный и такой, что, к примеру, нашей мещанке тягаться далеко, куда! Грудью она не брала, а, значит, визгом больше... одно слово — важно!

Прохожу раз, Сидор Семеныч, мимо окошечка, в другой прохожу, говорю: «Дай поклонюсь, сделаю почтение». В третий иду, сымаю шляпу: «Вот, мол, вам... изволите видеть?..» Она увидала, себе кланяется. Я усмехнулся — она ничего, только глаза под лоб подкатила. Тут я смекнул, что надо работать дальше...

На другой день иду опять. Гляжу — сверху из окна вылетает записочка, порхает по воздуху. Мигом схватил я ее, бегу в ресторацию, потребовал пару чаю и читаю. Пишет, стало быть: «Душанчик... ангел мой (девка горячая была). Ежели бы вы знали, как теперича у меня стремление к вам... от души всего сердца пылаю к вам девушка Аграфена... Сладострастию же моему, говорит, не имею границ — ибо свидание наше в Гречихином переулке должно беспременно быть завтра в 9 часов ночи: всячески ожидаю вашего согласия...»

Формально, Сидор Семеныч, свидания я желал. Ведь девчонка она была добротная, румянец во всю щеку. Карахтером ажно ль дрянь вышла. Наране, как следует, я приоделся, подвязал желтый шелковый платок под шею, запер лавку и отправился в Гречихин переулок. Прихожу; она там, с девкой стоит. Скидаваю шляпу.

— Здравствуйте, Аграфена Власьевна.

— Здравствуйте,— говорит,— Потап Егорыч.— Вижу, совестится.

— Здоровы ли?

— Слава богу-с.— Молчит. Потом обращается ко мне:— Что, Потап Егорыч, вы вчерась получили цидулочку? — а сама перебирает пальчиками и смотрит мне на сапоги.

— Так точно-с. Имел даже оказию прочитать... Вот ахнул, ей-богу!..

— Так вы,— говорит,— прочитали?

— Прочитал-с.

Опять молчит да вдруг как цапнет:

— Желаете вы, говорит, быть моим предметом?

Меня эвто вскуражило. Докладываю:

— Аграфена Власьевна! неужели ж эвтого не желать? надо мною всякая то есть бессловесная скотина содрогнется, ежели я не пожелаю...

Прошла неделя.

В некий день является ко мне ее девка и дает мне от Груши наказ такого качества, чтобы я по средам и пятницам ходил к ней в четыре или пять часов утра, как лишь только заблаговестят к заутрени. «Ее отец и мать, говорит, стало, уезжают тем временем к заутрени, так, слышь, извольте, говорит, пожаловать для, значит, препровождения скуки ради... в ее комнату... я, девка, вас провожу туда».

— С моим одолжением,— говорю.— Только вот что: как бы теперича шкандалу не было? Ведь,— говорю,— меня там должны оглоухами накормить за мои посещения.

— Не сумлевайтесь. Ничего.

— Ничего так ничего.— Принялся я похаживать к ней. Хожу благополучно день, другой. Бывало, Сидор Семеныч, не поверите,— ночь не спишь: все боишься, как бы не прозевать. Слышу, благовесть в соборе: «До-он!» — сейчас луплю к ней, в чем ни на есть: в халате, в чуйке ли. Приближаюсь,— ворота отворяются, выезжает купец с купчихой, сидят и крестятся,— на рыжем мерину; ужастенный был мерин, домовым, Сидор Семеныч, всё звали. Эвто так-с. Затем ворота затворяются, а на место их отворяется калиточка, выглядывает девка и дает мне знак, чтобы я шел за ней. Вступаю в комнату... а не забудьте, на дороге, перед крыльцом, у входа-то я завсегда снимал сапоги, сбрасывал их долой, приходил в Грушкину комнату в одних чулках, понимаете,— дабы

шуму не было. Так иду тихо, скромно, с ноги на ногу.— Грушка сидит на кровати, я помещаюсь подле нее, она хватает меня за руку.

— Знаете ли,— говорит,— я вас очень обожаю...

Я отвечаю:

— Помилуйте, напрасно беспокоиться изволите, не стоит-с...

Она:

— Мерси, Потап Егорыч...

— Ну, а если нас захватят? — говорю.

— Нет, эвтому никогда не бывать...

Таким манером проводим время. Особенностей же между нами ровно никаких не было. Путешествовал я к ней не раз и не два. Время, можно сказать, проводил в пустяках; окроме ласк да пересыпки из пустого в порожнее ничего не было.

Осенью, Сидор Семеныч, не помню в какой-то праздник, встретил я ее на углу Подъяческой, шел было к кажуховым лавкам. Увидал ее, остановился. Она чуть не бросилась ко мне на шею. Кричит: «Жисть моя!.. шагай ко мне ноне ночью, сделай такую милость... У нас будут гости, станут гулять до зари до самой. В моей комнате никого не будет».

— Пожалуй,— говорю.— В котором часу?

— В таком-то.

Наступила пора. Являюсь. Комната ее девствительно пустая, и даже огня нет. Только слышу, в соседней зале идут пляски, крик. А Груша тотчас обращается ко мне и говорит:

— Потап Егорыч, слышите: давайте играть.

Я смотрю.

— Да как же? не взошел бы кто. Чего доброго, в шею накладут, недорого возьмут.

— Нет,— шепчет.— Вы разденьтесь, скиньте сюртук, становитесь промеж банками.

— Дальше что же-с?

— Да вы,— говорит,— разденьтесь: Амур и Винера будут представляться.

Мудрит мною, и на! Думал, думал, хочу раздеваться и нет. Что станешь делать? Взял разделся. Стал за цветами. Стою. Вдруг, голубчик мой, растворилась дверь, бежит из соседней комнаты ее брат, за ним целая куча девок. Хохот несется: «Ха-ха-ха...» — девки за ним, он от них, балуются между собою. Я ни жив ни мертв. Как вспомнишь, ални страм, Сидор Семеныч, берет, что

эвта Грушка со мной делала... Брат увидал ее и говорит:

— Что ж ты, Грушенька, тут одна?

А меня не видно за банками.

— Да так,— говорит,— скучно что-то стало. Мне эвти гости тоску наводят.— И так важно притворилась... «Ну, думаю, вздувать умеет». Брат приласкал ее и повел с собою в залу. Теперича на эвтом еще дело не остановилось. Вскорости я опять-таки забрался к своей любезной. Как услыхал колокол... то-то грех! чем бы бежать в церковь, а я к Грушке. Избаловался ловко. Вся причина, глуп был... можно сказать — сволочь! А всему виною Грушка... она, она вовлекла меня в свои сети, да! Прихожу. Сбросил у крыльца сапоги, и к ней... Пошли цалования, милования. Ее девка тут же. Скалит стоит зубы на нас. Вдруг что же? Слышу, скрып дверь... я живо в угол, к лежанке. Девка ко мне и заслонила меня. Я присел. Входит ее мать. К ней:

— Ты что тут? с кем разговариваешь?

— С Анютой,— говорит.

— А ты что здесь стоишь? (Эвто к девке).

— Да так,— говорит,— постоять вздумалось.

А я за ней сижу; держу ее за хвост.

— Ну-ко посторонись...

Анюта посторонилась... как я шаркну! почал стрекать, Сидор Семеныч, как почал... ай-ай-ай... слетел с лестницы, выбежал на улицу в одних чулках. Продрал две улицы без оглядки, прибежал домой — хвать, ни одного чулка нет... все растерял... разожгли!..

Больше туда я ни ногой. Кончен бал. Говорю себе: «Нет, Потап Егорыч, отгулялся, будет! Дождешься, что тебе на спине горбов наделают». Ну, и не ходил. Бросил Грушку совсем. Теперича, Сидор Семеныч, насчет же моих походов к ним, кроме Грушки и девки, так никто и не узнал. Кто таков был, что за персона, но сие время неизвестно.

— Одначе вы, Потап Егорыч, повеселились на своем веку.

— Сидор Семеныч! Где же я повеселился? Ежели бы, к примеру, вы побыли на моем месте, ан не то... ведь сколько одних лихорадок переносил я за эвтими слонюшками...

— А как же вы женились-то?

— Слушайте-с про сватовство. Вещия любопытная. Тут, глядите, какие зачнут строиться гогули. Грушка здесь

пойдет уж гадить: такую скверность учинит! Можно сказать, натянет мне нос вот какой, ахтительный. Раз сижу я в своей лавке, всходит ко мне товарищ.

— Здорово!

— Здорово!

— Не хочешь ли,— говорит,— жениться? девка есть.

— Какая?

— Мурашкина купца, Аграфенка. Две тысячи приданого.

— А не врешь, что две тысячи?

— Так точно.

Порассудил я: ай посвататься? две тысячи не маковое зерно. По крайности была не была,— повидался. Пойду. Наряжаться я много не стал; надел бекешку, теплый картуз,— рубль с пятаком дал у Гусевых. Ни в чем словно не бывало, иду. Перва-наперво, как можно чиннее, тихеньким прикинулся. Картуз сейчас скидываю, вступаю в переднюю; в ней никого нет, а стоит на столе умывальник посеребренный, мыло, полотенце тут. Мыло раскрашенное такое, я даже изумился, подумал: «Аль попробовать, что за товар?» Взял в руки, нюхнул, так и хватило *амбрем* настоящим, издохнуть — не вру!..

— Благородство, должно быть!

— Ка-ак же... то есть человек, Сидор Семеныч, я вам скажу, хоть бы пятьсот душ... да пока до эвтого дела нисколько. Вижу, выходит ихний молодец (заместо лакея он) и хотел было сымать с меня бекешку; я ему докладываю: «Пожалуйте ручку, будьте завсегда знакомы... лапочку сюда... я об вас думаю и полагаю... А что, хозяин дома?»

— Уехачи-с.

Там же в залах шум раздается: «Жених, жених пришел!» Шествуя в покои, сам помышляю: жалко, не надел сюртука-то... развернулся бы! ишь старика нет дома. Помнишь, золы-то напустил бы... Купец, прочим, эвтого не любил. Вот, Сидор Семеныч, навстречь мне, значит, выходит мать с невестой. Невеста Грушка разодета так,— ходи прочь! юбки, с позволения, фу!.. так и трещат. Одно слово, нет барыша, да штука хороша. И не усмехнется на меня, словно первой видит. Поразговорились, сели на диваны, слово за слово... Мать мигом и ответствует:

— Потап Егорыч!

— Чего изволите-с?

— Дочка моя,— говорит,— всякие танцыи умеет рас-

сматривать... на гуслях... кадрели разные... на портуфьянах, фруктами голову улащает...

Думаю: «Все эвто немудрено, может быть; только что теперича скажет сама невеста?» Мне хотца проникнуть про приданое. Обманывать наш брат мастер. Невеста здесь подходит ко мне, очи свои воздвигает на потолок и говорит:

— Желаю пондравиться... (кабысь между нами ничего не было).

Я:

— Покорно вас благодарим-с. Желательно, чем вы докажете любовь?

Она:

— Здоровы ли вы?

— Помаленьку.

— Слава богу, лучше всего...

Я:

— Эвто,— говорю,— справедливо.

Ну, тут подали чай; попили чайку, попотели маленько.

Я, примерно, избрал времечко, говорю девке,— Грушке:

— Что, между тем, Аграфена Власьевна, позвольте понять: какой вокруг вас интерес есть?

— Найдется,— говорит.

— А как то есть?

— Да найдется. Чего сумлеваетесь? А помните,— говорит,— как вы ко мне ходили?..

— Да-с... именно... помнить кажинную малость помню; касательно же интереса любопытно спросить?..

Она:

— За интересом дело не станет. А вы, Потап Егорыч, сообразите, что предмет главная сила: он прежде всего обращает на себя внимание...

— Точно,— говорю,— предмет многое означает.

Тем делом, Сидор Семеныч, приводят меня в спальнию. Осмотр идет. Спальния богатейшая: подушек до потолка до самого. Говорят мне:

— Эвто наша почивальня, Потап Егорыч.

Я говорю:

— Для отдохновения-с?

— Для отдохновения.

Иду обратно, гляжу, возносят мне на показ салфетки и скатерти. Как подали на руки — подоби вот писчей бумаге, ах ты боже! Я подивился. Дальше, наступила пора обедать. Обед значительный был: ветчина... залив-

ное там... вина разных сортов... и попойка была порядочная. Я пил мало. Но бабы, случились за обедом, качали крепко: под конец стола настегались так,— заду не подымают.

Вот хожу к ним почесть кажинный день. Про приданое пока молчим... Проходит полгода, проходит страшная... четверг,— ничего. В пятницу на святой мы снюхались совсем, порешили. Через никак неделю, что вы думаете? Слышу-послышу, за Аграфенку присватыется офицер. Только узнал об эвтом, тотчас бегу туда, к ним; зло взяло меня.

Вхожу в дом, являюсь в залы, вижу, девствительно стоит офицер, усы расправляет, держится за саблю рукой. Аграфенка сидит на стуле разодетая, разукрашенная: тут ли ты!.. юбки оттопырились на полкомнаты. Говорили ребята, что она к подолу-то пришивала обруч; конечно, подлинно проведать об эвтом женихам нельзя. А в замужестве она нет, обручей не носила. Да и не пригоже; теперича ежели она с обручами взняхоется на кровать,— ведь эвто что выйдет?..

Ну сидит она, сама чванится, знаете; шею вытянула, губы сжала... ни полслова,— великатная такая. Подле нее стоит ее бабка, поправляет на ней ленточки и шепчет ей сплошь: «Не шевелись, мать моя, не шевелись; а то его благородию не понравятся такие дела...» Меня, Сидор Семеныч, рассердило; как? то за того, а то за другого?.. Теперича рассудите по правилу: хорошо она поступила? а? Я вам говорю, одер девка, царство ей небесное... такая продувняга,— поискать на редкость: сейчас в одно тебе ухо влезет, в другое вылезет. А тятенька-то мой был тут в стороне. Нет, чтобы так-то присмотреть за мной: дескать, как сын женится? Просто, Сидор Семеныч, кажинный шаг я должен был сам обдумывать, чтобы впросак не попасть.

Гляжу, мать Грушкина опять зачала расхваливать офицеру свою дочку, как мне прежде, что и танцы и всякие... гримасы ногами выкидывает, и пятое-десятое... Отец тоже себе указывает офицеру на девку, говорит:

— Вот, стало быть, ваше благородие-с, товар лицом: извольте заключить,— говорит,— белизна-с какая... одни ручки — что твоя мука пшеничная; первый сорт... манность!..

И шепчет офицеру, сам ухмыляется... «Как, ежели бог даст, женитесь, ваше благородие-с, таких поросяток препожалует,— любо-дорого смотреть...»

«Ну, думаю, провела... не замай же!..»

А она, Сидор Семеныч, Грушка-то, запрежде как услыхала, что офицер свататься хочет на ней, кричит: «Я благородная... Я благородная»,— говорит. Видите? что значит необузданность-то.

— Так как же-с? какая будет крайняя цена?

— Пять тысяч,— говорит. (Куда ляпнул!)

— Нет, таких цен ноне не бывает. Вы посходней просите. А не можно ли, ваше благородие, взять две тысячки?

— Нельзя-с,— говорит,— убыток будет.

— А то по рукам?..

Грушка смотрит на них.

Я не стал слушать их разговоров, взял подсел к ней. Завожу речь такого калиберу:

— Что же, Аграфена Власьевна, вы теперича мне изменяете?

Она ни слова. А бабка подгвазживает ей на ухо: «Не шевелись...» Постой же, думаю себе, ты у меня зашевелишься. Пересел на другое место. В самую эвту минуту, Сидор Семеныч, Аграфенка уронила что-то на пол. Офицер бросился, подхватил и подает ей. Она говорит: «Бонжур[1] за внимание...»

Я сижу. Никто со мной и разговаривать не хочет: притча какая! Встал, нимало не медля, беру картуз и доношу: «Мое почтение-с».

Отец обернулся.

— А! Потап Егорыч... ну, прощайте!

Как мне было тошно, Сидор Семеныч; право... много муки зазнал я с эвтой Грушкой. Пришедши домой, говорю себе: какая она мне будет жена,— верность, ежели и к одному и другому вешается на шею. Пропади ты совсем, дурища!

Офицер женился на ней, слышите? да и голова же был! вот так искусник: в самую первую же ночь хватились, а его след простыл. Шарили, все углы, трещины высмотрели в дому, нет офицера. А он, говорят, заехал в какой-то трахтир, там богу душу отдал. Болтали, что ему кием голову проломили; одначе кто знает? может, и другое что случилось, только Грушка овдовела. Вот тебе и благородная!

Сказываю своим ребятам: «Как, мол, полагаете? что

[1] Неправильное употребление французского слова bonjour — добрый день.

бы мне сделать с Грушкой? Злыдни такие учинила...» Положим, я не женился на ней, а она за меня не вышла,— все же таки попамятовать ей надобно. Зол был я на нее. Сначала объявил ее девке: «Скажи своей Грушке: как встретится где, так угощу, язык высунет...» По городу, Сидор Семеныч, уже пошли ходить разные разности, всё про Грушку... Слушайте, что дальше. На вешнего Миколу приходит вдруг ко мне ее отец.

— Егорыч!

— Что?

— Так и так... прости меня... я тебя обидел.

— Чем, Влас Гаврилыч?

— Да как же: дал тебе тогда честное слово, а сделал пошлость...

— Ну, эвтого не воротишь,— говорю.

— Нет,— говорит,— оно можно воротить.

— Как?

— А вот как: я офицеру-то покойнику дал две тысячи, а тебе, ежели хочешь, дам три.

«Ишь как, думаю, куда полезло!»

— Вот что,— говорю,— Влас Гаврилыч: деньги ничего, их можно, пожалуй... я не прочь. Одна статья меня в сумленье приводит.

— Какая?..

— Боязно мне... то есть касательно Аграфены Власьевны: ведь она, будь меж нами сказано, уж женщина. Следовательно, цена теперича ей не та.

— Вот тебе, провались я на сем месте,— говорит,— девка неповинна. Слышь, офицер после ужина удрал...

— Так ли?

— Лопни мои глаза.

— А ежели нет, тогда что?

— Будь я анафема, коли лгу. Будь друг, избавь девку. По городу такие шкандалы ходят — смерть!..

— Изволь, изволь. Но чтобы, смотри,— говорю,— насчет того...

— Я тебе сказываю, убей меня бог, ежели...

— Ладно.

Сладились. Через месяц, Сидор Семеныч, мы обвенчались. Но дивитесь теперича, как, значит, наш брат купец, как он обдувать-то ловок. Вместо всего, что мне сулили... обманули меня во всех частях... какова скверность...

1858

ЗМЕЙ

В ветхой избенке, стоявшей на краю одного уездного города, в ненастный осенний вечер, при свете ночника, сидели за ужином два молодых парня. Они только что пришли с бочарной работы и, как видно, сильно проголодались, потому что ели с большим усердием, хотя ужин их состоял из одной тюри, которую приготовляла грязная баба, сидевшая в углу избы с поникшей головою. Один из работников был худ, бледен, однакож не угрюм, и имел на вид не больше восемнадцати лет; другой несколько постарше, с открытым, полным лицом и слегка смеющимися глазами. Они рассказывали друг другу, сколько выручили за день капиталу, в какие заходили дома, какую сбивали посуду и проч.

Между тем под окном шумел проливной дождь, в трубе завывал и посвистывал ветер, на всю избу звенели дрожавшие стекла. Работники порою замолкали и прислушивались к дождю.

— Как хлещет! — говорил один из них.

— Да, малый,— задумчиво отвечал другой.

Затем снова начинались разговоры. А сидевшая в углу баба продолжала дремать, покачиваясь взад и вперед.

— Тетка Арина! — обращаясь к бабе, проговорил старший малый,— не знаешь, хозяин дома?

— Чего?

— Хозяин дома?

Баба зевнула, потянулась и пробормотала:

— Господи Иисусе Христе... не знаю... Кажись, ушел куда-то. А-а-а...— опять зазевала она и почесала у себя правый висок, запустив пальцы под головную тряпицу.

— А что, тетка Арина, нет ли у тебя другого какого хлёбова? тюрю-то, слышь, ели, ели, ажно вспотели.

— Какого там тебе хлёбова! Ишь что выдумал: дай ему хлёбова... Где я возьму?.

— Ну, так нечего, верно, попусту сидеть. Ступай, собирай со стола.

Работники вышли из-за стола, помолились образам и поблагодарили за хлеб за соль бабу, которая, поправляя на своем затылке съехавшую повязку, медленно подошла к столу, позевала немножко и начала сбирать посуду.

— Тетка Арина! ты бы нам когда-нибудь теста наварила,— сказал старший малый, стоя позади бабы и застегивая ворот своей рубашки.

— Чуден ты, Иван, право слово. Ты какой-то неразумный: теста, вишь, ему навари. Хозяйка я, что ли? Кабы я хозяйка была? их! я сама жру не лучше вашего: часом с квасом, порой с водой.

Иван проворно повернулся и пошел к печи, чуть-чуть напевая, как бы про себя: «Тетушка Арина, ты б нам тестица сварила».

— Семен! пойдем на печь,— сказал он товарищу,— ноне я тебе расскажу сказку, волос дыбом станет; такая занятная, пропади она. Давеча, братец ты мой, иду по Воронежской улице и кричу: «Обручи набив-а-а-ать». А сам думаю: «Эх, забыл сказать Сеньке одну сказку; беспременно, мол, вечером скажу».

— Ну, рассказывай, рассказывай,— проговорил Семен, почесывая обеими руками свой живот,— да смотри, хорошенько.

— Уж отзвоню такую лихорадку — любо! Полезай на печку.

— Погоди маленько, дай напиться, сейчас...

В углу избы зазвенел жестяной ковшик. Через минуту работники забрались на печку и приготовлялись к рассказам.

Работница вытерла мочалкой стол, поправила ночник, перекрестила свой рот и отправилась к загнети.

— Ребята, тушить ночник-от?— сказала она разуваясь.

— Погоди, может хозяин призойдет.

— Не замай же его, погорит. А-а-а-их-ну! Господи отец небесный... Христос милосливый...

— Ну вот, это мне рассказывал верный человек. У некого купца была дочка, самая что ни на есть красавица и любимая его. Звали Машенькой. Такая распрекрасная красота, что все купчики стадами бегали... Случились ее

именины. Отец, пришедши от обедни, зачал ее поздравлять со днем ангела: «дескать, честь имею поздравить тебя, дочка милая». — «Благодарим покорно, папенька». Потом отец пошел в другую комнату и вдруг выносит на серебряном блюде кольцо золотое.

— Погоди, да я эту историю знаю,— прервал Семен.

— Как знаешь?

— Именинница получит кольцо и ненароком подавится им, так?

— От кого ты слышал?

— Не помню. А дальше там ее схоронят и за кольцом полезут к ней ночью воры, то есть в могилу. Вытащат из горла кольцо, она и воскреснет.

— Так, так. Ну, коли эту знаешь, надо другую говорить.

В это время в избу вошел с черной бородой, в длинной чуйке, хозяин. Он двумя пальцами сучил край своей бороды и глядел на печь, прислушиваясь к разговору работников. Но работники скоро замолчали.

— Что, ребята, вы не спите?

Иван бросился было слезать с печи.

— Лежи, лежи; я так пришел. Ну, как вы ноне день поработали, хорошо?

— Не совсем хорошо, Григорий Петрович. Я-то сорок копеек принес, а вон Семен тридцати не выработал.

— Да, плоховато. Выше бога не будешь.

— Прикажете теперь деньги отдавать?

— Нет, завтра отдашь, лежи себе. Я так, на минутку зашел. Плоховато, плоховато! А я ходил к Еремею Иванычу; жена у сердечного померла.

— Померла? — спросил Иван.

— Померла.

Не переставая сучить пальцами бороды, хозяин задумчиво пошел вон из избы; на пути ногою подсунул под лавку ведро с помоями и скрылся за дверью.

— Ребята! — вдруг спросонья забормотала баба,— кто это приходил? Ребята!

— Воры, тетка, воры!.. ха-ха-ха-ха.

— Провалиться вам, жеребцы стоялые,— с сердцем сказала баба и завернула голову в дырявый армяк, из-под которого слышалось: «Чего хохочут? Насмешники, прости меня господи...»

Впрочем, двух минут не прошло, как она успела уже захрапеть на всю избу.

— Что бы тебе рассказать? — начал Иван, почесывая макушку.

— Про мертвецов знаешь? Вот расскажи.

— А ты веришь в мертвецов?

— А ты?

— Я не верю,— сказал Иван.

— А я верю.

— Ну, напрасно. Да ты размысли, разве может мертвец вставать?

— Может завсегда. У нас в слободе каждую осень мертвецы бродили, потому отчего же им не бродить?

— Глупо, братец мой, ты рассуждаешь.

— А в писании сказано, говорят: мертвые восстают из гробов,— так ты должен поверить.

— Знамо, должен. Я должен поверить, ежели в писании сказано. Только про мертвецов рассказывать тебе не стану. Потому я про них ничего не знаю. Но вот... Сенька... погоди, брат.

— Что?

— Вспомнил. Сейчас расскажу. Такая история...

— Про мертвецов?

— Нет, про змея.

— Хороша?

— Эту, брат, только слушай; смотри не засни. Дли-инная... пойдет за полночь.

— Правда это?

— Истинная правда, вот увидишь.

По обычаю всех рассказчиков, приготовляющихся угостить слушателя занимательной историей, Иван несколько раз кашлянул, плюнул, немного помолчал и начал:

— Слушай. В нашем селе некогда жил молодой огородник, по имени Антошка, человек безобразный собою и высоченного роста. Рост у него был так велик, что когда Антошка стоял на пустыре у нашей версты, то издали казалось, будто два столба торчали, ровные между собою. Одной слеги недоставало на верх, чтобы вышли качели. Такой удивительный рост. Ходил он всегда почесть в соломенной шляпе, с палкой или балалайкой в руке. При нем еще находилась белая собака, «Секрет» прозывалась. Мужики ее звали курятницей, ибо она кур ела. Этот Антошка, слышишь ты, был человек необнаковенный. Он имел у реки, на своем огороде, избушку и жил один; занимался такими делами: шил сапоги, вязал сети, строил клетки с западнями и обучал всякую скотину разным артикулам. Что то есть ему ни попадись — кошка

ли, дятел ли, свинья ли... нет бишь, свиней он ничему не учил, так как свинья глупа. Но примерно вот цапля; эту он обучал. Одна у него, помню, под дудочку плясала на Фоминой недели. Кроме того, Антошка был отчаянный бабник... Что, спит Арина-то? — вдруг спросил рассказчик, подняв голову.

— Спит, спит,— рассказывай.

— Так, понимаешь? Главное, умел подделаться под баб: прибауток знал гибель. Любил он припевать такое стихотворение: «Как под мельницей, под вертельницей, там и старчики (нищие) дерутся, только сумочки трясутся». Во время пения строчит на балалайке и ногами маленько семенит.

Я его знал вот словно тебя и ходил к нему частенько за подсолнухами, за огурцами, а то просто какую-нибудь книжку спросить. У него были «Сухарева башня», «Змей Горыныч», «Правда о мужчине и женщине». Еще, как ее... от запоя что-то... кажется, «Польза от пьянства».

Прежде всего я тебе буду говорить, каков у него дом. Сейчас ты входишь в избу (изба чистая и светлая), видишь: в углу направо разбросаны сапожные струменты, на стене картины наклеены, и висит под шляпою балалайка. По полу ходит аглицкий петух и куцая галка бегает; галка у него предназначена для прусаков, имя ей Матренка. Перед окнами висят две клетки с синицами; по жердям порхает чиж. На лавке под образами привязана к гвоздю крыса, а под столом лежат две собаки: одна белая — курятница-то, другая — щенок, Кубариком прозывалася.

— Зачем же у него крыса?

— А все же для выучки служился. Он, видишь ты, крысу учил на задние лапы становиться, держать трость через плечо и плясать. Да у Антошки не токмо крыса, даже мерин был ученый, лошадь лет пяти, рыжей шерсти: он умел носить в зубах плетушки, ведра с водою, воровать корм. Воровать выучил его Антошка таким образом. В сумерках водил его в чужие скирды и приставлял прямо мордой к сену, а сам из-за валу выбегал и пугал его; да так настроил животину, что она чуть заслышит шорох, так и пустится бежать, только копыта засверкают. Мужики сколько раз дорывались поймать его,— нет, погоди: лошадь не та, чтобы далась тебе. Этот мерин вот какого разума достиг, что знал, каким манером обойтись с мужиком и бабой, в случае, ежели нападут на него: от бабы он никогда не бегал, а заложит уши назад и напу-

стится на нее; баба закричит благим матом, не знает, сердечная, куда деваться. Но от мужика мерин бегал без всяких то есть отговорок; потому смыслит, что мужик — не баба: пожалуй, по ребрам съездит. Одно слово, лошадь четыре целковых стоила прежде, а после выучки сделалась без цены. В наше село приезжал один казак,— так он заподлинно сказал, что этаких мереньев на Дону мало. А ведь на вид, братец мой, войлок просто: пять лет от роду, шея длинная, вся в орепьях, да еще выдерганный хвост; ноги косматые. Опричи всех этих забав, у Антошки находились на чердаке голуби турманы; штук до двадцати было. Как он за ними ухаживал! бывало, схватит помело, встряхнет волосами и начнет пугать, сам присвистывает: фю, фю, фю... Иногда зарядит, с утра до ночи охотится. Ежели же нечаянно налетит на стадо ястреб, то Антошка сам не свой бывает: и помелом тычет вверх, и кричит, и бегает — весь народ взбаламутит. Однова он в одной рубахе гнался за ястребом верст пять по деревням. Народ в изумление пришел, глядя на него; руками махает, горланит изо всех сил. А то как-то улетела у него молодая голубка; Антошка живо схватил себе в подол кормочку овсеца и поскакал за голубкой. Она пролетела версты три, в селе Пестрове села на дом благочинного. Антошка второпях стал прямехонько перед окнами и принялся шептать: «Ксь, ксь, ксь...» Сам одной рукой держится за подол рубахи, а другой выхватывает оттуда овес, рассыпает его по земле и не замечает, что у окна сидит благочинного дочь, орехи щелкает. Право! голова был этот Антошка.

Расскажу тебе, как он жил дома, как обращался с своими птицами и собаками. Собирается, например, он обедать. Ну, вестимо, сам накрывает на стол, режет хлеб, выставляет из печи горшки. Вся скотина, которая у него в хате, собирается к столу. Антошка садится среди ее, берет в подол к себе щенка и сидит, словно отец в семействе, и со всеми разговаривает. А синицы и чиж в это время заливаются песнями. Чиж летал повсюду: то на вербы порхнет, то на блюдо сядет. Подле хозяина на лавке стоял обнаковенно петух. Он все присматривался к щенку: чуть щенок зашевелится в коленах, тотчас он его в голову стук, стук и пойдет долбить. Тогда Антошка говорил: «Смотри, смотри, Петька,— я те клевну!.. Глупец».

У нас на селе у парня Илюшки были тоже аглицкие петухи, так Антошка часто говаривал своему за обедом:

— Ты у меня, Петр Петрович, ныне скочетаешься

с Илюшкиным петухом: если выручишь, я тебя тогда этак по головке поглажу... да ты не дерись... я тебе чертоплешину закачу; хозяин говорит, а ты должен слушать.

Потом, когда видел, что галка, назобавшись, скакала по избе, обращался к ней:

— Галка, галка, Матренушка, куда ты? сыта?

Галка, известно, ничего не ответит, а юркнет под печку и оттуда уж что-нибудь прокричит на ответ.

Как должно понаевшись, Антошка вылезал из-за стола, поддергивал штаны и читал вслух молитву: «Благодарю тя, яко насытил мя».

Животные разбредались по избе. Петух садился на перекладину, собака искала зубами что-то в своем хвосту. Хозяин, подошедши к окну, набивал в трубку корешки — жилку. После отправлялся голубей гонять.

— Да кто был прежде этот Антошка?

— А вот кто. Антошка — сын одного земского. Сначала он учился в городе в училище, потом года четыре шлялся без должности: шалаем был. Отец приказал ему искать место. Антошка нашел себе место у некоей барыни, на конюшне. Должность заключалась в присмотре за лошадьми. Но только ему там не посчастливилось; раз, в жаркий летний день, случилась оказия: барыне вздумалось съездить на пруд искупаться. Кучера не было дома, приказано сбираться Антошке. Он заложил самую что ни есть лучшую пару в дроги, посадил барыню и покатил с нею на пруд, версты за полторы от села. Дорогой с ней разговорился. Барыня словоохотной была. Зашла речь об женитьбе:

— Что ты не женишься? — говорила барыня Антошке.

— А почему вы желаете, чтобы я женился?

— Да,— говорит,— лучше, как женишься: покойней...

— Это действительно,— говорит Антошка,— что покойней: по крайности нет этих тревог,— говорит...

Барыня доложила ему, что он не туда заехал, и приказала замолчать. Антошка только кнутиком замахал на лошадей.

По приезде на пруд Антошка высадил барыню на берег, сам отъехал подальше к кустам и стал там.

Барыня любила купаться вдоволь. Рассказывают про нее, истинная белуга плавает: то на спину повернется, то боком. Наконец, выкупалась она, вышла на берег, прыгнула к платью, да как ахнет и чуть не упала. А из ближнего-то куста выскочил Антошка. На другой же день

формально приказано было прогнать его, чтобы и духу не пахло.

Ну, снова здорово, Антошка начал придумывать, где бы отыскать себе место. Пока думал, а в ту пору он по воскресеньям ходил в нашу церковь; пел тенором на крылосе, читал Апостол и тушил свечи у икон.

Апостол читал он здорово: ух, заберет, бывало, всех галок из-под крыши выгонит. И как прочтет, то всегда мужикам подмигивает: «Дескать, каково?» И хлопнет крышками. Тоже звонил он на колокольне нередко — и мастерски: на светлой неделе начнет отхватывать, так все прохожие подплясывают, идучи по выгону. В прошлом году на святой у церкви собрались бабы лен барской стлать; десятской был хмелен. Антошка мигом вскочил на колокольню и тронул в колокола; бабы крепились долго: всё слушали да посмеивались, но как Антошка хватил «барыню», все бросили работу, подобрали юбки и пустились плясать. Пьяный десятский поднял руки вверх, шлепает ногами и кричит: «Наша матушка Росея всему свету голова!»

А то Антошка имел обычай на колокольне галок ловить: страсть его. Раз, во время тоже светлой недели, когда попы были в приходе, он награбастал целый мешок галчат с старыми галками и пришел к молодой дьяконице; дьяконица лежала на своем крыльце; над ее головой сидела старуха с гребенкой в руках. Антошка снял шляпу и говорит дьяконице:

— Здорово живете, матушка. Вот супруг ваш из приходу прислал кур христославных.

— Ну, спасибо,— отвечает дьяконица,— поди снеси их в курятник.

Антошка снес в курятник.

Веришь ли, как разозлился на это дьякон, приехавши из прихода: «Как он смел!» На другое утро сел и написал прошение благочинному с жалобою: «Ваше высокоблагословение, такого-то и такого-то числа Антошка огородник в мою закуту высыпал целый мешок галок с птенцами; сказал моей жене на крыльце, что это христославные куры. Помилуйте меня: я человек семейный; во-вторых, мы на пасху кур не сбираем, а больше рождеством, следовательно в самое во время собираем...» Благочинный даже бородой потряс от гнева; вон что наделал Антошка!

Я тебе рассказываю все про те штуки, которые Антошка творил, живучи у отца. Отец ненавидел его шибко. «Хоть бы уж в острог поскорее его взяли»,— говорил он.

Да и Антошке с отцом не всласть было жить. Однова как-то, осенью, что ли, отец Александр объявил в церкви энифест: «То и то, православные христиане, на нас восстает англичанин; просим покорно в солдаты». Антошка, выслушав энифест, возрадовался. Вскорости пошел в город и там нанялся за мещанского сына в солдаты. Уговорился, получил вперед денежки триста рублев. Прогулявши их, он подступил к мещанину и говорит:

— Вот что, почтенный, ты должен сообразить: что можно ли меня нанимать в солдаты? Ты сперва должен спросить у моей родимой матушки. Что она скажет? А так-то, ни уха ни рыла не смысля, не делают.

Мещанин посмотрел на Антошку и воскликнул (простачок он такой был):

— Да что ж значит? что это такое? Значит, грабеж? Значит, примерно, по-свинячьи поступаешь со мной? Стало быть, на тебе суду нет?

Однако пришел с ним вместе к его матери; мать — сердитая баба. Она в то же время страдала родами. Мещанин начал объяснять ей:

— Вот, значит, матушка Анна Ивановна, теперича благословите вашего сына; значит, удалиться он хочет от вас.

— Куда?

— В солдаты.

— В какие солдаты? Да ты у кого же спросился? Ты не видишь, сын болван? не видишь, он дурак?

Вскочила баба и давай полосовать мещанина за виски. Мещанин как вскрикнет: «Караул, значит,— убили! виски все повыдергали!» Дошла очередь до Антошки.

— Поди-ко ты сюда,— сказала ему мать.

Антошка подошел и с покорностию наклонил голову.

Она его за волосы. Только мещанин отвечает:

— За что же вы, сударыня, деретесь? Значит, ваш сын триста рублев прогулял, а я виноват?

— А ты знаешь, лошавод этакой, у него порок на спине, шрам? (порока не было). Куда его возьмут? А без моего-то благословения материнского разве возьмут?

Мещанин поговорил крошечку, видит — с бабой не столкуешь, махнул рукой и вышел вон. Антошка себе за ним. На улице говорит взад мещанину:

— В ус не вдунулось, как я тебя надул.

— Да,— отвечает мещанин.

Вечером, с балалайкой под мышкой, Антошка забрался в заречную слободу в хоровод, всем рассказывал эту

историю и угощал баб прибаутками. «Ишь те леший поддернул наняться,— говорили бабы ему,— да что это ты? право слово».

Не хуже мещанина он обманул бабу солдатку. Потребовался ей пашпорт; она пришла к Антошке и сказала: «Иду, Антон Митрич, для проживания в город Пензу, как мне быть?»

Антошка отвечает: «Сейчас напишу тебе пашпорт». Написал ей грамотку и подает: «Ступай, матушка, на все четыре стороны». Баба с этой грамоткой пошла да в первом же городе и застряла. Ее остановили. А там в пашпорте написано. «Очистим чувствия и узрим...» — целая песня праздничная. Печать приложена; под печатью подписано: «Сликатарь Мерзавцов». Одно меня в сомнение приводит: как он не попался? Чего, чего не делал? Главная причина: счастлив был. Он, вот ты увидишь, еще не то сработает: он в дураках все наше село оставит.

Надо тебе сказать, что в ту пору, как солдатке он написал пашпорт, отец совсем выгнал его из дому. Тут Антошка нанялся к нашему огороднику. Огородник был человек старый, вдовый. Году не прошло после поступления к нему Антошки, как он умер. Антошка заступил его место. Огородником он стал жить поживать так, как я тебе описывал, то есть: занимался сапожным мастерством, обучал животных, продавал огурцы и увеселял баб. Бабы, нечего таить греха, любили его, хоть и безобразным считался. Иногда завидят его где-нибудь, закричат: «Антон, Антон Митрич!» — и махнут к себе рукой. Он подойдет, снимет шляпу, а ногу отшвырнет назад и хватит на струменте с припевом: «Кости болят, все суставы говорят». Сам то и дело подмигивает. Домовой был насчет этих делов! Но вот, слышь, жениться он ни за что не хотел. «Э, скажет, то ли дело — свобода: одно слово, Акулька, вздохни!»

Слушай, теперь пойдет история такого рода. Сейчас Антошка примется ворочать делами как следует. Ты, Сенька, спишь или нет?

— Где же? посмотри.

— Полюбилась Антошке одна девка на селе, по имени Апроська. Девка красивая, толстая, но маленько с придурью, так немножечко. Тем больше понравилась она ему, что толста была. Подбрюдок висел у ней, словно у кормной свиньи; а ходила разваливалась: ступень давала ровно по рублю. Привычка у ней была такая: станет, бывало, у своих ворот, возьмется за брюхо руками и ба-

сит: «Чу-ух, чух, чух...» И такая незамайка. Подойдешь к ней, скажешь:

— Апроська!

— Чего?

— Ну, ничего.

Завернется, пойдет.

Я, братец ты мой, был сердит на нее за то: как-то зимой мы с ней молотили рожь; я по колосу, она по поясам. Молотили, молотили, она как ожгет меня по лбу цепинкой. Месяцев шесть шишку носил! Вся в матушку свою родимую. Мать ослопина изрядная была. Я тебе расскажу, каковы эти люди дочка с матушкой: обе разини такие, что сказать не хочется. Года с два назад в нашем селе случился пожар. В Апроськином доме сидела одна ее мать, качала ребенка. Когда пожар начался, Апроська пришла с пруда домой, вправо, влево поклонилась (любимая ее ухватка), поздоровалась с матерью и затягивает не спеша:

— Матушка.

— Чего?

— Горят.

— Где, дочка милая, горят?

— Да Миколаевские горят. (А Апроськино село и есть Николаевское.)

— Ну, господь с ними, дочка любезная.

Апроська и ушла на двор рубахи вешать.

На селе крик раздается, все гамят: слышно, пожар недалеко от Апроськина дома. А ее мать сидит и шепчет: «Шум какой... поди ты!..» Опять дочь приходит в избу. Мать на прежнем месте шепчет по-прежнему: «Дела какие... Оборони господи...» Апроська говорит:

— Матушка, горят.

— Чего?

— Горят.

— Да где, дочка милая, горят?

— Да Миколаевские горят.

— Да чего Миколаевские горят?

— Да как чего?

Насилу встала мать; пока обрывок снимала с ноги, пока иглу в голову втыкала, Апроська успела куда-то пропасть. Выходит в сени, дочь ей навстречу. Стали они в сенях друг против друга, смотрят одна на другую и начинают. Сперва дочь (на селе голоса раздаются):

— Матушка!

— Чего?

— Горят.

— Да где, дочка милая, горят?

— Да Миколаевские горят.

— Да чего ж они горят?

— Как чего? Не видишь, дым в сенях?

Вдруг над ними обрушилась поветь и на голову огонь посыпался. Вот тебе горят! до чего дотолковались. Мать маленько еще поглупей будет дочери. Ты заметь, что Апроськи теперича вживе нет; она скончалась давно; потому осуждать ее я не хочу, бог с ней! Но что глупенька была! Насчет же красоты девка добро. Вот и полюбилась она Антошке. Сама, впрочем, Апроська не думала его любить. Антошка, невзирая на то, принялся ухаживать. Лишь где увидит ее, подскочит и начнет ублаготворять балалайкой, песенкой, рассказами разными. Девка в это время, известно, смотрит куда-нибудь в сторону или наземь. Потом слушает, слушает его и брякнет: «Не дури; бачке скажу...» И отвернется. «Что за диво такое? — думает Антошка.— Я к ней всей душой, жить не могу, а она, как дерево; может, подарков хочет?» Приносит ей подарков: ленту, пуговицу там — нет! Замечает, девка пуще дичится, даже встречаться боится, наконец вовсе не показывается. Иногда выйдет на крыльцо и опять скроется. Антошка будто призадумался.

Наступила весна. Сельские девки показались на лугах, на пустырях: явились хороводы. У нас хороводы бедовые бывают. Апроська с девками гуляет, Антошка тоже. Пошли игрища всякие. Антошка своего дела не бросает. Попрежнему прибаутками потчует Апроську. Иной раз среди игры, словно не нарочно, насунется на нее. Смотрит, девка снова заартачилась. «Что за оказия такая?» — рассуждает Антошка.

Дальше Апроська и в хоровод бросила ходить. Зарею сядет у своего дома на завалинке с шитьем в руках, штопает и поет про себя басом: «В той кузне молодые кузнецы куют, дуют да наваривают». Долго ли, коротко, Антошка порешился вот на что: он принялся подсиживать ее. Где ни на есть в канаву заляжет или возьмет под скирдами притулится. Больно, стало быть, в любови захотелось изъясниться. Уж он вчастую отзывался о ней: «Эх, девка-то прелесть!» Подсиживал день; другой — не показывается Апроська. Что ты будешь делать? «Погоди же, думает Антошка, я тебя подкараулю в другом месте; у тебя же на дворе. Ах ты дерево проклятое!»

Дом Апроськин стоял на горе с краю слободы. Той же весною, поздно ночью, Антошка забрался к ней на двор. Перешагнул через плетень, обошел закуты, высмотрел кругом и стал под навес в угол, где лошадиная сбруя вешалась. Темь была, глаз выколи. Антошка, одначе, поместился так, что мог видеть избенную дверь. Он надеялся, что в нее выйдет как-нибудь Апроська за каким ни есть делом. Стоял он долго: не видать ничего, не показывается девка. Вдруг около двора что-то затрещало, заскрыпели ворота, и на двор въехал на телеге мужик. Антошка про себя говорит: «Ну, кого-то привалило». Это был Апроськин отец. Он слез с телеги, отпряг лошадь, снял хомут, взвалил его на плечи и идет к тому месту, где стоял Антошка. Антошка видит эту церемонию, только не знает, куда скрыться. Мужик поднял над ним хомут и пялит на голову, думает, что на крюк вешает. Антошка как ударится бежать мимо мужика, мимо плетня, да в ворота и исчез. Вот тебе премудрость.

Мужик хомут уронил, разинул рот, растопырил руки, не понимает. Постоял, покачал головою, сотворил крестное знамение, плюнул и стал размышлять: «Кто, мол, это такой? Нечистая сила? Нет, господи спаси. Вор? Нечистая сила? Кто же это?»

Хомут лежал на земли, лошадь шлялась по двору. Пришедши в избу, мужик долго сидел под иконами повеся голову. Все домашние с изумлением смотрели на него: бледный сидит; шепчет про себя. «Не помешался ли?» — думали они.

Жена подошла к нему, дернула за рукав и сказала:

— Захарыч, а Захарыч, опомнись!

Он вздохнул и объявил:

— Так и так. На дворе у нас невесть что завелось.

— Что ж такое завелось?

Призадумались домашние. И так и этак прикладывали умы свои — ничего не выходит. Апроська лежала на печи, себе прикладывая ум — тоже ничего не выходило.

Немало мужики растабарывали промеж себя касательно, что на дворе не чисто. Заключили же тем: вор приходил — кобылу свесть. Однако у образа свечу поставили и помолились на сон грядущий крепко.

Наутрево, после своей прогулки-то, Антошка, как ни в чем не было, сажал на своем огороде капусту, бегал с ведрами на реку. А после обеда поехал с дьячками на крестины в приход. Дьячков он любил: часто обнимался с ними, целовался, хоть заочно и называл их долгогри-

выми жеребцами. Когда Антошка ехал с дьячками в приход (у нас пятеро дьячков), то на телеге трясся пуще всех и выдвигался, будто каланча; обычай они все имели дорогой кнутиком собак дразнить. Ежели теперь слышишь на улице особенный брех, то знаешь, что это едут дьячки с Антошкой. Легонько на крестинах подвыпивши, Антошка ручался перед компанией, что он может комаринского пробежать, в случае, как позволит ему отец Александр,— то есть даст свое, примерно, благословение. Но мужичок-хозяин отклонил его намерение, объяснивши, что новорожденный чуть жив, не до комаринских... «Ты пляши, говорит, да разум помни, Антошка. Тутось не девки тебе попались». И озадачил его. Антошка притих. После с сердцов говорит себе: «Уж ежели так,— значит, девками попрекать стали, затешусь же опять к Апроське, я ей дам».

Пришел май месяц. Мужики выбрались на дворы спать. Антошка знал это и, наверное, рассудил, что пора поспешить Апроську посетить; потому надо проведать, где она спит? Апроськины домашние спали кто где попало.

Теплою, погожею ночью Антошка при первом куроглашении появился на Апроськином дворе. По обычаю, выглядевши все вокруг себя, зашагал он под навес, как словно дворной, что лошадям косы заплетает. Ночь была ни светла, ни темна: звезды горели, месяц не всходил,— знаешь, майские ночи. Перевел Антошка дух, недалеко, слыщит, храпенье распространяется. В соседней закуте едят лошади корм, едят, едят да вздохнут. Антошка стоит себе, вздохнет: «Дескать, эхма! шутка ли, забрался куда, в какую погибель! Ну, вдруг проснется кто, увидит? На месте уколотят». Мужик относительно сего безмилосерд. У нас в селе, знаешь, случай был: столяр увидел в сарае свою жену с холопом. Холоп и жена стояли спиной к столяру и не видали, как он подкрался к ним и посадил обоих их на вилы. «Ну, ежели совершится то же событие? — думает Антошка,— была не была, начну. В главности, подсмотреть должно, где спит дерево Апроська?» А дерево знать не хочет рассуждений Антошки, почивает под навесом. Подошел Антошка к соломе, кто-то лежит; пощупал — борода чья-то. Антошка пошевелил бороду, борода вздохнула и повернулась к нему спиной. Догадался Антошка, что это отец. Приступил к саням: лежит Апроськин брат. Подошел к телеге, запустил руку, пощупал — что бы такое значило? Тронул в другом месте,— ничего. Тронул в третьем — как крикнет Апроська. Антош-

ка драло. Вскричали мужики. Антошка в ворота. «Что за диво?»

— Апрось!

— Чего?

— Что ты кричишь, матка?

— Чево?

— Что ты кричишь?

— Да кто-то приходил.

— Кто же это приходил... Господи помилуй. Кому приходить в такую пору? кому приходить? Феноген, а Феноген,— говорил своему сыну отец.

— Что, бачка?

— Слышь ты, что скажу: мякаю я, словно то есть у нас на дворе-то не чисто, а?

— Не знаю, бачка.

— Право слово, не чисто. Не чисто, говорю я. Собирайте-ка зипуны свои. Право, что-то... Пойдемте в избу. Господи! за что такая немилость? чем прогневили тебя, создателя?

Как встрепанные, все встали, собрали зипуны, кафтаны, сбились вместе и побрели боязливо по двору. Идут, прижимаются друг к другу, творят крестное знамение. Гроза будто на небе зашла и разыгралася. Испугались сердечные мужики. «В грозу, дескать, страшно спать на дворе... пойдем в избу... помолимся иконам... Авось пройдут тучи-то... Ишь как молния-то сверкает! Господи защити!..»

Да, братец мой Сенька, жуть была в ту пору во всем нашем селе. Всем ведь втемяшилось, что к Апроське летает змей, не кто иной. О-о-хма! бывают на свете дела, тяжкие дела, Семен. Может, такие люди свыше насылаются, как Антошка, почем знать? На белом свете много чудес и таинств совершается. Иногда мне жалко становится Апроську, и оченно: пострадала она, бедная, на своем веку.

Прошла ночь. Мужики, только солнце взошло, явились к нашему священнику, рассказали ему все, что случилось ночью. Апроськин отец как плакал! Говорит: «Батюшка! за что такая невзгода?»

Антошка забыл думать о своих путешествиях. Рано-ранешенько он с бабами прогонял в стадо скотину. А когда мужики пошли к священнику, в это время он сидел на солнышке у своей хаты, поглядывал на поповский дом и зубами колок на балалайке вправлял: стало быть, приготовлялся разыграть что-то.

Пред обедом дьячки с стихарями, с книгами, с ка-

дилами тронулись в Апроськин дом. Шуму довольно было: на улице барщинские мужики остановили лошадей с возами, поснимали шляпы. Антошка, не будь дурен, оделся, схватил палку в руки и с дьячками побрел. Дорогой Пузину дьячку, у которого он купил щенка, рассказывал в смех, как некоего села дьячки подрались меж собой и как одному из них вырвали бороду. Эту бороду обиженный словно представил в консисторию при своем прошении и надписал внизу: «В удостоверение бесчинства прикладывается борода. Сию бороду выщипал пьяница, который обесчестил меня на крестинах».

— Ну,— говорил Антошка хозяину,— теперь у вас будет все благополучно. Помолились знатно!

Мужик зарыдал, послушавши эти речи.

Антошка сказал: «Не плачь. Видишь ли: помолились мы... следовательно, что ж тут? И разговаривать нечего: ведь заступница-то, она, брат, того... спасает; а твое дело, вестимо, правое».

За обедом Антошка советовал двум дьячкам затянуть погрустней, как можно: «Зряща мя безгласна».

На пиршество смотрел народ, стоял у дверей избы.

Пообедавши, причт поблагодарил хозяина, пожелал Апроське благополучия и вместе с Антошкой отправился домой.

Неделя миновала. Змей, кажись, призатих. Домашние Апроськины долго не ходили спать на двор, кругом запирались, но с Ильи-пророка начали спать и на дворе. К Апроське на селе боялись приступить. Ежели же кто приступал, то обходом, стороной, вглядывался в нее и отходил прочь. Посмелей человек заводил с ней разговор: «Что, мол, змей-то обширен?» Апроська стояла и косилась.

Однова перед вечером приходят к Апроськину отцу два мужика: один мельник, другой простой мужик. Говорят: «Что, Петрей, как поживаешь?»

— Плохо, братцы, плохо. Наказал меня бог: ни одной ноченьки покойно не засну.

— Знамо, житье такое скверно; хотя, конечно, всякий может согрешить. Только мы, видишь, пришли к тебе по делу. Поставь-ко нам сивухи на стол, мы с тобой потолкуем.

Апроськин отец достал водки. Мельник слыл у нас за знахаря.

— Вот дело какое,— заговорил мельник.— Рассуждали мы немало о тебе. Можем мы тебе сказать одно: ты

подлинно наказан есть от бога; ты согрешил перед ним здорово!.. В хате у тебя кто-нибудь есть?

— Как же.

— Гони вон.

Апроська с матерью вышли из избы.

— Слушай, Петрей,— заблаговестил мельник.— Сказать, кто к тебе ходил?

— Ума, батюшка, не приложу. Полагать нужно, нечистота какая-нибудь. Известно, люди мы безграмотные: может, еще что шлялось.

— Нет, ты скажи мне: как зовут твою дочь? Апроськой?

— Апроськой.

— Так я тебе говорю: к твоей Апроське ходит не змей, а домовой... Слушай дальше: ежели же не домовой, то беспременно дворной...

— Так, батюшка...

— Ну-ко, давай водки-то, не жалей. Объясню тебе еще притчу: девки существуют различные, какова натура: натуры тоже бывают различные. Поэтому Апроська Апроське рознь и девка на девку не находит...

Охолостивши водку, мельник поднялся с места и сказал Петрею:

— Мотри же, не забудь, что я тебе толковал...

Мужик простой-то, что приходил с мельником, при выходе говорит Апроськину отцу:

— Ты понял, что тебе говорили? К твоей дочери приходил не змей, а домовой... Видишь?

— Вижу.

На пятую никак ночь, после Ильи-пророка, Антошка появился снова на Апроськином дворе. Забава эта была не широка. Он много не стал думать, раздумывать: прямехонько-таки подлетел к телеге, в которой спала Апроська, охватил ее за оглобли и повез домой со двора — в конопляник. В эту минуту встрепенулся Апроськин брат.

— Бачка, бачка,— крикнул он.— Девку увезли.

— Увезли?

— Увезли.

— Пошел!

Подбежали к воротам, телега на боку стоит, завязла между кольев. А Апроська в ней дрыхнет.

С надворья же, поодаль от конопляника, в анбарчике такой стук раздается, словно барабан гудет. Подступили мужики, глядят: дверь приперта колом (это Антошка припер Апроськину мать). За дверью баба кричит: «Ото-

прите, Христа ради». Думают мужики: «Вон как! стало быть, значит, заточил бабу наглухо!» Сам Антошка, как заслышал гомозню, пробрался через конопляник и был таков.

Пришли мужики в избу. Начался суд.

Что, мол, теперь делать? Как быть? Просто издыхать остается, боле ничего. Откуда такая пропасть?

— Бяда,— говорил сын.— Пропадешь, как червь капустная.

— Сгибнули совсем. Что ты станешь делать? Ах ты, тварь оглашенная! Ни единого часу нет спокойствия: то есть на волос забыться не дает.— Что теперь делать?

— Послушай, бачка,— объявил сын.— Надо безотменно ехать к ворожее: не замай ее осмотрит девку. Докуда мучиться?

— К ворожее,— крикнул отец.— Запрягай лошадь!

Апроська с матерью в ту пору входили с надворья в избу, глаза прочищали.

Почесть немедля мужики собрались и поехали к ворожее. Утро покуда не наступало. В Апроськиной хате горел огонь; в ней сидели дочь с матерью. Они молча смотрели друг на дружку; мать зевала и почесывала в голове. Только Апроська запевает:

— Матушка!

— Чего?

— Куда эта бачка поехал?

— Не знаю, милая моя. О-ох!

— Змея искать?

— Кажись, что так: змея искать...

— Вота!

Поглазели маленько и завалились спать. До солнца дрыхнули.

Как скоро мужики стали упрашивать ворожею лечить девку, она, братец мой, не на шутку запировала,— вскричала на них: «Вы, говорит, крещеные или нет? Зачем я пойду к вам? Да меня змей тогда закатает до смерти!» — «Не оставь, родимая,— твердили мужики,— не дай погибнуть». Вечером, набравши с собою горшков, трав, ладану росного, она приехала в Николаевское.

Апроськин отец приказал домашним своим по двору разостлать соломы и холст протянуть, чтобы по нем пройти ворожее. Ворожея повидалась с Апроськиной матерью и принялась по столу припасы раскладывать. У образов, как водится, зажгли свечу; Апроську вывели на средину избы. Тут собралось сельское начальство: бурмистр, ста-

роста, приказчик. Тоже ребятишки нахлынули со старухами и девками. Апроська осматривает всех. Ее посадили на лавку и под лавкой затопили в горшке ладан; пошло лечение. Народ наблюдает, как ворожея орудует. Приказчик в картузе стоял и поплевывал назад, нередко попадая в бороду бурмистра. Он полюбопытствовал спросить у мужиков: видела ли Апроська змея и кто он такой? Ворожея ему сказала, что, ваше благородие, видеть змея человеку нельзя, ибо он есть дух. Приказчик с носом и остался, закурил трубочку.— К Апроське ворожея подбегала то с пойлом каким-то, сама все губами нашептывала, то с куреньем. Чад в избе подняли. Мать стоит у притолоки, спрашивает Апроську:

— Ну что, дочка милая моя, каково?

— Теперича легче,— отвечает Апроська.

— Как же можно,— прибавляет ворожея,— много помощи приносит...

Мать подойдет, погладит девку по голове.

Одним словом, через полторы недели Антошка опять забрался к Апроське. Ровно в полночь настежь растворил ворота, впрягся в сани (девка в санях спала) и повез их по двору. Так развадился путешествовать.

— Бачка! — гаркнул сын.

— Что? что?

— Вставай! Увезли.

— Увезли?

— Так точно.

Сани очутились уж близ конопляника. Мужики прибежали, глядят: в санях сидит Апроська, глаза кулаком чешет,— прислушались кругом — ничего нет.

— Апрось! кто тебя увез? — спрашивают.

— Змей, бачка.

— Так, бачка,— сказал сын,— это его работа; кому ж больше?

Отец, будто полоумный, смотрел на сына с дочерью. Пришедши в избу, он сел на коник, схватил себя за волосы и заголосил:

— Господи! когда ж будет конец всем этим мукам? Жизни сейчас лишусь я; подайте мне оружие. Спать мне не дают; потому глаз сомкнуть нельзя!

— Бачка, остепенись; послушай меня,— заговорил сын.— Коли на то пошло, сию минуту надо ехать к начальству, прямо к становому.

— Ей-же-ей, к становому! — сказал отец.— То есть к становому! Скорей седлай поди лошадей.

Еще первых петухов не было, как мужики, снарядившись в путь, отправились в деревню Быковку к становому. Апроська с матерью заперли за ними двери и легли спать.

Становой любил уголовные дела: так и возрадуется, бывало, как скажут ему, что там-то один другого зарезал или кнутом засек. Звали его Федор Федорыч; низенького роста, руки длинные, толстая шея.

Но касательно указов, предписаний становой за лихача слыл. Наваляет и ловко и бойко: «По моему, дескать, мнению, то и то надобно, да чтобы про это дело никто не знал; иначе мне в тюрьме сопреть немудрено...» Привычки у него были такие: ежели, например, сбирался к какому-нибудь мужику на следствие, то обходился с ним ласково, трепал его по плечу и спрашивал:

— А что у тебя в дому, старичок, имущества много? Я, ты знаешь, леший: мне ничего на глаза не вешай.

Когда случай выходил, что в его передней мужичок доставал из кармана деньжонок (известно, мужик копается долго, когда достает деньги; будто о чем-то раздумье его берет), тогда становой обнаковенно курил перед ним трубку, водил себя рукой по макушке и говорил:

— Да ты, любезный, шляпу-то с рукавицами положи на пол: тебе ловчее будет.

Наших николаевских мужиков он принял хорошо: расспросил подробно все и справился, точно ли труды его не останутся без награды? И присовокупил: «Я, братцы, не поеду к вам сам; случай-то пустяшный. Ежели бы убийство...» Однако снабдил их, чем следует: рассказал, каким родом поймать змея, и строго запретил говорить про это на селе.

В обед мужики возвратились. Антошка, гонявши голубей на огороде, видел, как они ехали по улице, и издали снял им шляпу. Становой дал приказание: каждую ночь напролет караулить змея тридцати человекам, да так, чтобы его поймать и на месте уничтожить. «Я, говорит, его вправ расшибу». Затем, никому не болтать про стражу. Вдобавок мужики от него привезли писаный указ нашему приказчику об отпуске на караул мужиков.

Народ, хоть становой и заказывал не болтать, живо пронюхал его указ. Да как не пронюхать? Вечером Антошка первый пришел к дьячкам и говорит:

— Господа! не угодно ли кому со мной на караул отправиться? Становой дал приказание змеев уничтожать.

Один из дьячков согласился. В сумерках, после ско-

тинного вгона, они вместе с толпами крестьян двинулись к Апроськину дому. А туда набежало народу — ужасть. На дороге по селу девки, бабы шныряют. Кричат:

— Акулька!

— Ау-у-у!

— Погоди меня, погоди.

— Матрюшка, куда бежишь?

— Ох, матка; чудеса бегу смотреть. Говорят, становой змеев наловил.

Антошка с дьячком пришли к Апроськину дому. Народу видимо-невидимо вокруг двора; пушкой не прошибешь. Кто просто глазеет, а кто уж посылает за водкой.

— Что, касатка,— тараторят бабы,— говорят, змей-то шестиглавый?

Стража началась поздно сумерками. Караульные, выслушав указ станового, устроили дело так: они воздвигнули по дубине на плечи, приказали народу расступиться, потом с божией помощию вывезли телегу на улицу на средину дороги между коноплянником и стали класть в нее девку — для приманки. Становой дал на это особое приказание: «Положите вы девку на ночь с тою целию, чтобы змея приманить, и не болтать никому про мое распоряжение, не то, говорит, я вас!» Апроська видит, обступили ее мужики с дубинами, возмечтала, что ее убить хотят. Шум подняла. Ее кладут в телегу, а она кричит: «Батюшка, заступись!» Мужики над ней стоят и говорят: «Лежи, девка, становой велел...»

Около полуночи мужики говорят: «А что? чай, не ладно торчать с дубинами среди дороги? Змей-то не с ума спятил, чтобы полетел тебе прямо навстречу». Один за другим, разбрелись по сторонам; человек пятнадцать затесались в коноплю и всю ее переломали. Остальные разместились обапол двора под навесом. Антошка также в числе караульных был. Он с дубиной гулял по двору: от нечего делать забежит в избу бражки попить, закурить трубку, а то подступит к Апроськину отцу и скажет: «Вот так-то, братец ты мой, вдревле оной змей свирепствовал в пустыне!» Мужик вздохнет крепко-прекрепко, индо слезы навернутся. Антошка выйдет наружу, постучит дубиной по воротам и грянет: «Слу-ша-а-а-ай!» А там вдалеке ему отвечают: «Подсматрива-а-ай!»

— Да цела ли девка-то? — крикнет Антошка.

Пойдет смотреть. Запустит в телегу руку, словно в огурцы, и скажет: «Цела!» Потом запятит снова: «Слушай!»

Так минула ночь.

Утром мужики едут к становому с отчетом.

— Ну что, как? — спрашивает он.

— Все благополучно, ваше высокоблагородие.

— Молодцы! А змея не видать?

— Нет, ваше высокоблагородие, не видать.

— Отчего же?

— Да не можем знать. Кто его знает?

— А приманку кладете?

— Как же, ваше высокоблагородие, кладем. Уж и бог его ведает... Мы и «слушай» кричим изо всей мочи, и «подсматривай».

— Ну вот и вышли невежи. Разве можно такую птицу пугать своим зевом: «слушай» да «подсматривай»?

В следующую ночь «слушай» и «подсматривай» не кричали, тихо было.

Таким образом, стража продолжалась аккурат месяц. Апроська не на шутку исхудала, сердечная.

Вдруг от станового приезжает верховой с объявлением: «Приманку не класть в телегу... Глупо класть приманку в телегу, тогда как... змею все равно: с приманкой ли телега, или без приманки, сиречь пустая она или с приманкой, значит с Апроськой. Не разберет ночью».

Приманку отменили. А Антошка бросил ходить. «Дурак, говорит, я, что ли: стану без приманки шляться?»

Тем дело и кончилось.

1858

НОЧЬ ПОД СВЕТЛЫЙ ДЕНЬ

По заведенному исстари обычаю во всех селах ночь под светлый день проходит без сна, в сборах к празднику. С вечера в каждом доме затапливаются печи и вплоть до заутрени идет стряпня. Так как заутреня начинается очень рано, то с вечера же народ одевается в праздничное платье. Всякий мужик долгом считает обуть хотя старые, но во всяком случае вымазанные дегтем сапоги; бабы надевали расписные понявы; парни — красные рубахи. Старушки принаряжаются для светлого Христова воскресенья в темные растегаи, купленные на ярмарке, в новые лапотки и снежной белизны платочки, драгоценные для них тем, что они же самими старушками предназначены препроводить их на тот свет.

С закатом солнца окрестные деревни и слободы пустеют. Народ с куличами, пасхами отправляется на ночь в приходское село. В церкви, до благовеста колокола, обыкновенно читают жития святых и чудеса разные; туда стекаются богомольные и желающие провести время в благочестивых размышлениях. Большая часть людей идет в дома своих знакомых.

Часов в восемь вечера сельская улица наполнена народом. Во всех окнах светятся огни. Около слобод поповской и дворовой толпятся мужики, дворники, приказчики, лакеи. Где просятся ночевать, поздравляют с праздником; где предлагают услуги, расспрашивают о здоровье и проч.

— Наше почтение Савелью Игнатьичу. С наступающим праздником имею честь поздравить.

— Многолетнего здравия, Петр Акимыч, Лукерья Филипповна!.. Авдотья Герасимовна!... Что? и вы к заутрени жалуете?

— Да-с; и мы...

— Дело... Вот и я с супругой тоже. Нельзя. Вся причина праздник обширный...

— Не знаете ли, Савелий Игнатьич, где бы мне переночевать с семейством?

— Право слово, не знаю. Мы с супругой у отца дьякона. Да вы попробуйте, спросите вон в кабаке: теперь там просторно...

— Как можно...

— Ей-богу! Да что ж вы думаете? Да мы с супругой, я вам скажу, раз в конюшне ночевали...

Кто-то ведет в темноте даму.

— Ко мне, ко мне, Марья Павловна, пожалуйте. Сюда. Лужицу-то пересигните...

— Куда это?

— Прямо! Валяйте!..

— Сигать?

— Сигайте...

— Темь какая, господи... У-у-ух! Ну!..

— Что, втесались?

— Втесалась...

— Да где ты, Настя? — кричит какая-то женщина.

— Я? вот...

— Иди скорей. Пойдем. Или ты не видишь, повсюду лакеи шляются? Как же можно одной?

— Он, маменька, ничего...

— Кто?

— Лакей... барский. Он только говорит: Христос воскресе!

— А ты?

— А я говорю: воистину.

— Ну, и дура за это... вот тебе и сказ!

В дьячковском доме, при свете ночников, хозяйка с засученными рукавами переваливает с боку на бок на столе тесто. Ее крошечный сынишко, весь в муке, стоит на полу и смотрит на нее, чего-то ожидая.

— Рано, голубчик,— говорит дьячиха.— Ни свет ни заря... Бог ушко отрежет...

Мальчик кладет в рот палец.

Дьячку, сидящему за церковной книгой и тихонько напевающему: «Тебе на водах», дочь заплетает косу.

В кухне священника, напротив пылающей печи, молодой работник с молодой работницей изо всей мощи щиплют кур и поросят, так что животные даже по смерти своей издают писк.

— Пойдешь к заутрени? — спрашивает работник, обдирая ухо на поросенке.

— Неколи... Я бы пошла.

— Так к обедни.

— Приду к обедни.

Земский примеривает только что принесенный сюртук. Портной осаживает полы, самодовольно встряхивает головой и говорит:

— Графу не стыдно надеть... Какова работа!

Земский ухмыляется. Он хочет показаться жене.

Земчиха в другой комнате снаряжает бабу в амбар. Она говорит ей, доставая из-под платья ключ:

— Сходи ты, любезная...

— Варя,— перебивает земский,— погляди-ко, хорошо?

— Пошел ты отсюда! затейник...

Земский идет назад обескураженный.

В конторе идет спевка. Лакей, с тростью в руке, стоит перед толпою крестьянских ребятишек и задает им тон, делая своим голосом раскаты:

— Го-го-го-тр-р-р-тон-тон-тон... Начинай! ну?

Ребятишки разевают рты. Лакей взмахивает тростью; певчие от страху жмурят глаза.

— Трогай! Яко-о-о-да царя-яя... всех поды-ы-ы... ну, что же вы? начинай!

Мальчишки пыхтят.

— Качай! Я-ко-о-о-да царя-я-я... Ну, я опять дам тон: го-го-го-го тр-р... нет, погоди! лучше пойти хворостину принести...

В небольшой чистой горенке, устланной свежей соломой, стоит перед образами хорошенькая вдова. Перед образами висят голубки, разноцветные лампады. Вдова вздыхает. У ней слезы на глазах.

— Можно ночевать? — раздается под окном голос.

— Кто это?

— Я, я, Танюша!..

Входит краснощекий парень; сапоги новые, шляпа новая с пряжками и зелеными перьями...

В хате птичницы с чашкой воды стоит баба перед закутанной печью, в которой шуршит и треплется веник. Веник замолк. «Откутай!..» — кричит кто-то умирающим голосом...

Горница приказчика блистает огнями. Красный от бани приказчик пьет чай. В передней чистят сапоги. Хозяйка перед зеркалом убирает голову.

— Филимошка! — возглашает приказчик.

— Чего?

— К заутрени не ходи.

Чистка сапогов прекращается.

Входящая работница доносит:

— Кучер Феноген приказал спросить, можно ли ему идти?

— А лошади с кем останутся?

— Мужик Лаврентий вас спрашивает.

Входит мужик.

— Что?

— Заступитесь.

— Ведь я тебе сказал... Дурачье вы!

— Петр Прохорыч, ради светлого Христова воскресения...

— Пошел вон!.. Чтоб я видел...

— Петр Прохорыч, помилосердствуйте! у меня дети... Батюшка!..

— Эй, гоните его!.. Живо! эй!

Мужика выгоняют.

— Ишь каналья, мерзавец!.. Ему в солдаты не хочется... Вас, грубиянов, не давить, толку не видать...

— Он вас обругал!..— донос раздается.

Приказчик стоит, как врытый. Он вдруг накидывает на себя шинель, захватывает что-то в углу и бежит из дому. Ему вслед мигнул Филимошка, державший сапог в руке.

— Не слыхала, Прасковья Федоровна, новость? — говорят на улице старухи.

— Какую?

— Будто ноне после заутрени начнется светопредставление...

— Неужели?

— Да, матушка.

— Это верно-с,— подхватывает мещанин, взявшийся откуда-то.— Потому опосле заутрени подымется самая трагедь...

— Да ведь что, родная? сказывают, сейчас бесы пробежали у скотного двора... какое стадо!

— А что, курочки-то у тебя хорошо несутся?

— Плохо...

Скоро десять часов; говор на улице утихает.

Дом священника битком набит народом. Столы и лавки завалены узлами, пасхами, писаными яйцами.

По стенам сидят дворовые девки, приказчики, лакеи и пр. В кухне, смежной с горницей, в разных положениях, на полу, на печи, на кониках лежат и сидят мужики. В горнице пахнет пирогами; потому что целое решето пи-

рогов проносит попадья. Она на дороге останавливается перед сонной купчихой и спрашивает:

— Вы не хотите ли вздремнуть, Аграфена Карповна?

— Нет-с... я уж дождусь заутрени.— Купчиха почесывает под мышками у себя и закрывает глаза.

— А то возьмите подушечку.

Купчиха не отвечает более.

Один из лакеев тоже вздремнуть предлагает девкам. Девки поднимают его на смех. Он упирается затылком в стену. Другой, рядом сидящий, вытянув ноги, поет про себя: «О, любезного, о, сладчайшего твоего гласа». Третий лакей шевелит лучиной под лавкой: начинается такой шум, хохот, крик гусынь, что из спальни выходит священник и просит кричать полегче. Ему говорят, что это гусыни взахались перед заутреней.

Напротив дворни, в углу, мещанин рассуждает с другим мещанином о том, что надобно уметь пить; а то опиться недолго,— и приводит много несчастных примеров. Его собеседник не без хвастовства говорит:

— Мне, Иван Тихоныч, господь бог дал такой ум, что я теперь с ведра не захмеляю.

— А у нас, господа, прошу прислушать,— начал худощавый башмачник,— один лакей у своего барина (лакеи навострили уши) выпил бутыль и проглотил рюмку...

Лакеи вступают с башмачником в спор. Священник снова выходит из спальни, чтобы прекратить шум. Его просят быть посредником и разобрать дело.

В кухне разговоры не менее оживлены. На печи один парень рассказывает сказку про Ивана-царевича. Его слушает много народу, облепивши печь кругом.

— Меньшаго,— говорит парень,— звали Иван-царевич. Повадилась в их сад летать жар-птица и клевать золотобрез-яблок...

На конике, окруженная толпою баб, сидит в белом платке разутая девушка Мариша, как сказывают, помешанная на любви к барскому сыну. Ее расспрашивают, чем она кормится? Мариша, утираясь концами черной шали, отвечает:

— Где поиграю, попляшу... Петь-то ничего: заместо стихов... Купцы в Ахремове надысь три копейки мне дали.

— Ну, а родные-то твои? постой... что ты толкаешь...

— Ты спроси ее про любовь...

— О, выдумала!.. А родные-то твои желанны до тебя?

— Снохи нароют картофелю и от меня прячутся...

Я сплю в клети... (Молчание.) Мне помещица вуаль подарила; все девки на него смеются.

— Погоди, ты не умеешь!.. Дай-ко я спрошу... Вишь, она вовсе глупа... А в селе-то, Мариша, любят тебя?

— Да старостины ребята всё колотят. Как праздник, так беги вон из деревни... пьяные бьют. Наши мужики шутки-то не принимают. Нешто где они что видели? Все как бы подраться. Я в монашки пойду. Говорят, на мне младенческая.

— Посторонитесь! — говорит поповская работница, держа плиту с жареными поросятами.

Народ расступается.

— Важно запахло!.. — замечает с печи мужик.

— Да-а... — присовокупляет другой. — Ведь подумаешь, братец мой, праздник-то; оттого-то он дорог, что еда прекрасная... А уж как у этих попов жрут сладко!..

— Ну, у приказчиков лучше. У тех еда царская... в десять раз лучше поповской... Одно слово, трескотня здоровая!

— Что ж им?

Под иконами старуха говорит про смерть своего сына-ратника.

— И там народ, и по ту сторону народ. Я кричу ему: «И где ж наш-то соколик белый?» А он, касатка моя, руку вот так и приложил к ланите. «Что ж, умер, что ли?» он рукой и махнул!

В детской комнате происходят уборы. Дочь священника, невеста, в коротеньких юбках, приготовляется надевать розовое платье. Ей хотят помочь дворовые девки. Попадья снимает с себя повойник. Двое мальчиков семинаристов, одетых в новые казакины, выбирают из лукошка красные яйца. Они пробуют их об зубы и говорят: «Давай биться»; семинаристы бьются, и одно из яиц трещит. Все так заняты работой, что никто не замечает, что в углу сидит в темноте лакей, жадно впившийся глазами в поповскую дочь. Он в руках для виду держит молитвенник.

В спальне, при свете лампады, в полудремоте сидит приказчик с узлом, рядом священник; поодаль, в стороне, в черном одеянии — монахиня. Монахиня приказчику рассказывает про чудо св. Макария.

— И сидит перед двумя монастырями бес, — прости меня, господи, — и дремлет. Идет Макарий. — Что ты дремлешь?

Приказчик вздрагивает и открывает глаза.

— К заутрени скоро, — говорит монахиня, — двена-

дцатый час... Ну, а что вы говорили насчет равенства, то оно будет при конце мира, не ранее... Тогда, по писанию, сын не будет знать отца, раб — господина и запустеют церкви...

Приказчик всхрапывает и ухом не ведет насчет равенства.

Мало-помалу в доме священника становится тихо. Лакеи угомонились; разговоры замолкли, народ по большей части дремлет и спит. Петух запел на дворе.

— Эй, вставай к заутрени... благовестят!..— раздаются голоса.

В самом деле, к заутрени заблаговестили. Будят сонных; поднимается суетня. С полатей, с печи слезает народ. Со стола разбираются куличи. Повсюду говор. Шумят накрахмаленные платья. Священник с палкой выходит из спальни. Все спешат за ним. В опустевшем доме никого не остается, кроме работников.

1859

СЕЛЬСКАЯ АПТЕКА

I

При черепахинской аптеке есть все удобства: есть подвал, в котором хранятся химические и фармацевтические препараты; чердак для трав, комната для посетителей; есть даже лаборатория, где изготовляются декокты, припарки, сиропы, а иногда — яичницы.

Черепахинский приказчик чрез каждые два месяца извещает своего барина, живущего в Москве, что аптека стоит благополучно на прежнем месте, рассыпает дары свои щедрот на недужных и в соседях помещиках возбуждает зависть.

Как всякое полезное заведение, сельская аптека была с радостию встречена народом. В день ее открытия в Черепахино наехало множество телег с калеками, параличными, кликушами — и благотворительное заведение, будто Овчая купель, кругом обложилась больными. Много добра было сделано в этот день. Фельдшер (дворовый человек, учившийся в московской фельдшерской школе) осматривал больных, делал операции, становил банки, пускал кровь. В полдень два хора певчих пели молебен. Приказчик, в честь торжества, произносил своим мужикам речь, которую слушатели приняли с первых же слов за объявление «вольной» и, волнуясь, зашумели: «Она, матушка!» — но были долго упрекаемы оратором в легкомыслии.

Долго и пламенно молился народ за основателя аптеки: всякий желал ему многих лет, счастия, блаженства на земле,— невиданное, неслыханное чудо он совершил, выстроив аптеку. Живо в памяти народа ее открытие.

Мысль построить аптеку пришла черепахинскому помещику совершенно случайно. В бытность свою в имении, он задумал за какую-то провинность отдать одного моло-

дого лакея в солдаты; намерение свое он открыл жене, которая советовала ему лучше продать лакея. После небольших колебаний помещик согласился на это; но покупателя не нашлось, хотя лакей имел в себе некоторые достоинства, например умел читать и писать. Однажды помещик, кончив письмо к одному из своих московских знакомых, расходился по комнате, позвал к себе старосту и приказал ему как можно скорее снаряжать подводу и запрягать пару лошадей.

— Кому прикажете? — говорил староста.

— Знай запрягай! — отвечал барин.

— Сколько кормочку приладить?

— Запрягай! — твердит помещик, весь объятый задуманным планом.

Лошадей запрягли, подкатили к барскому дому и посадили закутанного лакея.

— Вези в Москву... вот тебе письмо к его превосходительству.— Слава богу,— уладив дела, говорил помещик,— кабалу свалил! Теперь я знаю, что делать: у меня все рты разинут, что я устрою в имении!..

— Куда это везут, Степанида Ивановна? — спрашивала на сельской дороге одна женщина другую, видя, как неслась подвода с лакеем.— Уж не в солдаты ли?

— Нет; говорят, в московскую цирюльню, в доктора...

Через месяц черепахинский помещик получил из Москвы письмо: «Ваш лакей Андрей принят в фельдшерскую школу. Прилагаю вам устав о приеме, содержании, образовании и выпуске фельдшеров».

Прочитав письмо и поблагодарив своего знакомого, помещик стал читать устав, в котором говорилось: «При избрании питомцев в школу должно обращать особенное внимание, имеют ли они здоровое телосложение и достаточные умственные способности».

— Все это Андрюшка имеет,— воскликнул помещик и бросил читать устав.— Дай-ка ему образование-то: это выйдет законодатель!

В скором времени помещик отпраздновал закладку аптеки и уехал с семейством в Москву.

II

В одно ненастное, осеннее утро на крыльце аптеки стоял народ. Дверь в аптеку была заперта. Посетители от дождя жались в кучку; некоторые из них сади-

лись на лавку, некоторые стояли молча и смотрели на село, где мужики подсобляли на грязной дороге лошадям везти мокрые воза, а бабы насильно гнали скотину в поле.

— Что, не вставал? — шел разговор.

— Не вставал. Вчера, должно быть, воротился поздно. Кровь Захару пускал.

— Захар упал с возу-то?

— Захар.

— Ох, видно немного нам жить осталось. Что-то уж жутко приходит!.. Мертвецы опять стали ходить... За что это господь наказывает?

— Ночью ныне покойник Давыд ходил. Склянницу все с собой держит... видно, от ней помер.

— Собаки, милая ты моя, до зари до самой лаяли, словно ловили кого, и-и-и заливались: мы с невесткой совсем не спали; приложишь ухо к окну, слышишь — ногами хляскает; да вдруг загудет и захохочет, и всё туда... к лесу-то идет...

— Говорят, война подымается.

Шаршавый, худощавый мальчик отворил дверь и впустил народ в аптеку.

В аптеке, не имевшей особенной чистоты и порядка, стояли с стеклянными дверцами шкапы, наполненные штофами, бутылками, банками, мензурками, ступками. На стенах висели картины.

Фельдшер, лет двадцати пяти, в коротеньком сюртуке, причесанный, с белыми воротничками, сидел за столом и вписывал в книгу расходы и приходы по имению. (На нем лежала обязанность помогать земскому.) Близ него сидел, с гармоникой в руках, сельский кузнец, угрюмо глядевший в угол и слегка скрипевший инструментом. Мальчик, помощник фельдшера, у окна делал из тряпиц корпию.

Кончив работу, фельдшер раз пять хлопнул пером об край стола, выгибая спину встал, взглянул на посетителей и пошел к окну набить трубку. Посетители приготовлялись говорить свои болезни. Одна баба выступила вперед, держа на руках ребенка, который, улыбаясь, тянулся к стклянкам.

— Не балуй, Вася... в хоромах разве смеются? — шепотом говорила баба.

Позади толпы, у двери, старуха другой старухе тоже шепотом рассказывала:

— И в живых, ягодочка моя, не чаяла я быть: это — грудь, и ноги, и руки совсем измаяли!.. Только ономеднись,

голубушка, стою я, слышу будто глас: «Ты бы, Федоровна, сходила в баню, растерлась...»

— Что пригрезилось...

Закурив трубку, фельдшер подошел к бабе.

— Что у тебя?

— Здравствуй, Андрей Егорыч, как поживаешь? Вот посмотри-ко,— заговорила баба, трогая голову ребенка.

Один из солдат, сложа назад руки, смотрел на больную голову.

— Скрофулезис,— произнес фельдшер,— гипертрофия... поверни-ка сюда: *cortex* наросло...

Фельдшер выпустил изо рта дым.

— А отчего, родимый, эти ухабы-то?

— Это *Fossa navicularis*... Да ты тут ничего не понимаешь: что ты спрашиваешь.

Фельдшер обратился к другому больному; но его баба спрашивала:

— А ворковская ворожея, Андрей Егорыч, не так эту болезнь называла.

— Ты что?

— Дедушка ногу расшиб,— начал мальчик, вылезая из толпы и вытаскивая за собою большую шапку,— в лесу березой... дюжо схватило...

— Скажи, чтобы он лошадь прислал сюда; а так я не пойду.— Ты, бабка, опять пришла?

— Вот грудь у меня, желанный... промежду сердца-то и...

— Я сказал тебе: *tuberculosis*! болезнь неизлечимая.

— Помоги, кормилец! — задыхаясь и держась за грудь, промолвила старуха.

— Ты трефоль пила?

— Я пила тряхволи.

— Ну, когда-нибудь банки поставлю,— сказал фельдшер и отнесся к солдатам. Старуха уныло пошла в дверь; ее кашель глухо раздавался за порогом...

— Мне,— начал солдат, надвигая на плечо шинель,— позвольте, Андрей Егорыч, прежнего, то есть, ку...ку... потому — дело оказывается плохо.

— А, по-прежнему? — затягиваясь, спросил фельдшер.

— Еще хуже...

— И мне уж того же,— прибавил другой солдат,— да нельзя ли на минутку одолжить симфончика. И ротный просит этого...

Фельдшер достал из шкапа пузырек с белою мазью, взболтал ее и сказал бабе:

— *Unguentum*! мажь ребенку голову; три раза в день, запомнишь?

— Как же, родимый...

— Смотри, внутрь не дай: вы глупы!

— Глупы, касатик.

— Пропусти-ка меня, бабка, дай достать лекарство.

— Пройди, пройди.

— Ты чем нездорова?

— Сынок у меня болен, соколик мой, четвертые сутки лежит недвижимо: травкой его хочу попоить.

— Что же, Андрей Егорыч, кашицы-то!..— вскрикнул солдат.

— Сейчас! — доставая с полки лекарство, проговорил фельдшер.— Алеша, да ты сыграй что-нибудь на гармонике, сдействуй: «Что ты, Катя, приуныла...»

Кузнец тряхнул головой и заиграл на гармонике, выделывая разные колена. Получившие лекарства и не дождавшиеся их выходили из аптеки.

Фельдшер закурил новую трубку и опять подошел к оставшимся больным.

— У меня,— говорил хворый, худой мужик,— рана на ноге, Андрей Егорыч... Нельзя ли вам замолвить словечко приказчику, чтобы погодили маленько меня гонять на работу?

Фельдшер обратился к другому.

— А ты?

— Для Захара пришел попросить лекарства.

— А он еще говорит?

— Как же. Говорит: зачем мне кровь пускали?

Фельдшер снял трубку, продул чубук, помахал им по комнате и начал смотреть в его дырочку.

— На что кровь пускали? — спросил он.— У него, верно, голова болит... Васька, принеси проволоку: в чубуке застряло... А ты, Алеша, с басами-то двинь!..

— Однако до свидания! — сказал фельдшеру кузнец, укладывая под мышку гармонику.

— Куда же ты? Да посиди... Скука, брат, одолевает...

— Нет, пойти шкворень поправить.

Мало-помалу аптека опустела. Фельдшер остался с одним мужиком, которому для больного пальца начал готовить пластырь. Мужик глядел, как он готовит, и, между прочим, спрашивал:

— Небось, Андрей Егорыч, в вашей школе трудно было учиться?

— У кого резвые способности — не трудно!

— Каким там наукам учат?

— Всяким. Мы разглядываем у человека внутренности...

— То есть внутре-то? А что, и требуха у человека есть, как у скота?

— Разумеется! но она благороднее; потому что человек — не скот!

— А вот, Андрей Егорыч, я хотел вам все сказать: нельзя ли вам попросить обо мне приказчика? Видишь, у меня тягло одно; а я правлю за два...

— Держи-ка пластырь-то; мы с тобой до вечера не кончим... Посмотрю я, у вас в голове-то *speci es pectoralis*!..

В аптеку вошел кучер с кнутом и рукавицами за поясом.

— Здравия желаем, Андрей Егорыч.

— Здравствуй, Семен Титыч,— сказал фельдшер.— Что ты?

— Да наши журавлевские господа просят вас к себе. Несчастие маленькое стряслось.

— Какое?

— Да барыня своей дочке ставила пиявки и не сумела — кровотечение крови показалось, так еду за доктором. А в город Ливны опять за доктором поехали, и будет у нас наподобие докторского совещания.

— Консилиум?

— И, к примеру, все доктора будут говорить на разных языках и мы будем их слушать.

— А не знаешь, отчего кровотечение-то?

— А вот извольте: наметили они изо всей мочи в самую жилу этими пиявками... Вы, будем говорить так, ежели, положим, вы делаете операцию, то уж вы ее делаете с размаху; ан и легкость от этого... Али так возьмем: заметили вы у кого больной член, то вы норовите его выдернуть, а не оставить на месте.— До свидания, Андрей Егорыч!

III

У крыльца журавлевского барского дома теснились дворовые люди, собравшиеся смотреть консилиум. Впереди толпы стоял кучер. Он упрашивал лакея, выносившего на улицу медный таз:

— Фаддей, скажи, пожалуйста, барыне, нельзя ли посмотреть? Ты скажи — кучер желает. Главная вещь, ежели уж затеялось представление, то надо, чтобы его все видели.

— Погоди,— отвечал лакей.— Я пойду налью в таз воды, а ты его снесешь в детскую.

— А мы-то не увидим?— заговорили дворовые люди, глядя с завистью на кучера, который тотчас же принялся убеждать их:

— Вам тут, по душе скажу, любопытного малость. Разочтите: ведь двенадцать языков! махина, аль нет?

В доме помещика около постели больной девочки лет десяти сидела помещица, ее муж, с трубкой в зубах, и доктор. На стульях, на полу были разбросаны полотенца, которые сбирала горничная. В углу стоял фельдшер в сюртуке нараспашку и в белом жилете. Помещица утирала остатки слез на своих глазах и спрашивала дочь:

— Ну, как ты себя чувствуешь?

— Это скоро пройдет,— выговорил доктор,— я такие же муки сам на себе испытал.

— А вы были больны, Лука Лукич?

— Да, в молодости: я был очень резóв...

— У Сашечки, Лука Лукич,— прервала помещица,— сначала под шейкой зоб был.

— Это опухоль,— сказал доктор.

— И отчего это у ней?

— Причин много может быть,— отвечал доктор,— определить их трудно.

— Известно,— в свою очередь, заговорил фельдшер,— от разных причин делается эта болезнь: от ушибов, от простуды... Например, у млекопитаемых лошадей тоже под горлом бывают шишки...

— А ты, любезный, помолчал бы,— перебил помещик.— Вы, доктор, знаете: ведь это он назначил пиявки к шее дочери; по его милости мы испортили артерию...

Доктора пригласили в столовую закусить. Помещица осталась с дочерью в детской. Фельдшер тоже был в столовой.

— Ты, почтенный, назначил пиявки к самому нежному месту,— сказал доктор.

— Так точно: промеж стерноклей до мастоиднями,— отвечал фельдшер.

— Да, между этими мускулами.

Доктор выпил.

— Вот видишь,— начал он,— это нехорошо; почему? пиявки ставить должно; но при такой организации детской, так сказать, и нервозной, какова у больной,— этого допустить нельзя. Ты назначил их *ad arteri amcaroti dem,* причем открылось сильное кровотечение.

— Вот что ты сделал! — завопил помещик.— Пиявка прокусила артерию...

— Надо полагать,— сказал доктор,— пиявка артерию... повредила...

— Что к шее! — выпив наливки и заткнув бутылку, воскликнул помещик.— Он вот какую штуку удрал, Лука Лукич: приставил дворовому мальчику мушку к виску... ушам не верю! в первый раз слышу такую чепуху! Что ж вы думаете? Мальчик окривел!.. Вот что ты сделал!

— Варфоломей Игнатьич,— сказал фельдшер,— всякий человек может окриветь; этим шутить нельзя... а радикальное пользование мушки уже нам доказано; следовательно, мы были вправе ее присадить.

— Но, однакож,— заметил доктор,— мальчик окривел!

— Как же-с,— сказал фельдшер,— одним глазом ничего не видит, даже матери своей не узнает...

— Отчего же он окривел?

— На это, ваше превосходительство, сказать мудрено-с: мы в практике часто встречаем не такие случаи, однако лечение свое продолжаем.

Явилась помещица.

— Вы, кажется, Андрея браните здесь?— сказала она, садясь за стол.

— Заметить надобно, Анна Ивановна.

— Нет, Лука Лукич, я всегда готова оправдать Андрея; он, право, услужливый такой. Нынче весной со мной дней пять мучился...

— Нездоровы были?— спросил доктор.

— Полнокровием страдали,— ответил фельдшер.

— Врешь, воспалением,— перебил помещик.

— Я не знаю,— заговорила помещица,— но мне кажется, что полнокровие причиной: душило меня... Сначала он мне поставил банки, потом сорок пиявок — не унялось! потом кровь пустил — опять сорок пиявок, опять банки.

— Легче стало?— спросил доктор.

— Гораздо легче!

Помещица тихонько подозвала к себе горничную и шепотом дала ей приказание, чтобы фельдшеру дали обед в кухне. Горничная, сделав фельдшеру мину, повела его за собой.

— Много легче!— продолжала помещица.

— Но кровопускание вредно, Анна Ивановна.

— Знаю, Лука Лукич... Нынешние медики не одобряют кровопускания; но я не боюсь: у меня кровь не истощится... Заметьте, как только я отворю кровь, сейчас чувствую невыносимый аппетит; стало быть, когда я поем, у меня потеря крови вознаградится,— не так ли?

— Так,— усмехнувшись, сказал доктор и прицелился вилкой в колбасу.— Вы как будто, Анна Ивановна, учились физиологии. Ваша правда: все, что ни поступает в наш организм (доктор опустил колбасу в свой организм), переработывается сначала желудком: что называется,— делается каша... *chilus*... Это *chilus*, представьте себе, переходит в кишечный канал. Далее, все жидкие части посредством всасывания поступают в кровь; и вот, когда вы покушаете, пища превращается в кровь.

— Ну, вот видите? — торжествующим голосом произнесла помещица.

— Вы, верно, когда-нибудь читали медицинские книги?

— Кажется, читала, Лука Лукич, когда еще была дитятей.

— Лука Лукич! — возразил помещик, раскуривая трубку,— растолкуйте мне: отчего, например, на ране или так где-нибудь вдруг нагноение является?

Помещица шепнула что-то мужу на ухо.

— Что ж такое, если меня интересует этот предмет? — ответил помещик.

— Можете себе вообразить,— начал доктор,— нагноение бывает двух родов: доброкачественное, во-вторых — злокачественное. Гной под микроскопом...

— Лука Лукич, Лука Лукич! — заголосила помещица, простирая к доктору руки.

— Что, вам неприятно? Но скажу — чрезвычайно важная вещь этот гной: в медицине у нас даже его вкус определяется.

Помещица ушла в другую комнату. Доктор встал из-за стола с красными щеками.

IV

Перед сумерками в Черепахине шел проливной дождь, заставивший фельдшера сидеть в своей аптеке. К нему снова прибегал мальчик от лесника и просил посмотреть ушибленную ногу. Фельдшер обещался прийти, как скоро дождь перестанет. Он сидел у окна и смотрел на улицу. Против аптеки под поветью крестьянского сарая стояли две мокрые бабы, захватив полы своих зипунов, и молча глядели на ручьи по дороге; среди улицы на траве мокнула спутанная кляча с хвостом, похожим на горсть пакли. Широкая река усеялась частыми брызгами, у плотины дружно рылись утки, уткнувши носы в воду; вдали на горе, будто в тумане, дремали леса, один другого темней; все имело скучный, пасмурный вид.

Около пяти часов дождь перестал. На улице посветлело. Фельдшер отправился к леснику. Было холодно; река сильно волновалась, и у берегов скоплялась пена. Навстречу фельдшеру попадался народ.

Фельдшер остановился на краю села, недалеко от изб, и смотрел на бежавшую к нему из проулка сгорбившуюся бабу; ее головная повязка трепалась длинными концами. Она, запыхавшись, очутилась близ фельдшера: на лице ее было беспокойство.

— Ну, что ты? — крикнул фельдшер.

— Кормилец...— начала баба, едва переводя дух,— что ж, родной... болезнь-то моя... полечи, касатик...

— Я вам не раз говорил, что туберкулезных я не лечу: нет спасения...

Баба смотрела в землю и кашляла; фельдшер заключил:

— Дом тебе пора строить,— дом!..

— Какой, родимый?

— Из четырех досок... сосновый...

Фельдшер пошел. Баба, закрыв глаза тряпицей, зарыдала.

Темнело; народ расходился по домам; улица пустела. Фельдшер направился к гумнам и к пустынному кладбищу, с покосившимися крестами и голобцами, на которых в разных местах сидели крошечные птички со взъерошенными от ветру перышками, не зная, куда приклонить свою голову; над некоторыми из могил лежали неправильные, большие камни; иные могилки не были обложены даже дерном, другие готовы были сравняться с землей или скрывались в колыхавшейся крапиве. По одну

сторону от кладбища тянулся густой, черный лес; впереди над полями, распластав крылья, усильно боролся с ветром ворон. По узенькой тропинке фельдшер пришел в чащу леса; в нем было темно: справа и слева сновали трепетавшие своими сухими листьями осины и березы. По всему лесу равномерно распространялся широкий, плавный гул,— точно где вблизи шумела вода; ни одного птичьего голоса; кругом полумрак, вместе с гулом располагавший к тяжелым думам. Ровные березы уныло покачивались и тихо шуршали своими верхушками.

Далеко слышался мерный, замирающий стук топора; неохотно лаяла на пчельнике собака... Опять стонет лес; отрывать слуха не хочется ото всего, что слышится вокруг...

Фельдшер пришел к леснику. У стола, с опухшим от слез лицом, сидела молодая баба и втыкала в светец зажженную лучину. На хорах стонал лесник. С появлением фельдшера баба встала с своего места, а больной начал принимать полусидячее положение.

Фельдшер снял фуражку и обтер на лбу пот.

— Что ты? — сказал он, приступая к больному.

— Отец родной!

— Ну-ка, покажи, где это ты так?..

Лесник развернул тряпицу и обнажил ногу.

— Мне недосуг к вам ходить-то... Акулина, посвети сюда!..

Акулина поднесла к хорам лучину и вдруг, взглянув на рану, зарыдала на всю избу.

— Держи, держи лучину-то,— сказал фельдшер.

У лесника на глазах показались слезы.

— Андрей Егорыч, больно, батюшка! — вскрикнул старик, хватая его за руку.

— Погоди! (фельдшер скинул с себя верхнее платье). Надо растереть...

Больной затрясся, с ужасом глядя, как фельдшер начал засучать свои рукава. Он взял стклянку и налил себе на ладонь мазь.

— Держись!

— Ой! государь мой!

— Акулина! бери за ногу...

Лесник упал в бесчувствии навзничь. . . . . . .
. . . .
. . . .

V

По прошествии двух дней посреди сельской улицы несли гроб. Фельдшер возвращался с практики. Позади гроба в отдалении шли бабы; раздавался плач.

— Кого это несут? — остановив одну бабу, спросил фельдшер.

— Лесника,— произнесла она.

Фельдшер задумчиво перекрестился.

— Верно, антонов огонь; забыл тогда пиявок-то припустить!..

1859

ДЕРЕВЕНСКАЯ ГАЗЕТА

I

В один летний день на краю леса, пред которым расстилались луга с болотами, с сигарой во рту сидел помещик деревни Ивовки; подле него лежал молодой человек, недавно поступивший в дом к этому помещику учителем. Оба они ходили с ружьями и ничего не убили.

— Я замечаю, Егор Кирилыч,— говорил помещик,— вы у нас скучаете. Отчего это?

— Я всегда таков, Петр Иваныч,— отвечал учитель.— Я, собственно говоря, болен: у меня печень болит,— говорят, от водки... Ну, я не могу!..

— Конечно... Только я вам хотел сказать,— не обижайтесь, Егор Кирилыч,— вы, пожалуйста, ученику своему этак излишних намеков насчет вашей страсти... Понимаете?

— Я с вами согласен, Петр Иваныч... Разумеется, я не могу иногда за себя ручаться: я вам и прежде говорил, что я должности гувернера не беру на себя... Но, насколько станет моих сил, я буду укрощать свою привычку...

— Ну да,— сказал помещик.— Что касается до меня — мне все равно: трезвы ли вы, или нет,— и вы у нас не стесняйтесь, по-домашнему будьте. У вас есть своя комната: приехали вы выпивши — никто вас не видит... Жена моя пьяных не шибко боится. Я сам частенько приезжаю к ней подгулявши.

Из лесу явился молодой человек в белом пальто, с ружьем в руках. Это был из той же деревни помещик Галкин, недавно вступивший в управление наследственным именьем и живший в Ивовке с одной своей бабкой.

— Здравствуйте, господа,— заговорил он.— Ну что, ничего не застрелили? И ведь выбрали же мы время охо-

титься! Такая жара! Я шатался часа четыре и вот убил одну иволгу.

— Садитесь-ко,— сказал помещик.

— Нет, благодарю. А что, вы давно, Петр Иваныч, были у Хоботовых?

— Давно уже.

— Я был у них вчера: скука смертельная! На днях я тоже ездил к помещику Кобелеву — что это за лежни! батюшки мои! Представьте, Кобелева я застал на балконе,— лежит в одной рубахе!.. Однако пойдемте домой, что вы засиделись?

Помещик и учитель встали и пошли вместе с Галкиным.

— Да-с, скука, скука...— говорил Галкин дорогой.— Я, в Москве живши, совсем забыл деревенскую жизнь: тошна иногда она бывает! А я вам не сказывал, господа? Я думаю здесь издать газету...

— Что такое?..— воскликнули помещик и учитель.

— Да, газету... ну, деревенскую газету. Надеюсь, что вы, господин Чаркин, не откажетесь быть сотрудником,— отнесся Галкин к учителю.

— С удовольствием. Это вы хорошо придумали.

— Я полагаю!.. Я попрошу писать всех помещиков, даже их жен... Ведь, господа, согласитесь, так жить в деревне, как мы живем,— ей-богу, мочи нет! Надо же чем-нибудь заняться... И как это мне пришло в голову! Ныне поутру лежу я и думаю: «Как досадно, что почитать нечего, этакого легонького — газетного»,— ну, и напал на эту мысль. Да какие планы-то начертил!..

Помещик шел молча, повеся голову. Газета Галкина, по-видимому, несколько смутила его.

— Программа уже готова,— продолжал Галкин,— ну, а сотрудники найдутся.— Я вам, господа, скажу: газета может принести огромную пользу, если ее аккуратно повести. Само собою разумеется, не надо допускать ее до сплетней и тому подобного; вот вся и задача! Да, это предприятие, как хотите, так современно — и вдобавок крайне оригинально! Газета, конечно, будет *рукописная*... Переписчики у меня есть. Надо будет завестись еще таким человеком, который бы ездил по окрестностям и сбирал новости... Но я имею в виду такого... Я пущу эту газету на возможно большее расстояние: брошу на постоялые дворы, на станции, предложу приказчикам... и все это будет бесплатно... Не правда ли, господин Чаркин, будет хорошо?..

— Превосходно,— сказал учитель.

— Не знаю, удастся ли, Федор Семеныч, ваше дело,— сказал помещик.— Я думаю, как всякое неожиданное явление, ваша газета многих поставит в тупик.

— Помилуйте, в чем вы тут сомневаетесь? Ради одной уже новости, что выходит деревенская газета, все примутся не только читать — писать!.. Ну, вы первый — разве откажетесь участвовать?..

— Пожалуй... Я хоть напишу о выжигании тока... Я хотел напечатать в «Московских ведомостях» о выжигании тока.

— Ну, вот видите! Вы — о выжигании тока, другой — об эманципации женщин,— и пойдет дело!.. Притом разве вы не знаете, сколько между нашими соседями найдется современных людей!.. Посмотрите, как многие из них рассуждают!.. Если газета пойдет успешно, мы выпросим позволение у губернатора и будем ее печатать... Непременно издам!.. Кстати, ныне вечер у Хоботовых: объявлю всем об этом! Я уже половину объявления намахал. Говорю там: «Милостивые государи! Россия на пути своем к просвещению так рванулась вперед, что недаром Гоголь воскликнул: «Куда ты мчишься?..» — и так далее...

— Это вы недурно заметили!..— проговорил помещик.— Начинайте! Главное, действуйте не спеша...

— Отчего же не спеша? Я ныне же всем объявляю, завтра рассылаю людей — кого с поручением сбирать новости, кого с чем, и, не дальше как через неделю, все будет готово! — Господин Чаркин! вы съездите в село Быково, тут недалеко,— и попросите там регента, чтобы он написал статейку?

— Съезжу. Мне регент приятель.

— Он, как вам известно, запивает; но у него есть талант, я это знаю. А я завтра съезжу тут к офицерам; говорят, ротный хорошо сочиняет... Да еще у тыквинского помещика есть учитель Вьюгин,— я и к нему съезжу.

Охотники расстались. Галкин еще раз решительно повторил, что он издает газету.

При закате солнца Галкин, одетый, сел в пролетку и уехал на вечер к Хоботовым. Почти в то же время отправился на беговых дрожках к регенту учитель.

II

В сумерки Галкин приехал к высокому новому дому Хоботовых, перед окнами которого извнутри выглядывало

множество медных и бронзовых амуров, собачек, рыцарей, охотников и проч.

В зале Галкина встретил с ежовыми волосами хозяин. Схватившись за руки, ходили по комнатам девочки в распущенных платьях. Хозяин подал гостю руку и лениво сказал:

— Ну, что же, того... как ее... ваша бабушка?

— Она нездорова...

В гостиной на мягком диване, с томными глазами и полуоткрытым ртом, сидела хозяйка, имея на голове очень красивую куафюру[1]. Ей было лет двадцать семь. С видимым желанием выразить всю нежность и грацию молодой женщины, она слегка привстала перед Галкиным, слегка поклонилась, но так, что ее глаза еще более сделались томными,— и вообще она как будто говорила: «Вглядитесь в меня, хоть, например, вы, господин Галкин,— я могла бы целое блаженство доставить человеку, достойному меня!..»

Впрочем, такая истома хозяйки замечалась преимущественно в начале представления гостей. Но после Катерина Ефимовна делалась просто милою хозяйкою, наблюдающею за вами, сколько вы съели чего и не дать ли вам еще чего-нибудь; как, проводив гостей, она делалась милою помещицею, которая в кругу горничных и лакеев поверяет в кухне и кладовой, сколько чего вышло на гостей и т. д.

В зале стояла толпа съехавшихся помещиков, окружив хозяина, который что-то рассказывал. Хозяин на время прервал свой рассказ и пошел к дверям встречать приехавшую соседку помещицу с четырьмя взрослыми дочерьми и сыном-гимназистом. Он, как-то пасмурно (у хозяина был от природы такой взгляд) глядя на гостью, прежде всего за необходимое счел ей сказать, что он весьма здоров, и посмотрел на нее уже не пасмурно, а сердито...

— А Катерина Ефимовна? — спросила помещица.

— Она там... в гостиной.

Хозяин был такой человек, про которого ходило в окрестностях много небылиц, как, например, будто он раз с особенным вниманием смотрел на себя в зеркало и нашел, что его лицо ужасно напоминает свинью, о чем сообщил жене...

В зале явились три офицера с саблями. Между тем комнаты осветились огнями.

---

[1] Прическу (от фр. *la coiffure*).

После чаю гувернантка Хоботовых сыграла на фортепьяно серенаду Шуберта и произвела в гостях необыкновенное уныние, а больше всего в помещиках, которые встосковались до того, что обнаружили покушение ехать домой. Но Хоботов удержал их и дал слово попросить гувернантку сыграть что-нибудь повеселей, хотя помещики ровно ничего не хотели слышать.

Галкин в это время сидел в гостиной и объявлял дамам о своей газете.

— Я вижу,— говорила хозяйка,— вы хотите нас описывать... Конечно, много найдете пищи для себя.

— Помилуйте! — отвечал Галкин,— я не литератор, я не имею сатирического ума... Но вы, Катерина Ефимовна, поймите: тут просто будет листок от скуки...

— Нет,— твердила непреклонная хозяйка,— вы хотите насмеяться над нами, я вижу... Да опять, что за деревенские такие газеты? что с вами? Вам, как помещику, право, стыдно этим заниматься...

— Да ведь, Катерина Ефимовна, эта газета нисколько не будет похожа на все литературные газеты, какие вы знаете... Это будет листок собственно наш, с своим направлением, домашний и, без сомнения, удивительно оригинальный... Что литературные газеты!..

— Только я вам скажу,— говорила хозяйка,— вам меня описать не придется... Тут нужен талант да талант, потому что вы со мной не живете и, значит, вполне меня не знаете... Сверх того, я не хочу, чтобы вы меня описывали: для меня достаточно того, что я узнаю себя нередко в героинях Шекспира и других...

В зале играли вальс; шаркали танцующие. Галкин встал и попросил хозяйку; она, расправив платье, пустилась с ним...

— Нет, Катерина Ефимовна,— говорил Галкин,— вы жестокосерды... как вы не хотите покровительствовать моей газете!

— Что вам далась эта газета, господин Галкин? — отвечала хозяйка, поправляя куафюру и улыбаясь,— ну, издавайте, когда так... да что вы так вертите меня?.. Я не могу... В самом деле, издавайте... я шутила...

Катерина Ефимовна попросила Галкина остановиться и села на стул.

— Право, издавайте...— ласково повторила хозяйка и с одушевлением посмотрела на Галкина.

Офицеры танцевали с каким-то ожесточением: кто прихлопывал каблуками, припрыгивал вверх; кто припевал

даже что-то... Один офицер, высокого роста, сделал несколько кругов на одной точке, посадил даму и гордо пошел прочь, неся на шпоре откуда-то выхваченный клок кисеи...

Галкин подошел к двум гулявшим помещицам и обратился к одной из них, большой охотнице до русских песен, особенно до «Ночки темной, осенней» и «Я калину ломала».

— Василиса Антиповна! Вы не слыхали,— я намереваюсь издать деревенскую газету? Не угодно ли вам получать.

Помещица почему-то вдруг сконфузилась.

— Видите ли, это будет преинтересная вещь. Вы будете знать, во-первых, все, что ни случится в ваших окрестностях, во-вторых, тут будут подниматься разные вопросы...

— Извините,— промолвила Василиса Антиповна,— я не могу ничего сообразить... Я вам лучше после отвечу...

— Ну, а мне позвольте получать, господин Галкин,— подхватила другая помещица,— только чтобы не было сатирического в этом журнале... Вы козней не строите ли над нами?..

— Боже сохрани! Смею ли я подумать... Я, кажется, помещик...

— Что это издается? — спросил подошедший к Галкину офицер.

— Деревенская газета... Не угодно ли быть сотрудником?

— Извольте... Я вам пародию представлю на нашего ротного.

— Что это, может быть, ругательное?..

— Ругательное! Но мило!

— А как того... называется эта газета?— перебил хозяин, несший в боковую освещенную комнату колоду карт.

— Да хоть «Борей», или как угодно...

— Нет лучше «Револьвер» или «Эскадрон»... Вот «Якорь»... ну, мало ли можно придумать?

В гостиной дамы окружили любительницу русских песен и упрекали ее в том, что она не изъявила прямого желания получать газету Галкина. Но она отвечала, что причиною тому было опасение, что раз в одном уезде издал кто-то, вместо газеты, глупость какую-то.

— А вот мы у него потребуем программу,— вскричали дамы и послали одного помещика к Галкину — просить программу. Помещик принес целое объявление.

— «Милостивые государи,— читал помещик, стоя у

лампы и отдуваясь,— милостивые государыни!.. Россия на пути своем к просвещению так рванулась вперед, что Гоголь ей сказал: «Русь! куда ты мчишься?» При виде такого всеобщего морального движения, мы уверены, умы многих просвещенных и передовых людей заняты в настоящее время вопросами: «Отчего в наших русских селах и деревнях до сих пор не явится ни одной газеты, которая бы служила, так сказать, оружием, бьющим во все внутренние стороны деревенской жизни?.. Отчего это?» — спрашивают передовые люди.— Но нет ответа...

Милостивые государи! Откликнемся первые мы на эти безответные вопросы и на эту народную нужду: создадим газету! Да зарядим ее хорошею гласностью!.. не тою, однако, что марает без разбору все лица, не исключая и благородных, а чистою и вместе легкою... В нашей душе кроется одна надежда, что со временем мы будем главною причиною того, что повсюду распространятся сельские газеты И (что мудреного?) Россия вдруг превратится в Северо-Американские Штаты!..

Не слышите ли вы, милостивые государи, в этом последнем слове магического обаяния для вашего просвещенного ума!.. Не замирает ли ваше сердце при виде той высоты, на которую я вам сейчас указал!.. Но... авось бог милостив...

Милостивые государыни! Вы первые громко откликнетесь на мой зов — я убежден!.. Ваши сердца, одаренные от природы чудесным пониманием всего прекрасного,— повторяю — я убежден, сольются в один аккорд искренней радости при одном намеке на Мое предприятие...

Итак, милостивые государи!.. Но уже вы своим орлиным оком проникли в глубину моего намерения, и я заранее счастлив... Я издаю газету!..

Галкин»

По окончании чтения все решили, что объявление очень умно написано и что Галкин человек очень образованный.

— А это он что-то важное затевает!..— сказала одна помещица другой.

— Уж я не знаю!..

— Ну, важного здесь немного...— сказал помещик, читавший объявление,— так пишут все объявления — витиеватым слогом! Тут обыкновенно и Русь вперед и назад, и всякая всячина...

Начался ужин. О газете Галкина знали уже все.

— Какая же будет программа? — спрашивали помещики.

— Программа, господа, зависит от вас,— сказал Галкин.— Избирайте какую угодно...

— Только чтобы гласности не было! — раздались голоса.

— Вместо нее можно сделать отдел под названием: «Дневник происшествий»,— предложил Галкин.

— Да вы смотрите, господин Галкин, не вздумайте с нами чего-нибудь сыграть!

— О господа!.. как вам не стыдно... Просто хочу разогнать вашу скуку,— а вы что говорите!..

— Это хорошо! Это, господа, Галкин придумал славно! Газета у нас будет вроде домашнего альбома. Тут я помещу о своей молотилке,— сказал хозяин.

— Да, вообще эта газета может иметь всемирную славу! — заметил один помещик.

— А как вы думаете? Очень может быть!..

— Главное — личности не задевать! — кто-то произнес.

— Не в личности дело, а что газета может отозваться на всю Россию... А Галкину во всем можно довериться.

Некоторые из дам обещались писать. Хозяйка сказала, что она пришлет Галкину сочинение своего девятилетнего сына, который недавно написал восход солнца. Другая помещица тоже обещалась прислать Галкину сочинение своей двенадцатилетней дочери.

— А вы, господин Галкин,— говорил один помещик при прощании,— можете в газете сделать небольшой отдел для гласности и там легонько касайтесь — приказчиков, становых... Через это газета будет серьезней.

Вообще газета была принята благосклонно.

III

Возвращаясь домой, Галкин представлял, как его газета будет ходить по рукам,— и вот внезапно оживет знакомая ему окрестность, все будут толковать о новостях, о статьях, в ней помещенных... говор, спор, крик... Помещики, возбужденные интересами, близкими их сердцам, воспрянут от своего сна, задвигаются, примутся писать, возражать, шуметь — точно члены английского парламента... Что за диво! И вдруг все это уже разносится далеко... доходят слухи до начальства, узнает губернатор, вызывает Галкина к себе и... благодарит, жмет руку и дает позволение печатать газету, говоря:

— Да помилуйте, благороднейший господин Галкин, вы все это печатайте... Ведь сколько, я воображаю, вам трудов-то с этим переписыванием...

Галкин кланяется и отвечает, сильно тронутый:

— Не знаю, ваше превосходительство, но мне кажется, что руководил меня в моем намерении — мой гений...

Губернатор внимательно смотрит на Галкина...

«Однако действительно,— подумал Галкин,— надо заняться газетой посерьезней...»

IV

В ту же ночь в деревне Быкове в ветхой избе сидел учитель Чаркин с регентом. Перед ним на столе стоял полштоф водки.

— Выпейте, Егор Кирилыч,— говорил регент.

Приятели пили, закусывали и смотрели друг на друга молча.

У окна сидела жена регента. Ее лицо выражало, что пьянство мужа для нее не новость...

Регент и учитель снова начинали:

— Выпьем, Егор Кирилыч.

— Выпьем, Семен Семеныч.

Явился другой полштоф. Дело, может быть, и кончилось бы тем, что приятели молча допились бы до беспамятства; но прежде чем это случилось, к ним явился мужик — голова из соседней деревни.

— Ну, будьте здоровы! — говорил голова, входя в избу и пошатываясь.— Ныне что-то спесивы стали ученые: никто в гости не пожалует... Егор Кирилович, а ты, я тебе скажу, имеешь в своей голове воно какого царя... Ты меня за пояс заткнешь... (Голова взялся за полштоф.) Вы не взыщите... Эко, подумаешь, что значит образованность-то!.. Ну, будьте здоровы...

— Вы слышали, Галкин газету издает,— сказал регенту учитель.

— Ну, что ж?..

— Напишите что-нибудь.

— Какую газету? — спросил голова.— Историю?

— Газету. Тебя будут описывать, как ты ведешь себя на сходке...

— Понимаю... на сходке... значит, я действую там... обладаю своим народом... А вы, господа, посмотрю я,— очень хитры!.. Только что давайте сперва порешим: кто

из нас кого умней?.. А этак мы без толку просидим... Семен Семеныч!.. ты регент! я тебя за это люблю! Ведь ты человек горемычный?.. Тебя барин выписал, да пренебрегает тобою, в конуру поселил. А я тебя озолотил бы!.. Ну, теперича разгадай же мне, что значит — «Вскую отринул мя»? «Яко лядвия моя наполнишася поруганиями»? Изволь раскусить; да чтобы было складно.

Скоро беседа кончилась. Учитель, прислонясь к стене, спал; регент, свалившись на пол, тоже спал. Голова один сидел за столом и с иронией глядел на приятелей.

— Анна Федоровна! — сказал голова, поднимаясь и обращаясь к жене регента,— давай, матушка, приберем твоего мужа на постель; нехорошо ему валяться!.. Мне, право слово, Анна Федоровна, жалко вас; ей-ей, смерть жалко! Вскую отринул мя... Ну, бери его за ноги...

Голова уложил регента на кровать и сам лег с ним рядом, бормоча: «Дай нам сперва выспаться... никак из раннего утра пили...»

V

Галкин сильно хлопотал насчет газеты; он был у учителя Вьюгина, у ротного, ездил по помещикам и кого просил написать об эмансипации женщин, кого — о движенье вперед. Учитель Чаркин, дрожа с похмелья, дал ему статью под заглавием «Нищий солдат»... Раз, возвращаясь пешком от ротного, Галкин был остановлен звеневшим колокольчиком. По деревне Ивовке ехал, качаясь туда и сюда, офицер. Поравнявшись с Галкиным, офицер закричал:

— Господин Галкин, господин Галкин!

— Здравствуйте, господин Загвоздкин!

— Здравствуйте! здравствуйте! Стой, кучер... Господин Галкин! я слышал, вы издаете газету?..

— Издаю...

— Ну, так!.. нарочно хотел заехать... Поместите вот эти стишки... я хочу, чтобы их дамы прочитали... Я буду постоянным вашим сотрудником... Да нельзя ли вам хорошенько разжечь в газете помещика Ерыгина... Что это такое? вчера я насилу от него уехал!..

— Неужели?

— Да что на него смотреть! Так и напишите в газете: «Ерыгин — дурак!»

— Вы заезжайте ко мне,— сказал Галкин,— поговорим...

— Да я не одет... Погодите... Разве переменить панталоны?..

Офицер сошел с телеги и стал доставать из узла что-то, говоря:

— Как вам покажется... Сейчас у Куропаткина пять бутылок рому выпили...

— Уж не лучше ли вам ко мне заехать в другое время?— сказал Галкин.

— Ну, ладно... можно и в другое время,— отвечал согласный офицер.

Колокольчик снова зазвенел...

Пришедши домой, Галкин получил письмо.

— Кто это принес? — спросил он лакея.

— Хоботовский человек... от барыни...

Письмо было таково:

«Федор Семеныч! посылаю вам сочинение моего Петеньки и прошу его поместить в вашей газете. Да вот что (это между нами): пожалуйста, напишите про Акулину Васильевну, скажите: такая-то и такая-то барыня (имени не говорите) в разговоре беспрестанно повторяет «сэ врэ»...[1] и шляпу носит набок... Ради бога... Ваша газета, я слышала, будет ходить по всему уезду... (Смотрите, про это никому не говорите.)

Уважающая вас *Хоботова*»

В комнату к Галкину вошел помещик Ерыгин.

— Мое почтение,— сказал Галкин,— давно вас не вижу... Ну, что новенького?.. слышали про газету?..

— Слышал, слышал,— сказал Ерыгин и затворил за собою дверь.— Превосходно, батюшка, вы выдумали; я приехал нарочно к вам: сделайте одолженье (Ерыгин начал шепотом)... обяжете меня; мы как-то с Хоботовым поссорились; он возьми раз ночью — отправился к моему дому и всех собак борзых перестрелял... Клянусь богом!.. Ведь вот разбои какие!.. Я бы и судом это дело повел, да улик налицо нет... Я это, однако, не оставлю так... А покамест вы на него составьте что-нибудь,— да пожестче! Да, черт возьми!.. Ну, ради самого Христа!..

— Ведь, господа, рассудите,— сказал Галкин,— этак у нас газета превратится — я не знаю во что...

— Да ничего!.. Вы там сделайте с благородною целью... Назовите: «Гласность».

---

[1] Это правда (от фр. *ce vrai*).

— А там поручик Загвоздкин на вас просит написать...

— Пускай его!.. Вы только Хоботова залепите.

— Отчего вы сами не напишете?..

— Я не могу!.. Клянусь вам... не могу писать... У меня, ежели я стану писать, пойдет и подлец и скот,— не могу!..

— Ну, мы увидим. Вы же, между прочим, напишите сами и покажите мне после...

Не прошло получаса после того, как Ерыгин уехал, к Галкину явился Кобелев — помещик.

— Я вот вам написал статью о воспитании,— начал басом помещик,— но дело не в том; я прошу вас, скажите в газете следующее: у одного человека помещик Куропаткин стог сена украл... так-таки буквально украл... И добавьте, что такие поступки называются низостию... До свидания...

— Для чего же вы меня-то заставляете писать? — спросил Галкин.

— А для чего же вы затеяли газету? Ну, так я сам напишу...

— Да уж лучше вы напишите; только полегче, Прохор Прохорыч.

— Я посмотрю... А то прямо озаглавлю статью: «Вор!»

Через неделю деревенская газета была готова. Галкин разослал ее, куда только мог: всем своим знакомым, даже некоторым дворникам и приказчикам.

VI

ДЕРЕВЕНСКАЯ ГАЗЕТА

Программа

1) Современные вопросы.
2) Изящная литература.
3) Сельское хозяйство.
4) Дневник происшествий и слухи.
5) Стихотворения.

ЖЕЛАНИЕ

(Посв. M-me Хоботовой)

Луна, прошу, укрой свой луч
Там дальше, дальше среди туч.

Во мраке ночи мне милей
С прелестной девою мечтать,
Во тьме приятнее мне с ней
Средь поцалуев засыпать...
Тогда лишь жизнь мне так приятна,
Душа желания полна...
Меж тем, как бы сквозь сон,— невнятно
Мне про любовь твердит она...
Луна! прошу, укрой свой луч
Там дальше, дальше среди туч.

Рот. ком. *Ведеркин.*

СЦЕНА

У редакции «Деревенской газеты» на крыльце сидит с пасмурным видом лакей. Перед ним без шапок стоят два мужика.

Лакей. Разве не слыхали? — газета издается... сочинения пишут.

Мужик. Про кого?

Лакей. Про кого? Про вас!

Мужик. Что пишут?

Лакей. А то, что вы никакого просвещения не имеете... И натурально, это предписание прочтут помещики, потом становые, и все утвердят, что вы точно народ ничтожный... Грубости в вас дюже много...

Мужик. А дальше что?

Лакей. Дальше пошлют это доказательство к военному начальству.

Мужик *(помолчав)*. Зачем?

Лакей. Это спроси у военного начальства; уж наверно этого дела не пропустят даром...

Мужик *(печально)*. Ну, за что же?

Лакей *(сердито)*. Говорю — за невежество ваше! Ежели бы вы себя вели деликатно, ничего бы этого не было...

Уч. Вьюгин.

ДНЕВНИК ПРОИСШЕСТВИЙ

9 июля. В наши окрестности вступил Г-ский полк,— с чем и поздравляем почтенную публику.

11 июля. В селе Утине совершалось поминовение по дьячку Андронову. Звонкий голос покойного и усердие к службе, без сомнения, долго будут жить в памяти утинских прихожан.

12 июля. В деревне Шинках суд производил следствие по повесившейся бабе и нашел, что баба лишилась жизни по причине сумасшествия. Суд обедал у приказчика. После обеда, говорят, становой пел песни...

13 июля. Помещик Х. давал вечер, на котором было до 25 человек гостей; играли в ералаш; молодые люди танцевали и выказывали в танцах необыкновенную ловкость и даже силу... В гостиной читали объявление о «Деревенской газете»... Ужин был отменный; было до трех сортов вин: херес, сотерн и кагор...

14 июля. В селе Горлове был храмовой праздник. Одна помещица, приехавшая к обедне, была одета великолепно: ее белое платье, при ярких лучах солнца, представляло невыразимое зрелище... Эта дама на паперти объяснялась с другою дамой на французском диалекте, и между ними слышались следующие иностранные слова: «вузавэ резон, о жур дюи[1] и *сэ врэ»*, что также составляло особенную прелесть среди толпы мужиков и баб... (Продолжение ниже.)

О НЕВЕЖЕСТВЕ МУЖИКОВ

(Статья помещика Ерыгина, направлена на некоторую личность)

Говорить мне или молчать?.. Недавно я собрал своих крестьян и начал их спрашивать о разных теоретических предметах, имея в виду ту мысль, каковы у этих людей нравственные способности?..

— Для чего вы созданы?

Иные отвечали, что не знаем; другие сказали, что «мы созданы для своего господина...»

— Неужели только? — говорил я, но ответа не добился.

— Илья! Для чего тебе дана жена?

— Известно,— сказал он,— на потребу...

— Что это значит?

— Не знаю...

— Ефим! ты что скажешь?

— Жена нам дается,— сказал Ефим,— на подмогу.

— На какую подмогу?

— Стало быть, чтобы тягло выходило.

— Отвечай, Петр! что с нами будет на страшном суде?

— Да все помрем, батюшка...

---

[1] Вы правы, сегодня (от фр. *vous avez raison, aujourd'hui*).

— Ну, говорите, для чего вы созданы?

— Для вашего здоровья!!.

После того, что я привел, нечего более доказывать заглавие этой статьи... Это и было именно предметом моего исследования... Но обратимся теперь к другому.

Если так невежлив мужик, говорящий сказанные нелепости, то как же невежлив должен быть помещик, который в ночи 18... года, августа... перестрелял всех моих борзых собак?..

П. Ерыгин.

НЕСКОЛЬКО МЫСЛЕЙ О ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ
(Статья пом. Кобелева)

Слушая постоянные толки о воспитании крестьян, я молчал и долго не решался высказывать своего мнения. Но как просвещение стало распространяться даже и по деревням, чему доказательством служит сия газета, то я думаю вкратце передать свои мысли. По моему наблюдению, надобно детей, во-первых, учить так, чтобы они были, так сказать, с ног до головы и с головы до ног пропитаны — повиновением... Для этого надобно сочинить такую особую книгу под заглавием: «О повиновении». Как же можно допустить, чтобы воспитанники — когонибудь не слушались?.. А что из них будет, когда они сделаются взрослыми?.. Например: можно ли допустить следующее: раз я зашел из любопытства в училище экономических крестьян. Там сидел учитель и толковал одному крошечному мальчику — вычитание. Он объяснял ему так:

— Ну, положим, ты имел у себя десять бабок; слышишь?

— Слышу.

— Положим, теперь ты из них проиграл пять. Сколько у тебя осталось?

— Когда же я проиграл? — вдруг возражает мальчик.

Нет, этак нельзя!..

Во-вторых, следует воспитанникам внушать дух смирения... Тут нужна тоже книга попространней «О повиновении». Мы понимаем, как люди уже образованные, что эта доблесть необходима каждому...

Далее, кажется, читатели сами видят, что нужно говорить о самоотвержении... Со временем я буду много говорить о самоотвержении, но теперь спрошу об одном:

где всему этому учить? Нужна отдельная для этого изба. Я скажу, не только изба, но даже и библиотека, состоящая из предложенных мною книг. Вот поэтому-то я и советую: наложить на жителей сбор, а пред этим собрать их и сказать им хорошую речь...

Таким образом, сбор на избу будет очень хороший. В этой избе и начать учить... «Что же дальше?» — спросят меня. «А дальше остается вознести хвалы к небу»,— отвечаю я. Разве еще нужно разъяснять, как скамейки ставить в школе, какие иметь розги и пр...

NB. Теперь приступаю к описанию одного человека, которого знают все; я имени его пока не скажу; он высок ростом, брюнет, довольно приятен на вид; имя ему: вор!.. 18... года во время сенокосу, перед вечером, этот человек приказал навьючить на свою телегу вовсе ему не принадлежавший воз сена!

Пом. *Кобелев.*

БАЛ

Люблю на шумном я балу
С красавицей вальсировать,
Люблю и в темном уголку
Ее к груди моей прижать.
Но во сто раз милее мне
Остаться с ней наедине...

Поруч. *Загвоздкин.*

ДНЕВНИК ПРИКЛЮЧЕНИЙ

(Продолжение)

14 июля. За селом Горловым (во время храмов. праздника) помещик Ч. вывалился из своего экипажа и сломал себе шею. Уездный доктор ежедневно бывает у больного и советует ему не употреблять в будущее время спиртных напитков: насчет же шеи уверяет, что она будет кривая.

16 июля. У помещика Д. родились вдруг две дочери. Сердечно радуясь такому сюрпризу, родитель от многих из своих соседей уже принял поздравление. Он, между прочим, сказал, что «любопытно знать, что из этих малюток выйдет? Умрут они или нет?..»

17 июля. В деревне Пискареве какой-то проезжающий,

на станции, утром, заплатил дворнику за ночлег гривенник и вышел на улицу к своему экипажу. Когда дворник сказал, что ему гривенника мало и при этом (в виде упрека) показал деньги, тогда проезжающий, развернувшись, рассыпал эти деньги по грязи... В этой грязи после дворник отыскал несколько своих зубов...

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО[1]

Лечение молодых телят

(Ст. пом. Хоботова)

Новорожденные телята, по наблюдению моей скотницы, бывают подвержены опасной болезни: воспаление языка. Лекарство, по словам той же скотницы, есть тряпка, намоченная в холодную воду.

В будущем № я намерен побеседовать с читателями о своей новой молотилке, за которую я заплатил 400 рублей; еще об аглицкой свинье, которую вчера привез.

САТИРА НА Г-ГО ПИСАРЯ

(Соч. дьячка села Нового)

Егор удалый был детина —
Самый хвацкий молодец!
Крестьяне все пред ним — скотины.
Душил он их, как волк овец.
А ныне он — Егор
Носит лапти без обор (веревки).

Дьяч. *Щукин.*

САТИРА НА ЛЕСНОГО СТОРОЖА

(Сочин. того же поэта)

Для солдата Шедрина́
Купить надо штоф вина.
Он щедрит, как отец сыны —
Велит всем рубить осины.
В лесе негде сесть кукушке;
Одни пенья да макушки!..

Дьяч. *Щукин.*

---

[1] В будущем № поместятся статьи: «О выжигании тока» и «О лечении мыта».

ВОСХОД СОЛНЦА

(Сочинение 10-летнего автора г. Хоботова)

Заря позолотила восток. Птицы уныло кое-где повесили головы и спали. На небе были серые полосы. С одной стороны полоса похожа на нитку, с другой стороны она тянется будто бы полено... Везде безмолвно... С одной стороны домы крестьян кажутся покосившимися, с другой развалившимися.

Наконец, появилось солнце, улыбаясь, точно юноша, беспечно играющий на руках своей матери[1].

10-ти летний г. *Хоботов.*

РАДОСТЬ

Прекрасна, светла и любовна,
Душа веселится моя.
Да здравствует Марья Петровна,
И ручки, и штучки ея...

Поруч. *Загвоздкин.*

НИЩИЙ СОЛДАТ

(Из моих записок)

(Статья учителя Чаркина)

В наших окрестностях бродит один побирающийся старый солдат, которого, вероятно, все знают; у него обыкновенно сума в руке и шапка, которую он никогда не надевает; он, как известно, ходит очень тихо, потому что очень дряхл и слаб и вдобавок почти слеп.

Однажды он против окон нашей кухни пел: «Помяни, господи, благородителей во царствии твоем!» Пение было дикое и наводящее ужас...

— Поди, дедушка, закусить,— сказала старику наша работница.

Нищий вошел в избу и сел за стол. Работница подала ему щей. Я завел разговор с ним.

— Сколько, дедушка, тебе лет? Лет сто будет?

— Нет, не будет сто лет,— ответил он, разламывая корку хлеба.

---

[1] Редакция не может не изъявить благодарности родителям 10-летнего автора, сочинение которого носит в себе задаток непременного таланта.

— Плохо тебе жить?

— Плохо...— равнодушно ответил он и стал есть щи.

— Пенсию получаешь?

— Нет, не получаю...

— Отчего?

— Просить некого... оттого побираюсь... Я две медали имею...

— А начальство?

Старик молчал.

Что он говорил — говорил таким спокойным тоном, что делалось больно!.. Лицо его ничего не изображало... Глаза его не отрывались от щей...

— Надо губернатора просить,— сказал он,— может, пансион дадут. Я служил все двадцать пять лет.

— Отчего же ты не просишь его?

— Из-за паспорта начальство не пускает. «Как тебя пустить, говорит, паспорта нет». А паспорт мой сгорел, как деревня сгорела.

— Так ты бы так и объявил.

— Я говорил... просили у меня целковый... я не дал...

— Стало быть, все дело из-за целкового?

— Мне теперь целковый не нужен. Я скоро умру.

— Ну, если ты болен сделаешься, долго будешь лежать — кто тебя станет хоронить?.. У тебя есть родные?

— Никого нету...

Старик перестал есть, достал из-за пазухи кошелек и сказал мне, забыв, по-видимому, все:

— Берегу... два рубля сорок... когда умру — помянуть меня...

Старина! старина! Отчего так равнодушно и холодно лицо твое?

Неужели это правда?

Уч. *Чаркин.*

К ГАЗЕТЕ

Пусть раздается на полсвета —
Деревенская газета!..

Редактор *Галкин*

NB. Редакция просит гг. читателей присылать, если можно, своих людей для получения газеты, адресуя: в деревню Ивовку — Галкину. Газета выходит по воскресеньям.

VII

Газета читалась повсеместно: около десятка селений вошло в круг читателей, про нее знали даже крестьяне, которые объяснили ее по-своему...

Села Горлова приказчик, прочитав газету, велел позвать к себе земского.

— Кто прислал эту газету?— спросил он.

— Да всем разносят... от помещика Галкина.

— Ты знаешь, здесь надо мною смеются?

— Да это я давича прочитал... насмехаются...

— Что же это такое будет? — в отчаянии произнес приказчик.

— Что ж мудреного? многих зацепили...

— Стало быть, требуется...

— Верно, куда-нибудь это пойдет?

— Должно быть, к исправнику... а то в суд... что ж, на миру и смерть красна...

— Еремей! слышал, грамота какая-то ходит? — говорил мужик в толпе народа, стоявшего у постоялого двора...

— Слышал, малый. Это бумага из Питера доставлена...

— Братцы! дворник сейчас обещал нам ее дать...

— Ой ли?.. Пойдем попросим... Ну, Илья, Егор, трогай!..

— Что вы орете-то!.. Разве можно так?.. Тут полегоньку надо... Иван, поди ты один и спроси у дворника: нельзя ли, мол...

Дворник дал мужикам газету. Они с замиранием сердца побрели с газетой в ближний пустой сруб, и один из мужиков начал читать...

— Повнятней, Гриша! Ну, начинай...

— Стой, ребята! Не шелохнись! Должно, она самая...

— Читай...

— Погодите, братцы,— дай ухом приладиться: с богом! отчаливай!

— Начинать?

— Погоди... Егор! прими голову-то!.. не слышно... Валяй!..

— Начинать?

— Начинай...

— Смирно... Ей-богу, она!

— Читай знай! Увидим...

— Постой ты, братец, мне виски-то прижал больно!

— Эх, дураки!.. Когда вы уладитесь!..

— Да вот все Еремей... Ну, читай: я знаю, это не она...

— Знахарь! пошел прочь!..

— Давай об чем?

— Давай!..

— Да замолчите, что ли, вы?..

— Ну, ну!.. Не пикни! пригнись, Федор... Я на плечи-то к тебе навалюсь...

— Навались!.. Начинай!..

— Постой, дай дверь затворю...

— Когда там затворять?.. Тише!

— Тише!..

— Погоди, я на полати влезу...

— О, дурак!.. выдумает!..

— Ребята!.. а что, я вижу — лучше грамоту нести вон...

— Как вон? трогай! готово!..

— То-то, готово!

— Т-с-с-с-с-с...

Один мужик начал читать:

— Второе!.. нет, так!.. второе: мальчикам внушать дух сми-ре-ния.

— Нет, должно, не то!..

— Что там такое?

— Да вот, говорит, дух смирения...

— Чего там? Ты, верно, не туда забрал, повыше возьми! Сызнова...

— Ты сперва перекрестись...

— Да, по делу-то надо всем перекреститься...

— Ну, что ж?..

Мужики все перекрестились...

— С богом!..

— Начинай!.. Смирно!..

— Гриша! откопай получше весточку-то!

— Готово!..

Мужик зачитал: «Я и советую наложить на жителей сбор, и ежели...»

— Что, Гриша? как?

— Наложить на жителей сбор...

— Братцы, пойдем же лучше в другой сруб: тут как-то не ладно...

Все решили идти в другой сруб. В другом срубе снова Григорий зачитал...

— Погоди, Гриша, я разденусь: послободней будет...

— Давай уж, коли так, все разденемся...

— Свиньи вы, свиньи!.. Я вижу — вы слушать-то не хотите!..

— Как не хотим?.. Ну, мы в одеже останемся...

— Начинай!..

— Шапки-то снимите...

— Сняли... Читай!..

Вдруг в толпу ворвался дворник и закричал:

— Эй, газету давайте!.. Один благородный приехал... желает любопытствовать.

Дворник вырвал у Григорья газету и скрылся. Мужики молча вышли из сруба.

На третий день после выхода газеты, когда Галкин ждал о ней слухов, учитель Чаркин сидел в доме быковского регента. У окна по-прежнему сидела жена регента.

— Анна Федоровна! — говорит учитель,— выпейте же с нами... Ну, хоть в честь газеты...

— Нет-с... Вы знаете, я не употребляю...

— Ну, выпей,— сказал регент, читая газету,— сколько можешь...

Анна Федоровна немного выпила.

— Что, как газета? — спросил учитель.

— Хороша!.. Кажется, Галкин никого не щадит...

Учитель выпил и сказал:

— Тут вот в чем штука: Галкин — увлекся... он начал заходить туда, куда помещики не заходят, он начал карать свою братию. «Я, говорил он мне, хочу из газеты сделать пистолет да стрелять из него... а то несерьезно будет...» Ну, он своих соседей хорошо не знает... Я живу с ними семь лет... Я об этом Галкину говорил: он только твердит, что ныне такое время, все стремится вперед, и помещики...

В избу вошел Галкин.

— Сейчас ездил к Вьюгину, завернул по пути и к вам,— сказал Галкин.— С газетой бог знает что делается!..

— Что такое?..

— Да вот, получил несколько писем.

Галкин достал из кармана одно письмо и прочитал (письмо было от Хоботова).

«Получил я вашу газету и с нетерпением распечатываю. Читаю и, во-первых, нахожу, что там моей жене какой-то ротный пишет, как он среди поцелуев засыпает... Во-вторых, в газете пишет и дьячок, и пономарь, и какой-то Ерыгин, у которого я будто перестрелял собак... Об этом

я с ним лично потолкую... Теперь позвольте у вас спросить: кто сочинял у вас слухи?.. Я знаю, что это вы... Так вот как я с вами поступлю!.. Так как вы газету свою раскидали на постоялые дворы и, одним словом, по всему уезду,— то я, значит, как опубликованный, имею для вас один гостинец... Вы увидите его после... я не оставлю вас так...»

— Хорошо?— спросил Галкин.— Вот другое... от Куропаткина: «Федор Семеныч!.. Что вы, взбесились? Пишете на весь свет, что моя жена родила двойню!.. Я отказываю вам от своего дома... Ведь это — я не понимаю!.. »

— Вот третье,— от помещицы Сундуковой: «М. г. Федор Семеныч!.. благодарю!.. благодарю!.. Как я рада, что вы задели Акулину Васильевну!.. Это *сэ врэ* — превосходно... Как будет этим довольна Хоботова!.. Муж мой просил передать вам благодарность за то, что вы поместили — о его неприятеле и сердечном враге Воронине, который сломал себе шею... Он вам от себя напишет после... Он поехал в город... Прощайте... *Цалую листки вашей газеты...*»

Галкин прочитал четвертое письмо от помещика *Ужина.*

«Господин Галкин! Вы отчего не поместили моей брошюры насчет Ерыгина?.. Что я его называю стервой и пр., так вы и поцеремонились?.. Нет, вы не церемоньтесь!.. Я с вами разделаюсь. Брань других вы помещаете, мою нет!.. Я вам сюрпризец приготовлю... Поверьте, я свое слово сдержу... черт возьми...»

Наконец, было пятое письмо, Ерыгина:

«Федор Семеныч! Завтра у Кобелева вечер: будут все... Приезжайте непременно... будем строить планы насчет второго нумера... Я и Кобелев тискаем вас в своих объятиях за вашу милую газету и от души благодарим, что вы наши статьи поместили и ни словечка из них не выкинули. Браво!.. Россия, вперед! Вы говорили правду в объявлении: да здравствуют Северо-Американские Штаты... То есть я до сих пор не пойму: каким это образом вам взошла такая идея! Ну, да после... Одним словом, гласность, гласность!.. Я вам столько чудес открою... Приезжайте же!..»

Приехав от регента домой, Галкин еще получил два письма: одно было от помещика Чухина, жившего очень далеко от Галкина.

«Поздравляю вас, Г. Галкин, с успехом!.. Каким-то об-

разом в нашу окрестность залетела ваша газета и произвела такой взрыв, что до сих пор,— когда я пишу эти строки,— дым и чад не перестает... Просто битва на Куликовом поле... Многие узнали в обличениях ваших себя... Один говорит, что я действительно у какого-то дворника зуб выбил, другой, что он сломал себе шею,— и пр. Но главное, все кричат, что вы ренегат, что вы хотите против своих же открыть полную гласность да заставить читать мужиков и т. д. Целая гурьба хочет ехать к вам... Но некоторые обещаются жаловаться губернатору... Между всем этим идет спор такой ожесточенный, что многие подлетают во время прений друг к другу с красными лицами... Прощайте — вы гениальную штуку выкинули».

Помещица Хоботова писала:

«Прекрасный Федор Семеныч!.. Мой муж сердит на вас, как зверь какой!.. Но это ничего... Не ослабевайте,— (спасибо вам за Акулину Васильевну). Я вас еще кое о чем попрошу... А мужа моего не бойтесь... Я его укрощу мигом!.. Он ручной... жаль, что глуп непомерно... Он ныне утром все рылся в своем кабинете, звенел и громыхал чем-то... а вечером говорил: «Он, говорит, зарядил в меня гласностию, а я заряжу в него пулею...» Не пугайтесь!.. Завтра у Кобелева вечер, приезжайте, я там буду... От всего сердца жму вам руку...»

Галкин, сидя один в своей комнате, смотрел в потолок и самодовольно улыбался.

VIII

На другой день вечером Галкин был у Кобелева, который ждал к себе гостей; Ерыгин, помещица, любившая русские песни, помещица Сундукова с четырьмя дочерьми — были уже там. Первым делом Галкин прочитал Кобелеву и Ерыгину письма, полученные им от писателей.

— Это вздор!— кричал Ерыгин,— продолжайте!.. продолжайте!.. на этих господ нечего смотреть. Они себя не понимают, где же им понять благородную цель газеты?..

— А какова моя статья о воспитании? — спросил Кобелев.

— Славная! — воскликнул Ерыгин.— И так вы всё говорили о воспитании... вдруг — вор!.. Все равно как я: го-

ворил о невежестве мужиков, вдруг — цап!.. на собак и свернул...

— Действительно,— подтвердил Галкин,— вы изложили мило!.. А что же, вы приглашали к себе нынче кого-нибудь?

— Как же! всех поголовно,— сказал Кобелев.— Я даже врага своего, Куропаткина, пригласил. Хоботову написал, что Ерыгин у меня не будет — приезжайте; Куропаткину, что вы не будете; Загвоздкину, что Ерыгин не будет... Ерыгину, что Хоботов не будет... Ерыгин не боится встречи с своим приятелем.

Наконец, гости все съехались, а именно: Хоботов, которого насильно привезла жена и который, никому не кланяясь, прямо засел в угол и принялся курить трубку, Куропаткин, который, завидев Галкина, пошел от него в сторону, да и хозяину почти не поклонился, как несправедливо обвиненный им в покраже сена... Наконец, офицеры, в числе которых был ротный и Загвоздкин, несколько избегавший дам как сочинитель неблагопристойных стихов.

Стали пить чай. Все шло тихо: переговаривались о сенокосе, о собаках — и уже после чаю зашла общая речь о газете.

— Нет, господа, я так чернить себя не дам,— вдруг закричал Хоботов.

— Тише, что с тобой? — сказала его жена,— ну, ты разве первый? Всех там коснулись... благородная цель газеты этого требует...

— Помилуйте, что вы обижаетесь? — сказал Галкин.— Я вас и не думал трогать... там *икс* написано...

— А позвольте узнать,— перебил Ерыгин,— кто у меня собак перестрелял в прошлом году?..

— Господа, надо говорить хладнокровно; помилуйте! — сказал ротный,— ведь этак может наш дебош далеко отозваться... Как вы думаете?

— Именно!.. Затеяли газету — такую высокую, можно сказать, вещь... и вдруг...

— Я знать ничего не хочу! — воскликнул Куропаткин.— Я завтра еду к исправнику, чтобы он донес губернатору.

— Успокойтесь! — сказал Ерыгин.— Губернатор все знает; он Галкина вызывает к себе и хочет ему позволить печатать газету... Это известие мы вчера из губернии получили...

— Пустите-ко меня! — тихонько сказал вдруг Хоботов.

— Куда? куда? Что с вами?

— Куда? — завопила жена Хоботова.

— Пустите меня! — закричал Кобелев.

Офицеры оказали всю свою храбрость. Они ловко придержали помещиков.

— Прочь газету! Что это за мода? Что за газеты такие в деревне? — крикнул Куропаткин.— Я приехал объяснить, что никто не смеет писать, что моя жена там...

— Ну, вы и объяснитесь... Но запретить газеты вы не можете; необходимость ее сознало все общество.

— А что, господа, я слышал! — сказал ротный.— Кто-то, будто бы из помещиков, вчера и ныне ездил по деревням и обирал газету.

— Это я! — сказал Куропаткин.

— И я обирал!— прибавил Хоботов.— Но я с вами говорить не хочу...

Он взял фуражку и вышел в переднюю, за ним Куропаткин. В зале слышно было, как хлопнула уличная дверь.

— Господа,— тихо сказал Галкин,— знаете ли, какая мысль пришла мне в голову?

— Какая?

— Изволите видеть... мы с вами затеяли газету, вещь неслыханную... газета идет... Все вы прекрасного мнения о газете... При всем этом мне сейчас и показалось...

— Что?

— Что мы забрали с вами в голову ужасную глупость! Поверьте — глупость! Ну, рассудите холодно: куда мы стремимся?

Все будто оцепенели...

— Куда идем с этой газетой?.. Друг друга бить и колотить? Что из всего этого выйдет? Да, что? Бед наживем!..

— Так! так! — твердили все.— Это вы заметили верно...

Все нашли, что в их головы забралась точно глупость...

IX

Прошел целый год. Газета давно прекратилась. Галкин по-прежнему ездил к своим соседям — но не как простой Галкин, а как человек с гениальной головой, потому что умел когда-то так сильно одурачить такую бездну народа. Некоторые, видимо, и не всегда признавали его за гения,— это потому, что он был им врагом; но в душе и они не могли не сознаться, что Галкин точно человек необыкновенный; потому что кто бы мог произвести такую знаменитую катастрофу деревенской газетой из обыкновенных людей?.. А тут еще прошел слух, что Галкин все это сделал преднамеренно...

1860

ОБОЗ

По большой дороге ехал обоз; темнело; до деревни оставалось не более двух верст. В поле крутилась сильная метель; ветер рвал с возов рогожи и веретья; лошади ныряли в ухабах, под полозьями сердито ревел снег. На переднем возу закутанный лакей, чтобы согреться, пел песни, то и дело переменяя их. Отставший от обоза мужик с занесенным лицом отпрягал лошадь, а в стороне от него другая лошадь сидела в сугробе, не зная, что с собою делать; между тем возки перегоняли обоз, ямщики покрикивали; вьюга как будто все усиливалась. Обоз иногда останавливался и опять трогался; вдали раздавались понуканья или тянулась с переливами песня, относимая ветром, звенел колокольчик и уходил вместе с мчавшейся тройкой; раздавались крики: «Далеко до деревни?» Ветер по-прежнему выл, и метель заносила дорогу. Много было в эту погоду порвано заверток, побито лошадей и пролито слез...

Вечером вьюга начала затихать; колокольчики слышались яснее. Обоз въехал в деревню.

Около одиннадцати часов ночи в избе одного постоялого двора, при свете ночника, сидели за столом хозяин (дворник) и мещанин в красной рубахе; они сбирались спать и лениво пересыпали из пустого в порожнее. Работница стирала со стола. На полатях и на хорах лежал ряд человеческих голов, и раздавалось храпение; некоторые из недавно приехавших мужиков разувались; иные лежа толковали про дорогу, завертки, сломанные оглобли и пр. На печи лакей жаловался, что он отморозил ноги.

— А что, я полагаю, Митрий Егорыч, простуда ведь губит здоровье...— говорил хозяину мещанин, зевая и стуча ножом по столу.

— Губит... Вы про простуду говорите?

— Да... А то раз, я вам не сказывал, мы с Антипом

кур ездили покупать: ну, приехали мы к барыне к одной, и я ей сейчас начал доказывать, что все мы созданы из одной глины; а нам у ней хотелось подцепить сотенку цыплят...

— Ну, что же она?

— Ничего: обошлась отменно; а что, как вы полагаете, завтра будет метель?

— Господь знает...

— А гудёт шибко!

Наступило молчание.

— Что, вы продали своего сивого мерина-то?

— Продал, на Никитской ярмарке.

Снова наступило молчание. Мещанин продолжал стучать по столу и зевать.

— Ах, господи помилуй!.. Так-то живешь, живешь, да и умрешь.

— Недаром смерть пишется — с косой,— прибавил хозяин.

Хозяин и мещанин начали вслушиваться, как на печи кто-то рассказывал:

— У него, я тебе говорил, была только жена, мать да три лошади. И ездил он, этот извозчик, по большим дорогам один, ни с кем в общество не вступал и никого не боялся... Лошади у него были такие, цены нету! Сила у извозчика была непомерная: воз ежели взвалился на косогоре, взял, ухватил и поднял! Грудь была около пяти четвертей в ширину, и добрее человека поискать: нищенка сидит,— сейчас подаст копеечку; а поехал — божественное на уме; всякой дворник, мужик за один вид его уважали. Деньги он имел; но главное имущество были лошади; сказываю, животам цены нету!

— А давно это было? — спросил рассказчика лакей.

— Да недавно, тебе говорят.

— Ну, до свидания,— сказал мещанин хозяину, вылезая из-за стола,— пора спать...

— До свидания,— сказал хозяин. Мещанин начал располагаться под святыми, а хозяин пошел за перегородку.

— А вы, Митрий Егорыч,— крикнул мещанин хозяину, кладя себе под голову полушубок,— не знаете, сколько веков прошло от Адама?

— Должно быть, много,— ответил хозяин,— без счет трудно догадаться, надо на счетах это выложить.

— Веков, я думаю, сто двадцать будет?

— Это будет.

— Раз летом,— продолжал рассказчик,— в полдень

извозчик этот выехал на крутую гору и отпрег лошадей — кормить. Задал им корму и стал варить кашу. Вскоре к нему подъехали два мещанина и тоже отложили лошадей. Извозчик сидит и говорит мещанам: «Вот, говорит, хорошо бы теперь выпить вина, да поблизости кабака нету». Один мещанин отвечает: «Давай, я привезу водки!» Извозчик дал ему денег, и водка явилась тотчас. Извозчик угостил мещан, съел на доброе здоровье котел каши и лег под телегу спать; жарко было. Мещане трубочки покуривают, лежат, а всё дивуются на лошадок извозчика. Только на другой горе вдруг, мещане увидали, показалась пыль... едет карета шестериком; так катит под гору-то!

Немного годя из-под горы к мещанам бежит кучер с кнутом, а сам кричит: «Эй, эй, братцы! пособите... давайте лошадей».

Мещане разбудили извозчика. Говорят: «Пойдем-ка, любезный, посмотрим, что там такое? должно, с каретой что случилось». А извозчик пожался так-то и говорит: «Как было я соснул крепко!»

Приходят к мосту, под гору. Стоит большая карета, и спереди и сзади нагруженная; а лошади стоят, повеся головы, и не отдохнут, будто овцы. У экипажа стоит толстый господин; усы до пояса, глаза черные; вокруг пояса у него струменты, а подле него ходят два маленькие баюрченочка.

— Ну, что же вы? давайте лошадей! — закричал господин к народу.

Извозчик, про которого я говорю-то, поглядел на карету, походил кругом нее, да и отвечает:

— Вот что, ваше высокоблагородие,— я могу вам пособить, только прикажите ваших лошадей всех отложить; я пойду приведу свою.

— Ладно...

Все думают, как это он хочет изнять одною лошадью.

Годя несколько извозчик ведет лошадь: бурого мерина, и видно, как с горы-то у лошади грудь переваливается; лошадь спокойная, уши вперед держит, глядит на народ.

Подводит извозчик ее к карете, повернул, а хвост у ней словно кушак взвился. Принялись ее запрягать, все в молчанку играют; барин как вкопанный глядит на мерина, даже баюрчатки подбежали — любуются...

А мужицкие лошади стоят в стороне; иная уж легла. Ну, запрег извозчик... Все глядят, известно...

Слушавший лакей дремал, стараясь, однако, и в по-*лусне уследить за ходом* рассказа; мало-помалу, ему под говор рассказчика начала рисоваться летняя большая дорога: стоит карета, вокруг нее народ. Карета поехала; «Прощайте!» — слышатся голоса; лакей вскакивает на запятки и несется... «Ну, вывез!» — шумят голоса. Вдруг лакей бежит по лугу, вдали мелькают разноцветные платья горничных, лакей спешит за ними и тужит, что не захватил с собою балалайки. А вот солнце уже закатывается, и лакей возвращается грустный в барский дом; но на дороге слышит выстрел и останавливается: «А! это барин, должно быть, в утку пробил!»

Вскоре лакей слегка вздрогнул и проснулся; вокруг все было тихо, в избе темно; лежавший с ним рассказчик молчал; по всей избе взапуски разносилось храпенье.

— Иван! — закричал лакей, толкая рассказчика.

— Чего?

— Как чего? Что ж ты замолчал?

— Да я уж все рассказал, вы заснули и пропустили.

— Ну, что же лошадь-то?

— Да я сказал: проезжий господин ее застрелил...

— Как? За что?

— Она вывезла тарантас-то; а барин пристал к извозчику: «Продай лошадь!» Извозчик говорит: «Десять тысяч не возьму... Жизни лишусь...» Господин выхватил пистолет и повалил ее...

— Что же извозчик?

— Говорят, уже больше не ездит по дорогам.

Лакей и рассказчик замолчали; они немного послушали, как в трубе гудет ветер, и заснули. Под окнами хлопали ставни, и на улице изредка слышалось: «Ночевать пожалуйте...»

В избе было как во тьме кромешной; все наповал храпело; у иного в горле такие раскаты раздавались, что представлялось, что кто-нибудь во мраке ночи, подкравшись к спящему, умертвил его.

Рано утром, лишь только пропели вторые петухи, кто-то из мужиков сонным голосом крикнул:

— Эй, вставай, рассчитываться пора!

В избе зажгли ночник.

— Что, как погода-то, ребята?

— Не говори, брат!.. такая-то бушует!

— Ах ты, господи! Что делать?

— Как мне быть с своею лошадью-то? Вряд доедет...

Извозчики разбудили хозяина и мало-помалу начали

собираться вокруг стола, медленно вытаскивая из-за пазухи кошели, висевшие на шее; иные еще умывались, молились богу и старались не смотреть на садившегося за стол хозяина, потому что расчет для них был невыносим. Один мужик стоял у двери и глядел на икону, намереваясь занести руку на лоб, но хлопанье счетов и хозяйский голос смущали его.

Мещанин, разбуженный мужиками, с проклятьями переселился на нары, говоря там: «Чтоб вам померзнуть в дороге, горлодёры!»

— Ты сколько с меня положил? — простуженным голосом спросил хозяина извозчик.

— Тридцать копеек.

— Ты копейку должен уступить для меня... Я тебе после сослужу за это... ей-богу...

— А кто это у вас, ребята, вчера рассказывал? — вдруг, смеясь, спросил хозяин.

— Про извозчика-то? — заговорило несколько голосов.

— Да.

— Это вот Иван.

Мужики все несколько ободрились, глядя на усмехавшегося хозяина, и были очень довольны, что он хоть на минуту отвлек их внимание от расчета. Хозяин сделал это для того, чтобы мужики не слишком забивали свою голову утомительными вычисленьями, а поскорей рассчитывались.

— Важно, брат, рассказываешь,— сказал хозяин.— С тебя приходится, Егор, сорок две... Нет, у нас был один рассказчик, курский... из Курска проезжал, так уморит, бывало, со смеху... две за хлеб да сорок... сорок две...

— Евдоким! Нет ли у тебя пятака?

— Ну только,— продолжал хозяин,— с чего-то давно перестал ездить... уж и голова был! еще давай гривенник... За тобой ничего не останется.

...Однако мужики поняли, что все-таки надо соображать и следить за расчетом, хотя дворник завел речь о курском рассказчике. Вследствие этого мужики снова приняли мрачный вид, напрягая все свое внимание на вычисления:

— Егор! погляди: это двугривенный али нет?

— Ну-ко... не разберу, парень...

— Подай-ко сюда!

— Смотри, малый!

— Это фальшивый!.. у меня их много было...

— Хозяин, ты что за овес кладешь?

— Тридцать серебром. Василий! — сказал хозяин,— ты о чем хлопочешь! Ведь ты с Кондрашкой из одного села?

— Да как же... одной державы... только вот разумом-то мы не измыслим.

— Вы так считайте: положим щи да квас — сколько составляют? восемь серебра. Эх,— писаря! Зачем секут-то вас?

— Известно секут зачем... Ну, начинай, Кондратий: щи да квас...

— А там овес пойдет...

— Овес после... ты ассигнацию вынь: по ней будем смотреть...

— Вы, ребята, ровней кошели-то держите... счет ловчей пойдет...

— Не сбивай!.. Э!.. вот тебе и работа вся: с одного конца счел, с другого забыл.

Через час, после нескольких вразумлений мужикам, хозяин, придерживая одной рукой деньги, другой счеты, вышел вон из избы, оставив всех мужиков с кошелями на шеях за столом.

— По скольку же он клал за овес?

— А кто его знает... Ты ему гляди в зубы-то: он на тебя то напорет, что зазимуешь здесь...

— Вот там!.. Чего опасаться? Ты чихверя-то знаешь? Валяй чихверями... Пиши...

Мужики окружили пишущего.

— Это ты что поставил?

— Чихверю...

— Ну? эта палка что? щи?

— Нет, квас...

— Какой там? Я пишу, что с хозяина приходится?..

— Слушай его!.. Ты, Гаврила, про что давеча мне говорил?

— Да не помнишь, сколько ты у меня взял в Ендове?

— Постой! Я тебе давно говорил, Гаврила, ты восчувствовать должен. На прошлой станции кто платил?

— Ну, ты погоди говорить: сколько за свой товар приказчик дал на всех?

— По гривне.

— Ну, ладно: ты разложи эти гривны здесь на лавке; пойдем сюда к печи...

— Что там делать? А ты мне скажи: ты пил вчера вино?

— Нет.

— Ну, третёводни?

— Нет.

— Ты бога-то, я вижу, забыл...

— Я, брат, бога помню чудесно...

— Нет, ребята, лучше валяй чихверями; мы его живо обработаем! Нарисуй-ко сперва овес...

— Да что вы с ним толкуете; давайте лучше жеребий кинем...

— Для чего жеребий?

— Разведать: может, кто из нас плутует...

— Так и узнал!.. Тут одно спасенье в чихверях... Наука вострая!

— Андрей! Сочти мне, пожалуйста.

— Давай. Ты что брал?

— Сено, да ел вчера убоину...

— Ну? а кашу?

— Нет... не ел... что ж...

— А у тебя всех денег-то сколько?..

— С меня приходилось сперва сорок три... а всех денег, что такое?.. Куда я девал грош-то?

— Ну, ты гляди сюда; что я-то говорю: ты убоину-то ел?

— Да про что ж я говорю: жрал и убоину, пропади она!

— Ну, коли так, дешево положить нельзя.

— Что за оказия? куда ж это грош девался?

— Ребята, будет вам спорить! Бросай и чихверя и разговоры; пустим все на власть божью!

— Да нынче так пустим, завтра пустим, этак до Москвы десять раз умрешь с голоду!.. По крайности — башку понабьешь счетами, а то смерть! Я тебе головой отвечаю: что чихверь — первая вещь на свете!

— Ну, ребята, бросай все!

— Бросай!.. провалиться ей пропадом.

— Как провалиться!.. Эко ты!

— Нет, надо считать!.. Как можно!

— Известно, считать... Ай мы богачи какие?

— Ивлий! не знаешь ли: пять да восемь — сколько?

— Пять да восемь... восемь... А ты вот что, малый, сделай, поди острыгай лучиночку и наделай клепышков, знаешь...

Мужики в беспорядке ходили по избе, обращаясь друг к другу и придерживая кошели; кто спорил, кто раскалывал лучину; иные забились в угол, высыпали деньги в подол и твердили про себя, перебирая по пальцам: «Первóй,

другой...» Два мужика у печи сидели друг против друга и говорили:

— Примерно, ты будешь двугривенный, а я четвертак... этак слободней соображать...

Один будил на печи лакея, не зная, что делать с своею головою; другой будил мещанина, который закрывался шубой и крепко ругался, покрывая голоса всех мужиков.

Наконец, мужики бросили все расчеты и счеты и, перекрестившись, съехали со двора. Недоспавший лакей укутался на возу, ни слова не говоря ни с кем.

На улице было темно; метель была пуще, чем вечером; ветер так и силился снять с мужиков армяки. Верстах в пяти от станции, на горе, один мужик крикнул:

— Эй, Егор!.. А ведь я сейчас дознал, что хозяин-то меня обсчитал.

— И меня, парень, тоже; ты рассуди: четверик овса... да я еще в прошлую зиму на нем имел полмеры... вот и выходит...

— А ты что ужинал?

— Да хлеб, квас и щи.

— Нет, ты вот что возьми,— перебил первый мужик,— и начался продолжительный спор.

Вьюга выла немилосердно; от сильного мороза мужики часто закрывали свои лица полами армяков.

Недели через три тот же обоз порожний ехал обратно; дворового человека тут не было. Мужики все изменились за дорогу; у одного был подбит глаз, у другого висела огромная шишка на щеке. В обозе везлись сломанные сани, за обозом бежало несколько незапряженных хромых лошадей в одних хомутах; одна лошадь лежала в санях, накрытая веретьем.

БРУСИЛОВ

Поздно вечером в доме провинциального чиновника Брусилова сидел на старом диване его сын, лет семнадцати, устремив свои глаза в пол и опустив широкие руки на колени. Рядом с ним лежал белый узел. У стола сидела его мать. В соседней комнате слышалось храпенье самого чиновника, недавно возвратившегося из трактира.

— А то подумай, Костя: не остаться ли тебе здесь?— говорила старушка,— авось приищешь себе местечко в приказных... А то Петербург... такая даль...

— Нет, матушка, я уж давно решился идти... Может быть, со временем помогу семейству. Да мне здесь все надоело: надоел отец, надоела гимназия... Что говорить! давно отправляться пора... Не горюйте... У нас свои стремления... мне легче, что я иду.

— Да я не препятствую: господь с тобою! — говорила мать, боясь противоречий, вредных путешествию,— только не знаю, как ты будешь жить в Петербурге?.. денег у тебя нет... Вот жила век целый, хоть бы грош какой припасла.

— На дорогу будет с меня... Да вы не плачьте, а лучше разойдемтесь, матушка: помните, что чрез год я возвращусь к вам студентом...

Мать начала крестить сына; наконец, проговорила:

— Добредешь ли ты, мой родной?.. Дорога дальняя...

— Только до Москвы; а там машина,— сказал сын, перевязывая узел; но, услыхав, что мать плачет, замолчал.

Мать поторопилась выговорить:

— Ну спи себе, мой ненаглядный!

— Что вам кажется странным сделать каких-нибудь полтораста верст? — добавил сын вслед уходившей матери,— любая старуха пройдет больше...

Молодой человек сел за стол и начал что-то вписывать в памятную книжку, в которой находились разные исторические и статистические сведения, сцены, монологи и собственные заметки под заглавием: «Соображения». Эти соображения были весьма отрывочны и, по-видимому, писались на лету. Они были в таком виде:

«18** года** числа. Мы просили позволения у инспектора издавать рукописный журнал; он не позволил. После мы услыхали от его лакея, что он называл нас поросятами. Учителя, узнав о нашем намерении, все скорчили гримасы... Сколько было припасено!.. и критик даже был готов...

Отец председательствует в кабаке ровно неделю. Неужели этому не будет конца!..

Петербург! Петербург! Сколько ты вдыхаешь в мою душу жизни, святых надежд!.. Ты кажешься мне великим сокровищем... Без тебя здесь глушат молодость. В доказательство, как я тяготею к тебе, я иду к тебе пешком... Да я ли один? Мысль о тебе озаряет много сердец...

На человека без коренного образования не полагайтесь: он будет во всякое время толковать о просвещении, о прогрессе единственно для упражнения себя в красноречии. Наши учителя нынче будут читать о Шекспире, Байроне; завтра за картами дойдут до драки; а ученику сделают первую на свете низость.

Говорят, наш географ недавно сочинил следующие стихи:

О! как приятно с девой в нóчи
Сидеть в саду, когда сад пуст,
Лобзать ее, глядеться в очи —
И вдруг рвануться в дальний куст.

Провинциалы не потерпят вас, если вы явно образованный, просвещенный человек. Они вас будут слушать с испугом и недоверием и будут стараться избавиться от вас. Явитесь вы просто чиновником, любящим выпить,— вы будете понятны и любимы.

Я заметил, что труд сам по себе имеет целебное влияние на нравственную сторону: он именно складывает характер человека. Если бы мне дали в Петербурге какое-нибудь содержание! Пусть какое угодно берут обязательство... Чувствую, что мне предстоит там борьба... Я горд... Застигни меня голод, я решусь умереть, но не унижусь до просьбы... Находят, что я несообщителен. Пока оста-

нусь при всем, чем богат, в таком виде явлюсь в Петербург,— там начну новую жизнь...

Кажется, человек может жить без пищи больше недели... Вчера учитель истории с улыбкой спрашивал меня, правда ли, что я собираюсь в Петербург? Странно! чего ж тут усмехаться?.. Не поймешь, что это такое делается!

Всем моим товарищам от души желаю университета... В Андрееве виден будущий литературный богатырь... Кто-то из товарищей спрашивал: «А что, если Андреев пойдет в подьячие? Что выйдет?» — Вероятно, подьячий и выйдет.

Сегодня я увидал в тетрадке учителя истории следующее: «Ученикам для лучшего удержания в памяти:

Марк Катон Ценсор имел рыжие волосы и серые глаза.

Агезилай — на одну ногу хромал.

Самые воинственные полководцы, отличавшиеся силою ума, как-то: Антигон, Серторий, Ганнибал, Филипп — были кривоглазые.

В Аравии водятся овцы с предлинными хвостами, так что пастух подвязывает им к хвосту тележку...» и т. д.

Конец!.. Вооружившись быстротою Ахиллеса, через день отправляюсь в Петербург... на душе праздник... Прощайте, прощайте!..»

Вообще в памятной книжке Брусилова было научных замечаний более, чем собственных; как видно, он не слишком любил изливаться на бумаге; а делал свои «соображения» вскользь, не придавая им особенного значения.

Рано утром чиновник Брусилов опохмелялся в трактире, а его сын шел по московской шоссейной дороге с палочкой и узлом. Он шел бодро, сильно работая ногами. Прохожие, смотря на его широкие плечи и поспешную ходьбу, полагали, наверное, что он будет в Москве через четыре дня.

В Петербурге Брусилов представился с письмом своей матери одному седому купцу. Купец, надев на глаза очки, прочитал письмо и сказал сурово:

— Вашу мать я коротко знаю: я сам из города N. Вы нешто в первый раз в Петербурге?

— В первый. Я прибыл сюда держать экзамен на медицину.

— Да, чай, родители вас не могут содержать? — хмуря брови, спросил купец.

— Я должен буду просить казенного содержания у медицинского начальства.

— Отчего же вы на медицину?

— Я бы лучше поступил в университет; но там, говорят, нет казенного содержания.

— Так. Ну, отчего же вы на своей родине не поступали в приказные? Там ваши родители... Чего?

— Да не захотел...

Купец сдвинул на лоб очки, посмотрел на старый нанковый сюртук Брусилова и проговорил не без презрения:

— Мало что не захотел!.. Вот ваша мать пишет, чтобы я вас поместил у себя на месяц... Что такое?

— Выдержу экзамен, я вас не стану беспокоить,— вымолвил Брусилов, подавляя в себе внутреннюю боль.

Оставшись один в комнате, Брусилов развязал узел, надел суконный сюртук и стал раскладывать на столе книги: историю, математику, географию, все еще чувствуя какое-то внутреннее беспокойство. Затем вынул из кармана памятную книжку, записал: «...июля... путь кончен; я в Петербурге... в кошельке четыре рубля...» — и отправился в академию на Выборгскую сторону. Узнав, что Брусилов ушел, купец пробрался в его комнату, как хищная птица, и осмотрел все его вещи.

— Жена! — говорил купец после,— что-то меня робость берет!

— А что? Аль опять живот болит?

— Нет, насчет приезжего думаю: не мазурик ли?

Купчиха стала напротив купца и, сверкая глазами, вскричала:

— Ну, как же ты, не сообразясь с своей башкой, впустил его сюда? Что ты в самом деле?

— Ну, что ты кричишь-то?.. Сумасбродная!..

— Что же, ты пойдешь в баню-то? — перебила купчиха.

— Ишь, заправду волю-то взяла!

— Иди, говорят, в баню-то! — уходя, добавила купчиха.

В академии, среди двора, в коридорах, на подъезде, Брусилов встретил много молодых людей, приехавших держать экзамены, в шляпах, разноцветных фуражках и галстуках, во фраках, со стеклышками, тросточками,— и все это двигалось, шумело и дышало такою провинциальною свежестью, что постоянный петербургский житель, глядя на светлые лица молодых людей, не мог не вспомнить и не вздохнуть о своей исчезнувшей юности, когда

грудь захватывали поэтические стремления... У стен, по углам бродили в нахлобученных фуражках бедняки, думавшие о квартирах и вспоможениях...

— Здорово, брат! — раздавался звучный голос краснощекого франта в белой фуражке.

— Здорово!

Руки взмахивались во всю свою длину и громко хлопали.

Толки шли об экзаменах, факультетах, кутежах, петербургских удовольствиях, профессорах, квартирах... Стоял тихий июльский день; облака так мирно плыли над академией... Брусилов стоял у перил лестницы, вглядываясь в проходивший народ.

— А! Брусилов! какими судьбами? — воскликнул один студент.— Пойдем в мой номер.

Брусилов явился в номере среди своих земляков, утопавших в клубах табачного дыма.

— Ну, как вы здесь поживаете? — спрашивал он, глядя на картежную игру, происходившую между четырьмя студентами, сидевшими на столе.

— Да вот скоро кончим курс, примемся лечить...— говорил один земляк, Антонов.

— А ты тоже на медицину, Брусилов?

— Послушаю ваши лекции; а то в университет перейду.

— Оставайся лучше здесь! Медицина наука положительная: лекарское местишко получишь; в доктора не хлопочи... много нам надо!..

Брусилов посмотрел на других земляков; никто из них не возражал Антонову, все они, казалось, были согласны с ним. Брусилов на минуту задумался, потом спросил не без иронии:

— А помнишь, Антонов, как ты мечтал в гимназии? Верно, теперь ты у пристани?

— Кровь моложе была... бродила. Теперь я отрезвился и нахожу, что Эпикур был великий человек...

— Мечтают одни провинциалы; тут нужна практичность; с юношескими стремлениями пропадешь в Петербурге,— добавил другой земляк, снимая карты.

Брусилов более ничего не говорил. Он простился с земляками и пришел к купцу уже при огнях.

Наступила осень. Нева день ото дня покрывалась яликами и барками с мебелью; по улицам тоже перевозилась мебель; все тянулось в Петербург. Полились дожди... Гул

и трескотня на улицах усиливались; кипучая петербургская жизнь наступала. Брусилов давно оставил купца и жил на Выборгской стороне в темной каморке, в два рубля, без окон, без мебели, с гнилым полом, из-под которого по ночам выбегали стада крыс и мышей с визгом, наводившим ужас. Брусилов сдал свои экзамены и подал прошение о казенном содержании, а в ожидании решения слушал медицинские лекции, ходил в публичную библиотеку и поздно возвращался в свою сырую квартиру. «Денег нет,— писал он в книжке,— становлюсь героем...» К землякам он не ходил, боясь познакомить их с своей кельей, которая его самого пока не приводила в отчаяние. Его тревожила одна потребность деятельности и труда.

Однажды утром Брусилов лежал на своей постели, устроенной на полу из охапки соломы и хозяйского одеяла, которому не было имени, и думал о том, как скоро можно умереть, если более недели расстроен желудок. За стеной у хозяина стучал маятник и иногда слышались вздохи. Хозяин был отставной капитан, с Брусиловым мало виделся. За другой стеной раздавались крики и брань каких-то рабочих и однообразное хрюканье свиньи, подкапывавшей стену и грозившей разрушением всего дома. В комнате Брусилова явился кто-то.

— Кто здесь?— спрашивал незнакомец.

— Что вам угодно?— ответил Брусилов, надевая сюртук.

Незнакомец повторил:

— Кто здесь?

Брусилов узнал голос земляка.

— Константин! ты ли это?— говорил земляк, выводя Брусилова в переднюю, где было посветлей.

Брусилов опять очутился в своей комнате.

— Да постой! я к тебе не один...

Вскоре вошло еще трое земляков. Все принялись изъявлять сожаление, расспрашивать: что за причина такого положения?

Свидание кончилось тем, что земляки присоветовали Брусилову, в ожидании вспоможения, перебраться в госпиталь, где можно по крайней мере иметь сухую комнату. Брусилов подумал, подумал — и через три дня отправился в больницу.

Глушь и скука царствовали в больнице; везде почти был один разговор про доктора и больничный суп, который был обкладываем самыми едкими сарказмами; всякий сердился и по нескольку часов лежал не раскрывая

рта: всякий думал об одном, как бы скорее на вольный воздух. Выписывавшийся вон наводил на всех уныние. Больница очень походила на тюрьму с преступниками, денно и нощно занятыми своим освобождением.

Иногда, впрочем, появлялся в каком-нибудь номере больной офицер с неумолкаемыми рассказами про любовные приключения с неожиданными развязками,— тогда в номере была жизнь. Больные, запахивая свои халаты, окружали рассказчика, и раздавался смех. К Брусилову изредка приходил кто-нибудь из земляков, приносил медицинские записки и говорил, что про вспоможение ни слуху ни духу... Брусилов начал засиживаться у окна, глядя на пасмурные дома, торопившийся народ, проезжавших, толпу рабочих; он чувствовал, что голова его словно дымилась от налетавших одна за другой мыслей... «Что делать, что делать?» — твердил он. У Брусилова жила мысль, что, в случае совершенно безнадежной крайности, он наймется в работники, и ему вспоминалось, отчего так много людей не на своих местах, с убитым призванием...

Но вот Брусилов получил, наконец, вспоможение — в пять рублей. Он был обрадован не столько пятью рублями, сколько тем, что мог выйти из лечебницы. Обутый в новые рыночные сапоги с длинными носами, он перешел в дом мещанки Пустынской, где вступил в сообщество трех вольнослушателей.

Новая квартира, стоившая шесть рублей, была с одним диваном, двумя стульями и одним хозяйским сундуком, припиравшим боковую дверь. Не прошло двух недель, как в одно утро мещанка Пустынская стояла в комнате своих жильцов и требовала денег. Но жильцам было не до этого. Они хлопотали вокруг одного своего товарища, Вавилонского, с которым делалась холера. Вавилонский принадлежал к тем известным личностям, которых с раннего детства сопровождает бедность: эти люди чрезвычайно скромны и выносливы; им кажется, что они хуже всех, и если их преследует нищета, оскорбления — они все скрывают в сердце.

Вавилонский, долгое время питаясь хлебом и колбасой и, за неимением платья, сидя постоянно в сырой комнате за остеологией, наконец вдруг почувствовал озноб и судороги — что заставило товарищей скорее снаряжать его к кухмистеру, где, по их мнению, можно было поправить несчастие горячим супом. Больному добыли сюртук с какого-то высокого студента и необыкновенно длинные панталоны. Один из товарищей держал Вавилонского под

руки, другой надевал панталоны, и, чтобы сделать их впору, подвязывали их подпоясками, продевая концы между ног и завязывая узлы на спине умиравшего. Товарищи не ошиблись в своем предположении; действительно, после обеда больному сделалось легче, так что наутро, если бы у него было платье, он мог идти в аудитории. Но на другой же день после этого события хозяйка, вооружившись помелом, стояла среди комнаты и требовала, чтобы жильцы выходили вон из квартиры. Студенты находили такое требование основательным, прося Пустынскую об одном, чтобы она позволила им дождаться вечера, потому что они все были в халатах и калошах. Хозяйка принуждена была согласиться на это, и студенты, при наступлении вечера, разбрелись, куда кто мог, оставив комнату, наполненную табачным дымом. Что сталось с Вавилонским — неизвестно.

Брусилов перебрался к одной выборгской кухмистерше, в маленькую комнату, смежную с кухней. Хозяйка давала ему обед, и он, донашивая рыночные сапоги, посещал усердно публичную библиотеку и академию; но вскоре все это миновало; он более никуда не выходил; в комнате ежедневно носился чад и угар; в обеденное время за стеной гремели тарелки и вилки, возбуждая в Брусилове желание есть, но кухмистерша плотно припирала его дверь. Между тем от чаду у него трещала голова, ему хотелось выйти на воздух... и он бросал печальные взоры на лежавшие в углу разорванные сапоги. Однажды из кухмистерской отворилась дверь, и, ковыряя в зубах, вошел один студент с прищуренными глазами. Он, не торопясь, сказал, что он наслышан о бедности Брусилова и готов платить за него хозяйке деньги, с условием: иногда принимать в его комнате некоторых знакомых девиц. Брусилов отказался от этого предложения и долго сидел у окна, думая, что ему делать. Разбирая свое путешествие в Петербург, он нашел, что он был слишком неопытен,— что не сообразил самого простого вопроса: «Какое имел он право пожаловать в Петербург, не имея денег? Разве ему неизвестна общая судьба бедняков?..» Вечером кухмистерша объявила Брусилову, что, если он не добудет к утру денег, она его выгонит.

Наступила весна. Брусилов лежал больной в одном постоялом дворе, набитом извозчиками, на Петербург-

ской стороне. Его кровать стояла у самого окна; подле него сидел дворник.

— Как же это быть-то,— говорил он Брусилову,— нездоровы-то вы... Управляющий велел просить денег... он говорит, что тут одному купцу требуется учитель; вот бы вам туда лапу-то запустить... да ишь нездоровы!

В углу раздавалась песня: «Э-эх, всгоря песню запоем».

— Перестань, Ефим,— говорил один ямщик,— вишь, больной лежит.

— Ничего, пойте: меня сегодня не треплет лихорадка,— сказал Брусилов.

Брусилову было отказано в вспоможении за непосещение лекций. Еще живя у кухмистерши, он добывал себе деньги перепиской бумаг и этим жил до тех пор, пока, перебравшись на постоялый двор, не получил лихорадки. Дворник, от имени управляющего, все чаще напоминал Брусилову об уплате за угол, который он занимал.

Наконец, Брусилов, выбрав темный вечер, в одном сюртуке отправился к знакомому седому купцу — просить взаймы денег. Он явился туда весь в поту и встретившую его купчиху своими оловянными, впалыми глазами так напугал, что она сначала только подержалась к стороне, потом бросилась по комнатам и исчезла; купца не было дома.

Брусилов сошел с лестницы и направился опять к Петербургской стороне. Он шел через мост, дул сильный ветер; волны с шумом хлестали в темной бездне...

— Подайте нездоровенькой...— слышался голос и пропадал, относимый ветром.

Бежали дрожки; вдали светились фонари, и жалобно играла шарманка...

В тот же вечер с Брусиловым сделалась горячка. Он лежал без памяти у своего окна; извозчики сидели за столом, считая деньги. За стеной пьяный сапожник бил свое семейство. Наверху, во втором этаже, шла пляска: дружно взвизгивали скрипки, и время от времени подпевали голоса: «Эй, Татьяна, отворяй ворота...»

1860

ИЗ ДНЕВНИКА НЕИЗВЕСТНОГО

Май... В деревню, в деревню! Пора вздохнуть на просторе. Я рассчитывал прожить в деревне, сколько возможно, сняв квартиру у какого-нибудь крестьянина. Въехавши в одно село, я попросил ямщика остановиться у первой хаты. Ко мне вышел мужик; я поклонился ему и спросил:

— Не могу ли я у вас нанять квартиру?

— Не знаю, родной: у нас есть холодная изба, да понравится ли вам? Вы чьи?

— Я из Петербурга. Я не занимаю никакой должности. Мне хотелось пожить в деревне.

Мужик пригласил меня в избу, наполненную кадушками, пенькою и разным тряпьем.

— Мне нравится эта комната,— сказал я,— позвольте мне ее занять.

Бабы начали выбирать из избы рухлядь. Со мной был самовар, который вскоре шумел на столе.

На другой день я познакомился с семейством хозяина. Изба была набита поросятами и ползающими детьми.

К вечеру я собрал в деревне до десяти мальчиков и открыл в своей квартире школу.

Недавно был в одной крестьянской избе: толковали о работе, пряли, ссорились. Все семейство упрекало друг друга, кто сколько поел хлеба; одна больная баба стонала на полатях; парень говорил своей матери-старухе, что нет денег на подушное; старуха говорила, что хлеб на исходе. И это, вероятно, идет каждый день!..

Июнь... В наших окрестностях живет следующая барыня. Дом ее с заглохшим садом, покосившимися столбами на подъездах и разбитыми рамами.

Барыня ходит в кацавейке. У ней есть дочь лет

двадцати пяти, некрасивая собою; она ничего не читает, больше сидит в девичьей — играет в носы и вслушивается, не звенит ли колокольчик на улице?

В кабинете барыни груды холстов, намычек, картофелю. Здесь барыня ведет разные сметы по имению или штопает чулки и поглядывает, не идет ли на ее огород чья-нибудь корова. Заметки свои она не бережет, и мне раз пришлось прочитать из них следующее:

«...За 18... год. Август, сентябрь.

Ермолай Антонов: восемь человек семьи, одна корова (пятого августа отелилась); десять кур, два петуха (один из них похож на индюшку). Ржи восемь копен, гречиху поел осенью; хохлатая курица непокойна — летает на мои огурцы; корова бывает в моем коноплянике...»

Однажды я разговорился с дочерью барыни:

— Читатете ли вы? — спросил я.

— Нет-с, у нас книг нет...

— Любите ли вы природу?

Она молчала. Молчание продолжалось долго. Наконец, она принесла свой альбом и сказала:

— Вы, вероятно, скоро уедете, напишите мне что-нибудь — на память.

Я взял альбом, исписанный разными руками, и, пока обдумывал, что написать, моим глазам представились следующие заметки:

«*Капитан Пряников.* Жал руку в саду, уехал на Кавказ... Жду...

Поручик Кошкин. Обедал два раза... усы длинные... Изменил!..

Прапорщик Огнев. Много пьет... подает надежды...

Поручик Иголкин. Нет надежды...»

В проливные дожди в разбитые окна барского дома гудит ветер. Барышня кутается в ватное пальто; барыня перебирает мешки и тоже зевает. Но иногда, несмотря на дождь, барыня отправляется куда-нибудь на таратайке и привозит целый воз моркови, репы, и все в доме оживает.

Иногда несколько горничных вбегают к барыне и кричат:

— Барыня! офицер едет!

— Офицер едет! — вскоре раздается по всему дому.

— N-ского полка... второй дивизии — прапорщик Метелкин,— говорит офицер.

— Вы, вероятно, с нами откушаете? — спрашивает барыня.

— С удовольствием,— отвечает офицер,— и все садятся за стол.

— Ваша деревня очень живописна,— говорит офицер, проглатывая кусок.

— Да-с...

Раздается звон колокольчика, и через минуту является другой запыленный офицер.

— Второго N-ского пехотного батальона — прапорщик Мочалкин!

— Не угодно ли вам с нами откушать?

Мочалкин садится за стол и проворно набрасывает на колена салфетку.

— Вы, должно быть, из Петербурга? — спрашивает хозяйка.

— Нет, из Москвы,— сухо говорит офицер, осушая рюмку водки.

— Не взыщите! — говорит хозяйка.

Все поднимаются.

Новый гость подходит к углу и начинает подвязывать саблю.

— Как, вы уже отправляетесь? — спрашивает дочь барыни.

— Поспешаю догонять товарищей.

Вскоре звенит колокольчик.

— Вы не танцуете?— — спрашивает барышня оставшегося офицера.

— Нет, я сейчас уезжаю...

— По крайней мере,— просит грустным тоном барышня,— напишите мне что-нибудь в альбом.

Она приносит альбом, и офицер пишет:

Для любви одной природа
Нас на свет произвела.

Он подвязывает саблю и тоже уезжает...

Никуда не езжу; ученики все читают.

Сегодня был у меня становой по поводу моей школы.

— Вы не имеете права основывать школ,— говорил он,— покажите мне предписание.

— Но ведь учат же грамоте сельские дьячки?

— Да,— сказал становой,— но эти учителя, кроме псалтыря, ничего не смыслят... Вы упускаете из виду наши высшие соображения...

Пришлось помочь одному семейству, где вопияло зло из-за рубля.

Был в поле; пахал мужик... вились кое-где вороны... все было грустно, одиноко вблизи стоял дремучий лес, какая-то тихая жалость от песней шумевших деревьев. О чем говоришь ты, прекрасный лес? или плачешь ты? Но он все шумит, никому ничего не говоря; героев ли ты каких оплакиваешь, или всю нашу родную сторону?

В наших окрестностях живут следующие три сестры девицы.

Утро. Девицы в белых пеньюарах сидят и зевают: одна держит роман и посматривает на себя в зеркальцо; другая смотрит в окно; а третья лежит на диване, подложив руки под голову. Лакей с угрюмым лицом стоит у двери и говорит:

— К чаю пожалуйте.

— Не отправиться ли нам сегодня за клубникой? — лениво говорит одна.

Другая декламирует:

И жизнь, как посмотришь с холодным вниманьем...

— Куда же девался поручик Астафьев? — спрашивает третья.

Лакей отвечает:

— Астафьев на Кавказ давно уехали.

— От кого ты слышал?

— Это верно, сударыня...

Длится молчание. Горничная приносит газеты.

— Вечная скука!.. пишут о хлебных ввозах..., о торфе...

Одна закуривает папироску и говорит, пуская дым:

— Кто меня враждебной властью из ничтожества воззвал?..

Тихо шуршат листы по комнате...

— К чаю пожалуйте! — нетерпеливо говорит лакей.

После чаю девицы все в саду. Одна сидит на скамейке, потягивается и говорит как бы про себя:

— Ах, теперь бог знает куда уехала бы... в Италию... в Швейцарию. Отчего это к нам никто не едет? — Она задумывается и поет: «Спи, ангел мой, спи, бог с тобой».

Другая идет по аллее, щелкая листьями. Появляется мать.

— Maman! вы читали «Le Nord»?

— Особенного ничего...— говорит мать и уходит.

— Кушать пожалуйте! — говорит лакей.

— Итак, он не воротится,— тихо рассуждает третья, гуляя по дорожке.— Отчего грозы так давно нет? хочется грозы. Антон! пришли мне стакан воды. (Она садится.) Какая тишина!..

— Какая это у тебя книга, ma shère?[1]

— Все «Маркиз»...

По саду щебещат птицы, повсюду райская тишина...

— Что ж это никто не едет?— повторяет одна.

— Барыня гневаться изволят,— замечает лакей.

Завтрак идет так: девицы не садятся за стол; они продолжают гулять по комнатам, изредка подходя к столу и дотрогиваясь вилкой до маленького кусочка, который потом несъеденным лежит где-нибудь на окне.

После завтрака девицы в платьях находятся в своей комнате: кто над кроватью, кто над стулом читает. Одна сидит в креслах, положив ноги на ближайший стул.

Упорное молчание, только на улице ревет корова.

— Кушать пожалуйте! — говорит лакей.

Все молчат. Лакей пожимает плечами.

— Дай мне карандаш...— тихо говорит одна; другая молча дает...

— Вот седьмую страницу перевертываю и сама не знаю, что я прочитала,— говорит третья с глубоким вздохом.

— Ах, какая скука!.. у меня ужасно болит голова...— Она закрывает глаза.

— Оттого, друг мой, что ты нагнувшись читаешь.

— О чем это люди пишут, хлопочут? Не пойму никак...

— Кушать пожалуйте!

— Je vous assure[2], ни прогрессам этим, ни новизнам, при всей доброте души моей, ей-богу, не сочувствую... tout ça m'est bien égal...[3]

— Помилуйте, mon ami[4], кто ж этого не понимает? Да возможно ли в нашем положении это сочувствие? Что для меня такое — грамотность вводится? Негров хотят освободить? дороги, канал какой-нибудь проводят?

— Я,— говорит другая, держа перед собой книгу,—

---

[1] Моя милая? *(фр.)*
[2] Уверяю вас *(фр.)*
[3] Все это мне безразлично... *(фр.)*
[4] Друг мой *(фр.)*

в отношении ко всем этим вещам глуха, слепа и нема.

Продолжает читать.— Настает молчание. Одна говорит, качая ногой:

— Что так жадно глядишь на дорогу...

— Кушать подано!

— Кажется, гром гремит,— с радостью говорят все.— Антон! гром гремит?

— Точно так: туча здоровая валит оттудова.

Две подходят к окну; сверкает молния.

— Барышни! — кричит вбежавшая горничная,— какой-то молодой человек приехал.

— Кто? откуда?

— Из Петербурга...

Все несутся в зал.

Молодой человек раскланивается; начинаются толки о прогрессе, о Петербурге и пр. ...

Июль... Все по-старому... Опять был становой. Везде неурядица; все досадуют на жизнь, провалиться хотят... Чего-то ждут, будто в дорогу сбираются... Каждый день бедность... Кругом все глухо... непробудно...

На днях видел следующую деревенскую сцену: у нашего крыльца стояли две телеги с огромными клетками, в которых сидели куры, индейки и гуси; вокруг клеток были прикреплены деревянные желоба с зернами; птицы кричали и пели. В избе моего хозяина сидел мещанин и спрашивал, не продается ли что? Кто показывал старую рубаху, кто ловил под печкой кур. В избу вошел мужик и сказал, что он продает двух цыплят.

— Поздние? — спросил мещанин.

— Да, молодые.

— А где они у тебя содержались?

— Иногда на дворе, иногда в избе,— сказал мужик.

— Когда ты говоришь в избе, гляди сюда: какая же им должна быть цена? ведь все это издохнуть должно, поколеть?

Мужик был озадачен; хотел что-то говорить, но не мог.

— А вот зипун не купишь ли?..— спросил он, раскрывая полы своей одежды.

— Ну, не знаю! Это товар-то плёвый!..

Вошла в ветхом армяке старушка и сказала, обратившись к курятнику:

— Не купишь ли, родной, у меня гусыню избеную?..

— Опять избеную! — сказал курятник.

— Только,— начала старуха,— я тебе что хочу ска-

зать: есть у ней порок: раз Ванюша, мой сынок, рубил что-то в избе, а эта гусыня и подвернись... Он ее!

Старуха посмотрела на курятника.

— Голову, что ли, отрубил?

— Сохрани бог! — сказала старуха,— только два персточка отсек...

— Ну, это дурацкая гусыня!..— воскликнул курятник и вышел на улицу, где встретил большую толпу баб и мужиков; кто держал пеньку, холстину, кто цыплят и уток, кто даже привел теленка.

— Телят я не покупаю: а что этот стоит?

— Что уж дашь...— говорили ему.

— Маловат больно...

— Ты что ж дашь, значит? Нам вот на подушное...

— Трехрублевый, пожалуй...

— Ермил Андроныч! Этому телку уж год...

— Что там! пустой теленок! — сказал курятник.— Ты послушай меня, ты знаешь, почем ноне скотина?

— Почем?

— Поди спроси на базаре! Ну, вы что?

— Ермил Андроныч! у меня есть свинья.

— Небойсь дорога? — спросил мещанин.— Ты понимаешь человека благородного? Вот как от души, сейчас помереть: неужели ты думаешь, что я нуждаюсь в свинье? Что я такое? Наше ремесло куры? Ладно! веди свинью...

— Ермил Андроныч! не хочешь ли, у меня кобыла есть?

— Постой,— сказал курятник,— ты сообрази: что я, цыган, что ли? Неужели, промышляя курами, я должен нацеплять к своему возу целый табун лошадей?

Вскоре завизжали свиньи, и курятник купил всё. Севши на воз, он сказал:

— Так-то, братцы!

А некоторые из мужиков говорили между собой:

— Куда ж податься-то!..

Я уезжаю... Прощай, деревня!.. Лежи больной... вся надежда на твой организм...

— Прощайте, добрые люди! — сказал я хозяину и его семье.

— Что же ты, родимый, уезжаешь от нас? — заговорила семья.

— Да! живите себе...

— Верно, служба тебя требует?

— Нет, у меня службы нет... Я буду без дела...

Я стоял у притолоки и хотел что-то сказать, но только выговорил:

— Прощайте!

— Прощай, кормилец!

Дорогой пошел дождь; я едва доехал до станции. Я сидел у окна и смотрел вдаль.

На горе стояла мокнувшая деревенька, словно заливавшаяся слезами...

1862

РАБОТНИЦА

В одно утро доложили приказчику, что пришла баба, Аксинья, наниматься в работницы. Аксинья была вдова. Все считали ее за глупую, тем не менее по всему околотку было известно, что у приказчика была работа трудная, что от него сбегало в год по крайней мере семь работниц. Приказчик и его жена, сознаваясь в этом, давно желали нанять себе известную своею способностью к черной работе и железным терпением Аксинью. Надобно заметить, что всякий, кто только нанимал ее в работницы, старался ей дать не более пяти рублей в год и доказать, что для нее гораздо лучше получить когда-нибудь от хозяина серьги или кусок мыла, нежели гнаться за денежной платой. Аксинья сидела в кухне; подле ее стоял ее маленький разутый сын Петька. Аксинья была обута в одни онучи.

В кухню вошел приказчик с женою и четырьмя своими дочерьми — от двенадцати до восьмнадцати лет.

— Здравствуй, Аксинья! — заговорила приказчица,— как ты себе, девушка, поживаешь?

Приказчица была женщина опытная, и потому она сама взялась нанимать бабу, сказав прежде мужу, у которого был вспыльчивый характер, чтоб он не вмешивался в ее разговор.

— Живу помаленьку,— сказала Аксинья.

— Мальчик-то твой?

— Мой...

— Ничего,— проговорила приказчица,— вырастет — помогать будет... Алёна!.. поди принеси ему гостинчика...

Одна из дочерей приказчика полезла к себе в карман за подсолнечниками.

— Ну, что же, Аксинья?.. наймись к нам в работницы,— начала приказчица.

— С чего же... без работы миновать нельзя,— сказала Аксинья...

— Нельзя... нельзя, моя милая,— без работы никак нельзя... даром хлеба не добудешь...

— Правда,— вздохнувши, сказала Аксинья,— не добудешь; ноне, поди-ко, хлеб-то какой...

После долгих увещаний приказчица выгодно наняла Аксинью и собрала ей поесть.

— Баба сносная! — говорил приказчик, пришедши с женою в горницу,— нам такую и надо; только тем нехороша: часто ворчит и ругается.

— Ничего! лишь бы работала,— возразила приказчица.

Действительно, Аксинья любила ворчать. Всю свою жизнь претерпевая оскорбления, нужды, невыносимые работы, она привыкла употреблять слова: «Святочный, пострел, тряс тебя убей» и пр. Но эти ругательства никогда почти не относились к людям, а всегда к животным, с которыми она постоянно имела дело, или к неодушевленным предметам, например к корыту и т. д. Больше всего она любила говорить с животными.

— Что ты думаешь об себе?— например, кричала она на корову в закуте,— или ты барыня?

Прошло более недели с тех пор, как нанялась Аксинья.

Было раннее осеннее утро. На дворе стадо цыплят с писком рвалось в сени, в которых спала теща приказчика, Ермолаевна. Она поправила на своей голове повойник и впустила к себе цыплят, которые вскоре принялись завтракать, шныряя под ее ногами; Ермолаевна пришла в избу, позевала и, глядя на печь, сказала:

— Аксинья! Антон!.. пора вставать.

На печке послышался голос:

— Господи Иисусе Христе!..

Часов в восемь шел сильный дождь. В кухне приказчика топилась печь; громыхали дрова, трещала лучина, дым от самовара наполнял всю кухню.

Приказчица, ее мать и дочери, работник с работницей — все были в хлопотах.

— Что ты стоишь? — говорила хозяйка дочери, вооружившись ухватом,— поди скорее, неси муку... Алена! постой, возьми ключ да захвати круп.

— Бабушка!..— кричала в сенях одна из девиц,— подите возьмите нож да поскоблите баранью голову.

— Сколько я говорю, не бросайте на пол тряпиц,—

продолжала приказчица,— что за неряхи?.. Антон! отсеки кость! Маша! позови мне Аксинью да скажи, чтобы накормила цыплят.

— Антон!..— говорит Ермолаевна,— беги к земчихе, попроси у ней жаровню... скорей!..

— Антон!..— кричит из сеней сам приказчик.

— Цып, цып, цып,— раздается голос в сенях.

— Аксинья! вынимай чугун с кипятком... возьми тряпку... да что ты делаешь?.. Саша!.. поди сюда!

— Самовар ушел!..— кричит кто-то.

— Выгоньте цыплят-то: в печку залетят... Шше! провал вас возьми... Шше, шше...

Приказчик стоит с трубкой в зубах среди сеней и кричит:

— У меня никогда порядку нет: сколько одров держу, а покоя не вижу. Аксюха!.. аль ты угорела,— свиней пускаешь в сени?.. ты еще в избу загони. Ваше дело только лопать!..

— Аксинья! принеси дров... да ступай замеси свиньям.

— Анна Дементьевна! жаровни нету, сами, говорит, нуждаемся.

— Выгоньте собаку! прочь! святочный тебя уколоти!

— Чух! — раздается голос на дворе,— улё, улё! ах провал вас расстреляй!

— Аксинья! отдели ты коров в сени, да одну кормную свинью.

Аксинья с палкой в руках зовет в сени коров; на дворе стоит топь страшная и раздается блеяние овец и визг свиней.

— Куда? куда? — кричит Аксинья, замахиваясь палкой на свиней,— куда вас буревая несет?

В это время в сени врываются овцы, свиньи, коровы и даже лошади.

— Прочь пошли! Про-о-очь! чу-у-ш!

Работница начинает бить палкой кого ни попало и выгоняет всю скотину.

— Алена! да вели Аксинье поманить коров-то хлебом, а свиней бить палкой.

Аксинья стоит на дворе по колени в навозе, оглушенная визгом и ревом животных.

— Аксинья!

— Аксинья! помани коров-то...

— Улё! идолы! чушь! про-очь, святочные!

Стадо свиней поддевает Аксинью, и она падает в грязь и кричит, отмахиваясь палкой:

— Прочь, караул!

— Плачу деньги, хлебом кормлю, а толку нет,— продолжал приказчик,— каждый божий день шум, гам, словно ярмарка или торговая баня: ни в одном доме того нет; у людей делается все тихо, скромно... а у нас друг друга с ног собьют.

— Антон! поди хоть ты вынеси самовар.

В избе жара невыносимая, все бегают с потными и красными лицами.

— Алена! Анна! — кричит хозяйка,— подавайте капусту, чапельник принеси... будет вам огрызаться-то! посмотрю я, ничего в вас нету рассудочка: говорю, помои вынеси на двор, она ша-аст на пол. Клади пирог на лопату!

— Ощипали, что ль, поросенка-то?

— Анна Дементьевна! работнице свиньи поняву разорвали.

— Петька! — кричит приказчик,— говорю, трубку набей, а он галку по полу волочит на веревке. Да что это такое? целый час жду самовара — никак не дождусь: я вижу, мне одно остается: завязать глаза да бежать отсюда.

— Антон! принеси дров еще.

— Марья!

— Аксинья! поди вынь горшок с кашей... Матушки! а картофель-то я забыла.

— Неси картофель!

— Выгоньте, говорю, собаку-то! — кричит приказчик,— что за народ! чистое столпотворение...

— Антон! отсеки голову другой курице... да ощипали, что ль, поросенка-то?

— Господи!

В это самое время зазвенел колокольчик и к крыльцу подъехал тарантас.

— Анна Дементьевна! гости какие-то приехали,— объявил работник.

— Батюшки! — вскрикнула приказчица,— это шиловские господа! Марья! Алена! Саша!.. принесите мне платье.

Все взапуски принялись бегать из сеней в кухню, из кухни в горницу и обратно. Поднялась такая суматоха, что шиловские господа не рады были что приехали.

На другой день после описанной сцены Аксинья в разорванной поняве и грязном платке шла по полю с своим разутым мальчиком, у которого развевались на голове волосы и пустые рукава рубахи трепетали за спиной.

Ветер был сильный, осенний... дождевые облака неслись по небу.

— Черт тут не жил,— говорила Аксинья,— на месте не посидишь... свиньи все ноги изгрызли... словно вертел какой заведен... Пойду к куму Андрону, что будет не будет... не возьмет ли из хлеба?

— Мама! — проговорил ребенок.

— Что? — грозно вскрикнула Аксинья,— что там?

— Я есть хочу.

— О-о-о! святочный тебя...

Аксинья дала сыну подзатыльник, отдернула его вперед и вскрикнула:

— Иди!.. аль ты угорел? у-у!.. родимец! мать твоя терпит... аль ты взаправду господин какой!

Аксинья шла и все толковала про свою жизнь, время от времени утирая рукавом катившиеся от ветру слёзы...

1862

ДЕКАЛОВ

I

ПРОВОДЫ

Осенью дьячок села Кочергина сбирался ехать с своим девятилетним сыном в губернский город Т. Он намеревался записать его в третий класс духовного училища. Под самый день отъезда дьячок ходил по крестьянским дворам, просил дугу; от священника он получил благословение на далекий путь и дегтярку с помазком.

Его сын, Иван Декалов, вымытый, причесанный, в это время спал дома на печи. Дьячиха, Акулина Егоровна, пекла лепешки; а ее мать, бабушка Декалова, печально сидела в углу, мотала нитки. Акулина Егоровна то и дело подходила к сыну, целовала его, плакала и причитала: «Касатик, Ванюша...» и т. п. Бабушка твердила ей, чтоб она не будила внука; мать отходила к печи и, проливая слезы, хваталась за рогач.

Вечером, при огнях, Акулина Егоровна, дьячок и бабушка укладывали дорожные припасы в мешки.

Декалов давно проснулся. Он сидел в одной рубашке под иконами и беспрерывно вздыхал.

На другой день, утром, на проводы собрались в дом дьячка крестьянские ребятишки. Декалов с ними прощался, дарил им своих чижей и синиц.

Декалова закутали в толстую отцовскую свиту и обвязали полотенцами.

Помолившись богу, все вышли на улицу к повозке. Крестьянские ребятишки, каждый держа по птице в руке, смотрели на Декалова с неизъяснимым сожалением. Проходившие на барщину мужики с цепами останавливались и с удивлением спрашивали дьячка:

— Ай везешь, Савелий Григорьич?

— Везу. Что делать!..

— Ах, братец ты мой!..

— Ах, Ваня!..— с размышлением восклицали мужики и покачивали головами.

Декалов чувствовал, как слезы текли по его щекам. Мать и бабушка долго смотрели на отъезжавших.

Повозка проехала поповскую слободу: из окна священниковой кухни поклонилась путникам работница, когда-то сумерничавшая в доме Декалова. У ивкиных ворот стоит в раздумье мужик Харлам, будто о чем-то пригорюнившийся: он каждый раз на святой строил на лугу качели бабам и в хороводах первый запевал песни. У мельницы на берегу удит рыбу старый скотник: волна бьет его поплавки, и рыба не клюет... «Возвращусь ли я когда-нибудь сюда? — думал Декалов, совсем выезжая из Кочергина.— Увижу ли я тебя, родная моя сторонка?..» Вот поповский луг: на нем Декалов лавливал в осоке диких утят. Пастух у озерца стережет кочергинскую скотину; сам, сгорбившись, плетет лапти; ветер шумит и волнует ближний дубовый лес. В этот лес третьего дня ходили девки за грибами: Машка, Варька, Дуняшка... Где они теперь?

II

СЕМИНАРСКАЯ КВАРТИРА

Через два дня пути, в час пополудни, Декаловы ехали по Т-ой губернской улице, называемой Большой, или Воронежской. Измученная гнедая лошадь, с вытертою шерстью на ляжках и побитой спиной, насилу тащилась, часто поглядывая на растворенные ворота постоялых домов. Дьячок по временам поправлял на ней кнутовищем сбочившуюся шлею. Телега, некогда служившая водовозной, в дороге совершенно разбилась; покачиваясь из стороны в сторону, она издавала сильный визг; по бокам ее высовывалась наружу солома и выпускала из себя, как ребра, выломленные перегородки. Из вершины высокой, растрепавшейся шапки дьячка, как из огнедышащей горы, наподобие лавы, летел пух, разносясь по улице. Прохожие пристально смотрели на проезжих.

Был воскресный день. Большая улица наполнена была народом: разряженные купеческие жены с толстыми большими серьгами, чиновники с тросточками, мещане, подвыпившие сапожники разгуливали по бульварам. Вдоль улицы к собору и от собора ездили пролетки с молодыми купчиками, частным приставом, полицеймейстером, и катили шестернями запыленные дорожные кареты. На все это с любопытством глядели дьячок с сыном. На-

конец, они повернули в Подьяческую улицу и стали разыскивать дом мещанина Овсова, которого им рекомендовал один знакомый.

Дом Овсова стоял недалеко от Воздвиженской церкви, окруженной кладбищем. Он имел две черные трубы, треснувшие пополам, и крошечное крылечко с низенькою дверью, забитою наглухо. На его крыше росла трава; черномазые окна походили на искривленные и потускневшие глаза умирающего человека. Глушь и запустение царствовали в Подьяческой улице несмотря на праздник.

У растворенных ворот Овсова дома стояла запряженная лошадь. Священник прощался с своим малолетним сыном, который отчаянно плакал, припав к его полукафтанью. Священник вынимал ему из кармана деньги, едва удерживаясь от слез; говорил, что по первому зимнему пути приедет к нему с матерью и братом Васей; не забудет также захватить с собою сестру Парашу.

Дьячок снял шапку перед хозяином, ссыпавшим в амбар муку, смиренно поклонился хозяйке, запиравшей калитку сада с ворчаньями на неугомонных жильцов, и повел свою лошадь к стороне. Какой-то мальчик, в синей жилетке, с книжкою на коленях, зажав уши, сидел на бревне лицом к забору. Декалов, стоя у телеги, глаз не спускал с мальчика, зубрившего урок. Дьячок отстегивал супонь у лошади. На соседнем дворе раздавались крики, стучали о забор свинчатками с чугунками, гремели бабки.

— Шестер!

— Ладыжка на кону!

— Жог, ника!

Шумели игроки.

Запыленный мукою хозяин переговорил с кочергинским дьячком касательно третного содержания, платы за квартиру и указал ему семинарскую комнату, предварив, что комната — игрушка! господам жить, а не семинаристам.

В комнате семинаристов, у оборванных стен, за широким складным столом сидел с примасленной головой ученик словесности Пречистенский; он старательно списывал лекции профессора под заглавием «Речи ораторские». На просторных подмостках с взвороченными войлоками и сундуками сидело человек семь раздетых мальчиков. Одни из них делали из бумаги хлопушки; другие раздували на окне уголья в банке, чтоб расплавить свинец; третьи сверлили гвоздем бабки; четвертые только глядели на эти за-

пятия и ели лепешки. На лежанке без подстилки спал в одном сапоге ученик философии Детищев, с улыбкой на лице; его будто озаряла необыкновенная идея, сейчас же готовая осуществиться; поэтому философ не обращал никакого внимания на валявшийся по полу другой свой сапог с разорванным голенищем и тряпицей внутри.

Кочергинский дьячок начал представлять ритору Пречистенскому своего сына. Повернувшись к ним обоим спиной и держа в руке огромный картуз, почти достигавший полу, Декалов смотрел на спящего философа и на ребятишек. Пречистенский отдал приказание работнице — собирать гостям обед; на спрос дьячка о *старшем*, то есть о богослове, он отвечал, что богослов куда-то отлучился,— должно быть, за харчем пошел. После нескольких слов о дороговизне содержания в городе, о неудобствах семинарской жизни дьячок стороною намекнул ритору: не хочет ли он выпить? Тот, закладывая за ухо перо, проговорил, что он и знать не знает этого дела, потому что еще в низшем отделении находится... Но не таковым оказался пробужденный криками мальчиков философ. Накидывая на плечи сюртук и хватаясь за трубку, он изъявил полное согласие на предложение дьячка. Волосы его стояли дыбом; нанковый сюртук, выбеленный известкой, смялся, съежился и не прикрывал груди; вообще все говорило о философском направлении Детищева. Он объяснил дьячку, что сам дьячковского происхождения, знает быт дьячков как свои пять пальцев, следовательно тут церемониться нечего.

Кривоглазая работница, напудренная сажей под глазами и преимущественно около носа, несла к столу щи; она останавливалась на дороге, чтоб уцелевшим глазом высмотреть чистоту своего приготовления. За нею суетился хозяин, принесший полштоф из кабака.

Детищев весело говорил дьячку про свое воспитание, когда он, будучи маленьким, бегал по полночам в класс и выносил наказание розгами. Он уверял, что при самых жестоких наказаниях он не только не просил учителей о помиловании, то есть не кричал «помилуйте» или «пощадите», но лежал словно деревянный. Еще Детищев рассказывал про своего родного отца, который исконибе получает шесть с половиною целковых годового дохода, ходит в лаптях и содержит многочисленнейшее семейство. В заключение всего Детищев, уже выпивши водки, принялся наставлять дьячка, куда ему должно явиться с сыном: во-первых, надобно сходить к ректору учили-

ща — он проэкзаменует Декалова; да не забыть... (здесь философ пошептал на ухо дьячку); во-вторых, надобно сходить к учителям, хотя и не ко всем: это называется «явиться к ним...» Как скоро Детищев упомянул слово «явиться», тотчас ученик четвертого класса крикнул с подмосток, что к учителю Мордасову беспременно «явиться» должно; а то смерть будет!

III

ВИЗИТЫ И ПРОЩАНЬЕ

Вечером, по уходе дьячка с сыном к ректору, Детищев, подвязывая под шею манишку, заимствованную у ритора Пречистенского, соображал, куда бы уйти на вечер. Он спросил у мальчиков, не напоит ли его кто-нибудь чаем? Один вызвался и сказал:

— А сколько, Прохор Еремевич, стоит?

— Пятиалтынный.

— Э-э! — воскликнул мальчик и обратился к стене лицом.

Дьячок с сыном медленно шли по парадной ректорской лестнице, освещенной лампами. Дьячок умолял сына — полегче стучать сапогами.

Встречаемые служанкой протоиерея, они явились в широкой зале с паркетным полом. В зале горела лампада перед золотым образом. Дьячок прижался к двери. Декалов, не чуя над собою никакой грозы, спокойно утирал рукавом нос и время от времени поддергивал кверху подпояску.

Вышел высокого роста протоиерей в шелковой рясе, с золотым распятием на груди. У дьячка закружилась голова. Служанка поставила свечу на стол. Ректор подозвал к себе Декалова, спросил, из какого он села. Затем развернул на столе катехизис и взялся за испытание. Дьячок затрясся.

— Если бог везде,— произнес ректор, обращаясь к мальчику,— то как же говорят, что он на небесах, во храме и прочее?

Декалов зачитал:

— Един бог во святой троице поклоняемый...

Протоиерей остановил его. Он повторил вопрос: «Где бог?»

Дьячок возвел взор к небу.

Служанка, намереваясь идти в другую комнату, смотрела на мальчика с очевидным желанием знать, чем кончится дело. Но кончилось все благополучно. Декалов ска-

зал, где бог, победил другие некоторые вопросы и был записан в третий класс. Однако служанке такой конец, по-видимому, не очень понравился; она пошла в комнату с видом, который ясно говорил: «Ишь какой экзамен-то? легкий самый...»

Тем же вечером Декаловы отправились «являться» к учителю Мордасову. Надобно было пройти много темных переулков. Мордасов, с жирным, рябым лицом, играл с своими товарищами в карты; он звонко проповедовал, что в некоем многолюдном обществе он наповал срезал учителя географии, доказав ему, что слово «Анакреон» ничуть не первообразное, а производное и, можно думать, происходит от греческого «креас» — мясо. Когда ему доложили, что его кто-то спрашивает, он приказал сказать: «Нет дома». Кухарка шепнула ему что-то такое, от чего Мордасов поспешно встал, оделся в халат и с мелом на обеих губах вышел в переднюю. В передней было темно. Но явка совершилась. При прощании Мордасов спросил фамилию Декалова. По удалении гостей кухарка зажгла свечку и с ней тщательно искала в передней кулечка или плетушки. Ничего такого не оказалось...

Поздно ночью Декаловы пришли в свою квартиру. Все поужинали. Дьячок разостлал на полу армяк, помолился богу и вместе с сыном улегся спать. Бред, храпенье, свист раздавались в семинарской комнате. Кто-нибудь начинал бормотать: «Постой, постой!.. ну да!» — и замолкал. Длилась тишина — и опять слышался бред.

Рано утром Декалов за губернской заставой провожал своего отца. Дьячок долго крестил сына, препоручая его невидимому промыслу...

Телега давно ныряла вдалеке между обозами, фигура дьячка едва виднелась, а Декалов еще силился сквозь слезы рассмотреть их... Постепенно темнея, скрылась знакомая повозка, скрылся и дьячок.

«За что, за какое преступление разлучили меня с моей родиной?.. За что отторгли меня от родных моих полей?..» — думал Декалов, и его слезы лились ручьями...

IV

ВЕЧЕР

Была зима. Декалов, с подвязанными ушами, исправно ходил в училище, надевая на себя холодную свитку и теплый картуз, который с трудом стаскивал с головы при встрече с учителями.

Смеркалось. В семинарской квартире было темно; ритор Пречистенский скромно ел хлеб близ подмосток, на которых разговаривали мальчики про уроки и учителей; на лежанке сидел философ Семенов, товарищ Детищева; на печи и на полатях были тоже семинаристы, и между ними двое исключенных, говоривших про места и должности:

— Вот, говорят, в селе Петровках, Каширского уезда, есть праздное, дьячковское... со взятием...

— А то, мне сказывали в консистории, в Зашивалове есть место — во двор... приход богатый... пять помещиков... один, кажись, граф какой-то...

Вошла хозяйка.

— Кто это на лежанке?

Философ молчал, а за него отвечали:

— Егор Антоныч.

— Орлов!— сказала хозяйка,— что ж, когда ты муку доставишь?

— В воскресенье, Марья Ивановна, схожу к дяде.

— Что, отдушник-то закрыли, что ль? — спросила хозяйка, щупая рукой выше своей головы.

В это время отворилась дверь, кто-то вошел и тихо спросил:

— Старшой дома?

Все замолкли.

— Суб-инспектор, суб-инспектор...— по всей квартире раздался шепот, и с печи и с кроватей посыпал народ.

— Зажгите огонь, бегите за старшим...

Зажгли свечу; пред суб-инспектором стояло человек десять учеников с заспанными лицами; один Пречистенский, с приглаженной головой, смело смотрел в глаза суб-инспектору, от которого исключенные, в одних жилетках, и философ, застегивавший сюртук, жались по углам.

— Где старшой и Детищев? — спросил суб-инспектор, садясь на табурет и опираясь на палку.

— Отлучились для свидания с родственниками.

— Скажите им, что если они не перестанут ходить по трактирам, то я донесу на них отцу ректору,— объявил суб-инспектор и отнесся к философу: — Ты, Семенов, вчера, кажется, не был на моей лекции герменевтики?

— Болен был, Николай Иваныч...

— Ты почти вовсе не учишься да к тому же имеешь грубый нрав... Мне жаловались, что ты на днях разграбил черепенники в харчевне и вывихнул руку хозяйке...

Хозяйка начала пробираться сквозь толпу, чтобы засвидетельствовать действительность происшествия, но суб-инспектор продолжал:

— Старайся о смягчении своего характера... чтобы вышла из тебя эта дурь... Ну, что же, вы еще не определились? — спросил он у исключенных.

— Нет-с... мы подали прошения...

— Какая у вас завтра лекция? — спросил суб-инспектор Пречистенского.

— Древняя история.

— Ты приготовился?

— Приготовился-с,— покраснев, отвечал Пречистенский.

— Скажи мне: долго ли царствовал в Греции Батт Хромой?

Пречистенский, прищурив один глаз, взглянул на потолок и отвечал:

— От пятьсот пятидесятого — пятьсот двадцать шестого года до рождества Христова.

— Хорошо! А какой царь предлагал матери племянников Сципиона Африканского разделить с ним трон, и она отказалась?

— Птоломей Шестой.

— Весьма хорошо! Старайся... Ну, проводите меня кто-нибудь до другой квартиры,— заключил суб-инспектор, поднимаясь.

Пречистенский оделся в тулуп с калмыцким воротником и повел его из комнаты.

— Посвятите! свечку, свечку! — заговорил народ.

Оба исключенные подняли свечу до самого потолка.

Как только суб-инспектор скрылся, семинаристы всходились по комнате и заговорили:

— А пожалуй, заправду донесет на старшого... ведь каждый день в трактире... инспектор уж знает, что он проиграл в бильярд общественную крупу...

— Что это суб-инспектор на вас напал? — спросили Семенова исключенные.

— Пусть его! — ложась на лежанку, проговорил философ,— много нуждаюсь я! По мне, хоть завтра в дьячки...

Исключенные отправились на полати.

Минут через десять пришел Пречистенский с розовыми щеками от мороза; он сел за стол и принялся списывать лекции профессора под заглавием: «Убеждения оратора на сердце». Вокруг него учили уроки мальчики, зажав свои уши.

Декалов сидел без книги и посматривал на товарища, Орлова, который, облокотившись на греческую грамматику, ел лепешку; он ждал, пока Орлов наестся, вытвердит урок и позволит ему поучиться по его грамматике: но Орлов, поглядывая по сторонам, внутренно радовался, что Декалова завтра ожидает гибкая лоза...

— Пречистенский! — крикнул с лежанки философ,— нет ли у тебя до завтра гривенника?

— Право, Егор Антоныч, нету: нынче отцу послал письмо...

— Орлов! — говорил Декалов,— одолжи хоть катехизиса...

Орлов помолчал и сказал:

— Я его в сундук запер...

На полатях исключенные пели: «Како не дивимся...»

Философ сошел с своего ложа, сел на скамью у стола и мрачно спросил мальчиков:

— Приготовили уроки?

— Нет, Егор Антоныч.

— Что же вы делали, пришедши из училища? Декалов! читай из *катихизиса...*

Декалов вышел из-за стола, стал среди комнаты (как этого требовала субординация) и в замешательстве перебирал ключи, висевшие у него под жилеткой, и ничего не отвечал.

— Эй, вы! приготовьте лозу!— крикнул философ ученикам.

— Егор Антоныч, у меня книг нету,— сказал Декалов.

— Кто ж тебе будет покупать книги? я, что ль? Эй! что же вы не несете?

— Лозы нету, Егор Антоныч,— крикнул один мальчик, вылезая из-под печки,— кто-то унес...

Философ подошел к полатям и спросил:

— Ильинский! пойдем, брат, в сад, нарежем березовых сучьев...

— Пойдемте...

Исключенный Ильинский оделся в худую свитку и отправился с философом в сад.

На улице была сильная метель; в саду с писком вертелся флюгер на бане... Философ стоял по колени в снегу перед березой, на которой сидел исключенный и сбирал прутья.

— Ильинский, как бы добыть денег?

— Завалить надо что-нибудь,— отвечал Ильинский.

— Да уж я назначаю свой тулуп.

— Так надо идти к Аленке: она даст рубля два.

— Хоть бы рубль дала!

— Даст больше... Ведь у вашего тулупа овчины молодые...

— Только ты уж сам Аленке напиши расписку, а я постою на улице; мне не хочется срамиться...

Вскоре Ильинский и Семенов пришли в кухню, положили сучья в печку для распаривания и, завязав тулуп в узел, ушли к Аленке.

Мальчики поужинали с Пречистенским и легли спать.

Часов в одиннадцать пришел старшой, а с ним философы Детищев и Семёнов, держа на цепи овчарную собаку. Исключенные проснулись оба и слезли с полатей.

— Где, где это вы добыли собаку?

— На улице поймали.

— А ведь она не простой породы... А знаете ли что? ее можно заложить...

— Да я нарочно поймал ее, чтобы поправить свои обстоятельства,— сказал Детищев.

— Ее фельдфебель Тесаков примет...

Семинаристы с час толковали про собаку, как старшой проигрался в трактире и пр., наконец, улегшись в постели, завели такой разговор:

— А что, господа? говорят, купец Окороков, что зарезался, ходит ночью по домам...

— Я тоже слышал... Говорят, его видели третьего дня на Волковой улице... Родным своим не дает покоя: каждую ночь гром, шум...

Старшой поправил свою подушку и проговорил:

— Все глупости...

— Что, Петр Петрович, вы не верите?— спросили все в один голос и притихли, ожидая решения старшого, как богослова, знающего все.

— Не верю.

Все молчали.

— Но ведь,— начал Детищев,— в священном писании говорится, что тени умерших могут являться... Там аэндорская волшебница вызвала тень Самуила.

— Вопрос сомнительный...— произнес старшой.

В это время какой-то из спавших мальчиков крикнул на всю комнату...

Свечка погасла.

V

НОЧЬ

Декалову снилось, будто он никогда и не был в училище, а живет в своем родном Кочергине.

Весна. Он с парнями в ночном, на поповском лугу...

Табун лошадей, фыркая, щиплет траву, а караульный с шестом ходит вокруг...

Месяц плывет по чистому небу... ночь теплая... Парни лежат в ряд у межи, подложив под головы армяки и узды и пр. Жаворонок умолк...

Полночь... все лошади лежат... утренняя заря обозначается яснее...

Парням не спится... Человек восемь собрались идти к реке; они проходят спящий табун и начинают спускаться под гору... В это время в вышине раздается утренняя, судорожно-радостная песня жаворонка...

— А уж рассветает, ребята,— говорят парни.

За ними по траве остаются следы от росы... Становится светлее... По лугу завиднелись незабудки, синие колокольчики, желтые баранчики, но за рекой темнели кусты и леса... Поднимается туман от реки, на поверхности которой плещется проснувшаяся рыба.

Уже светло... Вдали, на мельнице, перекликаются петухи... В прибрежных кустах взапуски поют птицы: слышится и иволга, и малиновка, и громкие трели соловья...

Парни, с пуками щавеля и баранчиков в руках, возвращаются к проснувшемуся табуну, который усердно щиплет траву с росой, и ложатся у межи. Дремлющий караульный стоит близ колосящейся ржи...

Взошло солнце; по лугу тихо раздается бубенчик, а в воздухе заливается жаворонок. Парни заснули... Спит с ними и Декалов, но его слегка схватывает утренний холод... он хочет чем-нибудь одеться...

Декалов проснулся; рядом лежавший с ним мальчик давно стянул с него тулуп. Он придвинулся к спине товарища, накрылся концом тулупа и начал думать об уроке, которого он не выучил с вечера; ему представлялись страницы катехизиса с церковной печатью, клетки спряжений греческих глаголов, потом дневальный палач с лозой — и Декалов, в ужасе, тяжело вздыхал и, подавляя рыдания, говорил про себя: «Господи! за что я страдаю? за что счастливее меня в Кочергине мой друг Петька Лаврухин? Петя! ты теперь покойно спишь у своего отца и матери,

а завтра пойдешь на улицу, из снегу сделаешь себе дом, человека или подморозишь свою круглую ледянку и выйдешь с нею на гору...»

Декалову начал рисоваться морозный день... Густой иней висит на деревьях; посвистывают синицы на кустах... Среди огорода расчищен точок, на котором посыпано конопляное семя и от силков проведена веревка среди уцелевшей глухой крапивы, занесенной снегом...

В избе Декалова, над окном, повешена клетка с синицей; дьячок на полу строит сани, вбивая обухом копылья... его жена костяной иглой вяжет чулок... кошка крадется к синице, но синица не трепещется более... Декалов выносит ее на двор; дьячок говорит, что она околела от угару...

На сельской улице едут легкие сани-розвальни, в которых на корточках сидит мужик и туго натягивает вожжи... сани раскатились и повернули назад лошадь...

Среди дороги, в выброшенном мусоре, роются вороны, галки и собаки, а поодаль от них гуляют два хохлатые голубя, принадлежащие Петьке Лаврухину; напротив села, на бугре, вязнет в сугробах какой-то охотник с ружьем...

На льду реки развевается красное пламя: мужики палят свинью, наваливая на нее солому, которая быстро превращается в черный назол... У свиньи скорчились ноги и треснул от жару живот... Мужик берет большой нож, крестится, и, минуту спустя, на солому вываливаются внутренности животного...

— Держи! подставляй! — говорит мужик бабе с решетом.

— Прочь, алошные! — кричит баба на облизывающихся собак.

Смеркается... идет метель... на горе катаются мужики, парни, девки; у завалинки крестьянской избы раздается песня:

Не тебя ль, моя полынь,
В поле ветром разнесло...

Парень катится с девкой в белом полушубке, ловко управляя салазками...

Вьюга усиливается; в поле зги не видать... проезжий мужик тянет унылую песню... улица пустеет...

В темной крестьянской избе, у печи, запустив нос в помои, чавкает поросенок, а в углу сидит мужик...

В дворовой избе горит огонь... старуха лежит на печи, жужжит прялка... старик вяжет сеть... кот лежит на на-

мычках... окна запушены снегом, но в избе тепло и уютно... А на дворе стонет вьюга и рвет ставни... разговаривают про мертвецов и колдунов, про то, как церковь обокрали, про явленные иконы, про заблудившихся и замерзших в дороге... В трубе злобно гудит ветер... двери заперты крепко... Случись кому-нибудь постучаться в окно и попроситься ночевать — всех обнимет ужас...

С улицы на крыльце снегу навалило по колени...

— Акулина, пойдем с тобой к соседу! — говорит хозяйская дочь работнице.

— Сапоги обуй! — кричит мать из другой комнаты.

Девушка и работница отворяют дверь и, жмурясь от пыли, вязнут в молодом снегу...

Раздается едва слышно благовест колокола (в пульгу благовестят).

Какая пыль!

Путницы добираются до крыльца соседа и стучатся в дверь.

На селе все глухо, мертво... не вякнет ни одна собака... А буря ревет над домами и навевает сладкие сны спящему в тепле крестьянину...

В это время Декалов услыхал благовест к заутрене. В квартире все спали; но на столе уже горела свеча: ритор Пречистенский, умытый, сидел за работой, списывая лекции.

VI

КЛАСС

Еще не было шести часов утра, как овсовские ученики уже сбирались в *класс*, отыскивая в сундуках и под кроватями книги, сапоги, фуражки, вязенки. Суматоха была такая, что проснувшиеся философы и старшой кричали в один голос: «Подайте сюда лозу!»

— Пойдем к хозяйке за хлебом,— говорили мальчики, вереницей устремляясь в кухню.

— Господин Пречистенский! посмотрите: Воздвиженский разорвал мою книгу! — подходя к ритору, говорил один из учеников.

— Вот я сейчас разбужу старшого,— с угрозой отвечал ритор.

Кто молился богу, кто просматривал урок, а кто, прижавшись к стене, плакал.

— Ты что голосишь? — спросил Пречистенский.

— Да шапку потерял.

Зная, что в таком беспорядке трудно отыскать шапку, Пречистенский дал мальчику старый свой картуз и приказал ему идти в школу.

Мало-помалу ученики все убрались из квартиры, оставив после себя выдвинутые из-под кроватей сундуки, груды войлоков и затрапезных подушек на нарах и грязь на полу. Ритор подвязывал перед зеркалом галстук, намереваясь отправиться в семинарию. Он так рано сбирался потому, что рассчитывал попросить у казенных учеников, живших в семинарии, библию, в которой ему нужно было отыскать и выучить несколько текстов.

На улице был мороз. Трещали подводы, ехавшие к хлебной площади; мужики постукивали в рукавицы. Полный месяц освещал гладкую дорогу. В конце улицы около сада промелькнули легкие санки и исчезли за угрюмыми зданиями присутственных мест; в некоторых обывательских домах зажглись огоньки, и на окнах начали рисоваться человеческие фигуры...

Часов в семь утра во всех классах училища дрожали стены от крика, беганья по скамьям и чтения уроков. Среди третьего класса ученик дневальный с необыкновенной ловкостью вертел в воздухе лозой, желая познакомить товарищей с методой, которой он держался при сечении: товарищи, удивляясь его искусству, совали ему кто кусок хлеба, кто пирог или черепенник.

В восемь часов в классе была тишина. Учитель сидел на кафедре и рассматривал по *замечаниям*, кто не знал урока. Человек тридцать он вызвал к двери и сошел с кафедры. Став перед осужденными и сделав рукой взмах, как дирижер перед открытием пьесы, учитель крикнул: «Высечь!..»

VII

ОТПУСК

Приближались святки... Ученики записывали на бумажках и на книгах, сколько недель, дней и даже часов оставалось до отпуска. По вечерам, до зажжения свечи, они вспоминали все подробности праздника, как кто хаживал по приходу и катался с гор, во что наряжался и проч.

Недели за три до рождества Декалов получил от своего отца следующее письмо:

«Любезный сын Иван. К празднику рождества Христова подводы за тобой не посылаю, ибо лошадь заболела

от чемера и наиболее, я полагаю, от скудной пищи, какова солома; потому тревожусь, как бы не издохла, лишив нас последней опоры...

Голуби твои все целы и сидят под печкой.

Учись, Ваня! Ты пишешь, книг нету; что делать! Книги дороги; товарищам поклонись в ноги и попроси у них... Молись богу... в наше время в лаптях хаживали...

Господь умудряет и слепцы...

К празднику отыщи подводу на постоялом дворе и приезжай к нам. Мать говорит: не переделать ли тебе из моей старой шапки — жилетку? Думаю, что на твой рост выйдет... К старшим будь почтителен: смирением обрящешь покой душе своей...

Дед твой был ума несказанного, а он гнулся в дугу перед каждым человеком. Люди, Ваня, любят уважение, которое им оказывают; но они возненавидят тя и пронесут имя твое яко зло, ежели не будешь покорствовать им.

Верь отцу твоему; он знает это по опыту и не пожелает тебе худа. Будь прилежен в учении; за это тебе сторицею воздастся...

Молю бога, чтобы он не спустил тебя с порук своих, и посылаю тебе родительское благословение. Причетник Декалов».

Во всем письме отца Декалову особенно была по душе одна строка: «Голуби твои целы и сидят под печкой». Ее Декалов читал сотню раз...

День ото дня приближение святок становилось ощутительнее. На рынках и в лавках начали появляться груды мерзлых гусей и свиней; в обозах, ехавших по городу, ученики начали встречать земляков-мужиков, которые везли с собой от сельских дьячков и дьяконов письма и посылки. С каждым днем ученики делались между собою дружелюбнее; учители, почуяв рождество, умерили свое ожесточение; лоза теряла прежнюю свою силу.

Наконец, наступил отпуск. Ученики, с билетами для отъезда в руках, без оглядки неслись по коридорам и по лестницам вон из училища, как будто опасаясь, чтобы начальство не раскаялось, как фараон, что отпустило так много народу.

На дворе овсовской квартиры стояло несколько приезжих подвод.

У ворот привязана была запряженная лошадь в веревочной сбруе. Из семинарской квартиры выходил дьячок с двумя маленькими детьми, одетыми по-дорожному. Их провожали, в одних сюртуках, исключенные.

— Прощайте, господа! — говорил дьячок,— желаю вам в добром здравии разговеться... Благодарим за хлеб, за соль...

— Вам ведь недалеко? — спросил один исключенный.

— Тридцать верст... засветло доедем...

— Воротники-то поднимите! — сказал дьячок своим детям, уже сидевшим в розвальнях.

— Нам тепло, тятенька!

— Поищите же мне невесту-то...— сказал исключенный.

Дьячок взялся за вожжи и ответил:

— Будьте покойны; расстараюсь...

Дьячок, ежеминутно запуская кнут под брюхо лошади, ехал по направлению к заставе.

— Тятенька! — говорили дети, указывая на синий дом,— вот здесь наш инспектор живет. Тятенька! а вот — в обозе едет наш товарищ Декалов.

Среди обоза, тянувшегося из города, в пустых санях сидел Декалов, прислонившись к передку. Он отыскал на постоялом дворе кочергинских мужиков, от которых получил следующее письмо отца:

«Любезный сын. Поспеши приездом с сими мужиками, понеже праздник рождества Христова настанет зело вскоре. Посылаю тебе закрыться в дороге материн тулуп и гривенник на продовольствие; не будь расточителен на постоялых дворах. Мать тебе выгадала из моей шапки теплый нагрудник. Засим прими благословение родителя твоего, дьячка Декалова».

— Духовный! ступай вперед! — крикнул один мужик в обозе.

Дьячок поехал вперед и очутился в поле; обоз не отставал от него.

— Что, озябли? — спрашивал дьячок детей...

— Нет, нет.

— Что нет! Ну-ка лягте, я вас укутаю... ишь поднимается подзёмок какой...

Дети легли; дьячок накрыл их веретьем совсем с головами и увязал веревкой.

— Тятенька! Скоро придет Заметаловка? — спрашивали дети.

— Сейчас приедем... Озябли?

— Нет...

Мальчики только слышали рев полозьев, фырканье лошадей, покряхтывание отца и затянутую где-то песню...

Иногда навстречу кричал чей-нибудь голос: «Держи

в сторону!» — причем крепко стучали сани об сани. Дьячок потрогивал детей рукой, желая привести все в порядок, и снова погонял лошадь. Он уже дал иное направление своему кнуту, пуская его вдоль спины лошади!

Проехав верст двадцать, дети заговорили:

— Мы встанем...

— Лежите! — крикнул отец,— ишь стыдь-то!..

— Тятенька! А далеко до Журавлева?

— Три версты.

Три версты проехали. Один мальчик раскопал дыру в веретье и закричал:

— Вон Журавлево-то! Мы встанем.

Видя, что до дому осталось недалеко, дьячок развязал детей. Они начали поправлять свои смятые картузы и с любопытством рассматривать деревню.

— Дворы-то как занесло! — говорили они.

Вскоре дьячок свернул с большой дороги на проселочную и скрылся.

А Декалов продолжал ехать в обозе по большой дороге. Толстый, покрытый изморозью мерин нес его по раскатам, через глубокие ухабы и даже по сугробам. Когда проезжавший мимо мужик замахивался кнутом и выбивал его из обоза, Декалов закоченевшими от холода руками держался за веревки, чтобы не вывалиться из саней.

Уже давно стемнело; обоз все ехал, по-видимому рассчитывая сделать большую станцию. Упорно думая о своем родном Кочергине, Декалов почти не чувствовал ни холода, ни боли в спине, на которой долгое время учителя расписывались кровавыми рубцами... Он не верил своему счастью, не верил, что он теперь свободен и скоро увидит свое село.

Вот деревня... говор мужиков и дворников. С горы катаются мальчики на подмороженных скамейках, лавируя среди бегущих лошадей... Огни на постоялых дворах; кое-где сквозь оттаявшие стекла видны кипящие самовары и артели извозчиков... Обоз миновал деревню.

Снова поле; темь и холодный ветер...

Слышится шум саней и дружный топот лошадиных копыт то по мягкому снегу, то по торной дороге, изрезанной приступками, об которые стучат полозья розвальней, как об рубель... А в поле ни голоса!.. В стороне мелькают леса... Декалову рисовался и вечер на семинарской квартире; ему становилось жаль своих товарищей: теперь они тоже где-нибудь в дороге, на холоде...

В обозе ни один мужик не подавал голоса: вероятно,

все спали. При сильных раскатах Декалов замирал, опасаясь быть вываленным из саней; достаточно было на четверть минуты отстать от обоза, чтобы потерять его из виду...

Но как обрадовался Декалов, когда обоз поехал шагом и вдруг подле его саней какой-то мужик заговорил:

— Ванюша, что, озяб?

— Озяб,— сказал Декалов.

Мужик поправил шлею на лошади.

— Сейчас приедем ночевать; версты две осталось...

Мужик сел на край саней и, помолчав, продолжал:

— Небойсь мать-то твоя ждет не дождется тебя... чудно! Колько времени не видались... как нешто обрадуется, сердечная!..

Мужик говорил таким братским голосом, что Декалов готов был обнять его...

VIII

ВЕЧЕР ПОД РОЖДЕСТВО

В доме кочергинского дьячка все было вымыто и убрано; зажженная перед образом лампадка озаряла на столе белую скатерть.

Декалов, в новой рубашке, сидел с матерью и бабушкой на печке, при свете ночника; там же, в углу, стояла кадка с пирожным тестом. Дьячок, расчесывая свои волосы, сидел на лавке.

— Ох-ма, хма, хма!..— проговорила дьячиха, выслушав несколько рассказов сына об училище.

Все молчали. По свежей соломе, устилавшей пол, тихонько кралась кошка; под печкой ворковали голуби...

— Матушка! — сказала дьячиха,— не посмотреть ли нам, как всходят пироги?

Старуха и дьячиха осветили на печи кадочку и, глядя в нее, говорили:

— Кажись, хорошо всходят... дрожжи бесподобные... Закрой. Господь с ними...

— А у нас хотят заказать новый колокол,— сказал дьячок сыну.

— Да, да! — подхватила дьячиха,— пудов в шестьдесят, что ли?

— Заказали в шестьдесят... что говорить! Колокол будет городской...— отвечал дьячок.

— А не пора ли нам затоплять печку?

— Погоди, маменька,— сказала старуха,— а вот нешто принеси из амбара мясное да потроха... не тронь, пока оттаят в избе...

Дьячиха оделась в шубу и принесла из амбара гусиные лапки и головки, поросенка, двух кур и часть свинины. Все эти предметы хозяйка разложила на лавке.

— А студень-то не пора вынимать?

— Теперь пора.

Дьячиха вынула из печи чугун и начала разливать студень в деревянные чашки, вынимая оттуда ложкой бабки, которые старуха отдавала внуку.

Дьячок, чтобы не мешать бабам, отправился на печку.

— Ванюша, не забудь завтра сходить к отцу крестному — Христа прославить! — сказала дьячиха.

— Бабушка,— спросил Декалов,— что же, вы не видали Петю Лаврухина?

— И! Да уж он про тебя спрашивал бесперечь... он, верно, еще не знает, что ты приехал. А что я вспомнила? — вполголоса сказала старуха дьячихе,— не помазать ли Ване спину гусиным салом?

— Когда я ждал тебя домой,— сказал дьячок,— я написал речь... Если бы ты ее выучил, завтра от помещика получил бы что-нибудь... Я тебе ее прочту: мудрена покажется или нет?

Дьячок достал речь и прочитал.

— Что, мудрено, Ваня? — спросил дьячок.

Декалов немного подумал, желая угодить отцу; наконец, сказал:

— Мудрено, тятенька!

— Мудрено-то мудрено!— сознался дьячок.

— Ванюша,— сказала старуха,— поди-ка ляг спать... тебе и так надоела эта учеба...

Дьячок отправился на полати, а Декалов полез под печку к голубям.

Почуяв его приближение, один голубь заворковал и щипнул его за руку.

Падавший с лавки свет сквозь дощатые треугольники тускло озарял стадо спавших голубей, которые, запустив носы в крылья, поглядывали одним глазом на Декалова; в стороне от них одиноко сидела галка: видно было, что голуби преследовали ее и она жила с ними по необходимости.

IX

РОЖДЕСТВО

На другой день, после заутрени, Декалов шел к священнику славить Христа. Начинало рассветать. По небу тянулись красные полосы; у крыльца священникова дома стояли резные сани с свежей соломой.

В горнице священника на зеркалах висели узорчатые полотенца. Декалов подошел к образу и запел тропарь.

Из боковой комнаты вышел священник.

— Здравствуй, брат! — сказал он, давая Декалову гривенник.— Давно приехал?

— Вчерась...

— А мой богослов приехал третьего дня. Ну, нынче сбирайся с нами — в приход...

После обедни весь сельский причт был в хлопотах. Священник стоял перед дьячком, державшим под мышкой стихари с церковными книгами, и говорил:

— Ступай скорей к дьякону. Скоро, что ли, он? докуда мы будем прохлаждаться?.. Жена! дай мне гребень — голову причесать, да коровьего масла...

— Катерина!— сказала попадья,— подай отцу масла голову намазать...

Дьякон в своем доме стоял перед закуской и, держа в руках ножку жареного гуся, говорил:

— На барскую закуску надеяться нечего... вилочкой там немного сделаешь...

— Поешь себе хорошенько,— говорила дьяконица, ставя на стол новое блюдо.

— Отец дьякон! — закричал входивший дьячок,— что же вы мешкаете? батюшка сердится...

— Я готов, у меня лошадь давно запряжена. Ступай, беги за другим священником да за дьячками...

Причт явился в доме помещика и шепотом начал спрашивать лакея:

— Дома господа?

— У себя...

— Что, мы не опоздали?

— Нет; барыня только встала.

Вскоре по коридору застучали сапоги, и в отдаленной зале раздалось пение.

Священник и дьякон приглашены были хозяином в столовую, а дьячки отправились в лакейскую.

— Что, холодно на дворе? — спрашивал помещик.

— Очень холодно...

— А я сегодня и в обедне не был.

— Прошу покорно... Закусите...— сказала помещица.

В передней шел разговор между дьячками и лакеем.

— Это ваш сынок-то?

— Мой... из третьего класса... Что это вы подвязали щеку?

— Да зубы-с...— отвечал лакей,— ночей не сплю.

— Позвольте спросить, какие это ложки: неужели серебряные?

— Серебряные! да вот извольте — проба. У них корец и то серебряный... Вот не знаю, чем зуб лечить...

Лакей начал губами раздувать кофейник на окне.

— Кому это вы? — спросили дьячки.

— Барчуку-с...

Наконец, вышел священник с дьяконом, и в одну минуту весь причт был на улице близ лошадей, которым подвязывались поводья и чересседельники...

— Ну, что? о чем барин говорил? — спрашивали дьячки,— сколько дал?

Все сплотнились в кучу...

Между тем в отсутствие мужей поповны зазвали к себе в гости лакеев, земских, приказчиков с женами и дочерьми. На столах стояли лакомства; вокруг гостей ходил поднос с рюмками. Молодые люди играли в карты и фанты. В комнатах сильно пахло скоромным; многие жаловались на головную боль, спрашивая друг друга: «Не угорели ли вы?» Лакеи, срывая с леденцов билетики, дарили их девкам, если надпись была вроде следующей: «Коль я тебе не мил, что я тебя, тиранку, полюбил». Девки в свою очередь дарили билетики лакеям.

В углу кто-то играл на гармонике, а хозяйка просила убедительно:

— Спойте, девушки, что-нибудь...

Раздавалось: «Вечор поздно из лесочку...»

В доме Декалова не было гостей. Дьячиха и ее мать спали на постелях в праздничных платьях; на хорах тоже спала какая-то крестьянская старушка, которая в доме дьячка и разговелась. В избу светило солнце... по полу бродили голуби; галка, раскачиваясь на шесту, висевшем над печкой, вслушивалась, как ее подруги покрикивали на улице. Вытянув шею, она вскрикнула и потом

съежилась, намереваясь вздремнуть; кто-то проснулся и зевнул...

В сумерках дьячок Декалов подъезжал с сыном к дому одного приказчика. Неверными шагами подходя к крыльцу, дьячок говорил:

— Наше дело такое: мужик горбом, а дьячок горлом...

Отец с сыном вошли в сени, в которых на полу кипело несколько самоваров. В горнице приказчика играли на гармониках и балалайках и шла такая пляска, что дрожал весь дом.

Дьячок приладился ухом к двери и, иронически прищурив один глаз, проговорил:

— Пир Валтасара! да нам что же?.. Мы яко служители церкви...

Часов в десять ночи падал небольшой снег. Дьячок с сыном ехали по полю; между ними на возу лежал мешок с христославными курами, которые при каждом ухабе вскрикивали и утаскивали мешок на край саней.

— Ну! наши приехали!— сказала пономариха, услыхав под окном скрип саней, и понесла в сени ночник.

— Здравствуй, жена,— слышался хриплый голос пономаря,— вот это тебе пироги...

— Ваня, беги скорей в избу... несите сюда мешки...

Декалов вошел в избу весь в снегу; мать принялась распоясывать его, причем на пол упал мешок с деньгами. Старуха пускала под печку кур и говорила:

— Первой... другой... а это кочет... вот и утка...

— Здравствуй, жена,— сказал явившийся пономарь.

— Эко нахрюкался!

— Первое,— продолжал хозяин, растопырив руки,— Агафья Ермолаевна тебе кланяется и пеняет, что ты ее не проведаешь...

— И! городит!.. она, чай, знает, когда мне проведовать?..

— А кум прислал тебе заочно утку и обещался заехать... Были у помещика Егора Ивановича... он дал Ване гривенник... Что ж нам?..

Через час пономарь лежал в углу на полу и говорил: «Дети мои! отец ваш много испытал!» Декалов спал на печи.

Огонь давно потух; в трубе гудел ветер; под печкой иногда, ссорясь с курами, ворковали голуби. В полночь хата выстыла до того, что протрезвившийся пономарь

собрал с полу свои пожитки и отправился на печку. В избе прокричал один петух, за ним другой... с надворья заголосил третий... ветер жалобно выл под окном и посвистывал в плетневых сенях... от бури хата часто вздрагивала... Закричали «вторые петухи»; Декалов проснулся и начал ощупывать печку; он осторожно спустился на пол.

— Бабушка!

— Что ты, батюшка?

— Проводите меня.

— Господи благослови... где это мои башмаки?.. Студено как стало в избе-то...

1862

КОЛДУНЬЯ

Была осень. Близ засеки, в полуверсте от села, стояла новая непокрытая изба, вокруг которой в беспорядке лежали срубленные деревья.

В избе, на кровати с ситцевым одеялом, сидела молодая больная мещанка, прислушиваясь к ветру, потрясавшему рамы и стекла.

В избу вошла низенького роста пожилая баба с мешком муки за плечами.

— Здравствуй, матушка; ай больна чем? — сказала баба, перекрестившись на образа и вскинув черными глазами на хозяйку.

— Больна, Марья: лихорадка бьет.

Хозяйка обнаружила беспокойство и начала ощупывать подле себя шубу.

— А где же муж-то?

— В засеку поехал; он скоро приедет.

— А я вам принесла два пуда муки, помнишь, я брала у вас хлебом,— сказала баба, садясь на скамейку и с каким-то робким недоверием поглядывая на хозяйку.— Ай у вас до сих пор нет работницы? Ноне они дороги стали... А я хотела попросить деньжонок у Амельяна Трофимыча — за иструб; ведь мы вчетвером его срубили; и моя доля тут.

Наступило молчание. Больная оделась в шубу, подошла к двери и проговорила:

— Что это он не едет? пора бы ему...

— Ничего, я подожду, матушка,— ответила Марья и пристально, но ласково посмотрела на хозяйку.— Анна Тихоновна! — вдруг сказала баба,— может быть, ты меня боишься?

— Нет, Марьюшка,— ответила больная, в замешательстве отворяя и опять затворяя дверь.

— Что я за оглашенная? — сказала баба,— ведь я

вижу, что ты меня боишься! Я знаю... тебе небойсь сказали, что я колдунья.

Больная, по-видимому, сконфузилась.

— Я, Марья, этому не верю... мало ли что народ говорит?

Баба стала перед образами и воскликнула:

— Анна Тихоновна! вот тебе святые иконы! Убей меня господь, ежели это правда... Сошли мне господь истаять, как свечка тает!.. Царь небесный, батюшка, видит, сколько я перенесла от людей.

У бабы навернулись слезы; она снова села на скамейку и, сделав жест рукой, продолжала:

— Ну, постой, я тебе сейчас расскажу, за что меня прозвали колдуньей... Говорить аль нет?.. Может быть, я тебя беспокою?..

— Нет, Марья; известно, я здесь живу недавно и ничего не знаю; а от баб ваших я слышала...

— Ну, вот что же! — опять ставши перед образами, начала Марья.

— Создай мне, господи, чтобы мои руки-ноги отнялись, тресни...

— Марья, Марья! не божись... я тебе верю... Я боюсь такой божбы!

— Ах, Анна Тихоновна! за что я терплю такую напраслину?..

Наконец, баба начала рассказ:

— Жила я у своего дяди. Девчонка я была проворная и ростом махонькая, хотя и года мне вышли; замуж меня никто не брал, потому что я была сирота и ничего не имела.

Однова, зимою, подле нас ходили нищие — старуха с сыном; сын был взрослый; и стужа такая стояла на дворе — лютая! а одеты они были в худеньких кафтанах, и, видно уж, чему быть — то, верно, богом назначено, мне их стало с чего-то и-и-и-их жалко! и дала я им по кусочку, а погреться позвать не посмела от дяди...

Вскоре приходит к нам одна баба и говорит: «А что вы не отдаете Марью за нищего малого Андрея, за побирашку-то? ведь ее замуж никто больше не возьмет; хоть она девчонка моторная, да мала ростом — и сирота!»

Дядя мой и согласился выдать меня за того нищего малого. Так я и вышла за него.

Вошла я к ним в разваленный дом, и на дворе у них только и было: курица да кочет... Стали мы жить. Старуха тут померла; старик все сидел дома и ничего не делал, а мы с мужем все побирались; мой муж был такой

хворый и какой-то, прости меня господи, ляд: что, бывало, ни наберет, все пропьет.

Года через два мы нанялись стеречь скотину; я начала думать, что на мужа надежда плоха, а надо мне самой копеечку сбирать...

Года через три мы стали наниматься в работники, где за плату, а где из хлеба... И много, моя голубушка, зазнали нужды!.. Дворик наш все стоял разоренный... Однако я маленько сберегла деньжонок, и бросили мы наниматься в работники, а стали жить дома.

Жили мы здесь в селе; место тут засечное, а в засеке в те поры было слабо. Начали мы с мужем по ночам возить лес; он, бывало, повозит да ляжет на печку — от живота... А я примусь одна возить... Лошадку когда люди дадут, а когда нет... три года я на себе дрова носила и воду возила... бывало, беременная работаешь!.. и не успеешь поправиться после родов,— а все в работе, потому все на мне лежало; к тому же обужа, одежа были плохие. Однова я поехала с мужем в засеку ночью — дуб наваливать, да там и родила... так дуб и не привезли; после муж побил меня... Пьяный человек! Кое-как да кое-как поставили мы себе хатку. Осенью я набрала мер шесть орехов да продала за пять целковых и на эти деньги купила себе телочку, только она не пошла в руку, издохла... Я стала опять копить денежку; бывало, ежели захочешь покупать коровенку али жеребенка (я всегда сама заправляла этим), пойдешь к одному, другому — спросишь,— как бы не ошибиться... Один скажет то, другой — другое, и сличаешь... И выучилась я узнавать скотину.

Раз продают на слободе корову, и такая она на вид дохлая,— и всю-то ее можно в беремя унесть, весу пуда три, а просят недорого. Я попытала ее и вижу, что коровка добрая; помолилась богу, что будет не будет, отдала деньги и привела к себе: вот-то от этой коровы у меня идет весь завод; у меня теперь, моя матушка, две телочки такие — по селу не скоро найдешь... (Рассказчица перекрестилась.) Лошадку я тоже сама купила. Тоже начала я иструбчиками промышлять. Войдешь с кем-нибудь в часть, и поставим иструбчик, а после продадим.

Так вот я тебе хотела сказать, за что невзлюбил меня народ-то. А вот за что: бывало, что́ я себе ни куплю, овечку ли, поросенка ли, и все мне удается, а оттого царь небесный посылал, что я научилась узнавать в них толк.

— Отчего же у тебя телушки-то хороши? — спросила хозяйка, по-видимому увлеченная житейской картиной.

— Да, правду сказать, оттого, что я в них души не чаю; кормлю их, сама не евши... иногда, случается, завернет стыдь, так я их на ночь своим кафтаном и одену; а когда они были махонькие, я их месяца три одним молоком поила: вот отчего они такие.

— А сами-то, верно, не хлебали молоко?

— Нет! А отчего не хлебали? признаться, у нас о ту пору велась убоина; боровка зарезали... Так-то, матушка моя! А еще потому меня невзлюбил народ и прозвал колдуньей, что я по гостям никогда не хожу да что у меня черные глаза; а есть когда мне по гостям-то ходить!.. А уж сколько отведала я горя-то от людей!.. мне на свет божий нельзя показаться; а ведь разве мне хотелось на срамоте-то людской жить? Да и побоев немало приняла...

— Ну, вот что, Марья: я слышала, ты и в церковь не ходишь; отчего ты в церковь не ходишь?

— Анна Тихоновна, да нешто мне не хотелось бы с людьми во храм пойти? разве мне не хочется встретить праздник, как добрые люди?

— Отчего же ты этого не делаешь?

— А вот отчего, моя милая: некогда, недосуг мне! мне дыхнуть некогда! Ты спроси-ко: у меня ведь двое маленьких детей, а там старик; он тоже ничего не делает, только лежит на печке; а муж, я говорила, какой он... Намесь говорю ему: «Пойдем воды принесем»,— так бросился колотить. На всех все я одна! Матушка моя! я вот тебе расскажу, что я делаю-то: встанешь поутру, подоишь корову, прогонишь ее в стадо, а там прогонишь телят на выгон, придешь домой — принесешь воды, почистишь картофель, истопишь печку, соберешь позавтракать мужу с свекором, а там муки нет — надо на мельницу; а тут веретья нет — пойдешь добывать; все село обходишь: у того нет, другой не дает; а там раз пятнадцать в день-то сбегаешь в одонья свиней согнать, а там скотина своя пришла; надо ей дать корму, а там муж зовет — сарай покрыть, там плетень повалился... А как придет рабочая-то пора! Веришь али нет? рубашонки, рубашонки своей некогда зашить... вот лаптей и то нету! отчего же я перед тобой ноги-то поджимаю? — лапти развалились, онучи сопрели!.. разве нужд-то мало? Поживешь, друг, увидишь... иное место ум расступается! Опять же я все сама во всякий след... Я смогу и лошадь запречь, я не впервой одна езжала в город хлеб продавать. Бабье ли это дело?.. а нужда научит всему!..

Баба замолкла. У двери с улицы раздался визг свиней.

— Вот они визжат! — продолжала Марья,— надо им чего-нибудь дать; так-то и всякое дело!

— А что, Марья, не потрудишься ли ты снесть моим свиньям чугун с помоями? Сама-то я почесть не выхожу из избы.

— С чего же? Под этой лавкой чугун-то?

Баба вынесла чугун и вскоре воротилась.

— Ох, Анна Тихоновна, трудно, трудно жить на белом свете! Так-то вот с тобой я побеседовала, будто меду напилась...

— Вот что, Марья: скажи мне, как вот ежели выбирать корову: хороша она или нет? У нас еще нет коровы.

— А вот как: пуще всего смотреть надо хвост: ежели у ней самая кортень идет ниже колен, то это лучше не надо; у меня была корова, так та, бывало, хвост-то взбросит себе на спину: тяжел был... Еще надо искать по бокам колодези... а еще по зубам: чет али нечет... это тоже к молоку хорошо...

— Ну, а лошадей как узнают?

— А у лошадей смотрят лады, ноги; пуще всего надо толстые ноги, а шашки чтоб невысоки; тоже зад чтоб был широкий; а вот ежели нижние челюсти тонки и под шашками коготки, то это добрая и на езду скорая лошадь...

Марья помолчала и заключила:

— Вот за то-то и прозвали меня колдуньей.

Года через полтора Марья умерла. Мужики нашли необходимым в ее могилу загнать осиновый кол...

1863

ФЕДОР ПЕТРОВИЧ

I

На большой дороге, уже забытой извозчиками, стоит кабак, история которого теряется в отдаленной древности, так что старики лет девяносто от роду помнят этот кабак и в своих рассказах о старине нередко упоминают об нем, как о притоне чуть не денного разбоя. Все на том же месте стоит он, как и прежде: та же колдобина перед ним, в которой в осеннюю пору купались извозчики, а теперь купаются случайные проезжие; та же ветла, когда-то зеленевшая, а теперь издающая своими голыми сучьями, пронизываемыми ветром, грустное завывание.

Дорога, по причине проложенного верстах в десяти шоссе, совсем забыта. Только летом иногда пройдут по ней богомольцы или хохлацкие гурты, обозначая свой путь сгоревшим и кострами и ямами для котлов; но давно уже нет длинных обозов, с гигантскими, клеймеными кулями, с бочками и хмельными извозчиками, рогожами, крупчаткой, кожами. Забыты глубокие овраги, в которых прежде, в дождливое время, совершались народные драмы, задыхались и умирали лошади при отчаянных криках извозчиков, лежали опрокинутые возы, сломанные телеги и вдруг наступала бесконечная, осенняя ночь. Запустели эти овраги, как отмененные эшафоты, и разгуливают по ним теперь волки и лисицы; вороны и коршуны молчаливо сидят над ними, ожидая появления быстроногого зайца. Уцелел только от прежних времен ветхий мостик над водомоиной, под которым прежде, в ночную пору, посиживали незнакомцы с дубинами.

Лет пять тому назад в упомянутом кабаке жил сиделец Федор Петрович, мещанин высокого роста, с черными глазами, лет тридцати пяти. Этот человек совмещал

в себе качества, требуемые положением сидельца, качества — необходимые для того, чтобы вернее наживать деньги. Вежливость, аккуратность, всегдашняя трезвость и знание людей, изнанку которых Федор Петрович имел возможность рассматривать в своем кабаке, были основными чертами его характера. Это был тип, какой только может выработать наша народная жизнь с ее коловратностями, отсутствием уверенности, что завтра покрытый соломою дом не сгорит, не явится становой, как молния с небес, что не выдаст и не надует родной брат. Федору Петровичу, как характеру и как явлению, может соответствовать озимовый злак, претерпевший попрание скотины, пасшейся на нем, и превратившийся в высокую рожь. Совершенством своего приспособления к жизни Федор Петрович мог поразить даже любого зоолога.

Федор Петрович держал хорошую водку, ездил каждое воскресенье в церковь, где с необыкновенным приличием пел басом, бывал на каждой годовой ярмарке в соседних городах, торговал лошадьми и считался, по справедливости, одним из первых знатоков по этой части, поздравлял в высокоторжественные дни богатых помещиков, которые без закуски его не отпускали, и всегда ездил на отличной лошади, которую, однако, готов был продать кому угодно.

Так как посещали кабак лица разных сословий, то Федор Петрович с каждым из своих гостей обходился сообразно его званию и даже привычкам. С мужиками он говорил обыкновенно покровительственным тоном, делал иногда краткие наставления, а если они, подвыпивши, сочиняли драку, то он выталкивал их без церемонии в шею. Мужику, особенно привязавшемуся к кабаку, целовальничиха давала крендель с передачею его детям. Какому-нибудь старшине, как начальнику разных сходок, Федор Петрович подавал руку, непременно предлагал папиросу и угощал «красненьким»... С лакеями и духовными он обходился приветливо и всегда потчевал их до отвалу, зная, что эти люди помешаны на угощении, да и пригодятся со временем, так как они играют в деревнях роль журналистики и от них зависит возвысить человека в общественном мнении или опозорить. Перед барином Федор Петрович не гнулся, но был вежлив и, развязно откупоривая бутылку хересу, спрашивал: здорова ли барыня и как псарня, если такая была у помещика. С прасолом целовальник вел себя сухо, но всегда запросто, ибо чувствовал, что если сам он в некотором смысле — коса, то пра

сол наверное камень, также и наоборот; во всяком случае, для прасола стоял хороший стакан водки на стойке.

— Что гнедой-то?..— спрашивал целовальник.

— Не подходит статья... давал билет с столбиками...

— Спехову надо всучить... она ему пойдет в корень... А бурый?

— Сивогривому сблаговестил... пять красеньких... на ноги села!

— Надо сбалабошить саранчу-то Ямовскому... тут барин из Питера приехал.

— Слышу!.. А Сенька-то что же?

— Ну, вон! очнись! Уж он своих в Елец погнал...

Если в кабак приезжал лакей или духовное лицо, то на стойке являлся графин с травником и крендели. Хозяйка, угощая гостя, говорила:

— Нуте-ко... пожалуйте... закусите... на дорожку... посошок!

— Душевный человек!..— твердил потом пьяный гость, лежа в своей телеге, стучавшей по большой дороге.

Мужики, лишь только выпивали по стакану, начинали хвалить целовальника.

— У нас много было кабатчиков, Федор Петрович, а чтобы как ты, не было и не будет. Вот тебе образ!

На эти похвалы Федор Петрович не обращал никакого внимания и, стоя за стойкой с золотой цепочкой на жилете, постукивал костяшками на счетах и вполголоса говорил жене:

— Ивану-то Михалычу отпустили?

— Отпустили! — отвечала жена, расставляя на полке какой-нибудь ратафий, причем ярко сверкали ее продолговатые серьги, мотаясь в разные стороны.

Когда мужики начинали между собой ссориться, в это время Федор Петрович выходил из-за стойки и говорил:

— Вот что, ребята! пить — пейте сколько душе угодно, и кричите, и песни пойте, а ругаться дурными словами тут нельзя. Здесь место казенное, государственное, зачем-нибудь орел-то прибивается к кабаку: вы неграмотные, так подите сюда, я вам прочитаю...

Федор Петрович подводил мужиков к печатному листу, висевшему на стене, и читал:

— Братие! почто убо?.. и т. д.

— Федор Петрович! приятель! ты нас разбяри! разя мы не чувствуем? Мы тебе, к примеру, задолжали и завсегда просим покорно...

— Про долг,— отвечал хозяин,— я вам ничего не го-

ворю! Я поверю вам на сколько угодно; ну, а ругаться здесь нельзя... Слышишь, что святые люди приказывают... Зачем безобразничать?.. у меня жена. подумай ты это!..

— Вишь, Митрей, что он говорит-то?

— Пойдем, шатлый! Зачем обижать хозяина? Выпили, и слава богу! Федор Петрович! песню, ты говоришь, можно? Родной!

Для барина, заезжавшего в кабак с охоты, доставалась бутылка хересу.

— Чайку не прикажете ли?

— Благодарю! до дому недалеко.

— Ну, как охотка? удачна ли?

— Представьте себе: волка выгнали... в Зарытом верху... глядь: катит! бросили борзых... люлю!.. он в лес — и поминай как звали! однако пробылой!..

— Хереску пожалуйте! так и ушел?

— Ничего нельзя было сделать... я ведь охотился на своей гречихе... она, знаете ли, только всходит... как люлюкнули! уж борзые приняли было в добо́р! ушел, каторжный.

— А то прикажите самоварчик?

— Нет, не надо!

— Ну, что, Петр Петрович, нет ли чего-нибудь новенького в газетах?— спрашивал целовальник.

— Ничего не читаю.

Верстах в четырех от кабака, на проселочной дороге, стояло село Ямовка, состоявшее по крайней мере из трехсот мужицких дворов. В этом селе установлены были целые четыре праздника в году в честь разных угодников, поэтому четыре раза в год к кабаку Федора Петровича устремлялись многочисленные ватаги мужиков с жбанами, сулейками и ведерными бочонками, кроме разных побочных случаев, например свадеб, крестин, похорон, вызывавших подобные же приливы доходов в кабак. Неизбежным следствием такого рода отношений, с давних времен существовавших между кабаком и ямовскими жителями, было то, что вся Ямовка запуталась в долгах у Федора Петровича, как муха в сетях паука, так что стоило только целовальнику появиться на дворе должника, чтобы обратать любую скотину. Но к чести Федора Петровича надо сказать, что к таким безбожным мерам он никогда не прибегал, на что, впрочем, он, как опытный паук, имел свои резоны! У Федора Петровича были такие соображения: хотя кабак приносил и хороший доход, несмотря на то, он был решительно не на месте. Находись он в самой

Ямовке, покупателей было бы несравненно больше, так как в Ямовку каждое воскресенье ездило к обедне несколько посторонних деревень, да и сама Ямовка потребляла бы водки не в пример больше прежнего, к чему могла располагать самая близость кабака. Кроме того, сбирать с мужиков долги было бы удобнее: тогда от целовальника не ускользнул бы ни один должник; между тем как теперь, пользуясь расстоянием, отделявшим село от кабака, ямовский мужик сторонкой отвозил хлеб в город, получал за него деньги и втихомолку тратил их на свои нужды, отсрочив платеж целовальнику на неопределенное время. Будь кабак в Ямовке, этого не могло бы случиться: тогда насыпал ли мужик воз ржи, даже просто оделся ли в полушубок, Федор Петрович как раз с вопросом: «Куда собрался, Иван?» Словом, жертва была бы у самого рта. Таким образом, единственной, заветной мечтой Федора Петровича было — перенести кабак в Ямовку. Но пока сделать этого было нельзя: все зависело от ямовского барина, который жил постоянно в Москве; крестьянский сход мог дать *местечко* для кабака и на своей земле, но опять не иначе, как с согласия и даже разрешения барина. Так Федор Петрович и сидел в поле, разделенный от своей возлюбленной Ямовки целыми четырьмя верстами, на протяжении которых можно было ловить добычу одними щупальцами.

В один весенний день разнеслась весть, что из Москвы приехал в Ямовку в качестве управляющего какой-то богатый барин, друг и приятель самого владельца. Федор Петрович приободрился. Он увидал, что от нового управляющего зависит вся его судьба, и стал думать, как ему начать действовать? Но прежде всего целовальник счел за лучшее не торопиться, зная по опыту, что чем дело важнее, тем более оно требует хладнокровия и спокойного обсуждения. Федор Петрович на первом плане решил сблизиться с прислугой нового барина, что и начал приводить в исполнение.

Однажды летним вечером целовальник сидел с своей женой за самоваром. К кабаку подъехали беговые дрожки. Хозяйка бросилась к окну и заговорила:

— Кучер ямовского барина! Федя! Федя!

— Предложи ему чаю да достань ратафии,— сказал целовальник, застегивая жилет.

В кабак вошел в красной рубахе и плисовой поддевке кучер с бочонком под мышкой.

— Федору Петровичу всенижайшее почтение!

— Все ли в добром здоровье? Пожалуйте-ка чайку попить.

— Можно.

Хозяйка очутилась перед гостем с подносом.

— Желудочная? — спросил кучер, выворачивая белки глаз на хозяина.

— Французская ратафия, попробуйте!

— Штука ничего! в Питирбурхи мы больше косили тминную, херес, мадеру, что попало!

— Садитесь. Ну, как ваш барин?

— Что ж ему? Все ломает да коверкает. Деньжищев пропасть! анжирею затеял; прачешную строит, садовника из Питера выписал — деньги вольные!

— Нуте-ко другую,— сказала хозяйка, поднося кучеру ратафии.

— Как его бишь зовут, барина-то?

— Захар Ильич... прозывается Абалонов.

— Что ж, за водкой приехал?

— За водкой. Просил очищенной что ни есть.

— Видно, самому?

— Да у него для всех одна!

— Я слышал, барин добрый,— говорил целовальник,— и образованный человек.

— Человек, надо сказать, так: по книжной части это первая его страсть! Теперь нарочно из Питирбурха выписывает разные журналы, газеты... без книг ни одного дня не может прожить. Как сейчас встал, прямо: «Васька! газету...» И, должно, эти книги, Федор Петрович, человека, как сказать, одуряют: что вот теперь, я полагаю, водка для нашего брата, то для господ — книга. Потому она что-нибудь это в разуме у них... там... погляжу я на своего барина: ровно рехнулся... увидал у Селезенкина помещика винный завод — «а! говорит, то-то мне и нужно! Надо, говорит, себе состроить!» Тоже рысистых лошадей хочет заводить. Ну, известно, барин, надо говорить по правде, душевный и простой.

— Пожалуйте водочки,— потчевала хозяйка.

— Человек вежливый! — разламывая крендель, продолжал кучер,— благородный, значит, потому образованный человек, не так, как теперь здешние помещики — всё норовят дело не дело облаять нашего брата; ну, а этот малого ребенка не обидит, и опять же ихняя супруга только и знает что по-французски жарит; верно говорю вам.

— Ну, что же, господа-то часто ездят к нему?

— Нет, спервоначалу повалили было, а тут что-то и

оселись... Однако бывают; да наш барин, я вам докладываю, чудной: он теперь любит с плотником балами заняться, с столяром или с простым мужиком. А господ он мало привечает и сам у них редко бывает. Ездит иногда вот к Селезенкину, к Орлову, еще в город когда... А барыня, та любит в городское собрание ездить, офицеры к ней приезжают.

— Прошу покорно,— потчевала хозяйка.

— Ну, что ж, все больше чтением, вы говорите, занимается барин-то?

— Чтением! — Кучер, выпив водки, отплюнулся.— Чтением... как есть беда!

— Папиросок не угодно ли?

— Ах, вот это чудесно!

Наконец, кучер собрался ехать.

— К нам, Федор Петрович, просим покорно во всякое время, с хозяюшкой.

— А что, вашему барину не нужно будет рабочих лошадей?

— Ай есть?

— Есть...

— Волоките! Страсть нуждается... да ему что ни покажете, сейчас купит: как есть махонький ребенок.

Кучер сел на дрожки, крикнул: «Эй, поджарая!..» — и скрылся в облаке пыли.

Новый ямовский управляющий, Захар Ильич, был отставной офицер, но офицер цивилизованный, с московским лоском, московскими взглядами и обычаями, с ярым стремлением произвести коренную реформу в имении. Он был приятель самому хозяину имения, никогда не бывавшему в Ямовке, и свои приятельские отношения к нему ознаменовал тем, что женился на его любовнице, очень пышной и дородной московской институтке, которую привез с собою в Ямовку. Захар Ильич, имея полную доверенность от владельца, начал распоряжаться имением, как своим собственным; деньгами снабдил его тот же владелец, навязавший ему свою возлюбленную, от которой не знал, как отделаться. Пользуясь своими свежими силами, Захар Ильич начал с того, что сломал все риги, конюшни, хлебные амбары, даже самый дом, и принялся все строить снова. Поднялись размежевки с мужиками, явились каменные стены и красивые изгороди. Весь этот содом ошеломил окрестных помещиков, которые один за другим спешили познакомиться с Захаром Ильичом, как с человеком, видимо, богатым. Как образованный мо-

сквич, Захар Ильич считал своей насущной потребностью следить и за текущими событиями в отечестве, поэтому выписывал в Ямовку все газеты и журналы.

Целовальник Федор Петрович смекнул, что вблизи от него появилась лакомая добыча, стоившая целых двух Ямовок,— и крепко задумался.

II

Был погожий летний вечер. На балконе вновь выстроенного дома сидел за стаканом чаю Захар Ильич. У ступенек лестницы стоял мужик без шапки. Барин курил гаванскую сигару и громко толковал мужику:

— Не могу, друг мой! Ты очень хорошо знаешь, что теперь эмансипация, воля! другими словами, общая равноправность! ты со мной можешь поступить точно так же, как и я... Зайдет моя скотина к тебе на огород, бери ее, назначай и с меня штраф; в этом-то и заключается гарантия неприкосновенности имущества каждого из нас, в этом-то и весь прогресс!

Захар Ильич отхлебнул глоток чаю и откинулся на спинку кресел.

— Захар Ильич...

— Не могу!

— Простите!

— В чем тут простить? заплати штраф и ступай с богом! Правда, я человек добрый, это все узнали, но я не хочу делать поблажки никому, потому что всякого рода уступка ведет к беспорядку: мы, как граждане и просто как соседи, непременно должны стараться заставлять друг друга исполнять свои обязанности, иначе произойдет столкновение, путаница... Ты видел, какие ограды я выстроил? Сделай и ты то же самое! Я знаю, первый ваш враг — это лень. Прежде, во времена крепостного состояния, вы еще могли лениться и делать все из-под палки, зная, что в случае нужды помещик вас выручит; но теперь настало такое время, когда выручать вас более некому, когда вы предоставлены самим только себе, когда нельзя более жить спустя рукава! Вот то-то и хорошо! каждый из нас неминуемо должен сделаться гражданином в самом обширном смысле слова.

— Простите, Захар Ильич!

— Не могу, друг мой!

Захар Ильич держал в зубах сигару и смотрел в сторону.

Вошла барыня Анна Григорьевна с целой толпой маленьких собачонок.

— Какой чудный вечер!.. и какая скука!

— Не знаю; мне не скучно, ma chère![1]

— Тебя вечно занимают разные пустяки — счастливый характер! а я не могу, как ты, целый час толковать с мужиком об эмансипации...

— Но надо же рано или поздно развивать этот народ, надо же внушать ему, что чужая собственность священна и потому ограждена законами и что...

— Мими! Каро! Каро! — закричала Анна Григорьевна на собак.

— Не могу, дружок! — обратился Захар Ильич опять к мужику.

Мужик упал в ноги.

— Послушай, я не терплю этого, встань! Я вижу, что в вас нет капли сознания своего достоинства. Человек! позови старосту! до какого унижения вы себя доводите.

— Что делать, Захар Ильич! дома есть нечего.

Пришел староста.

— Послушай, Ефим, много там потравы сделала вот его лошадь?

— Нет, нисколько... опричь, что взошла.

— Ну, выпусти ее и отдай этому мужику. Ступай, любезный.

Староста и мужик удалились. Супруги молча глядели на раскинувшееся против них село с прудом, церковью, крестьянскими дворами и ветряной мельницей вдали, освещенной заходившим солнцем; на церковную крышу и сиявшие кресты слетались стада галок, на селе раздавались неясные крики людей и животных.

Перед балконом явился целовальник в длинном суконном сюртуке, с цветным галстуком, с фуражкой в руке.

— Здравствуйте, Захар Ильич!

— Вы чьи такие?

— Признаться, ваши соседи: вот тут, на большой дороге, кабак содержим.

— Так это ваш кабак-то?

— Так точно-с. Мы его, стало быть, снимаем уж лет десяток с прибавком.

— У вас хорошая водка; кажется, мы у вас брали?

[1] Моя дорогая *(фр.)*.

— У нас. Ваш кучер третьего дня приезжал. Водку мы держим всегда очищенную.

— Взойдите сюда. Что ж вы нам хорошенького скажете?

— Мое вам почтение,— отнесся целовальник к хозяйке, на что последняя отвечала легким движением головы, поглаживая собачку, лежавшую у нее на коленях. Однако черные глаза целовальника обратили на себя внимание барыни, и она поправилась в креслах, по-видимому намереваясь посидеть подольше на балконе.

— Ну-с? рассказывайте.

— Дельце такого рода: слышал я, Захар Ильич, что вы очень любите читать книги, одолжите мне какую-нибудь книжечку: сидишь-сидишь в кабаке, знаете — скучно! Получал я тут от одного дворника журнал «Странник», книжка занятная; да теперь, прочитавши эту книжку, и сижу без дела. А еще сызмаленька пристрастие-то есть к чтению...

— Хорошо! только напрасно вы читаете «Странник». А я вам дам «Русский вестник», «Отечественные записки», мало ли хороших книг? А газет вы не читаете?

— Никак нет-с.

— Вы у помещиков попросили бы.

— Здесь, Захар Ильич, помещики почти ничего не читают.

Супруги с улыбкой переглянулись, и Захар Ильич, опершись своим подбородком на палку, проговорил:

— Верю, верю!.. еще далеко от нас время, когда чтение сделается настоятельной потребностью каждого.

— Захар! — сказала барыня,— ты дай им роман Тургенева «Накануне».

— Да, да... Еще я вам дам «Современник», а впрочем, вот что, Анна Григорьевна, не дать ли им сначала Гоголя? Мне кажется, это будет некоторым образом фундамент для них... Опять же русский, народный писатель, этот, наконец, юмор...

Супруги даже обрадовались, что им предстоял такой удобный случай просветить целовальника. В них зашевелилось нечто похожее на родительское чувство к нему.

— Вы не читали Гоголя? — спросила Федора Петровича барыня.

— Не читал, сударыня.

— Так надо дать, Захар. Вот еще, пожалуй, «Подводный камень».

— Нет! к чему же, мой друг, «Подводный камень»?

Это немного неловко... для их семейного-то быта...

— А как же, по-вашему, их семейный быт должен оставаться в патриархальном состоянии?

— Там другие условия, mon ami!..[1]

— Лучше скажите, там больше деспотизма, нежели у нас,— сказала по-французски барыня.

— Я не спорю... Пожалуй, я дам и «Подводный камень»... Как вас зовут?

— Федором.

— По отчеству?

— Был Петров.

— Так, Федор Петрович, это мы вам устроим... Я вам дам книг.

— Благодарствуйте, Захар Ильич. Вы поистине отведете мне душу.

— Непременно, непременно. Садитесь. А я вот здесь занимаюсь хозяйством.

— Хорошее, сударь, дело. Хозяйство — занятие приятное.

— Конечно, сначала мне будет трудно! Придется бороться со многими закоренелыми обычаями здешнего края, но бог милостив. Я действую постепенно, не вдруг, даже и у себя в хозяйстве: сначала уничтожил здесь старые и совершенно неудобные помещения, сломал ригу, конюшню, амбары — и все это строю вновь. Скоро выпишу из Москвы молотилку, сеялку, веялку, сеноворошилку... У меня даже есть мысль выстроить, конечно со временем, при этом пруде винокуренный завод. Да-с, трудов предстоит много, но что делать! труд, труд — и все придет само собою.

— Конечно, без труда ничего не бывает,— скромно заметил целовальник,— говорит русская пословица: «Что посеешь, то и пожнешь».

— Я с вами согласен! Труд, так сказать, рычаг, залог всякого успеха! И в нашем отечестве настало именно время всеобщего труда, такое время, когда каждый из нас по мере сил своих должен трудиться. Спрашивается: почему западные державы опередили нас во всем? Почему? Да потому, что там каждый работает, как пчела, там нет бесполезных тунеядцев, паразитов... там благосостояние каждого определяется его собственным трудом! Человек! подай сигары!

---

[1] Мой друг! *(фр.)*

— К такому именьицу следует приложить руки, именьице хорошее,— сказал Федор Петрович.

— Имение... как вас? кажется, Федор Петрович? Имение действительно хорошее. Ведь две с половиной тысячи десятин одной пахотной земли — за наделом крестьян! Кажется, золотое дно? Но вот подите же! — Хозяин закурил сигару.— Надо вам сказать, что владелец Ямовки — мне друг. Мы с ним вместе росли, вместе воспитывались. Он мне, одним словом, дал полную доверенность, даже, можно сказать, неограниченную... И только об одном просил: «Пожалуйста, говорит, приведи в порядок это заброшенное имение». Приехал я сюда и нашел все в таком беспорядке, в таком, как вам сказать, опустошении и запустении!.. То повалилось, другое завалилось; помещение для скота варварское, рига, конюшня, даже самый дом... ну, одним словом, я все это велел сломать и теперь взялся взаправду!.. Теперь я надеюсь все это взять в руки! Да, вот мне нужно обзавестись рабочими лошадьми...

— Лошадей, Захар Ильич, тут достанете. Конечно, и на Лебедянской ярмарке можно купить, но это далеко отсюда, и ярмарка придет не скоро. Тут один мой знакомый торгует лошадьми и дешево продает.

— Мне нужна рабочая лошадь, не дорогая, но крепкая.

— Лошади прочные у него. Я ему скажу, он даже отберет для вас особенных.

— Да, скажите ему; я вам буду благодарен. Вам не угодно ли, Федор Петрович, водки со мной выпить? Я в это время пью водку.

— Покорно благодарю.

— Васька! дай нам водки. Давеча утром был у меня священник. Я тоже утром пью водку... ну, а теперь выпью с вами. Одному как-то скучно пить.

— Без компании подлинно скучно.

Хозяевам, как видно, начинал нравиться Федор Петрович своею скромностию, необыкновенной вежливостию и, сверх того, еще жаждою к просвещению. Подали закуску.

— Прошу покорно! Что касается книг, то я вас награжу ими. Скучать не будете,— говорил хозяин, закусывая,— а насчет лошадей в самом деле скажите вашему знакомому, чтобы он пригнал их сюда показать мне.

— Это останетесь, сударь, довольны! лошади плотные, рабочие лошади, и возьмет он с вас недорого.

— Я думаю, вам очень скучно в кабаке? — спросила барыня,— даже страшно, мне кажется... живете одни... в поле...

— Дело наше привычное, ведь с малолетства этим ремеслом занимаемся. Конечно, бывают тоже разные случаи, не без того; говорит пословица: «Дурному человеку в поле — две воли».

— Какие же случаи?

— Да вот хоть, например, осенью было дело... Сижу я в кабаке, уж около полночи... вдруг кто-то стучит в ставень. Спрашиваю: кто? Не откликается... Жена спала это время, работник тоже спал, а я составлял счеты, писал. Слышу, опять кто-то стучит. Вышел я в сени, смотрю — ломают дверь. Я разбудил работника и пошел с ним. А он, известное дело, мужик, работник-то, струсил да ушел опять в кабак... А это были двое беглых солдат. Я связал им руки и наутро представил их в город.

— Вы сладили с ними?

— Сладил-с...

Барыня во все глаза посмотрела на Федора Петровича.

— Вы очень сильны?— спросила она.

— Хвастать не хочу, а, благодаря бога, езжу по ночам всегда один... про запас ничего не беру... Чего бояться? Его святая воля!

«Экой молодец!» — подумала барыня.

— Действительно,— заметил барин,— кто там что ни говори, а бог первая защита!..

— А что я так-то думаю, Захар Ильич,— начал Федор Петрович,— вы меня извините... Что бы вам выстроить здесь, в селе, торговую лавочку? Крестьян тут более девятисот душ, а им надо бывает купить то, другое... Город отсюда далече. Есть на постоялых дворах тут лавки, тоже не близко: верст шесть наберется. Опять, другое дело, касательно ежели что продать захочет мужичок, положим, хлеб, что ли... то он должен это везть вон куда, а то бы он продал здесь, у вас...

— Где же это выстроить?

— А вот у вас, напротив церкви, местечко-то; земелька ваша собственная, а местечко куда как хорошо! Теперь праздничное время, народ прямо от обедни в лавку: взял купил себе что надо и поехал себе с богом! Я не к тому, примерно, чтобы насчет обмана, как прочие торговцы... а бога боясь! Можно все пустить дешево супротив других, а барышок какой ни на есть будет: все вам очистится

плохо-плохо триста рублей в год, а нет — и больше; вы и мужичкам пользу сделаете и себя не обидите. Да тут прямо можно выстроить постоялый двор, значит, на этом самом месте: тут проезд всегда хороший, даром что дорога проселочная. Я, как здешний житель, полагаю, что это будет хорошо; впрочем, советовать не смею... вы извините...

— Помилуйте, напротив, я вам очень благодарен. Но позвольте, точно здесь проезд хороший?

— Летом нельзя сказать, чтобы очень шибко ездили, а и летом тут ездят.... Может, чай, изволите когда слышать колокольчики?

— Правда.

— А уж зимой здесь простору нет! обоз за обозом, возок за возком... отменное-с местечко!.. И весело будет жить. Даже если вы сумневаетесь, мы у вас тогда снимем эту самую лавочку, отдадим вам чистые денежки.

— Послушай, mon ami! — обратился Захар Ильич к жене,— какая у меня мысль! Представь, я думаю здесь выстроить гостиницу для проезжающих; устрою этакой небольшой, но чистенький трактир, нумера... Наконец, ведь в самом деле у нас в захолустье нигде не встретишь не говорю порядочной гостиницы, просто — порядочной избы, а между тем по этому захолустью нередко приходится проезжать и порядочным людям; да и, например, зимней порой вдруг кого-нибудь застигнет ночь, кто-нибудь, например, заблудится... вдруг — гостиница! Я вам, Федор Петрович, очень благодарен за мысль! Annette, как ты думаешь?

— Я тоже думаю, что это будет хорошо. Вот если бы ты такими умными вещами занимался, это бы тебе делало честь, вместо того, чтобы ломать и строить какие-то амбары, риги...

— Превосходно, превосходно! не мешает купить небольшой орган... пусть мужики слушают... Это слегка развивает...

— Да можно наши фортепьяно туда поставить... ведь у меня будут другие...

— Пожалуй, пожалуй... Только кто же будет на них играть?

Федор Петрович взялся за фуражку.

— Что же вы? Посидите!

— Признаться, тороплюсь: в кабаке жена одна. А это вы, сударь, именно в самый раз тут выстроитесь.

— Я непременно выстрою гостиницу, конечно и ла-

вочку также. Ну, а что мне будет стоить вся эта затея, как вы думаете, Федор Петрович?

— Да что она будет стоить? Вы полагаете одноэтажный домик выстроить?

— Мне хотелось бы двухэтажный; понимаете ли, наверху будет чистая гостиница для порядочных людей, а внизу лавочка.

— Да не дорого вам будет это стоить: лесок у вас благодаря бога свой; соломка, хворостик — тоже... работа одна да товар... товар дешевенький... Я полагаю, на триста с небольшим управитесь...

— Только?

— Да я еще, сударь, дорого кладу... по расчету меньше обойдется; а она, эта самая материя, в год окупится.

— Я вам, Федор Петрович, право, очень благодарен.

— За что же? Не стоит... Желаю вам всякого благополучия.

— Вы нас проведывайте.

— А что же книги-то? — сказала барыня.

— Уж книжечку позвольте... для меня это будет подлинно удовольствием,— проговорил Федор Петрович.

Хозяин и хозяйка хлопотали вокруг целого вороха книг.

— Гоголя положила?

— Но вот что: не дать ли им «Обломова»?

— Пожалуй! в самом деле, «Обломова»? вещь капитальная; пусть они там выберут себе по вкусу... Человек! завяжи книги... Что ты, друг мой, ищешь? Авдеева! Авдеева я положил... Вот вам, Федор Петрович! Читайте себе сколько душе угодно. Мне всегда нравятся люди, в которых есть какая-нибудь любознательность: в жизни, природе, науках, искусствах — все интересно! Поэтому именно — чтение, чтение... И вы читайте себе! Я вам буду доставлять книги.

— Вы прочтите «Подводный камень» или «Обломова»,— сказала барыня,— после скажите мне ваше мнение...

— Очень хорошо-с.

— Где же ваша лошадь? — спросил хозяин.

— Она там у конюшни привязана.

— Вам сейчас подадут.

К балкону подъехала высокая серая лошадь, запряженная в купеческую тележку.

— Прощайте, Захар Ильич!

— Заезжайте же к нам.

Серый жеребец, загнув шею дугой, понесся мимо каменной ограды.

— Вот этакая беседа,— говорил Захар Ильич своей жене во время ужина,— с простым, умным человеком гораздо приятнее, нежели, например, с каким-нибудь помещиком, который потерял всякую энергию к жизни, обленился и ни о чем не в состоянии думать... В нашем так называемом образованном обществе чувствуешь какую-то нравственную тягость: какие-то предвзятые у каждого мысли! То ли дело простой русский человек! Все это просто, открыто, а между тем и умно! Говорит пословица: «Хоть шуба овечья, но душа человечья!»

— Однако какая скука! Нет! без гостей в деревне невозможно,— сказала Анна Григорьевна.

— Послезавтра, ma chère, день моего рождения; я думаю, вечеринку надо сделать.

— Да уж обед... к чему же вечеринку! Ну, конечно!

Анна Григорьевна села за фортепьяно, и в отворенные окна полились аккорды... Барыня запела: «Ты не пой, соловей». Захар Ильич начал подтягивать — и вдруг сказал:

— Давай пропоем дуэт! Я себя чувствую сегодня очень хорошо!

— Ты, кажется, всегда чувствуешь себя хорошо. Но у тебя, Захар Ильич, совсем нет уха... ведь это бог знает что выйдет.

— «В полдневный жар»? Или «Скажите ей»? У нас с тобой выходило недурно.

Супруги запели. Захар Ильич забрал совсем не в тон.

— Нет, я не могу! — И Анна Григорьевна закрыла фортепьяно.

— Ну, я вас прошу! к чему эта строгость?

— Оставьте меня... право, я не люблю ваших нежностей,— сказала Анна Григорьевна и отправилась в спальню. Супруг поплелся в кабинет.

На небе занималась заря; на селе пели петухи; по безлюдной улице к полю шли двое дворовых людей с сетьми — ловить для господ перепелов.

На большой дороге у кабака стояла лошадь: кто-то неугомонно стучался в дверь. А в воздухе уже пели жаворонки.

— Ступай отпрягай лошадь,— говорил целовальник работнику.

— Где это ты пропадал? — спрашивала целовальничиха.

— К куму ездил... насчет лошадей барину... да еще — одно дельце задержало.

Работник отпрягал лошадь и спросонья клевал носом. Жаворонки пели громке и громче...

III

Наступил день рождения Захара Ильича. Солнце только всходило; толпы баб отправлялись в поле с серпами, кувшинчиками и люльками, на барском дворе стучали топоры плотников, сидевших на стропилах; кровельщики гремели железными листами, вокруг сада каменщики клали стену, громко распевая песни; в кухне стучал поварской нож, горничные бегали по двору с накрахмаленными юбками в руках.

Захар Ильич уже пил чай в своем кабинете. У двери стояли повар, конторщик и староста со связкой ключей.

— Староста! Нынче опять поезжай в лес... остальные липы срубите и везите туда же к церкви... Мне хочется, чтобы гостиница была готова в две недели. Да найми сегодня же плотников — человек десять.

— Пора-то таперь рабочая... дорого возьмут.

— Хорошо-с! Я это знаю; ну, заплатите вдвое, только делайте, как вам приказывают.

— Слушаю-с.

— Повар! сегодня обед на десять персон... сделайте мороженое... да приготовьте шампанского. Что у вас будет к обеду?

— Суп... индейка, перепела... мороженое...

— Вот что: к завтраку пирог! я приглашу причт... Конторщик! сбегайте к священнику, скажите, что я сейчас приду в церковь слушать молебен. Повар! спросите у садовника дынь, а если не поспели, то арбузов нет ли... Я, право, по этой части ничего не понимаю, это дело барыни.

— Оне почивают.

— Ну, мне пора одеваться.

На пути к церкви Захар Ильич завернул в хлебный магазин, в котором стучали топоры плотников.

— Ну, что,— спросил барин, глядя вверх,— как ваши дела?

— К обеду, Захар Ильич, кончим, надо полагать,— только прикажите отпустить небольшой дубок — на закрома.

— Вы как же хотите тут сделать?

— В этом месте будет забираться досками. а тут мы оставим место для проходу; сохи упрут в матицу.

— Как кончите, ступайте начинайте гостиницу.

— Позвольте узнать: что же это, Захар Ильич, будет — трактир?

— Трактир,— усмехаясь, сказал барин.

— Тогда город-то, стало быть, к нам поближает,— заметил один плотник.

Причт ожидал барина в церкви. Барин принял благословение от священника и сказал:

— Батюшка! прошу отслужить молебен.

Причт облачился в ризы и запел: «Преподобне отче Заха-арие!..»

Барин пригласил духовных к себе в дом на закуску.

— Трактир строить хотите, Захар Ильич? — спрашивали гости, идя с барином по селу.

— Гостиницу. Это меня надоумил целовальник, Федор Петрович: открою здесь лавочку также.

— И кабачок, позвольте полюбопытствовать, будет?

— Не думаю. Мне этого не хотелось бы... Скажите: кажется, Федор Петрович хороший человек?

— Человек умный-с! человек угостительный.

— Именно умный! ваша правда. А ничего про него не слыхать дурного?

— Дурного ничего не слыхал... хлебосол!

Навстречу барину бежал кучер.

— Пожалуйте, лошадей привели!

— Каких лошадей?

— Вы приказывали... рабочих...

У конюшни стояло стадо лошадей. Мещанин, пригнавший их, стоял без шапки.

— Здравствуй, почтенный! Так ты пригнал?

— Пригнал, ваше высокоблагородие. Вы наказывали Федору Петровичу.

— Ну что же? как их выбирать?

— Да выбирать их почесть нечего! лошади все сносные, будьте покойны; я вам самых лучших представил...

— Ну-ка, покажи нам одну хоть.

Мещанин обратал лошадь и побежал с ней в сторону.

— Кажется, лошадка ничего,— сказал барин.

— Да будьте спокойны... мы этого не сделаем, чтобы... насчет обмана...

— Ленива только,— сказал дьякон.

— Ленива? — возразил мещанин,— а не знаете, отец, что в хозяйстве ленивая и нужна? Ну-ко, горячую-то за-

прягите в соху? Она вам ни одного зуба не оставит...

— Это справедливо,— сказал дьякон, попячиваясь назад.

— То-то! а еще небойсь хозяйством тоже занимаетесь... мы вам не указываем в церкви...

— Ну-ка, проведи другую... А что это у ней спина-то?

— Это, ваше высокородие, потерто: она, изволите видеть, у мужика была... а вы, чай, изволите знать этот народец! Железную, понимаете, седелку клали на спину-то... А какая лошадь-то!.. Эй! заснула!..

— Покажи нам... вон, в середке-то.

— Темно-гнеденького-то?.. Уж и конь! Сейчас умереть!

— Ногами попорчена,— заметил дьячок.

— Попорчена? Сидел бы на колокольне да трезвонил в колокола...— крикнул прасол.— Эта лошадь дороже тебя!

— Ну, как ты думаешь, Егор? — спросил барин своего кучера,— хороши лошади?

— Лошади справные. Как ценой-то, надо узнать.

— Мы за ценой не погонимся! А ежели вам по ндраву, Захар Ильич, прикажите гнать на двор. Об цене толковать нечего. Пятнадцать рублей штука!

— Это не дорого! так загоняй лошадей на двор и ступай к конторщику. Он тебе выдаст деньги.

Оставшись один на один с кучером, прасол сказал ему:

— Заверни к Федору Петрову!..

— Сочтемся! — отвечал кучер.

Часа в два начали съезжаться гости. В гостиной сидела барыня с холостыми помещиками, доказывая им, что мужчинам ни в чем нельзя верить.

В кабинете и зале толпились пожилые и семейные помещики.

— Ну, как, милый Петр Абрамыч, вы поживаете? — шел разговор.

— А вот так мы и поживаем, почтеннейший Егор Григорьич..

— Живите, живите.

— Хочу, батюшка, сделать себе новую терку для картофельного крахмала. Изволите видеть: будет ремень и две терки... и над барабаном будет сидеть мужик, чтобы наблюдать, не попало ли чего-нибудь... Например, вдруг камень... стой! мужик вынул камень, и пошла писать...

— А над мужиком устроить тоже какую-нибудь машину?..

— Хе, хе, хе!.. именно машину!

— Я хочу выписать из Москвы костяное удобрение,— говорил Захар Ильич,— за границей везде удобряют костями... одним словом, пора взяться за дело русским хозяевам!

— Нет, Захар Ильич, в России все эти машины да химические удобрения не годятся. По-моему, надо удобрять навозом, пахать матушкой-андреевной сохой, держать кляч, а не лошадей; потому что хороших лошадей у вас испортят, машину сломают! нам надо еще учиться, приноравливаться к мужику, к его лени и плутовству — особенно теперь, когда мы стали в зависимость от этого народа. С мужиком нельзя делать никаких договоров... Словом, настоящее разумное хозяйство у нас невозможно!

— Нет, нет! я с вами не согласен! я вам докажу, что всему виною мы...

— Захар Ильич! позвольте вам заметить: а климат наш? вы ни на что не можете смело рассчитывать, ни на какой затраченный капитал: зима без снега... засуха, град... одна надежда на милость божию.

— Позвольте, Захар Ильич, мне заметить вам: как теперь обработывается земля? Прежде всевидящая палка надсматривала, а теперь мужичок пашет, как ему вздумается...

— Опять я с вами не согласен! — говорил хозяин.

— Конечно,— заметил один помещик,— Захар Ильич действует рационально... в этом мы должны признаться... В самом деле, спросить: какие мы хозяева? разве так-то ведут хозяйство?..

Лакей объявил, что обед готов. Гости начали садиться за стол.

— Нет, господа! — говорил Захар Ильич в конце обеда,— кто что ни говори, я остаюсь при своем и буду действовать, как начал! меня ничто не собьет с дороги! Жалуетесь на мужика? существует штраф и вычет из жалованья,— это надежней всякой палки! Я никому не поверю, чтобы у хозяина, который сам следит за своими интересами, дело могло идти дурно. Каким образом мне плохо вспашут землю, когда я сам слежу за работой? Как мужик смеет не исполнять своих обязанностей, когда нас охраняет закон? Что же? разве закон не имеет силы? Вспомните нашего мирового посредника, которому дворяне делают обеды и говорят спичи... За что, как не за то, что он наш верный оплот, охраняющий законами наши

выгоды? Повторяю, как вы хотите, а я непоколебим и поведу новое хозяйство. Настало время проснуться каждому из нас! Где мы живем? в какой стране? Слава богу, мы не турки, у нас не существует ни произвола, ни права сильного, мы живем в благоустроенном государстве, где благие меры правительства чувствуются на каждом шагу.

Помещики молчали, чувствуя себя побежденными. Многих поражал высокий ум хозяина.

— Вы жалуетесь на климат,— продолжал хозяин,— позвольте спросить: разве не бывает засух, града и неблагоприятной зимы в Англии? А посмотрите, как там идет хозяйство! (Голос: «Правда!») И разве эти явления не случайные у нас? Ведь, несмотря на вражду с нами природы, мы, русские, не только кормимся сами, но даже кормим иностранцев: пшеница, рожь, пенька, сало, клевер — разве не отправляются нами за границу? (Знаки одобрения и голоса: «Правда! верно!») Разве Россия не считается хлебородной страной, по преимуществу страной земледельческой? Вот вам и климат! Нет, у меня явится все! Стоит только трудиться. Но я разумею труд по призванию: люди, не призванные к сельскому хозяйству, должны, по-моему, бросить его, иначе оно, кроме мучений, ничего не будет обещать. Я, господа, встаю в пять часов утра и целый день на ногах и, кроме удовольствия и хорошего расположения, ничего не чувствую! Вот вам пример. (Голоса: «Браво!»)

Подали шампанское.

— За ваше здоровье! — воскликнули гости.

— Господа! — сказал хозяин,— мне весьма приятно, что вы сделали мне честь вашим посещением.

— Со днем вашего рождения!

— Благодарю, господа.

Гости выпили. Лакей налил еще.

— Господа! позвольте провозгласить тост за процветание русского сельского хозяйства!

— Ур-р-ра!..

Хриплые голоса раздались в зале.

— Господа! За почтенное Петербургское вольное экономическое общество, а также за его «Труды»!

— Браво!..

— Господа! позвольте предложить тост за почтеннейшего и многоуважаемого нашего собрата, Захара Ильича! Его неутомимая деятельность, высокое просвещение, необоримое стремление к прогрессу должны заставить ка-

ждого из нас желать, чтобы таких людей было побольше среди нашего благородного дворянства!

— Благодарю, господа! Предлагаю тост за освобождение крестьян из крепостной зависимости. Да здравствует свобода, озарившая радостью не только чертоги вельмож, но и бедную хижину земледельца!

— Господа! — крикнул один пьяный,— ура!

— Ур-р-ра!..

В то время, когда в доме Захара Ильича провозглашались тосты, из деревни Яблоновой, стоявшей недалеко от Ямовки, выезжали беговые дрожки, на которых сидели два закадычные друга: яблоновский приказчик и целовальник Федор Петрович. Они уже напились чаю и ехали разгуляться на свой вместный клевер, оттуда на пасеку и кстати посмотреть своих калмыцких овец. Толстый приказчик правил лошадью, Федор Петрович сидел назади. Друзья проехали заливной луг, с бродившими на болотах цаплями и висевшими в воздухе стадами уток, и очутились в поле.

— Статья теперь вот какая,— говорил Федор Петрович,— я насчет ямовского барина... урожай у них у всех плохой, а у ямовского барина хуже всех, а у него и за ухом не чешется! он себе городит городушки... Так думаю я: ежели не в нынешнем, то в будущем году он беспременно продаст не только лес, а, пожалуй, что хочешь спустит, как денежки все размотает и начнет поплясывать... а народ этот горячий... вот тут-то мы с вами к нему и подъедем... словно между делом... а лесок — толковать нечего!..

— Да, теперь подходит самое настоящее время... Скоро и мой профинтится... Я, чуешь, тоже пишу свому барину, не продаст ли он свою рощу?.. Дескать, я буду подыскивать покупателей... А каждую почту строчит мне: денег, говорит, денег, пожалуйста... Я уж ему прямо отвечаю, откуда же я их возьму?.. Теперь ведь я не крепостной, по мне хоть завтра с места долой...

— Да и лафа, Григорий Сидорыч, подходит! скоро, кажись, земли пойдут продаваться по десяти целковых за десятину...

— Время — говорить нечего! другого такого времени навряд дождаться... уму непостижимо, что делается!.. Ведь, слышь, примерно, над пропастью висят; а все свое: балы да белендрясы... А все что? Избаловались!..

— Набаловались — здóрово!

Между тем сытый жеребец нес друзей через деревни

с кланявшимися мужиками, через мостики, овраги и, наконец, привез их на клевер. Друзья сошли с дрожек и сорвали по пучку клевера.

— Слава богу!.. кажись, надежда есть...

— Ничего!.. А насчет овинов не беспокойтесь. Наум Васильев наш справит их в лучшем виде! И возьмет от силы тридцать рублей!.. опять же он свое дело знает...

— В Москве овинный клеверок щеголяет... Ну, как вы думаете, Федор Петрович, рассчитываю: плохо-плохо выйдет у нас триста пудов... класть по пяти даже рублей — вот полторы тысячи... а солома? она, пожалуй, окупит всю работу... Да я своих мужиков пошлю...

— Поедем взглянем на ямовский лесок-то, пока засветло... на пасеку, видно, не поспеем нонче...

Друзья поехали межкой в гору, и вскоре пред ними выглянул густой ямовский лес. Сидевший на дубу против заходившего солнца ворон поднялся вверх и закричал, как бы предвещая что-то недоброе. Целовальник и приказчик не отнесли этого предвещания к себе, но оно, по их мнению, скорее относилось к владельцу леса. Друзья объезжали лес кругом и остановились на рубеже.

— Дело вот какое: кореней тысячи три с прибавкой будет... рубль штука — тысяча рублей... да дрова... рублей пятьсот дать можно... да он, пожалуй, возьмет и меньше...

— Вот, Григорий Сидорыч, посмотрите, хлеб-то ямовского барина — какой!.. что это такое? Колос от колоса — не слыхать даже птичьего голоса!..

Приказчик улыбался и пожимал плечами.

— Не правду я вам говорил?..

Друзья поехали домой.

— Теперь, Григорий Сидорыч, ко мне,— говорил целовальник, когда пришла большая дорога.

— Ведь поздненько, кум!

— Вот еще, что вздумал! Я к нему езди, а он так шалишь!

— Да ведь у вас, право, забалуешься.

— На что баловаться? Надо выпить хорошенько, а баловаться нечего! Ну, я работника дам проводить... да теперь ночи лунные.

— Я не об том... Завтра чем свет вставать надо!..

Приказчик повернул лошадь к кабаку.

— Кума, здорово!..

— Ах, куманек, голубчик!.. Здравствуй, насилу-то ты к нам заехал!

Приказчик и целовальничиха крепко поцеловались. На стойке явилась белая скатерть, разные яства и несколько бутылок.

— Спесивый, право спесивый!.. Бог с тобой!..

— Эх, кума!.. кабы ты знала наши хлопоты!..

— Григорий Сидорыч, Григорий Сидорыч! посмотри-ко поди сюда,— сказал целовальник, глядя в отворенное окно.

По большой дороге катили экипажи с помещиками.

— Это бал был у ямовского барина,— заметила целовальничиха, тоже подбежавшая к окну...

— Гуляют себе!..

Ехавшие, размахивая руками, кричали:

— Ур-р-ра!..

IV

Через неделю лакей доложил Захару Ильичу, сидевшему в кабинете:

— Целовальник приехал.

— Проси!

— Здравствуйте, сударь!

— Прошу садиться, почтеннейший Федор Петрович... Лошадей я у вашего приятеля купил, и целых двадцать штук; заплатил недорого: да вот беда, отчего-то они хворают? Некоторые из них, как говорит коновал, опоены, а иные очень стары. Но я вас вовсе не виню, ведь продали лошадей не вы...

— Захар Ильич! не только с лошадью, а с каждым человеком может случиться и болезнь и старость... все под богом ходим! Теперь время стоит жаркое, опять же работа, сами возьмите! надо бога бояться! А вот они как пообдержатся, и будут вам служить! Касательно же опоя, коновал этого дела не знает. Может ли опиться простая, рабочая лошадь? Какой же мужичок прямо от сохи гонит ее к речке, или извозчик прямо с перегону поит лошадь и задает корму? Коновал ничего не знает, Захар Ильич!

— Действительно, коновалам доверяться нельзя, это я знаю по опыту; один у меня уморил в двести рублей лошадь. Ну, да кроме того, я рассчитываю так: если бы даже околело из купленных лошадей штук пять, и тогда

это не составило бы для меня почти никакого урона, потому я дешево заплатил за них; чего в самом деле требовать от лошади, за которую заплачено пятнадцать рублей! Кроме того, они ведь работают! приносят пользу!..

— Нет, мне все-таки неприятно, Захар Ильич.

— Вздор! Ну, что! вы видели, как гостиница-то строится?

— Как же-с! дай бог час, Захар Ильич!

— Каково? Я ведь не люблю откладывать! это не в моем характере.

— Важное, сударь, дело затеяли.

— Нет, каково в самом деле? вы видели лес?

— Липа-с! дух будет легкий.

— А? как вы думаете? какую мы с вами штуку-то удрали! А все-таки честь открытия принадлежит вам... вам... Да, Федор Петрович, вы мне открыли глаза! Я даже нахожу, что это событие следует напечатать в газетах, что настало, наконец, время, когда и в глуши, среди степей, цивилизация пробивает себе путь...

— Завтрак подан! — доложил лакей.

— Федор Петрович, пойдемте завтракать. Пожалуйста, без церемонии. Я с простыми людьми сам прост. Вчера были у меня помещики; вы не можете себе представить, что это за люди! ни малейшего стремленья к улучшению... никакого желания человеческого. Все, что я ни затеваю, им кажется диким... конечно, есть и между ними люди понимающие... Но вообще я ничьих советов не слушаю и знать их не хочу! Я сам себе господин!

Хозяин и гость вошли в столовую. За столом сидела барыня.

— Как же-с! я вам уж привез книги.

— Так скоро?

— Помилуйте, я продержал их более недели.

— Да что ж такое? разве мы вам дали на срок? Держите их у себя сколько угодно!

— Вы, Федор Петрович, не стесняйтесь,— подтвердил барин,— читайте себе да читайте! мне именно в вас нравится эта жажда любознательности... Если вспомнишь, как человеку много знать надо и как коротка человеческая жизнь...

— Ты всегда любишь пускаться в лиризм,— заметила барыня.

— Но, мой друг! Жизнь... это что-то высокое... как тебе сказать, это такое явление, такой...

— Что же вы читали? — перебила барыня, обращаясь к целовальнику.

— Читал я, сударыня, как оно... забыл название...

— «Обломова»?

— Кажись, так...

— Ну, что? каково написано?

— Ничего-с, любопытно...

— Вот вам русский человек! — сказал Захар Ильич, чавкая,— лучше сказать, байбак! это какая-то египетская мумия, а не человек... вот вам тип русского человека!

— А мне нравится Обломов,— сказала хозяйка.

— Не правда ли, какой умный и так рельефно выдающийся из толпы наших пошлых современных людей, которые смотрят на женщину, как на какое-то лакомое блюдо... А «Подводный камень»?

— Эту я только начал,— сказал целовальник, держа под столом руки.

— Вот вы будете читать, обратите внимание на то, как Наташа уезжает от мужа...

— Но, мой друг, положим, что вещь эта действительно современная... я не спорю... Соковлин — человек благородный...

— Прочтите, прочтите! — продолжала барыня.

После завтрака Захар Ильич предложил гостю отправиться посмотреть гостиницу. На пути они зашли в конюшню, на скотный двор, посмотрели ригу и молотилку. Во все это время Захар Ильич доказывал, что скоро все имение будет как игрушка. Когда хозяин и гость подходили к гостинице, их встретила толпа мужиков и церковный причт.

— Что хорошенького скажете, миряне?

— К вашей чести, Захар Ильич,— зашумел народ. Поп выступил вперед и начал:

— Ваше высокородие, весь причт и все прихожане просят вас быть у нас церковным старостой, так как вы человек благородный, а церковь приходит в упадок. Прежний староста, за ветхостью своих лет, отказывается от должности, и мы, по совещании между собою, порешили избрать вас. Как сын церкви, не откажитесь от таковой... вас духовная мать наша будет поминать, дондеже стоять будет на краеугольном камени, иже есть Христос, зане есть глава.

— Я, православные, считаю за особенную для себя честь ваше предложение и, как христианин, не имею даже права отказаться от такой почетной должности. Но я

боюсь, буду ли я способен исполнять мои обязанности?

— А мы будем молить бога.

— Ну! когда так, да будет его святая воля!

Все сняли шапки и стали креститься на церковь.

— Позвольте вас поздравить с новой должностью.

— Благодарю, благодарю. Завтра прошу вас ко мне водки выпить. А в церковь я сделаю пожертвование.

Духовные, держа руки за спиной, потянулись за барином смотреть новое здание. Мужики остались на улице и начали толковать между собою:

— Однако Федор Петров подбился к барину-то!

— Эта голова охулки на руку не положит! Намесь барину лошадей представил,— все до единой калеки!

— Ведь их привел Васька-прасол?

— Экой ты! да он ему кум... Федору-то Петрову...

— Ты посмотри, он какую-нибудь штуку сделает с барином.

— А что?

— Да я почему знаю? разве я был у него на уме?

— А ты посмотри, какую штуку он с нами удерет: как заселится в этом трактире,— что тогда делать-то?

— Уж тогда держись! приберет всех к рукам! попятиться не даст! А что я думаю? Завладеет он тогда нами!..

— Чудно, братцы мои! Погляжу я: барин-то ровно с дуриной или помешанный какой. Надысь спрашивает старосту: что, говорит, пять копен ржи на десятине — хорошо или нет?

— И подает же бог счастие таким людям! какая имения-то!

Захар Ильич стоял на потолке, среди стропил, и говорил Федору Петровичу:

— Как же вы думаете насчет товара?

— Товар, известно, должен быть самый простой, деревенский: чай, сахар, табак, масло, кое-что по мелочам. А все-таки, как я вам докладывал, без продажи нашей нельзя. Проезжающий или свой мужик — во всякий след водка требуется...

— Не хотелось бы мне этого кабацкого безобразия,— сказал барин,— мне хотелось совсем прекратить пьянство в своем селе.

— Нет-с, Захар Ильич, пьянства вы не уничтожите! Ежели тут нет водки, мужик поедет вон куда! он скорее без хлеба просидит, нежели без водки! он последней овцы не пожалеет, как ему придет время пить-то!

— Как, однако, испорчен этот народ!

— Об этом и говорить нечего! народ пропащий,— так надо сказать!

— Я думаю, не мешает купить и хороших вин... на случай...

— Это — как вам будет угодно! для человека случайного не мешает про запас иметь и виноградные вина...

— Даже и шампанское!.. Я хочу, чтобы у меня гостиница была похожа на что-нибудь...

Захар Ильич и целовальник вдвоем отправились домой, раскланявшись с духовными.

— Федор Петрович! — говорил барин дорогой,— у меня есть до вас просьба: не можете ли вы закупить мне товару? Я долго думал об этом и вижу, что в этом деле нужен человек торговый, опытный. Что, если я пошлю покупать какого-нибудь ротозея старосту или мальчишку конторщика? конторщик опять пьяница... Но вы человек практичный, и торговая-то часть вам, кажется, знакома-перезнакома...

— С удовольствием, Захар Ильич; я готов послужить. Конечно, хвалиться не могу, а купить с расчетом, чтобы не было убытку в продаже, могу-с...

— Я вам буду просто обязан!

— Это можно. Позвольте спросить, Захар Ильич, кого же вы думаете посадить в лавку?

— Опять, батюшка, ничего не знаю; думал было — старосту: он честный человек... но ведь, согласитесь, куда же ему торговать? Про конторщика я вам говорил: пьяница, каналья...

— Да ведь я же прежде вам говорил, Захар Ильич, что мы можем у вас снять эту лавку! тогда бы водки-то покупать не надо: я бы свою перевез... А главное дело, денежки вы с меня получили бы чистенькие, без всякой заботы... Дело же мы можем сделать на бумаге, по закону... Значит, плутовства с нашей стороны никакого быть не может... Известно, вы меня мало знаете, вот поживете — увидите... Да если мы возьмем и мошенника, то и он не может ничего сделать супротив закона, когда обяжется контрактом. А я бы вам привел в порядок эту гостиницу то есть в лучшем виде!

— Федор Петрович! Я слушаю вас и не возражаю вам, потому что думал еще прежде то же самое, что вы теперь говорите!.. Помилуйте! да с моим великим удовольствием! вы меня, по душе вам скажу, на ноги поставите! ведь, кроме вас, совсем нет людей? Что же, я еще

кучера, что ль, посажу торговать? ведь это только смешно, но не резонно...

Пока барин и целовальник дошли до дому, они успели условиться в цене и в разных подробностях касательно будущего предприятия.

— Анна Григорьевна! — говорил барин жене,— поздравь нас! мы с Федором Петровичем заключили условие... Он будет жить с нами в Ямовке, заведовать гостиницей.

— Право?

— Видишь ли, мой друг, тут нужен человек опытный, торговый; а кого я посажу в лавку из своих? Тришку? — пьяница; Ермилку? — это разиня: у него все из рук будет валиться... Кого же больше?

— Ну, разумеется,— сказала барыня,— Федор Петрович тебе может быть очень полезен, так как ты вовсе неопытен в торговом деле... Я очень рада! Итак, вы будете нашим соседом? — обратилась барыня к целовальнику.

— Если бог благословит, сударыня... надеюсь заслужить Захару Ильичу... Я как понимаю, все пойдет у нас честно, благородно!

— Так нам надо торопиться,— сказал барин,— когда же ехать за товаром? вы уж, Федор Петрович, не откажитесь...

— Мы сперва выправим свидетельство на право торговли, а потом уж примемся за товар. В Москву ехать незачем: тут в губернии можно достать все... Вот прямо на Пятницкой улице есть купец Сорокин, человек честный и продает все по московским ценам, потому оптом!.. а главная вещь, безобманно...

— Браво! Человек, подай нам бутылку вина. Надо с Федором Петровичем магарыч выпить! Ну-с? За ваше здоровье, почтенный Федор Петрович. Дай бог, чтобы дела наши пошли как следует!..

— За ваше здоровье, Захар Ильич! Пошли бог успеха!.. Его святая воля!.. Дело начинаем — доброе...

При прощании Анна Григорьевна говорила целовальнику:

— Что же книги-то? держите их у себя, сколько хотите.

— Когда же теперь, ma chère, читать? теперь нам некогда... ты видишь, Федор Петрович будет занят.

— Теперь, сударыня, некогда читать,— сказал целовальник.

V

Прошел год, и утекло много воды. Большая дорога совсем заглохла, потому что оживлявший ее сколько-нибудь кабак давно был закрыт; оконные ставни не открывались ни днем, ни ночью; соломенную крышу снес ветер и развеял по полю; вместо нее торчал один хворост, сквозь который виднелась завалившаяся труба; на потолке облюбовал себе место филин, о чем заявляли носившиеся над кабаком стада галок и ворон. «Куда же девался целовальник? — думал посторонний проезжающий или богомолец, возвращавшийся из далекого Киева,— не умер ли? не постигло ли его какое несчастье? не проторговался ли и теперь с своей семьей живет в городишке, в глиняной мазанке, занимаясь прасольством, или... кто знает, что может случиться с торговым человеком?»

— Послушай, земляк, что ж это кабак-то? Или хозяин помер?

— Ты, божий человек, видно, не здешний? А целовальник жив. Посмотри, как он теперь поживает! любому барину не уступит!

И путник стоит в недоумении, как бы пораженный таким известием, потому что он привык с видом запустевшего кабака или одинокого постоялого дворика без крыши связывать в своей голове горькое несчастие, завершившее судорожные попытки человека завоевать себе кусок хлеба. Но так было до сих пор. Пройдет еще несколько лет, и путник сам будет подозревать, видя разрушенные дворики, не пособила ли судьба их бывшим владельцам, сжалившись над их борьбою с жизнью за возможность существования? «А что ж? дай бог!— решит про себя путник,— человек всю жизнь боролся с нуждою и много ночей не спал, живя в поле, слушая осенние ветры и упорно думая о своем законном праве на жизнь: помогай ему бог!» И, сам изувеченный нуждою, он даже перекрестится.

Торговля в Ямовке шла именно так, как описывал ее Захару Ильичу целовальник, когда советовал выстроить лавочку: каждое воскресенье, по окончании обедни, в кабаке и лавке толпилось множество народу со всего прихода; в лавке продавались даже ситцы и нанки. Водки выходило неисчислимое количество, брали ее все деревни, ездившие в Ямовку к обедне, и самая Ямовка пила больше прежнего. Хотя во время открытия своего заве-

дения Захар Ильич и сказал мужикам речь, что пьянство гибельно и потому надо пить осторожно, но эта речь лишь замерла в воздухе: ибо в тот же самый день, как выкинут был флаг над кабаком, Федор Петрович, его жена и наемный мальчик работали за стойкой в три шила, не успевая распечатывать полуштофы.

Федор Петрович не ограничился одним кабаком и лавочкой: у него была ссыпка хлеба, а на дворе стояло несколько заводских жеребцов. Федор Петрович скупал большими партиями овец и быков, снимал заливные луга, имел ульев до трехсот пчел и уже вел переписку с московскими купцами. Помещики и все городские купцы за особенное удовольствие считали пригласить его к себе в гости. Но прежняя вежливость, скромность не расставались с Федором Петровичем, даже весь образ жизни остался прежний: та же красная рубашка навыпуск, длинный суконный сюртук, пение басом на клиросе, тележка с решетчатым задком, хотя некоторые помещики предлагали ему купить у них задешево разные шарабаны и пролетки, остался даже прежний самовар с деревянным кружком вместо затерянной крышки.

Захар Ильич в важных случаях долгом считал посоветоваться с Федором Петровичем и не только приглашал его к себе на обеды, но сколько раз обедал у него сам с своей супругой. Супруга Захар Ильича, блуждая от нечего делать по селу с своими собаками, едва ли не каждый день посещала Федора Петровича; он вводил ее в отдельную от кабака комнату или наверх в пустую гостиницу и предлагал чаю, кофе, даже лимонада. Но барыня прежде всего просила целовальника, чтобы он сыграл на гитаре и спел. Федор Петрович играл какую-нибудь грустную песню, подпевая своим легким баском. и его черные глаза блестели.

— Merci, merci![1] — говорила барыня,— вы чудно поете! пожалуйста, к нам приходите, я вас прошу...

— Ваши гости! — с улыбкой отвечал целовальник.

— Не прочитали еще книгу?

— Понемногу читаю... времени-то мало...

— Читайте... я вам еще дам... вышла недавно новая повесть... я вам пришлю.

Всякий раз, уходя от целовальника, барыня думала: «Этот человек обладает всем, что необходимо нашим великосветским мужчинам: любезность, ум, опытность...

---

[1] Спасибо, спасибо! *(фр.)*

главное — опытность...» И ей вспоминались молодые люди, рисующиеся верхом на лошадях с бичами и арапниками или отпускающие перед дамами пошлые каламбуры... «Они, пожалуй, и недурны,— думала барыня,— но в каждом их слове, в каждом жесте выглядывает пустота, стремление к сплетням и самое наглое хвастовство...»

Барыня идет к дому, а стоит такая жара, и кровь так и бушует в сытом и праздном теле, что, добравшись до балкона, барыня бросается в кресла, закладывает вверх руки...

Однажды вечером, когда Захара Ильича не было дома, барыня сидела на балконе. Мысли ее блуждали и в Москве, на балах, и в уездном воксале, и на вечерах у помещиков с пьяными криками и картежной игрой... Ей было скучно; кругом было так тихо, душно... Печальные сумерки свинцом ложились на душу... Завтра опять то же, та же смертельная жара, скука и безлюдье, тот же крик мужа среди плотников, и снова мертвые сумерки. На балконе явился Федор Петрович.

— Ах! это вы! как я рада; а мне так скучно... мужа нет...

— А я было к Захару Ильичу... по одному дельцу...

— Он скоро приедет... подождите его... пойдемте пока в сад...

Целовальник охотно согласился.

— Послушайте, Федор Петрович,— говорила барыня, идя по глухой аллее,— любили ли вы кого-нибудь...

— Как вам сказать... оно, конечно... у всякого человека есть сердце...

— Скажите откровенно, любили ли вы какую-нибудь женщину?..

— Анна Григорьевна! как любить-то нашему брату? мы-то и готовы, пожалуй, всей душой, да согласятся ли полюбить нас,— вот в чем дело!..

«Экой умный человек»,— подумала барыня и продолжала вслух:

— Я вам скажу... Женщина умная оценит всегда достойного мужчину...

Целовальник и барыня шли дальше.

VI

В один из ненастных, осенних дней в кабинете Захара Ильича стекались один за другим вестники с печальными новостями.

— Ну, что еще там? Что скажешь, любезный? Насчет лошадей? Знаю! ты их загнал, запалил? ты был пьян?

— Ни в одном глазе, Захар Ильич!

— Я, любезный мой, обращался с вами, как с людьми, а теперь я вас раскусил! Нет! Россия еще долго будет пребывать в невежестве, ей далеко до равноправности! Я тебе доверил тройку лошадей, эта тройка потом очутилась в лесу... Где ты был! Нет! я напишу жалобу мировому посреднику, пускай тебя в волостной попотчуют! Ты что?

— Прикажете цепами молотить?

— Ну, конечно! конечно, цепами, почтенная голова! потому что если я выпишу двадцать пять машин, вы и те переломаете... так что же? Разумеется, цепами... вашими допотопными орудиями... Понимаете? Что ж стоите, чего ожидаете?

— Как быть, Захар Ильич...

— Что еще?

— Подвод никак не сыщешь; никто не едет по плохой погоде; говорят, нельзя.

— Ну, а что если эта погода продлится месяц? Я, по-вашему, целый месяц сиди без денег, а? Вот! прошу покорно: есть хлеб, есть, следовательно, капитал; но что же я сделаю с этим капиталом? он стоит себе под сараем! Вот это очень хорошо! Это показывает, что у нас в России должно сидеть у хлеба да без хлеба.

— Рабочие просят расчета,— сказал конторщик.

— Какие? за что?

— Стену клали.

— Как, уже за стену? позвать подрядчика.

— Жалованье, Захар Ильич, сделайте милость,— говорили повар, садовник и кучер,— ослобоните нас...

— Подождите же, наконец! ну, что ж я сделаю? Урожаи плохие! да вон и хлеба есть, да что же мне делать, когда его не везут в город! ведь при вас говорил староста! Вы, голубчик,— обратился барин к входившему подрядчику, усердно крестившемуся на образ,— какое спрашиваете жалованье? вы когда у меня начали класть стену?

— Третьего дня.

— Сколько вы с меня взяли?

— Полтораста целковых.

— Теперь позвольте вас спросить: разве за три дня берут где-нибудь сто пятьдесят рублей! Таких цен, любезный мой, и в Петербурге нет!

— Захар Ильич! Стену я мог даже скласть в день,— это мое дело! и вы мне должны заплатить сто пятьдесят рублей, уговор на то был! Извольте расчесть: я пятьдесят человек рабочих нанимал, им я должен заплатить!

— Во всяком случае, денег у меня теперь нет!

— Захар Ильич!— заныл снова явившийся староста.

— Что вам нужно?

— Как же прикажете с овсом-то? Он весь на рядах сопрел!

— Пусть и преет!..

— Жалко, Захар Ильич!

— Ужалели! нечего сказать. Вы меня, господа, опять ужалели! — Захар Ильич поднялся. Публика держала головы вниз.

— Можно войти? — спрашивал Захар Ильич, стоя у жениной спальни.

— Можно!

Барыня возлежала на кушетке с книгой в руках.

— Ну-с, сударыня, поздравляю вас с новостями.

— Какими это?

— Не сегодня, так завтра мы с вами останемся без куска хлеба. В имении идет бог знает что!.. да вот потрудитесь прочитать это письмо.

Письмо было от самого владельца Ямовки: «Потрудитесь выслать мне пять тысяч,— на днях я еду за границу. Надеюсь, вас это не стеснит, так как вы управляли моим имением целых три года и, вероятно, успели пожать плоды ваших трудов. Даже продайте что-нибудь незаложенное и, пожалуйста, пришлите мне деньги».

— Вот! вот вам дружба!.. он начинает требовать от меня отчета: это друзья!.. Как до денег коснется — все к черту! Нет! я вот что думаю: ехать в Москву и служить... это надежней. Нет, Россия до-олго!..

— Делай, как знаешь! мне все равно...

— Конечно, служить! Завтра же еду! я здесь убил и здоровье и состояние...

Захар Ильич прошел в свой кабинет и велел позвать целовальника.

— Федор Петрович! одолжите мне денег. Урожаи у меня, вы сами знаете, все время плохие, так что я потерпел убытку по крайней мере пять тысяч в последние два года. А чего мне стоило обзавестись хозяйством! И все это нимало не думало окупиться даже... Как продам хлеб, я вам возвращу.

— Сколько вам нужно?

— Рублей четыреста.

— Рублей полтораста я могу достать, попрошу у яблоновского приказчика, а у меня деньги все в обороте... вот луг снял, вперед дал семьсот рублей,— а когда их выручишь? Не раньше как по зиме... за клевер, рабочим, овец купил... все распущены. Полтораста рублей я вам добуду.

— Не найдете ли вы человека, который бы у меня купил, например, скот или строение какое-нибудь, экипажи... Я вам не сказывал? я хочу уезжать! нет, батюшка, жить здесь порядочному человеку нельзя... Здесь не имеют ни малейшего понятия ни о чем! Сами посудите: я плачу деньги, тружусь,— а у меня нет хлеба!

— Я вам советовал, Захар Ильич, отдавать землю внаймы, и вы без всяких хлопот курили бы себе сигару да получали бы денежки, больше, нежели вы получаете теперь, обработывая землю сами.

— Я это понял! ну, да теперь уже поздно! Я поступлю на службу, и кончено: по крайней мере я буду спокоен! Так как же вы думаете, Федор Петрович?

— Я думаю, Захар Ильич, вряд ли кто у вас купит скотину... купят, да ведь за какую цену? а экипажи и строения никто не возьмет, это подлинно вам говорю: вон теперь озимовский барин, Короченский, Юбкин, Собакин — все продают, даже землю, так и то нет покупателей! денег ни у кого нет! А вы не продадите ли свой лесок? я бы охотника нашел.

— Лес я могу продать, он не заложен.

— Только дорогонько не кладите за него.

— Ах! кстати я вспомнил... Васька! позови мне старосту! Послушай, любезный: объяви церковнослужителям и всему миру, что я не могу быть старостой церковным. Мне не до того! А вот предлагаю им вместо меня Федора Петровича... понимаешь? — Вы, Федор Петрович, согласны сколько-нибудь побыть церковным старостой?

— Отчего же? Богу потрудиться не мешает...

— Там, кажется, церковной суммы тысяча двести рублей... Я вам передам отчет, Федор Петрович. Вот еще что: так как я отсюда уеду, то оставлю вам в знак памяти все мои книги...

— Благодарю покорно, Захар Ильич.

Прошло еще два года. Барский двор давно опустел и зарос крапивой. Между тем в газетах объявлено было, что ямовское имение продается с публичного торгу и что желающие могут явиться на продажу. В числе желающих был и Федор Петрович.

1866

СЛЕДСТВИЕ

В один зимний вечер при оглушительном лае собак к завалившейся избе подъехал судебный следователь на паре обывательских лошадей. Пока хозяйка дома с длинной хворостиной в руках бегала за остервенившимися собаками с угрожавшими возгласами, а ее муж в нагольном тулупе украдкой выглядывал из сеней, следователя встречал местный старшина таким известием:

— Вашему высокоблагородию отвели квартиру у отца дьякона, а доктору и становому у батюшки.

— Это для меня решительно все равно,— сказал следователь и торопливо устремился в свою квартиру, освещенную единственной сальной свечкой, нагоревшей до того, что портреты духовных лиц и военные герои, висевшие на стенах, казались как живыми, шевелясь в волнообразной борьбе света с тьмою. Между прочим, следователь при входе в избу немало был изумлен писком и грохотом крыс, бросившихся по щелям, лишь только хлопнула дверь.

Пока готовился самовар, гость завязал разговор с хозяином, стоявшим у самой двери и, по-видимому, готовившимся исчезнуть с быстротою молнии; однако первый осмелился начать речь следующим замечанием:

— Холодненько сегодня.— При этом он запахнулся, осторожно вздохнул и посмотрел на потолок.

— Ваша правда; холод изрядный...

— Не прикажете ли ваше одеяние развесить на печке... мы сегодня нарочно топили для вашего приезда... так ежели что посушить... оно за ночь-то провянет за первый сорт!

— Прикажите из калош снег выбить... давеча мы сбились с дороги... Я слез, да и увяз в снегу чуть не по колена.

— Очень хорошо!

Хозяин отворил дверь и крикнул: «Эй! Алешка!»

Явился в одной рубашке, босиком мальчик лет двенадцати.

— Бери калоши, осторожно вытряси снег... да того... поставь их посушить на печку... понимаешь?

— Понимаю.

— Да чтоб завтра до свету были вычищены.

Мальчик схватил калоши и опрометью бросился вон, закричав: «Самовар ушел! самовар ушел!..» За этим возгласом последовала беготня в сенях и женские крики: «Скорей! ушел! ушел! давайте крышку! где конфорка?»

— Велико ваше семейство? — спросил следователь хозяина, который глубоко вздохнул и отвечал:

— Как песок морской... Истинно, не лгу!..

В это время девушка лет двадцати внесла огромный самовар и, держа голову набок, поставила его на дубовый стол.

Затем она скромно отошла к стене и начала обдергивать свой фартук.

— Чайник позвольте,— сказал гость.

— Чайник! — грозно крикнул хозяин.

Девушка, исполнив требование, снова стала к стене.

— Стаканы или чашки позвольте,— сказал следователь.

— Стаканы! — повторил хозяин.

Девушка полезла в шкаф, а хозяин шепотом говорил ей:

— Экая ты! неужели сама не догадаешься?..

— Оставьте! без вас знаю! — в свою очередь прошептала девица. Поставив стаканы на стол, она вышла.

— Прошу покорно чайку попить,— предложил гость.

— Чувствительно вас благодарю,— подходя к столу, сказал хозяин,— я, признаться, чай люблю; но сахару весьма мало употребляю. По мне, его хоть не будь.

— Водочки не угодно ли?

— Вот это пользительно — особенно после трудов... нынче целый день молотили...

— Сейчас прикажете налить?

— Да! уж перед чаем!.. оно как будто тверже... Будьте здоровы! это, должно быть, не простая?

— Бархатная! прямо с завода...

— Я уж чувствую...

— Не прикажете ли еще?

— Если милость ваша будет, позвольте.

Хозяин выпил вторично и видимо приободрился. Даже голос вдруг сделался громче, из нежного тенора перешел в густую октаву, от которой дрожали стекла. Расположение духа также изменилось: отхлебнув глоток чаю, хозяин воскликнул:

— Скажу вам... люблю я от всей моей души образованных людей... Клянусь господом богом! Подумаешь: сколько?.. Гмм... да нет! уж лучше не говорить!

— Не восторгайтесь образованными людьми, а вы мне лучше вот что скажите...

— Ах, нет! не говорите... Как это можно?..

— Я приехал сюда, вы знаете, по делу...

— Знаю, ваше высокоблагородие: насчет мужика, что удавился.

— Ну да! вы знавали его?

— Помилуйте! наш гражданин, да не знать...

— Каков он был человек?

— То есть который удавился-то?

— Да! не можете ли вы мне что-нибудь сказать об нем?

— Отличный был человек! вот вам Христос! Конечно, уж теперь бог ему судья; жалко, что погубил свою душу; только человек был степенный, работящий и к церкви прилежен.

— Вы никого не подозреваете в его смерти?

— Никого-с!..— Хозяин подумал и сказал: — Да позвольте: кто согласится, к примеру будем говорить... Ну, кто согласится удавить его? Что у него есть? богатство, что ли, какое?

— А он беден был?

Хозяин на этот вопрос так решительно махнул рукой, что едва не уронил стакан.

— Одно слово: голь была непокрытая... Всю жизнь боролся с бедностью... то дом в третьем году сгорел, то лошади пали... а тут как пошли неурожаи. Эх! ваше высокоблагородие! ведь человек не камень... камень и тот от жару трескается...

— Позвольте вас поблагодарить за то, что вы мне сообщили про покойника...

— Помилуйте? За что же?

— Нет, видите, в чем дело: человек вы, как я вижу, откровенный, простой: каждое ваше слово для меня дорого: теперь для меня все ясно... Не лучше ли, однако, нам выпить да подумать об ужине?

— Прекрасно!

— За ваше здоровье! — сказал гость.

— Об ужине вы не беспокойтесь: изготовим все, что только вам будет угодно.

Хозяин выпил и отправился в другую половину своего дома. Вскоре он явился с известием:

— Ваше высокоблагородие! что будет угодно? Яичницу с ветчиной, или прикажете убить курицу?

В это время под окнами раздался колоколец, и в избу вошли доктор и становой.

— Вы вот где? — закричал доктор, снимая с себя шубу.— А мы, батюшка, плутали, плутали с Антоном Прохоровичем... насилу доехали!

— Вам, господа, отведена квартира в доме священника,— сказал следователь.— Впрочем, если угодно, ночуем все здесь.

— Ничего! разберемся! — сказал доктор.— А вот у вас чай и водка — это кстати! Ну уж и буря поднялась! свету божьего не видно!

— Представьте! — заговорил становой,— поехали мы на деревню Круговертовку... оттуда надо держать на Волчий Верх... ведь вы знаете? Что ж? каких-нибудь версты три, не больше! Хорошо!.. выехали мы, уж начало смеркаться; вдруг кучер остановился: что такое значит? Смотрим: лошади стоят под крутым обрывом...

— Это вы, вероятно, взяли ниже... там дорога сбивчивая,— сказал хозяин...

— Уж я знаю эти места: ночью непременно собьешься... особливо во время метели... Ну, да что толковать! надо деребнуть хорошенько.

— Не наводили справки? — спросил доктор следователя.

— Когда же было наводить? Я сам сейчас только приехал...

В избу вошел фельдшер с ящиком и портфелью...

— Иван! — обратился к нему доктор,— завтра чем свет будь готов... поточи скальпель, пилу... одним словом, чтобы все было в порядке... На-ка выпей с морозу-то! Да отправляйся к священнику. Скажи, что мы сейчас придем, только выпьем по стакану чаю.

— Кто у вас тут удавил мужика? — спросил хозяина становой.

— Почему же мы знаем, ваше благородие? — Ведь мы с ним не в одном доме жили.

— Наделал он нам хлопот!..

— Сколько этих следственных дел! Ужас, ужас! вот

надо еще ехать в деревню Мухортовку — там грабеж какой-то случился...

— А вы слышали, какой тиф свирепствует в наших краях? — сказал доктор.

— Разве тиф бывает зимою?

— Отчего же нет? В деревнях бывает. А уж о скорбутах, лихорадках, водянках и говорить нечего! Крестьянские дети мрут как мухи... Впрочем, что ж? просторней жить будет...

— Все дело рук божиих,— заметил хозяин.

— Разумеется...

— Сказано: без воли моей влас главы не погибнет...

Явилась работница священника и объявила:

— Батюшка вас просит на чашку чаю.

— Ну, прощайте! Завтра пораньше вставайте, да и за дело...

Становой и доктор отправились в свою квартиру. Следователю принесла хозяйская дочь ужин. Она как вкопанная стала у двери вместе с своим родителем.

— Позвольте ложку,— сказал гость.

— Ложку! — подтвердил хозяин.

Девушка отправилась в другую половину и принесла деревянную ложку.

— Ножик и вилку одолжите...

— Ножик и вилку!

Исполнив требуемое, девушка стала к стене.

— Соли! — сказал следователь.

— Неужели ты этого не понимаешь? — прошептал хозяин дочери.

— Что вы пристали? — заметила девушка,— понимаем тоже кое-что без вас.

— Не угодно ли со мною поужинать? — предложил следователь хозяину.

— Нет-с, мы этого не потребляем... сегодня постный день.

— Я и забыл... извините.

— Мы соблюдаем устав...

Между тем в трубе завывал ветер, а на потолке неистово горланили кошки. Хозяин сказал дочери:

— Дуняша! вели прогнать их!

— Они каждую ночь кричат,— сказала девушка,— сюда повадился поповский кот...

Девица вышла, и вскоре в сенях раздался крик народа, а на потолке загремели поленья, камни и ухваты...

— Ишь каторжные! — говорил хозяин, прислушиваясь к грохоту,— должно быть, они сидят под трубой.

Хозяин отворил дверь и крикнул:

— Влезьте кто-нибудь на потолок да стащите их оттуда...

— Агафон! лезь!

— Возьми хорошее полено!

Чрез минуту на потолке послышались шаги, и оттуда, как сквозь сито, посыпался мусор, причем раздавались голоса:

— Волоки их!

— Ах, черти!

Мало-помалу тишина водворилась. Лишь время от времени хлопали на улице ставни да ветер шуршал соломенной крышей.

— А ведь дни стали прибывать,— говорил хозяин,— теперь отчего стоят холода? Оттого, что солнце поворотило на лето, а зима на мороз. Да! везде премудрость божия!.. Вот тоже толковали о назначении нам жалованья, а до сего времени ничего нет. Однако прощайте! желаю вам покойной ночи, приятного сна.— Хозяин удалился.

Следователь задул свечку и лег в постель. Не прошло пяти минут, как кошки снова начали концерт; к этому присоединился неугомонный писк и беготня крыс по комнате, отчего в разных местах гремели бутылки, банки и тарелки. А между тем ветер по-прежнему выл в трубе; от бури изба даже скрипела, и следователю казалось, что он лежит в каюте парохода, обуреваемого морскими волнами... Очарование было так сильно, что даже лай собак под окном не в силах был разубедить его, что он не на море.

Рано утром следователь услыхал скрип двери в сенях, женские голоса и рев скотины. На дворе кричала пойманная курица. Слышно было, как толпа народа сопровождала ее на улице, где хлопнул топор, и крик птицы мгновенно прекратился. С двора в сени ломились свиньи, коровы и лошади. Борьба людей с животными сопровождалась хлопаньем палок и пр. ...

Следователь, наконец, решился встать и, вдруг увидев на своем одеяле откуда-то налетевшую кучу снега, сказал: «Ох-хо-хо!» Вошедший хозяин объяснил гостю, предварительно поздравив его с добрым утром:

— Это нанесло из стены... Там есть маленькая щелка...

мы, признаться, заложили ее пенькой! должно быть, как-нибудь ветром выдуло...— И хозяин начал искать пеньку.

— Скажите, пожалуста,— спросил следователь,— что это у вас за крик в сенях?

— Да извольте видеть: скотина лезет со двора, просит корму; а корму нет...

— Ее и угощают палками?

— Что ж делать? хозяйство того требует... И доложу вам: верьте совести! последние времена приходят!.. то есть такая бескормица везде — боже избавь! А что будет к весне? и подумать страшно.

— Ничего! — сказал следователь,— потерпите.

— Само собою так! Куда ж деваться-то? Да уж признаться, ваше высокоблагородие, иногда и сил не хватает, вот вам честной крест!.. И, полагаю я, все это оттого, что веры в нас мало... оскудела она в сердцах наших... д-да!.. Прежде люди были благочестивей.

Вошел старшина с цепью на груди, помолился богу и сказал:

— С добрым утром, ваше высокоблагородие! пожалуйте на следствие. Становой и доктор ждут вас.

— Понятые собрались?

— Они в волостном правлении.

— Так прикажите им идти на место преступления.

Часов в девять утра гурьба начальства с понятыми двинулась к завалившейся мужицкой избе, вокруг которой вместо двора стояли одни сохи и лежали плетни. В раскрытых сенях стояла едва живая корова, мутными глазами осматривая начальство. В углу сеней висел труп, над которым мирно сидели голуби. В нетопленной избе на хорах лежали два больные мальчика. Гостей встретила оборванная хозяйка с удушливым кашлем.

В полдень следствие было окончено.

— А как вы думаете,— говорил доктор следователю дорогой,— ведь вопрос об искусственной пище, поднятый нашими учеными, заслуживает полного внимания!..

— Я с вами согласен. Особенно если принять в соображение награды, которые двигают нашими учеными,— вопрос об искусственной пище должен иметь строго научный характер. Но я разумею награды не материальные, как, например, разного рода повышения, знаки отличия, а сознание своего успеха и победы над природой, то есть

награду нравственную... Возьмите вы недавно рекомендованное открытие употреблять в пищу конину, даже дохлую... Разве это не завоевание науки? Правда, народ наш гнушается кониной... но вольно же ему церемониться? Известно, что русский мужик одержим грубыми предрассудками и притом находится в совершенном неведении относительно того, сколько питательных начал, сколько белковины, фибрина, фосфорных и других необходимых для организма солей пропадает напрасно в лошадином мясе!

— Но если меня будет тошнить и рвать от конины,— неужели она послужит в пользу моему организму?

— Надо приучить себя! Всякий новый артикул требует упражнения. Вы посмотрите, как наши газеты заботятся о введении этого нового кушанья в употребление... В них напечатаны по этому поводу огромные статьи, хотя, конечно, я не могу согласиться с предположением, чтобы сами редакции заменяли на своем столе filet de boeuf à la mode[1] маханиной или filet de cheval...[2] Да оно так и должно быть: лошадина рекомендуется одним беднякам... Вообще я не вижу причины, почему бы нашему крестьянину не есть по крайней мере свежего лошадиного мяса? резать живых лошадей, как быков, и есть их.

— Шутник вы! — заметил доктор.— Ну что, если в самом деле крестьянин зарежет свою единственную трехногую клячу... что тогда с ним будет?

— А то, что он введет в свой организм питательную пищу, а не мякину и лебеду...

— Ну, батюшка! Вы хотите уж всех мужиков нищими сделать... как же они будут тогда обрабатывать землю, как поедят последних своих кляч?

— Это не мое дело. Я строго держусь науки!.. За меня целая фаланга наших ученых мужей!..

Путники въехали в город.

1867

---

[1] Говяжью вырезку по моде *(фр.)*.
[2] Конской вырезкой... *(фр.)*.

КАТЕРИНА

В крестьянской избе под образами лежал молодой парень с закрытыми глазами. Подле него стояла толпа народу. Слышался тихий шепот и сдержанные рыдания.

— Митревна, не засветить ли свечку у образа-то: может, полегче будет его душеньке...

Кто-то стал раздувать уголь; к образу поднесла восковую свечку с заплаканным лицом мать больного. Все перекрестились.

— Незымь горит...

— Ишь, касатка, ручки-то сложил, словно отходит!

— Кончается ровно...

Вскоре в избу вошел священник. Толпа расступилась; все поочередно стали подходить под благословенье.

— Давно болен-то? — спрашивал священник.

— Две недели, кормилец,— сказала хозяйка,— отнял у меня господь мужа, теперь отнимает сына...

— Не ропщи, Катерина: не сетуй на бога... что выше нас, о том мы не смеем размышлять...

— Уж известно...

— Смертный час не в нашей воле! может быть, из среды, здесь предстоящей, кого-нибудь завтра не будет...

— Знамо, завтра не будет,— согласилась толпа женщин, поддерживая руками свои подбородки.

— Выдьте в сени!

Бабы поплелись вон из избы; осталась одна мать больного.

Через день больной скончался. В избе, в сенях и на улице толпился народ. Причетники пели панихиды. Мать покойного, Катерина, усердно молилась богу, делая земные поклоны.

Когда запели *вечная память,* Катерина упала на пол. По приказанию священника ее вынесли на улицу.

Катерина лежала на улице, окруженная любопытными.

— Смотри, смотри... встает...

— Катеринушка! поди, милая, в избу...

— Зачем? — испуганно спросила Катерина.

— Там твой сынок... ведь его скоро понесут...

— Где ж твой Ванюшка-то?

— Какой Ванюшка?!

— Сынок-то... сынок-то твой.

— Ишь! ведь она помешалась.

— Ведь заправду, милая моя...

Катерина слушала этот приговор с изумлением. У ней не хватило сил отвечать толпе, но она думала: «Неужели заправду я помешалась? про какого Ваню они говорят?..»

Она сделала усилие встать, ей пособили и повели под руки в сени. В избе уже кончилось все; покойника вынесли на двор, и за ним вышел весь народ. Катерину подвели к гробу.

— Видишь, Катеринушка? вон он лежит...

— Какой же это такой? — говорила Катерина, разглядывая покойника,— это словно монах какой... весь в белом.

Катерина сдернула покрывало и, увидав лицо своего сына, принялась целовать его. Потом обратилась к народу:

— Ну, что же вы стоите?

Она подняла на голову крышку и пошла со двора, за ней понесли гроб.

Катерина торопливо шла по деревне, часто оглядываясь назад, несут ли ее сына? Мужикам и бабам, стоявшим у своих ворот, она говорила:

— Прощайте, добрые люди; поминайте моего Ванюшку.

— Ах, братец ты мой! — твердили мужики, покачивая головами.

— Рехнулась, слышь...

Катерина слышала все это и думала: «За что же они называют меня сумасшедшею? Чем же я рехнулась? Я все помню... идем мы в церковь... вон Ванюшку несут... вон сосед Петр... Савельевна... и не грех вам называть меня так? Я помню, как Савельевна приносила больному Ванюшке яблочка...»

Процессия приблизилась к церкви; крышку и носилки поставили на паперти.

В церкви причт, одетый в черные ризы, пел погребальные песни. Катерина сидела на скамеечке у гроба, обняв

его рукой; ей очень нравилось, что все молятся о ее сыне и как следует провожают его на тот свет... А причетники пели громогласно: «Пла-ачу и рыдаю...» Катерина приветливо смотрела на баб, утиравших свои слезы...

Священник, по-видимому тронутый картиной несчастия, сказал мирянам речь, что сумасшедшая мать и покойник сын — пути великого промысла.

С тех пор как похоронили сына, Катерина сделалась особенно богомольной и не пропускала ни одной церковной службы. Она часто беседовала с священником, который объяснял ей, где теперь ее сын.

Была лунная осенняя ночь; петухи возвещали уже рассвет. Катерина в своей избе сбиралась к заутрени. Обутая в новые лапотки, она завернула в белый платок свечку и вышла на улицу... В некоторых избах горели утренние огни... Пропели последние петухи, и на востоке начали обозначаться розовые полосы... Месяц бледнел...

Катерина явилась в дом священника.

— Пора вставать...— говорила она, расхаживая по комнате,— а я уж Ванюшку своего проведала...

— Доброе дело...

— Ну, сбирайся... а я дьячкам велю благовестить.

В церкви горели огни... благовест кончился... В алтаре шумели ризы, в которые облачались церковнослужители... в трапезной раздавались шаги церковного старосты; в углу в белом платочке стояла сумасшедшая.

1867

ДЕРЕВЕНСКИЙ ТЕАТР

В имении землевладельца Бирюкова заведен строгий порядок; сады и леса окопаны глубокими канавами; на пограничных межах и близ так называемых живых урочищ стоят столбы с надписью: «Строго воспрещается ловить рыбу, купаться, стрелять, а также пускать скот...» Рабочие по звонку отправляются на работу и садятся за стол. Каждая лошадь получает известную порцию с весу. Караульным даны трещотки, свистки и хорошие дубины. С закатом солнца из сарая выпускается десятка два меделянских собак, которые на расстоянии версты чуют икры постороннего человека. Господская контора с утра до ночи занята письмоводством и отправкою рапортов, донесений, просьб и объявлений. Все эти деловые бумаги пишутся так:

Рапорт за № 1235

«Препровождая вашему высокоблагородию вязанку сучьев, наломанных неизвестным человеком в карнауховской лощине, контора имеет честь известить, что с ее стороны приняты строжайшие меры для отыскания преступника. Подозрение падает на крестьянина деревни Оборвышей Егора Савельева, возвратившегося означенного числа домой неизвестно откуда поздно вечером; в это время господские собаки громко заливались, устремляясь всей стаей — в вышеозначенную лощину, в которой и найдена вязанка сучьев».

Объявление за №...

«Сегоднишнего числа в глухую полночь разразилась страшная буря, раскрывшая у многих крестьян дома, а в

барском саду повредившая несколько яблонь, причем садовник видел из своего шалаша два огненных столба на небе».

Рапорт за №...

«Июня 20 дня рано утром на господском яровом хлебе поймана крестьянская лошадь и загнана в сарай для поступления с ней по закону. Но в ночь на 21 июня означенная лошадь внезапно издохла. Несмотря на это, контора отправила ее к мировому судье, вместе с хозяином, которому она принадлежала».

Если к Бирюкову приезжал гость, что случалось редко, то прежде, нежели отпустить его лошадям корму, контора писала барину: «По случаю приезда господина Зацепляева на паре собственных лошадей контора просит ваше высокоблагородие сделать милостивое распоряжение о выдаче полпуда сена и полмеры овса».

Подобных дел набиралось так много, что барин не успевал подписывать решения вовремя, и резолюция насчет корму лошадей приехавшего гостя делалась через неделю, когда гость давным-давно был дома и ругал Бирюкова анафемой, скрягой и пр.

В один зимний вечер Бирюков сидел за чайным столом с сельским старшиной и священником, беседуя с ними о «новых временах». Очевидно, беседа не могла быть веселою, тем более что в трубе пронзительно гудел ветер, а на улице на разные голоса завывали собаки.

— Не понимаю, отчего это у нас не учат как следует прихожан? — говорил барин, подливая в свой стакан рому,— везде идет такое воровство, такая распущенность, что остается бросить имение и бежать куда глаза глядят. Вот только того и ждешь, что придут к тебе в дом, оберут всего и пустят в чем мать родила. Третьего дня у меня украли пудов пять сена; у помещика Заплетаева двух лошадей свели; у Стеляева из погреба утащили горшок масла и ковригу хлеба... Ведь это значит, последние времена пришли! Точно живешь где-нибудь в Туркестане, а не в благоустроенном государстве. А все отчего? Оттого, что мужик стал такой же барин: ударить его не смей, ругать тоже... Вот он и знать ничего не хочет... Воля пришла!..

— Конечно, все это от невежества,— заметил священник, разглаживая свою длинную бороду.

— Так я и говорю,— подхватил барин,— что народ

этот надобно учить, почаще говорить ему проповеди.

— В запрошлую седьмицу...— начал было священник.

— Позвольте! Да ведь как учить надо? Чему учить? Его надо учить уважать чужую собственность... Привести ему разительные примеры, что воровать ни под каким видом не должно... вот что! ведь мошенничество дошло до того, что один в Петербурге писатель сочинил для театра пьесу, где всю Россию называет вором... да! Вот до чего дошло! Этот писатель говорит: русский человек на одно только способен: воровать, красть — больше ничего! Совершенно верно! Конечно, о дворянах нельзя этого сказать; но все другие сословия — поголовные воры, особенно крестьяне... Я, признаться, сам сочинил недавно пьеску, только народную, для мужиков,— доказываю, что чужая собственность священна... Мне хотелось дать эту пьесу в каретном сарае: собрать мужиков и разыграть ее перед ними...

— А ведь мысль хорошая! — сказал священник,— богатая мысль! Главное, тут можно доказать наглядно, что воровство — порок! вот что дорого!

— Это что ж такое? — спросил вдруг старшина, с недоумением поглядывая на барина.

— Это, видишь ли, театр, то есть зрелище... Тут, например, ты увидишь настоящего вора...

— Настоящего?

— Да! все вживе представится... вор ли, разбойник ли... как на самом деле...

— Понимаю! — сказал старшина,— стало быть, теперь поймают вора и что же — наказывать будут?

— Видишь, тут актер вместо вора...

Старшина задумался.

— Да он этого не понимает,— сказал барин,— это не его ума дела! Разве он видал когда-нибудь театр? А вот как посмотрит, тогда и поймет, что значит воровство...

— Да-с! мысль, признаюсь, глубокая!

— Позвольте! да что же иначе остается делать? Бить нынче никого нельзя, а об образовании народа никто не думает. Судиться с вором у мирового судьи нет никакой возможности: во-первых, с вора взятки гладки, он гол как сокол; а во-вторых, только понапрасну потеряешь время на судебные процессы... Одно остается: вразумлять этот народ, и мы первые обязаны об этом думать. Пастырь духовный должен влиять на мужиков посредством пропо-

ведей, старшина — посредством внушений и строгого надзора за порядком. Я, как помещик, лишен всего: в прежнее время я знал бы, что делать... А теперь... теперь... поневоле придется (конечно, от нечего делать) думать о народном театре, хотя я не знаю, осуществится ли мой план...

В это время вошла барыня и, поздоровавшись с сидевшими, села за стол.

— Вы о театре говорили? — спросила она, наливая себе чаю.

— Так точно, сударыня. Я одобряю это намерение.

— А я Павлу Карпычу не советую затевать пустяков. Ну, скажите, пожалуйста, разве мужик пойдет в театр?

— Отчего же? — спросил барин,— да вот старшина может им приказать, ну, водки им купить, как-нибудь завлечь...

— А расходы-то? Ты этого не считаешь?

— Какие расходы? — возразил барин.

— Разумеется!.. Надо заказать декорации, приготовить костюмы...

— Что ты говоришь, мой друг? может ли тут идти речь о декорациях? Ведь это народный театр... повесил какую-нибудь шкуру — вот тебе и декорация.

— Ну, а занавес?

— Неужели ты думаешь, что я буду заказывать и занавес? Напротив: тут положительно ничего не надо! повесил, например, веретье, вот тебе и занавес. Опять дело в сущности, а не в обстановке...

— Не знаю! — объявила барыня и задумалась.

— Прекрасно! Ну, что же теперь прикажешь делать? что, я спрашиваю? Вот посмотри, доживем до того, что заберутся в наш дом, ограбят и даже убьют...

— Помилуй бог! — сказал старшина.— Это вы, Павел Карпыч, напрасно сумляваетесь...

— Я о себе не думаю,— продолжал барин,— мне жить остается немного... Я готов хоть завтра предстать пред престол всевышнего... но.. мне жалко детей! Что с ними-то будет? посудите сами. Не бежать же им в самом деле из своего родового имения...

— Я, Павел Карпыч,— объявил старшина,— как начальник, значит, буду изо всех сил заботиться об образовании мужиков. Соберу сходку и скажу: «Дурачье вы! аль вы угорели! разве можно воровством заниматься?» Вот

какое дело! Вы это останьтесь без сумления. Ведь уж я как пойду учить, так держись шапка! Я баловать не люблю! У меня строго насчет воровства.

— Да! — сказал помещик,— вы всё так-то говорите... а дела не делаете... Сколько раз я тебе, старшина, приказывал: учи мужиков, ругай их!

— Да ведь я и то учу! и то ругаю! перед истинным богом, стараюсь! Неужели ж я не понимаю своей обязанности? И то кажыдён кричишь им: «Сиволапые!.. чтоб вам пусто было! разве, мол, смеете таскать барское сено? разве оно для вас накладено! необразованные скоты!» — «Мы, говорят, дай бог провалиться, не трогали...» Как есть, ничего не поделаешь с этим народом.

Старшина развел руками.

— Меня одно утешает,— заметил помещик,— это ваше усердие, решимость действовать на народ... Итак, я надеюсь, что вы по мере ваших сил...

— Помилуйте... то есть себя не пожалеем.

— Не извольте сумлеваться,— добавил старшина.

Барин приободрился и повеселел...

— Так как же вы находите мою мысль?

— Мысль ничего! Конечно, затруднение будет насчет актеров.

— Актеров я найду! Вот у меня, например, земский: малый расторопный; вашего сына приглашу... Он вора сыграет...

— Это ему нипочем! Он театральную-то часть понимает... Только роль вора ему не давайте... всепокорнейше вас прошу... потому соблазн...

— Ну, хорошо. Я ему дам роль гнома... Только ему придется поучиться ходить на ходулях...

— Что ж? это можно! Позвольте спросить: стало быть, вы уже сочинили пьесу?

— Она почти готова! придется некоторые места распространить, усилить монологи, закончить характеры. Положим, если и не придется ее сыграть здесь, я все-таки отправлю ее в газету «Весть». Там с удовольствием отпечатают. И я шутя напал на эту мысль. Сижу раз и думаю: «Чем бы уничтожить воровство? Устроить машину такую вроде капкана — неловко: пожалуй, вор ногу сломает, тогда отвечай за него! Наказывать розгами нельзя... штрафы бесполезны... Одно средство остается: образование... Но ведь народных школ у нас нет...» Как-то однажды пробегаю газету, смотрю, там говорится о народ-

ных театрах... я и схватился за эту мысль... Да в один вечер и обдумал план пьесы... А разве прочитать вам мое произведение?

— Сделайте одолжение... это очень любопытно...

— Последнее действие ты уже кончил? — спросила барыня.

— Давно! даже эпилог прибавил...

— Так прочти...

— В самом деле! пусть и старшина послушает! ведь он не имеет никакого понятия о театре... Эй! Василий! — крикнул барин лакею,— зажги в кабинете лампу... Вы, господа, не требуйте многого от моего сочинения... Во-первых, я пишу в первый раз, признаться, вынужденный к тому обстоятельствами; во-вторых, пьеса только набросана вчерне... Но что ни говори, а театры для народа необходимы: они могли бы, как справедливо замечают газеты, заменить кабаки и уничтожить пьянство. Разумеется, надо давать пьесы поучительные, с назиданием, что, дескать, воровать не следует, надо уважать старших, повиноваться начальникам...

— Пожалуйте, господа!— поднимаясь, объявил помещик,— старшина! иди и ты! Меня интересует твое мнение, потому пьеса назначается для мужиков.

— Нам не пригоже,— конфузливо заметил старшина, поглаживая свою бороду.

— Ничего! иди! — сказала помещица,— про воров послушать тебе необходимо...

Старшина загромыхал сапогами...

Пришедши в кабинет, он помолился образам и сказал:

— Еще здравствуйте!

— Садись... бери стул!

— Предупреждаю вас, господа,— начал помещик,— сочинение мое только набросано, и я лишь познакомлю вас с планом, с скелетом будущей драмы, которая назначается для мужиков. Я не литератор, не владею искусно пером,— тем не менее строго и неуклонно держусь правды и принципов собственности. Вы увидите, что я хорошо знаком с бытом, для которого назначается сочинение: это, по-моему, самое главное. Наконец, повторяю, что берусь за перо, единственно вынужденный к тому обстоятельствами — мне жаль детей своих...

— Не подать ли тебе воды? — спросила жена.

— Хорошо! Итак, приступим к чтению.

Барин надел очки и начал:

ВОР

Драма в трех действиях с эпилогом

Действующие лица: Аким, Матрена, странница, гном, писарь и др.

КАРТИНА ПЕРВАЯ

Ночь. Внутренность крестьянской избы. Слабо мерцает лучина. Слышится вой ветра.

Аким *(с полатей)*. Что ж, ужинать-то будем?

Матрена. Какой там ужин? печку не топили. Гложи вон хлеб... Да скоро хлеба-то не будет...

Странница *(с печи)*. А все по нашим грехам... старших не почитаем, начальства ослушаемся...

Матрена. Известно... *(Акиму.)* Что ты лежишь как пень? Аль не видишь, сколько снегу в избу навалило? Скоро померзнем все!..

Аким. Что ж теперь делать?

Матрена. Аль не знаешь? Ступай добывай дров!

Аким. Где я их добуду?

Матрена. Вестимо, в барском лесу... опричи где же! у барина лесу много!

Аким *(злобно)*. Недаром говорится: баба — тот же сатана: ишь ведь что задумала? воровать господский лес! Тьфу! окаянная! Чем бы мужа отвесть от греха, а она вон что!

Матрена. Ну и лежи когда так! Вон у ребятенок одежды нет: посинели, как галчата... да и все померзнем, должно быть!

Странница. А все сами виноваты... Есть песня такая, нищая братия поет: «Мы божьего читанья не слыхали, заутреню просыпали, леность нас одолела...» — вот какое дело!

Матрена. Ох! Это все правду ты говоришь, божья странница... Как же теперь быть-то? Ведь уж так пришло плохо, просто деваться некуда: изба раскрыта, скотина с голоду померла. *(Плачет.)*

Странница. Терпеть надо, милая моя!..

Матрена. Господи! мороз какой! *(Закутывается в веретье.)*

Странница. Мороз оттого, что скоро придут Спиридоны повороты... а вот наступит весна, тогда тепло будет: прилетят разные птицы из-за синя моря... расцветут цветы разные... *(Помолчав.)* Ишь у вас и изба-то не конопачена: снег на печку летит...

Матрена. Погибли мы, окаянные!

Аким *(сердито)*. Будет вам молоть околесную-то, спали бы!

Матрена. Разве заснешь на этаком холоде?..

Лучина гаснет. Женщины засыпают, Аким слезает с полатей и ищет топор.

Аким *(один, в темноте)*. Что теперь делать? *(Стоит неподвижно среди избы.)* Неужели воровать? Господи, подкрепи меня! разве можно чужое добро трогать? Ну, а если поймают? что тогда? какими глазами я буду смотреть на добрых людей? Скажут: «Аким вор!» — а там посадят в сибирку! *(Задумывается.)* Странница правду говорит: «Терпи!» — да ведь уже терпел довольно! *(Воет ветер, Аким дрожит.)* Эх, какой холод! Неужели и завтра так же будет?.. Нет! сил моих не хватает! ведь люди воруют же... *(Берет топор.)* Эх! Была не была!.. *(Задумывается.)* Что я делаю? куда иду? враг-то как тянет!.. *(Уходит.)*

КАРТИНА ВТОРАЯ

Поле. В глубоком овраге идет Аким по направлению к барскому лесу.

Аким. Что я задумал над своей головой? а? хорошо ли это? на погибель свою иду! *(Останавливается в ужасе.)* Что я вижу?..

Является гном ростом до небес.

Гном. Куда идешь, безумец? Как ты смеешь покушаться на барский лес? Заблудшая овца! Свинья ты этакая!.. разве для тебя растил, лелеял барин этот лес? Неужели ты думаешь, что твое преступление пройдет для тебя безнаказанным? Вспомни: нет тайны, которая бы не открылась! Ты жалуешься на бедность, на холод... Прекрасно! Но разве ты не знаешь, что делать в таком случае? Необузданный дурак! вор! отвечай: куда идешь?

Аким падает в бесчувственности.

Опомнись, неблагодарный! Не вам ли дали волю, новый суд, личную свободу... воззвали из ничтожества и сделали гражданами... Сволочь!!! Помни: воровство тебе

даром не пройдет! Помни! Помни... обо мне!.. *(Скрывается. Метель. Вдали воют волки.)*

Аким *(приходя в себя)*. Где я? Что со мной? Какой-то богатырь приходил, запретил мне идти в барский лес! Что это значит? Как бы со мной чего не случилось... Сердце так и бьется, как будто чует что-то недоброе!..

Слышно вдали пение петуха. На востоке медленно разливается свет.

Однако заря! Если воровать, так воровать скорее... а то будет поздно... Но что, если опять встретится богатырь? Нет, это была нечистая сила, тьфу!.. *(Крестится.)* Она в полночь является... иду!..

Опять пение петуха и ожесточенный рев волков.

Как бы волки не съели? У них теперь свадьба... Ах, тяжко мне... чувствую, что погибну... *(Поет.)*

Ты-ы-ы возойде-е-е-ешь, мо-о-о-о-я заря-я-я.
Взгляну в ли-ицо-о-о твое-е-е,
По-о-сле-една-я заря-я...

(Громко.)

На-а-астало время мое.

Волки подхватывают.

О боже! тяжко на пытке умирать!..

(Поет, вспоминая сына.)

Оста-а-а-лся птенчик... Ванюша...

(Решительно.) Нет! лучше погибну, нежели вернусь к семье без дров. *(Держа перед собою секиру, уходит.)*

КАРТИНА ТРЕТЬЯ

Густой барский лес.

Аким. Какая глушь и тишина... лишь ворон пролетит, да вьюга прошумит... Как бы караульный не услыхал?.. *(Прислушивается.)* Кажись, никого нет... *(Рубит.)* крепкое дерево! вышла бы знатная грядка или сошка! Что я делаю... Хорошо ли это? Безумец, ты раскаиваешься, а все-таки рубишь чужой лес... не бессовестная ли ты свинья! Ты ведь знаешь, что это деревцо годится твоему барину. Ну, вдруг понадобится ему сошка или грядка,

он скажет: «Где это тут дубок рос? Куда он девался?» Опомнись, невежа! Неужели на тебе креста нет? у твоего барина тоже есть семейство, которому есть, пить надо... ведь господам от вас, воров, житья нет! грабители! скоты!..

Дерево падает.

Свалил! и сам не знаю, что со мной делается. Совесть говорит: «Не руби!», а руки так и ходят, так и ходят... кажись, весь лес — вырубил бы... а это что? Все зависть наша! вон хорош стоит орешник. *(Подходит к другому дереву.)* Опомнись же, наконец!.. *(В исступлении.)* Господи! что со мной?..

С ветвей дуба спускаются косматые руки и поднимают мужика за волосы...

Л е ш и й. Ха-ха-ха!..

Х о р в е д ь м

Во слободке за рекой
Ждут Акимушку домой...
Он лес барский воровал,
Да вдруг без вести пропал..

ЭПИЛОГ

Поле. М а т р е н а и А г а ф ь я стоят на дороге.

А г а ф ь я. Что мы слышали: твой муж пропал?

М а т р е н а. И то, родимая! целую неделю искали его... А потом нашли в лесу!.. замерз...

А г а ф ь я. Ведь он барский лес воровал?

М а т р е н а. Правда твоя! Известно, бог наказал... осталась я теперь с малыми ребятишками — и не знаю, куда голову приклонить...

А г а ф ь я. Сами виноваты, Матренушка!

Подъезжает п и с а р ь.

П и с а р ь *(Матрене)*. Ты жена Акима?

М а т р е н а. Я, батюшка!

П и с а р ь. Тебя требуют в волостное к допросу...

М а т р е н а *(Агафье)*. Ну, Агафья, прощай! Скажи всем своим, чтобы другу-недругу заказали воровать барский лес... Чужое добро впрок нейдет!

Едет с писарем. Небо темнеет. Завывает вьюга.

Г о л о с с в ы ш е. Бесчувственные!

— Ну, как вы находите? — спросил Бирюков слушателей.

— Превосходно! на театре будет страсть что такое!

— Я нарочно так писал... Ну, а ты, старшина, что скажешь?

— Занятная история. Что значит воровать барский лес!..

— Еще я задумываю написать водевиль в одном действии, под заглавием «Лошеводы»... Это пойдет вместо дивертисмента. Что ж делать, господа... надо же как-нибудь уничтожать воровство.

Наконец, гости распрощались с хозяином, пожелав ему счастливого успеха.

1868

ИЗДАЛЕКА И ВБЛИЗИ

I

ГРАФ

Верстах в пятнадцати от уездного города, на возвышенном месте, стоит двухэтажный графский дом с великолепным садом, обнесенным каменной стеной. Вблизи на лугу у самой речки располагается село Погорелово с красивою церковью, выстроенною иждивением предков настоящего владельца, покоящихся в склепе под алтарем. В стороне от Погорелова, близ леса, возвышается винокуренный завод, извергая из себя массу дыма, величественно поднимающуюся к небу.

Граф — холостой человек, лет двадцати пяти. Он приезжает из Петербурга в свое имение редко и на короткое время. Но в последнюю весну он известил управляющего, что намерен провести в Погорелове целое лето, даже, если не помешают разные обстоятельства, остаться в своем имении навсегда, с целию поближе познакомиться с сельским хозяйством при помощи естественных наук, которыми он занимается в Петербурге. Граф упоминал также, что предстоящее лето он назначает на геологические экскурсии и, по случаю ученых занятий, будет вести уединенный образ жизни.

Это известие быстро разнеслось по окрестностям. Соседи помещики, особенно их жены и дочери, сильно приуныли, увидав, что им придется почти отказаться от графского общества; тем не менее весь уезд, на всех вечерах, собраниях, даже при простой встрече, горячо толковал о предстоящих графских экскурсиях. Многие утверждали, что в настоящее время действительно ничего не остается делать, как заниматься естественными науками, ибо только с помощию естественных наук можно сколько-нибудь поддержать упадающее сельское хозяйство, а между

тем какому-нибудь геологу ничего не стоит открыть в любом имении если не груды золота, то, наверно, каменный уголь, железную руду или что-нибудь в этом роде.

Один старый помещик рассказывал, что при императоре Павле в его имение приезжали немцы и предлагали ему огромную сумму денег, с тем чтобы он позволил им сделать ученые изыскания под его мельницей; но он на предложение немцев не согласился, надеясь сам заняться исследованием золотых россыпей, которые обличал металлический цвет воды в так называемом буковище.

Как бы то ни было, все решили, что граф жил в Петербурге недаром и что со временем своими учеными трудами он облагодетельствует весь погореловский край. Впрочем, матери семейств в намерении графа заниматься науками в глуши, вдали от света, подозревали совершившийся в его жизни перелом: вероятно, шум столичной жизни надоел ему вместе с победами над великосветскими женщинами, и как бы поэтому граф не женился в деревне. Напротив, молодые замужние женщины в приезде графа в деревню видели зарю своего собственного возрождения: по их мнению, граф ни под каким видом добровольно не наденет на себя супружеского ярма и всего менее будет корпеть над науками, особенно в летнее время, которое с большею пользою он может употребить на волокитстве за деревенскими belles femmes[1].

Гораздо практичнее смотрело на приезд графа низшее сельское сословие. Оно обдумывало, как бы приобрести от графа сад на лето, лужок или десятин пятьдесят земли; при этом иные решились предстать пред графом слегка пьяными, а иные даже помешанными; а сельский пономарь, изба которого стояла набоку, задумывал явиться к графу юродивым.

Между тем в имении графа поднялись хлопоты: в саду поправлялись беседки, оранжерея, грунтовой сарай; на реке строилась купальня; в доме красились стены и натирались полы. Управляющий приказал отборных телят и быков пасти на заказных лугах. Кучера задавали лишние порции лошадям, каждый день гоняя их на корде.

В половине мая из Петербурга приехал повар с ящиками вин и разными кухонными принадлежностями; с ним присланы были также реторты, геологические молотки и большой микроскоп, купленный графом на какой-то вы-

---

[1] Красавицами *(фр.)*.

ставке. Научным аппаратам отведено было место в особом флигеле, где находилась старинная прадедовская библиотека. Описывая дворовым людям, управляющему и конторщику петербургскую жизнь, повар счел нужным познакомить их с князьями, графами, у которых он служил, также с Дюссо и Борелем; при этом в виде назидания он сообщил им, что такое консоме-ройяль и де-валяйль, шо-фруа, де-жибье и т. п.

В первых числах июня приехал сам граф. Сельский причт явился поздравлять его с приездом. Одетые в новые рясы, с просфорой на серебряном блюде, священнослужители удостоились быть принятыми его сиятельством в столовой, где стоял завтрак с винами. После некоторых общепринятых фраз предметом разговора была железная дорога, Петербург, наконец, Париж, куда граф ездил недавно.

Граф был так любезен, что рассказал гостям кое-что про Париж.

— На стенах нет места,— говорил он,— где бы не было объявлений о театрах, концертах, гуляньях, балах; в зеркальных окнах торчат кабаньи морды, львы...

— Б-б-о-ж-же милосердый!

— Положительно весь Париж запружен увеселениями; в нем более тридцати театров.

Граф посмотрел на слушателей, вставив стеклышко в глаз.

— Вы едете по улице, мимо вас мелькают всевозможные надписи; там нарисован во всю стену черт, высыпающий сюртуки, жилеты; там дикий бык на арене.

Гости вздохнули и переглянулись.

— Вот где нам с вами побывать, отец дьякон! — сказал священник.

— Что нам там делать? Это содом и гоморра.

— Именно,— подтвердил граф,— я с вами согласен.

— Надолго, ваше сиятельство, пожаловали к нам?

— Я намерен прожить здесь долго.

— Доброе дело. Нам будет веселей. А прихожане постоянно спрашивали про вас: скоро ли наш благодетель приедет?..

Часов в семь вечера граф сидел в кабинете за письменным столом. В дверях стоял управляющий, посматривая на потолок и покашливая в руку.

— Ну-с, Артамон Федорыч, давайте с вами побеседуем о хозяйстве. Что же вы стоите? Садитесь.

— Ничего, ваше сиятельство: больше вырастем.

Граф указал на стул и повторил:

— Садитесь.

Управляющий повиновался.

— Во-первых, скажите мне: можно ли в наших окрестностях добыть костей?

— Отчего же?

— А серной кислоты?

— В небольшом количестве тоже можно.

— Вот видите ли, Артамон Федорович,— продолжал граф, откидываясь на спинку стула,— я хочу завести в своем имении рациональное хозяйство: на Западе, вы, я думаю, слышали, давно удобряют землю костями. Так не пора ли и нам взяться за дело? как вы думаете?

— Вы, стало быть, купоросным маслом хотите разлагать кости?

— Разумеется.

— Да ведь этот способ, ваше сиятельство, давно оставили.

— Как оставили?

— Потому он дорог и неудобен. Года два тому назад публиковали другой способ, может быть вы изволили читать в газетах: разлагать кости при помощи торфа, известки и золы дешево и сердито. Торфу, конечно, у нас нет, впрочем это не беда. Главное затруднение в том, что почве, которую вы желаете удобрять, надо сделать анализ.

— Еще бы! химический анализ непременно. Да вы, кажется, знаете химию?

— Какое мое знание! читаешь, случается, газеты, и остается кое-что в памяти.

Граф предложил управляющему сигару и объявил:

— Моя специальность минералогия. Вы знакомы с минералогией?

— Нет-с. Уж этого бог миловал.

— Например, вы находите где бы то ни было известный кристалл и не знаете, как он называется. Вам надо прежде всего определить, к какой системе он принадлежит? к тетартоэдрической, сфенотриклиноэдрической или к другой какой-нибудь?..

Наконец, управляющий вышел. Граф прошелся по кабинету.

«Каков управляющий-то? Знает химию... я и не ожидал... Наконец, я и приехал,— рассуждал граф, садясь

в темном углу на диване,— и не на один месяц, а может быть, навсегда...»

Как ни противен ему был Петербург за последнее время, тем не менее он мысленно перенесся на Невский проспект, объехал некоторые рестораны, посидел во французском театре, где шла «La belle Nélène», полюбовался в цирке на эволюции любимой акробатки, из цирка заехал к Дюссó ужинать и, наконец, отправился к «Hôtel! de Franse», где была его квартира. Ему казалось, что теперь все его петербургские знакомые подтрунивают над ним и спрашивают:

— Куда он девался?

— Говорят, уехал в деревню... и навсегда!..

— Какой ужас! Что же он там будет делать?

— Вероятно, слушать волков...

Общий хохот. Громче всех смеется, позвякивая саблей, князь Мордовкин, с которым граф месяц тому назад хотел стреляться за некоторую Адель.

«Впрочем, здесь, в деревне,— рассуждал граф,— я буду жить царем: у меня великолепный повар, огромное количество прислуги, хорошие лошади, вина в погребе; вообще полный комфорт. Поживу здесь год, другой, тогда, пожалуй, опять переeду в Петербург. Правда, пятнадцати тысяч в год мало, но, само собою разумеется, придется жить поскромнее. А что, если спустить все имение? — вдруг подумал граф и встал, как будто его озарила необыкновенная мысль,— но кто может поручиться, что в два, а много в три года я не спущу все деньги? Тогда что? на службу? — Граф саркастически улыбнулся и закурил гаванскую сигару.— Впрочем, чего я добиваюсь? чего еще желать при таком имении, как мое? Буду себе жить...»

«А общество, общество где? — возражал ему внутренний голос,— с соседями уже ты решил не знаться и хорошо сделал; ибо что может быть общего между ними и тобой? Ты будешь говорить об опере и балете, а твои соседи о запашках и сеноворошилках. Уж лучше сиди здесь один или опять ступай в Петербург».

— Вздор! — вскрикнул граф,— все это надоело... опротивело...— Граф позвонил и приказал подавать себе ужин.

Часов в восемь утра в буфетной комнате, смежной с передней, сидели за самоваром два камердинера и повар с женой. У двери стоял дворовый мальчик в сером фраке с ясными пуговицами. Старший камердинер посмотрел на свои часы и сказал повару:

— Не пора ли вам приниматься за бифстекс...

— Эй, Петька! — крикнул повар мальчику,— сбегай к садовнику, возьми у него редиски да вели скотнице принести сливочного масла.— Повар вынул из кармана карточку, хлопнул по ней пальцем и сказал:— Вот меню! Гор-д'евр-варие... это можно... суп жульен, филе-де-беф ан-бель-вю — идет! Хорошо бы стерле-ала-минут, да его нет! недурно бы крем из рябчиков с трюфелем — тоже нет! артишоков и не спрашивай... за что ни возьмись — все нет да нет! Разве сделать пате-шо из ершей! Есть тут ерши-то?

— Должно быть, есть; карасей здесь много...

— Эта дрянь никуда не годится...

Вошла скотница и поставила на стол масло.

— Андрей Иваныч,— обратилась она к старшему камердинеру,— простоквашу прикажете готовить для их сиятельства?

— Готовьте: граф любит простоквашу; только вы ей давайте окиснуть хорошенько.

— Слушаю. Еще я хотела доложить вам: кучера Якова жена все на меня ругается.

— Как же она смеет?

— Вам известно, как я здесь на скотном дворе состою главная, то ей и не хочется покоряться мне. И ей хочется быть главной. Я говорю: послушай, Марья, если мы у их сиятельства будем все главные, то у нас никакого порядка не будет; кто-нибудь должен покоряться. А она примется на меня брехать.

— Вы скажите ей,— внушительно заметил камердинер,— если ты еще брехнешь, то завтра же получишь расчет, ты должна помнить, у кого ты служишь!..

— Слушаю.

В это время зазвенел колокольчик, камердинеры встрепенулись.

Старший камердинер осторожно вошел в спальню графа, который лежал в постели.

— Какова погода?

— Очень хорошая, ваше сиятельство. Солнце светит. Ночью подул было ветерок, а к утру перестал.

— На почту послали?

— С вечера уехали...

Наступило молчание. Видно было, что граф нуждался в новостях; лакей понимал это и усиливался чем-нибудь потешить графа; но потешить было нечем: впечатления

деревенского утра были так скромны, что их не стоило и передавать.

— Скажи, пожалуйста,— сказал граф,— что это за крик был сегодня ночью?

— Караульный-с, ваше сиятельство...

— Нельзя ли, чтобы он по крайней мере не кричал над самым ухом.

— Слушаю. Сию минуту скажу.

— А собак на ночь спускают?

— Как же-с... всех до одной спускают.

Граф начал одеваться.

— Чай где изволите пить?

— На балконе.

— Погода стоит отменная,— вынося умывальник, говорил камердинер.

Посматривая на прадедовские образа в углу, граф подумал: «Надо эти византийские орнаменты убрать отсюда». Между тем камердинер говорил своему товарищу в передней:

— Не в духе...

— Ты знаешь его характер; нынче с тобой ласков, а то вдруг опрокинется ни за что.

В передней явился дьячок.

— Их сиятельство встали?

— На что тебе?

— Батюшка велел спросить, не угодно ли им пожаловать завтра к обедни...

— А завтра что такое? — спросил старший камердинер.

— Воскресенье,— скромно отвечал дьячок.— Если их сиятельству угодно будет отстоять литургию, то мы служение начнем попозже и благовестить будем подольше. Дьячок отозвал камердинера к двери и шепнул:

— Нельзя ли мне повидаться с графом?

— Зачем?

— Изба вся развалилась... не будет ли милости...

— Из таких пустяков беспокоить графа. С чего ж ты выдумал? Ступай.

— Так вот что,— переступая через порог, говорил дьячок,— замолвите словечко вы сами... верите? не нынче, так завтра изба всю семью придавит!..

— Это дело другое,— заметил камердинер,— когда-нибудь в свободное время доложу.

— Дьячок, ваше сиятельство, приходил узнать, не

угодно ли вам завтра пожаловать к обедни,— докладывал камердинер.

— Скажи, что я не буду.

— Весь бы народ, ваше сиятельство, осчастливили,— говорил камердинер.

— Вздор какой!

— Могу вас уверить, что ждали вас сюда, как красное солнышко — и теперь всем известно, что вы пожаловали. Предки ваши были храмостроителями, а вас считают за попечителя храма... А то и будут толковать, дескать, родители их не гнушались храма божия...

— Ну и пусть их толкуют. Чем же я виноват, что мои предки были храмостроителями?

— Да ведь и то сказать, ваше сиятельство, с волками жить, надо по-волчьи и выть.

Этот довод подействовал на графа. Он сказал:

— А экипаж в порядке?

— Коляску, ваше сиятельство, я сегодня нарочно осматривал; в лучшем виде справлена: выкрашена и лаком покрыта.

— Ну скажи, что я буду.

Старший камердинер был человек испытанный и отличался такою опытностию и знанием своего дела, что граф называл его своим министром. Граф часто спорил с ним, даже ругал его, но всегда оказывалось, что камердинер был прав, хотя он пользовался своим влиянием на барина только в таких случаях, когда чересчур страдало графское достоинство или уже попиралось всякое благоразумие.

За отсутствием более важных дел с вечера же отдано было приказание запрячь к обедни четверку вороных. Молодой камердинер должен был одеться в ливрею, а кучер в свой парадный костюм.

Наступило воскресенье. В девять часов заблаговестили к обедни; граф уже был на ногах. Утро стояло погожее; все окна графского дома были отворены; звуки церковного колокола мелодично раздавались по комнатам. По берегу реки народ в праздничной одежде шел к церкви. Граф был в хорошем расположении духа и слегка напевал из «Тровиатора» *Miserere*. Четверня давно стояла у подъезда.

Наконец, во всем белом, с pince-nez и английским хлыстиком, граф сел в угол коляски, положив наперевес одну ногу на другую. Выждав минуту, когда графский

экипаж подъехал к самой церкви, пономарь ударил во все колокола. Отвечая легким наклонением головы на приветствие народа, граф, в сопровождении камердинера, державшего под мышкой ковер, вступил в церковь. Когда он стал на возвышенное место за чугунной решеткой, дьякон вышел из алтаря и сделал возглас.

В конце обедни священник сказал проповедь из текста «Несть власть аще не от бога». Служба тянулась долго; пение дьячков до того раздирало слух графа, что он покушался уехать домой после первой ектении; но его удержало приличие.

Мужики, вышедшие от обедни и вдоволь намолившиеся на церковный крестик, начали толковать между собою:

— А что, говорят, граф совсем приехал сюда жить?

— Уж знамо! Ноне господа сами взялись за хозяйство; то жили бог ведает где, а то все слетелись на свои гнездышки.

— После воли-то все поджали хвост!

— Теперь и наше дело держись! Чуть мало-маленько овечка али коровка взойдет на барское угодье — тут ей и быть!

— Везде стал глаз хозяйский!

— А урожаи-то ноне стали вон какие: до зимнего Миколы поел хлебушка, да и будет! и заговейся!..

— А там принимайся за лебеду!

— Экой ты! кабы была лебеда — горя бы мало! а как лебеда-то не уродится, тогда-то что делать!

— Его святая воля! — перекрестившись и вздохнувши, промолвил один старичок.

— А там подати... об них надо подумать...

В этом духе продолжался разговор до тех пор, пока крестьяне не разошлись по своим избенкам...

Приехав из церкви, граф позавтракал и отправился в сад; поговорил с садовником о сливах, персиках и абрикосах, дав ему заметить, что эти фрукты его слабость; зашел в библиотеку, где увидал свои реторты и колбы, навестил кухню, посидел на крыльце, глядя на развалившиеся избы крестьян, слушая пение петухов; наконец, прошел через переднюю мимо стоявших навытяжку камердинеров и заперся в кабинете.

— Заскучал!..— сказал старший камердинер,— а навряд он здесь долго проживет!

— Нам какое дело?

II

ЭКСКУРСИИ

Прошел месяц. Граф жил все это время вне всякого знакомства и человеческого общества, исключая своей прислуги. Один только раз приезжал к нему сосед-помещик, с намерением попросить испанских вишен и каких-то высадков, да кстати поразведать, чем занимается его сиятельство. Граф охотно дал вишен и высадков, а насчет своих занятий сообщил, что он каждый день делает ученые экскурсии, в подтверждение чего показал соседу каменную плитку, найденную им в каменной ограде, с следами когда-то бывшего дождя. Речь графа пересыпалась научными терминами, например: додекаэдр, гемиэдрия и т. д. Гость полюбовался микроскопом, стоявшим в зале на особом столике, и уехал, не составив себе определенного понятия ни об образе жизни, ни о самой личности графа, который, напротив, был уверен, что сосед разгласит по всему уезду, что наука имеет одного из достойных представителей своих в лице его сиятельства. На самом же деле экскурсии графа состояли в том, что утром он гулял по саду, причем делал внушения садовнику и управляющему; потом завтракал и отправлялся кататься верхом или стрелять в цель; после обеда смотрел под микроскопом мушиную лапку, но чаще садился у окна с сигарой во рту и устремлял взор вдаль. Однажды, после завтрака, граф сидел среди старой липовой аллеи. Утро было восхитительное, но граф был настроен невесело; он рассуждал о том, что жизнь — удивительно странное явление: чего бы, кажется, хотеть человеку, у которого такое огромное имение, как Погорелово? Несмотря на то, владелец этого имения положительно не знает, куда деваться от скуки... Рассуждения графа вертелись на двух положениях, что жизнь есть наслаждение и пустая и глупая шутка. Первое положение требовало, чтобы человек, подобный графу, катался как сыр в масле; второе приводило к тому, что самое любезное дело покончить с собою... «Вот дерево,— думал граф,— что оно такое, к чему оно? сделать стол, притолку? Или вот птица таскает себе гнездо: для чего это? вывести детей и потом снова таскать гнездо: для чего это perpetuum mobile?[1] Или, например, я: имею великолепный дом, изысканно ем,

[1] Бесконечное движение (*ит.*).

пью, по моде одеваюсь; но к чему все это? к чему все мое состояние? к чему я сам, наконец? Не стоит жить»,— решил граф, грустно покачав головою.

«Не стоит?! — вдруг возразил внутри его другой какой-то голос,— в таком случае имение тебе больше не нужно: отдай его бедным людям».

«Но, может быть,— рассуждал граф,— с моих глаз спадет эта таинственная завеса: может быть, ученые скоро доберутся до настоящего смысла жизни и в газетах вдруг появится объявление: «Нет более *скуки!*»

«Но ведь это вздор,— соглашался сам граф,— такого объявления никогда и быть не может».

«Стало быть,— вмешивался невидимый оппонент,— скука год от году будет пожирать тебя с большим ожесточением; а все испытанные тобою средства от нее оказались недействительными; чего ты не перепробовал? И петербургские рысаки были в полном твоем распоряжении, и балеты, и оперы, и женщины, от которых у тебя до сего времени оскомина, все это изведала твоя душа. Что ж теперь тебе остается делать?»

Невдалеке раздался выстрел. Граф позвал камердинера.

— Кто это стреляет?

— Должно быть, кто-нибудь охотится. За садом есть болото.

«А!— подумал граф,— займусь охотой».

Он приказал подать ружье.

Камердинер спросил:

— Прикажете с вами идти?

— Не надо! — отвечал граф и, взяв ружье, скорыми шагами пошел по саду, осматривая каждый куст, не сидит ли где хоть дрозд.

«Странное дело,— продолжал размышлять граф,— то, чего добивается весь мир — богатство, оказывается не более как пустой звук. Что же делать-то, наконец? Кружиться в петербургском свете — пробовал: остается один чад и пустота в голове да вдобавок векселя. Заниматься хозяйством — в нем ничего не смыслю... Отдаться науке... я к ней не подготовлен...»

Впереди пролетел дрозд. Граф выстрелил и опустил дичь в ягдташ. Поощряемый удачей, он шел дальше и дальше, наконец очутился в поле. Он окинул взором своим поля, вздохнул и вымолвил:

— Какая безотрадная картина! Ничего нет удивительного, что все эти десятины мы превращаем в шампанское,

в рысаков и тому подобное. Да иначе что ж с ними делать?

Граф приблизился к болоту. Вскоре он увидал кулика, бегавшего по берегу, и хотел в него прицелиться; но вдруг остановился; вблизи стоял юноша лет пятнадцати с ружьем в руках.

— Стреляйте, ваше сиятельство,— вежливо приподняв фуражку, сказал молодой человек.

Граф выстрелил, кулик поднялся и вдруг упал, подстреленный незнакомцем. Графу было досадно, что он сделал промах. Завязался разговор.

— Я его плохо видел,— оправдывался граф.

— Да, он от вас далеко сидел.

— А вы хорошо стреляете. Где вы покупали ружье?

— От деда осталось... оно турецкое.

— Вы чем же занимаетесь? — спросил граф, идя с молодым человеком по направлению к саду.

— Живу у отца на винокуренном заводе, пишу конторские книги.

Наружность и скромность молодого человека понравились графу.

— Теперь завод стоит, дела у нас нет...

— Как же вы проводите время? — спросил граф.

— Ничего, весело. Недавно к нашему дьякону приехал его сын из семинарии, так мы с ним рыбу удим, купаемся, книжки читаем; он с собой привез две книги. Вот хожу, стреляю; а больше с кузнецом перепелов ловим — каждую зóрю, и утром и вечером... отличная охота!

— Интересная?

— Очень интересная, ваше сиятельство!

— В чем она состоит?

— Изволите видеть: берется сеть, дудочка и самка. Как только солнышко начнет закатываться, сейчас мы отправляемся в поле. Только нужно, чтоб самка была хорошая!..

— Какая самка?

— Просто перепелка, ваше сиятельство...

— А у вас она есть?

— Как же! я еще в прошлую осень достал; мне принесли ребята; такая голосистая! удержу нет! в одну зорю поймает перепелов десять! я за нее не возьму двадцати рублей...

Воодушевление, с которым молодой человек рассказы-

вал про перепелиную охоту, граф старался поддержать: оно как-то освежительно подействовало на него: он продолжал спрашивать:

— А дудка для чего?

— Тоже для перепелов, ваше сиятельство: подманивать... Как только перепела услышат эту дудочку, так и пойдут кричать; и там, и здесь, и оттуда, и отсюда летят, даже сгоряча на картуз садятся. В это время только сиди, не шевелись, а то и петь на голове будут! просто от смеху живот надорвешь. Вы ни разу не видали этой охоты, ваше сиятельство?

— Нет.

— По-моему, ваше сиятельство,— продолжал юноша,— эта охота лучше всякой другой охоты: ружейная или, например, рыбная перед ней никуда не годятся. Мы каждую зорю охотимся: так в поле и ночуем...

— А можно мне посмотреть, как вы ловите?

— Помилуйте, отчего же нельзя! Мы вот сегодня же и пойдем; потому погода стоит хорошая...

Граф и сын винокура подошли к калитке сада. Графу не хотелось отпустить от себя такого живого собеседника; к тому же он чувствовал, что дома ожидает его страшная тоска. Граф пригласил молодого человека к себе в дом.

— Вы не хотите ли персиков? — спросил граф, проходя мимо оранжереи.

— А я их, признаться, ни разу и не видывал,— простодушно отвечал юноша.

— Не лучше ли, впрочем, так,— вдруг воскликнул граф, заметно оживляясь,— позвольте спросить, вы обедали?

— Нет.

— Так сначала мы будем обедать!

— С большим удовольствием.

Пришедши с гостем в кабинет, граф позвал камердинера:

— Послушай! мы будем обедать на балконе; вели принести из погреба бутылку лафиту.

— Слушаю,— не очень доброжелательно посмотрев на незнакомца, отвечал камердинер и удалился.

— Садитесь, пожалуйста,— обратился граф к юноше, который с детским любопытством засматривался на каждую безделицу в кабинете.

— Ваше сиятельство! — начал он,— осмеливаюсь вас беспокоить покорнейшей просьбой. Нет ли у вас какой-

нибудь книжечки почитать? я страсть как люблю книги... а достать негде...

— У меня больше французские... Впрочем, я велю камердинеру поискать в библиотеке. Позвольте спросить, где вы воспитывались?

— В уездном училище.

— А не в гимназии?

— Нет-с, потому средств не имею: у моего отца большое семейство; а в гимназии, говорят, содержание обходится двести рублей в год или более.

— Двести? — повторил граф.— А вы хотели бы учиться?

— Как же, ваше сиятельство, не хотеть? Что ж я живу здесь? почти без всякого занятия: ни себе никакой пользы не приношу, ни семейству.

Граф задумался. В его голове шевельнулась мысль: «Вот представляется случай сделать доброе дело: выведи этого юношу на свет божий; двести, триста рублей в год для тебя ничего не значит; зато в твоей пустой жизни будет хоть одно это дело, ты хоть недаром проживешь на земле».

Граф почувствовал вдруг какое-то наитие и, встав, объявил молодому человеку:

— Я позабочусь, чтоб вы были в гимназии; двести рублей в год я могу уделить на ваше образование.

Камердинер доложил, что обед готов.

— Так мы сегодня идем на охоту.

— Надо, ваше сиятельство, пригласить кузнеца: он отличный охотник,— сказал гость.

Во время обеда камердинер доложил, что повар просит позволения идти на охоту, так как, живши еще у князя Косоурова, он был страшным охотником и перепелиную часть знает хорошо. Граф приказал ему собираться.

При закате солнца охотники отправились. Дорогой повар затеял спор с кузнецом относительно того, какой перепел лучше, тот ли, что кричит два раза, или тот, который просто «мамакает». Граф попросил повара вести себя в пределах подчиненности и не забываться.

Стоял тихий июльский вечер; солнце закатилось; на западе расстилались огненные полосы; рожь, к которой подошли охотники, стояла неподвижно... каждый малейший звук был слышен.

— Сейчас начнется,— выговорил повар.

Отозвался перепел. Повар заиграл в дудку, и в одну

минуту два перепела опустились близ сети. Самка не заставила себя долго ждать и начала, как говорят охотники, трюкать. Услыхав ее голос, молчавшие перепела вскричали на разные голоса и один за другим начали садиться, где ни попало.

Графу так понравилась охота, что он велел нести в дом сеть, дудку и самку, обещаясь отправиться и на утреннюю зорю. За ужином он велел подать себе шампанского. Вся графская дворня суетилась и толковала о перепелах; графский дом вдруг ожил.

Охота, за исключением ненастных дней, продолжалась каждую зорю. Сын винокура запросто приходил в графский дом и без церемонии настроивал дудку, в чем иногда принимал участие и сам граф.

Однажды граф сидел в кабинете и вслушивался, как сын винокура настроивал в зале дудку. Он позвонил камердинера и объявил:

— Скажи этому молодому человеку, что я больше не намерен охотиться: я не так здоров, к тому же у меня есть дела.

— Я вам давно, ваше сиятельство, хотел доложить,— начал камердинер,— нехорошее это вы знакомство завели. Вон и то начинают говорить про вас, что вы по ржи бегаете за перепелами.

— Кто это говорит?

— Да соседи!.. ей-богу... помилуйте! наш дом графский; а какое у нас пошло безобразие... страсть! вон паркет весь исцарапан, никак не наметешься... Самка стоит в передней... Ну, кто взойдет из хороших людей? А вчера перепел окно разбил...

— Ну, да! так скажи Ивану Иванычу, что я занят... ступай!

— Слушаю.

Камердинер подошел к молодому человеку и объявил:

— Его сиятельство не совсем здоровы, так просят у вас извинения... Они пришлют за вами, когда вздумают поохотиться, пришлют,— ласково говорил камердинер. Юноша удалился.

Графский дом принял прежний, величественный, строгий вид. В нем воцарился порядок: везде все было убрано, полы были натерты, прислуга ходила на цыпочках. Граф сидел в кабинете, чистил ногти и думал:

«Теперь по всему уезду будут толковать: вот какие он делает экскурсии-то!.. скандал!..»

III

ГОСПОДА КАРПОВЫ

Ближайшим соседом графа был Егор Трофимыч Карпов, отставной полковник, лет восьмидесяти. Он управлял когда-то большими имениями знатных особ, был уездным предводителем дворянства, а в последнее время, пользуясь славою примерного хозяина, тихо доживал век в своем родовом имении с женой, красивой дочерью шестнадцати лет и свояченицей — пожилой девицей. У Карпова есть и сын — студент московского университета: рассчитывая на него как на опору своей старости и опасаясь, как бы молодой человек не сделался «якобинцем» в испорченной среде нынешней молодежи, Карпов почти в каждом письме к нему упоминал: «Если вздумаешь бросить науку, приезжай домой; у твоего отца хлеба хватит...» Сын, успевший перепробовать все факультеты, исключая медицинского, на который он поступил недавно, отвечал отцу, что воспользуется его советом непременно, как только доберется до самого корня учения. Об образовании своей дочери, которую ожидало хорошее приданое со стороны родителя, Карпов мало заботился, считая самым лучшим украшением человеческой природы — деньги, дающие независимое положение в свете. Как человек старый и притом сильно пожуировавший на своем веку (он женился пятидесяти лет), Карпов безвыездно сидел дома, считая города вертепами разврата — и чуть не разбоя; он без ужаса не мог подумать о каком-нибудь развлечении, на которое подбивали его жена, дочь и свояченица. Только в таком случае, когда все семейство от скуки заболевало, старик приказывал кучерам из-прохвала готовить экипажи в город, а жене назначал рублей пятьсот на покупку «разных тряпок». Но как скоро больные поднимались на ноги, Карпов начинал жаловаться на новые времена, будто бы грозившие со дня на день каждому помещику разорением, ссылался на скудные урожаи и советовал отложить всякое попечение насчет поездки в город. Разнообразил свою жизнь старик совсем иначе, нежели как мечтало его семейство: выстроив амбар или починив конюшню, он вдруг поднимал образа, что называется молился богу. После водосвятия он приглашал церковнослужителей на пирог, а «богоносцев» угощал на крыльце водкой. Жена его в это время сидела в своей комнате, нюхала спирт и спрашивала горничную, поглядывая на мужиков: «Скоро ли уйдут эти люди с запахом?» Она внутренно жалова-

лась на судьбу, соединившую ее с упрямым, бессердечным стариком (ей было под сорок), так что, несмотря ни на какие усилия с ее стороны мужественно нести свой крест, она всякий раз изнемогала и падала под его тяжестью. Свояченица Карпова в свою очередь негодовала на вечное свое девство и одиночество, волей-неволей заставившие ее изливать свои чувства на больных грачей, выпавших из гнезда галчат и подчиняться грубому произволу старика.

Однажды утром, когда лакей накрывал для чая стол, Карпов, сидя на диване в коротеньком шелковом камзоле и в бархатной ермолке, беседовал с священником своего села о недавних правительственных распоряжениях относительно приходов и церквей. Поправляя на голове ермолку и без церемонии зевая, он спрашивал:

— Куда же денутся дьячки и дьяконы?

— По всей вероятности,— отвечал священник, робко приподнимаясь со стула,— поступят в род жизни; а впрочем, может быть, последуют какие-нибудь особые распоряжения...— Священник сел и прибавил,— еще ничего неизвестно.

— Ну, как же наш храм?

— Позвольте вас просить, Егор Трофимыч, взять издержки на себя; так как наш приход маленький, то храм могут запечатать и ваше семейство должно будет ездить за двенадцать верст в село Христовоздвиженское. Что же касается до крестьян, то рассчитывать на их поддержку невозможно; сами изволите знать, у всех дома раскрыты...

— Что могу, то сделаю,— отвечал Карпов,— а без церкви нам нельзя быть.

— Да! поистине доброе дело сделаете, если примете на себя попечение о храме...

Карпов задумчиво поправил на голове ермолку и перекинул одну ногу на другую.

— Так вы были в Погорелове? — спросил он после некоторого молчания.

— Как же-с! третьего дня ездил туда: приход там настоящий — более тысячи душ, и церковь в исправности. Ну, да ведь и то сказать: графское имение...

— Граф все здесь живет?

— Здесь-с! — запахивая полы рясы, отвечал священник,— говорят, весь погрузился в науки, занимается натуральной историей... Что-то нынче материализм в большом ходу стал: вот села Голопяток священника жена помешалась над этими науками, постоянно читает либо

анатомию, либо какие-нибудь человеческие внутренности и все спорит с мужем о бессмертии души.

Карпов засмеялся, прищурив глаза, и быстро передвинул ермолку с одного боку на другой.

— О бессмертии души... Говорит: неужели я должна пропасть!

— Ну, что же муж на это?

— Муж, конечно, говорит: «Чего ты ищешь? что нам с тобою надобно? Живем мы, слава богу». А ведь они люди богатые: за попадьей было приданого тысяч десять; она дочь полкового священника... Само собою разумеется, с детства вращалась среди офицеров и набаловалась...

В это время в залу вошли свояченица и дочь Карпова, Варвара Егоровна.

— Пора, матушка, пора: не стыдно ли так долго спать? — говорил старик, целуя дочь,— самовар давно на столе, а вы прохлаждаетесь...

— Мы с тетей давно встали, папочка,— отвечала дочь, приготовляясь делать чай.

— Чего вы брюзжите? — поцеловав Карпова, сказала свояченица,— видите, какое чудное утро? Сегодня мы хотим отправиться в лес... Здравствуйте, батюшка,— отнеслась она к священнику,— благословите...

Священник осенил ее крестом и произнес:

— Надо, Александра Семеновна, пользоваться временем; а то ягоды скоро скосят... да и благо погода стоит.

— О чем вы тут говорили? — спросила Александра Семеновна, садясь за стол.

— Да вот о церквах; о погореловском графе...

— Ну что? Скажите, пожалуйста, что граф?

— Ничего, живет в своем имении, занимается науками... Я недавно туда ездил...

— В самом деле? Что же, вы его не видали?

— Нет-с, видел — мимоездом. Я ехал этак в стороне, а он верхом, в белых брюках.

— Что же, красив он?

— Очень... очень даже красив...

— Ах, боже мой! хоть бы одним глазком взглянуть... Егор Трофимыч!— обратилась Александра Семеновна к Карпову.— Как бы познакомиться с графом?

— Я уж не знаю как; с отцом его я был знаком; а этот живет здесь без году неделю: больше разъезжал где-то. Впрочем, если вам так хочется...

— То что?

— Что, папочка? — весело спросила дочь.

— Вот приедет Вася... Он познакомится с графом...

— Ах да! — воскликнула Александра Семеновна,— хоть бы поскорей приезжал Вася; как вспомнишь эту несносную зиму, боже мой! Я не знаю, как мы живы!..

— А ваш сынок скоро приедет? — спросил хозяина священник...

— Жду со дня на день... теперь у них экзамены кончились... Мой сын тоже естественник,— внушительно взглянув на священника, заметил старик.

— Естественник?— спросил батюшка,— гмм... да-с! доброе дело!.. Что бишь я слышал про графа? дай бог память!

Все с напряженным вниманием глядели на священника...

— Будто бы он... конечно, может быть, все это пустяки... я сам слышал от людей...

— Да что такое?

— Будто бы он науками-то вовсе не занимается, а с дворовыми людьми бегает по полям да перепелов ловит...

— Вздор какой! ну, можно этому поверить? — сказала Александра Семеновна,— вы сами посудите, батюшка.

— Конечно... я слышал... За что купил, за то и продаю...

— Это просто деревенские сплетни!.. Граф, как человек серьезный и ученый, приехал в наше захолустье попробовать применить научные сведения к нашей жизни, а про него распустили слух, что он перепелов ловит!.. Ах, какой народ!..— На лице Александры Семеновны выразилось негодование, и она прибавила: — Впрочем, гораздо лучше оставить этот разговор: к науке нельзя так легкомысленно относиться... Егор Трофимыч! я вам не сказывала моего горя?

— Что такое?..

— Мой грач, у которого было сломано крыло, сегодня утром скончался...

— Вечная память,— усмехаясь, сказал старик.

— Надо рыть могилку,— присовокупил батюшка.

— А вы как думаете? Неужели я его так брошу... Я ему сейчас пойду рыть могилку... Бедный, бедный! и отчего так скоро умер?.. Бывало, где бы он ни был, только скажи: «Милый грач!» — сейчас отзовется и придет...

— А остальные ваши питомцы живы?

— Слава богу! А насчет графа, батюшка, вы таких слухов не распускайте... пожалуйста! ведь это ужасно!!. это ни на что не похоже...

— Помилуйте, мне самому говорили...

— Я вас покорнейше прошу...

Александра Семеновна попросила себе другую чашку чаю, утерлась платком и замолкла: на ее лице выступила краска. Старик, глядя на нее, посмеивался. Батюшка, поняв свой промах, переменил разговор:

— Все помаленьку начинают съезжаться в деревни: теперь в городах тяжко... пыль... Вот, говорят, Новоселов приехал из Петербурга.

— Наш сосед — Андрей Петрович? — спросил старик.

— Да-с! Говорят, дня три или четыре тому назад прибыл.

— Каков? и до сих пор не проведает нас... Значит, он до сих пор не определился на службу... Странный человек! ведь получил университетское образование... он тоже натуралист.

— Человек добропорядочный. Этого нельзя отнять...

В залу вошла хозяйка с бледным лицом и томными глазами, в белом пеньюаре: в руках у ней был флакон с духами. Приняв благословение у священника, она обратилась к мужу:

— Там, к тебе, мой друг, пришли мужики: должно быть, насчет *земельки...*— Она с усмешкой посмотрела на батюшку,— не могу равнодушно смотреть на этот народ; со мной сейчас делается дурно...

На улице вдруг раздался звон колокольчика: все семейство устремилось к окнам. Тройка почтовых лошадей подъезжала к церкви. Священник, вглядываясь в проезжающего, говорил: «Уж не к нам ли из консистории?..» Но тройка, миновав церковь, повернула прямо к дому Карповых. Женщины вскрикнули:

— Вася, Вася!

Все вышли на крыльцо, к которому подъехал бравый молодой человек в белом пальто. Это был сын Карпова. Произошла обычная сцена свидания; зазвучали поцелуи, посыпались расспросы; батюшка, поздравив Карповых с радостию, отправился домой. Через полчаса молодой человек сидел за самоваром в кругу родного семейства. Сообщив некоторые подробности из своего путешествия, он объявил:

— Ну-с, уведомляю вас, что университет я оставил.

— Как так? — спросили все.

— Очень просто. Завершаю свое образование и поселяюсь здесь с вами.

— Что же ты будешь делать?— спросила мать.

— Буду знакомиться с хозяйством, охотиться, изучать химию. Это мой любимый предмет. Да и, наконец, папаша слаб, я ему буду помогать.— Студент поцеловал руку отца и спросил: — Ты не сердишься на меня, что я бросил университет?

— Помилуй! напротив! Я же тебе писал несколько раз: приезжай, как только вздумаешь.

— Послушай, Вася! — возразила Александра Семеновна,— неужели ты с этих пор хочешь закабалить себя в деревне?

— Да! Закабалить!— энергично сказал молодой человек,— а знаете вы причины, почему я оставил университет? Ведь вы их не знаете. Вы не можете себе представить, что такое медицинский факультет!..

Старик усмехнулся и сказал:

— Вот то же самое он говорил про юридический и филологический факультеты: «Вы не можете себе представить!»

— Ну, да с этими факультетами я покончил,— более и более воодушевляясь, говорил юноша,— теперь послушайте, что я вам скажу про медицинский. Я не могу до сих пор понять, каким образом медицина в моей голове перевернула все вверх дном! познакомившись с нею, я совершенно охладел к жизни, даже потерял всякое уважение к людям. Ей-богу... Вообразите себе: всякий из нас, как известно, любит цветы, например; да и в самом деле, они прелестны,— чудо в своем роде, как чудо все, что только произвела природа. Теперь не угодно ли вам послушать университетские лекции об этих цветах или вообще о растениях: вам, зевая, нехотя, потому что профессорам надоело несколько десятков лет читать одно и то же, сообщают, что чашечка пятиразверзная, пестик один, листья перисто-выемчатые, обратно-яйцевидные и т. д. И все это читается вяло, монотонно, как будто профессора отбывают самую несносную для них повинность... Затем представьте себе эти распластанные, изрезанные трупы, этих молодых людей с ножами...

— Фи! не рассказывай, пожалуйста,— воскликнули дамы,— c'est affreux!..[1]

— Нет, ведь это любопытно. Раз я вхожу в физиологический кабинет и вдруг вижу: студент лет семнадцати

[1] Это ужасно!.. *(фр.)*.

разрезает брюхо живому щенку; несчастное животное распластано на столе и крепко привязано за все четыре ноги; морда тоже завязана, и щенок издает глухой страдальческий стон.

— Боже мой!.. какое варварство!..— воскликнули дамы. У Варвары Егоровны на глазах появились слезы. Студент продолжал:

— Нужно было видеть это бессердечие, с которым молодой человек тиранил бедное животное. Во время этой вивисекции он держал в зубах сигару и то и дело отходил в угол к товарищам, с которыми беседовал о Шумском, о Тартюфе и т. д. Или такое зрелище: толпа молодых людей, окружив чахоточного больного, выслушивает его грудь и чуть не с восторгом кричит: «Великолепные каверны!» Да что! это я вам рассказал миллионную долю... а состав, а правила университетские!.. Обо всем этом надо написать такое же многотомное сочинение, как «История Российского государства» Карамзина.

— А мы думали, что ты будешь доктором,— заметила мать.

— Какой я доктор? помилуйте! да и теперь все порядочные медики сознаются, что лечить значит шарлатанить, что самый лучший врач — натура, а самое лучшее лекарство — хорошая пища, правильный образ жизни и тому подобное.

— Ну, отчего же ты бросил филологический факультет? — спросила Александра Семеновна.

— Я уж вам говорил, что там частицу quod объясняют несколько лекций: как употреблял ее Цицерон, Корнелий Непот, Тацит, Тит Ливий...

— А юридический?

— Об этом и говорить не стоит! это не что иное, как факультет пустозвонства. И какой из меня может быть юрист? Обвинять преступника, ссылать его на каторгу я не могу... Впрочем, я знал бы, что делать... у меня есть свой кодекс...

— Ну уж, пожалуйста, не умничай...

— Слушаю.— Студент взглянул на сестру и спросил: — Что это? ты никак плачешь, мой друг!

— Мне жаль щенка! — вымолвила Варвара Егоровна,— бедный!

Студент обнял сестру.

— Добрая душа, ты еще не знаешь, что люди подчас бывают хуже зверей. Впрочем, не дай бог тебе познать эту истину!.. Ах да! я вам и не сказал самого интерес-

ного: ведь я заезжал к Новоселову: он уже несколько дней как приехал из Петербурга... Вообразите себе... Подъезжаю к его хате, смотрю, дверь отперта. Думаю, не сам ли хозяин тут? Вхожу и вдруг вижу, что вы думаете? Андрей Петрович Новоселов сам готовит себе обед, стоит перед печкой и смотрит, как варится каша. Спрашиваю: «Андрей Петрович, что с вами?» Он говорит: «Как видите, готовлю обед». А было дело часов в восемь утра: значит, он держится русского обычая насчет обедов: готовит кушанье в затопе. «Как вы сюда попали? давно ли из Питера?» — «Из Петербурга я, говорит, дней пять». А уж он около двух лет не был в своем имении. Я ему объявил, что бросил университет. «Ну, а вы что? спрашиваю, не пробовали служить?» — «Пробовал, говорит, разумеется, бросил все и решился жить здесь, в своей хате».— «А делать что же будете?» — «Как что? Буду пахать землю». Я так и повесил нос... Вот тебе и наука! Человек с университетским образованием хочет пахать землю...

— Чудеса!..— усмехаясь, проговорил старик.

— Ну, это одна фантазия!— воскликнули дамы.

— Нет, не фантазия! вопрос о пахоте недавно был возбужден в нашей литературе...

— Да не помешался ли Новоселов?

— Он-то не помешался! А не помешался ли весь наш общественный строй!..— грозно произнес юноша.

— Что же, ты просил к себе Новоселова? — спросил старик.

— Он обещался приехать сегодня вечером. Мне было хотелось с ним поговорить побольше, да я спешил домой и его не хотел стеснять.

Все призадумались.

— Нечего сказать,— проговорила Александра Семеновна,— грустные времена: ни за что гибнут лучшие силы!..

— Вот бы вас заставить работать! — обратился старик к дамам,— жать, молотить... на пруд ходить... А то постоянно пищат: «Папочка! поедем в город! там театры, концерты...» И ты тоже, баловница,— сказал старик дочери: — «Поедем, папочка, в Москву!» — уши прожужжала... Я вот тебя заставлю огурцы солить да за индюшками ходить.

— Ну уж, пожалуйста! мы и так едва ноги таскаем...— сказала Александра Семеновна.

— Нет! — продолжал студент,— я теперь просветлел!

И слава богу! Я понял, что такое наше образование... Оно калечит людей, выжимает из нас всю кровь... Недавно я читал где-то, что школа имеет на учеников самое гибельное влияние: молодые люди тупеют, чахнут, а некоторые даже перестают расти,— так что под гибельным влиянием школы люди начинают вырождаться... Насчет наших гимназий — так там прямо сказано, что педагоги своими уроками гонят учеников, как почтовых лошадей... Славные ямщики!..

— Что же, по-твоему, так и оставаться невеждой? — возразила мать.

— Лучше невеждой,— проговорил молодой человек,— но здоровой, рабочей силой, нежели сухим буквоедом и ученым бюрократом, да вдобавок еще...

Студент встал и объявил:

— Довольно об этом!.. Пойдемте лучше в сад... Что, жива моя лошадь?

— Жива,— сказал старик,— ходит в пристяжке.

— Ну, а твои собаки, куры? — спросил Василий Егорыч сестру.

— Пойдем, я тебе покажу: посмотри, Вася, какие у меня цыплята...

Варвара Егоровна взяла брата под руку, и все отправились в сад.

Любуясь цветами, зеленью, липовой аллеей, молодой человек говорил:

— Ах, как у вас хорошо! Земной рай! Итак, папа, ты не сердишься, что я приехал? Да и почему мне не посвятить тебя агрономии? ведь ты более половины своей жизни занимался хозяйством... А по теории Дарвина яблоко недалеко падает от яблонки.

Из саду все семейство отправилось во флигель, старинное здание, выстроенное на случай приезда гостей, где должен был жить Василий Егорыч. Осмотрев комнаты, молодой человек назначил одну из них для Новоселова и решился просить его перебраться сюда на целое лето, так как земля Новоселова сдана была в аренду до сентября, значит до того времени делать ему было нечего в своем имении; а если он непременно захочет пахать, то Василий Егорыч обещался снабдить его и сохою и лошадью. Не рассчитывая на знакомство в своем околодке, молодой человек дорожил Новоселовым как человеком просвещенным и бывалым, с которым не будет скучно всему семейству. Женщины известили его о приезде графа, о его ученых занятиях: они принялись упрашивать

Василия Егорыча съездить в Погорелово, сделать визит графу. Молодой человек изъявил свое согласие. На возвратном пути к дому Александра Семеновна сказала своей племяннице:

— Ты, Варя, смотри не влюбись в графа. Я знаю, Новоселов не произведет на тебя впечатления... ты его уж знаешь... но граф... граф... Я боюсь за тебя...

— Меня они оба интересуют,— сказала девушка.

— Новоселов-то чем же?

— Как же, тетя! такой умный человек, а хочет пахать.

Александра Семеновна засмеялась и сказала:

— Да это он просто хочет прослыть за оригинала. Но граф... я заочно влюблена в него!..

— Я тоже с нетерпением хочу видеть этого столичного льва,— сказала Карпова.

— Заварил ты у меня кашу! — заметил старик сыну,— бабы-то уж теперь влюбились в графа.

Карпова обняла мужа и, целуя его, сказала:

— Да разве я променяю тебя на кого-нибудь? Что нынешняя молодежь? На что она похожа?

— Нет, мой друг,— заметил старик,— я хорошо помню пословицу: «Не верь коню в поле, а жене в подворье!»

IV

НОВОСЕЛОВ

После обеда молодой Карпов отправился во флигель соснуть, так как он проехал более тысячи верст не отдыхая. Старик, по всегдашнему своему обыкновению, сидел в комнате жены в огромных, старинных креслах и дремал. Накрыв его платком от мух, Карпова ушла наверх, где Александра Семеновна, при помощи горничной, рассаживала цветы. Варвара Егоровна с дворовыми и крестьянскими девицами качалась в саду на качелях. Мало-помалу спустились сумерки. Зала осветилась лампой. На столе явился самовар.

Около девяти часов к крыльцу подъехала крестьянская телега, из которой вылез плотный мужчина лет тридцати двух, с окладистой бородой, в сюртуке и в русских сапогах.

— Прикажете подождать? — спросил мужик.

— Нет, ступай! Отсюда я как-нибудь доеду,— сказал гость,— вот тебе за труды...

Мужик снял шапку, взял деньги и, стоя на коленях в телеге, задергал вожжами лошадь, к морде которой начали бросаться собаки. В это время из саду выбежала, с большой куклой на руках, Варвара Егоровна и закричала на собак; они, искоса поглядывая на госпожу, вдруг смолкли и начали расходиться по сторонам.

— Здравствуйте, Варвара Егоровна! — пожимая руку девушке, сказал гость,— как вы выросли!.. и узнать нельзя...

— Ведь мы с вами не видались около двух лет,— отвечала Варвара Егоровна,— вы тоже изменились, Андрей Петрович, пополнели, обросли бородой...

— И постарел,— добавил гость.— Что это, вы в куклы играете?

— Да, играю; посмотрите, какая славная кукла: крестьянская баба, в поняве, в лаптях...

— Ваши дома?

— Дома; брат Вася во флигеле. Катя! — обратилась Варвара Егоровна к одной из дворовых девиц,— завтра приходи опять качаться да захвати с собой гармонию...

— Варвара Егоровна, а нам приходить? — спросили крестьянские девушки.

— Непременно, да чтобы песни играть и плясать...

— Вы весело проводите время,— говорил гость, входя в переднюю...

— Еще бы!..— проговорила девушка и в одну минуту очутилась в зале с известием: — Знаете, кого я привела? Андрея Петровича.

В зале сидели дамы и старик. Молодой Карпов еще не просыпался. При появлении Новоселова дамы воскликнули:

— Давно пора вам показаться... Где это вы пропадали, Андрей Петрович?

— Садитесь-ка,— сказал старик.

— Фи! да он в русских сапогах! — воскликнула Карпова.— Варя! подай мне флакон... Что с вами? не совестно вам так одеваться?

— Что ж,— осматривая свою одежду, говорил гость,— я не знаю, чем дурен мой костюм?

— Ничего! В деревне надо жить по-деревенски,— заметил старик.— Ну-ка, рассказывайте, где были, что видели...

Новоселов сел за стол.

— В последнее время я жил в Петербурге и часто, Егор Трофимыч, вспоминал вас: помните, вы когда-то го-

варивали, что в Петербурге живут одни не помнящие родства...

— Ах да, да... что ж, разве это не правда? Признаюсь, не люблю я этого города! — сказал Карпов,— вертеп...

— Ну, а на службу не поступили до сих пор? — спросила Александра Семеновна.

— Какая служба! Бог с ней!

— Что же! вы ведь не Рудины... вы люди новые,— вам стыдно без дела шататься...

— Зато у нас и другие вопросы, нежели у Рудиных: те век целый исполинского дела искали...

— А вы что же?

— А мы не погнушаемся и черной работой...

— Скажите, Андрей Петрович, правда, будто вы хотите пахать землю...

— Совершенная правда. Вас это изумляет?

— Кого это не изумит? При ваших сведениях вы хотите взяться за соху.

— Вот сведения-то и привели меня к тому, что надо взяться за соху... Знаете ли что, Александра Семеновна: мы так привыкли есть готовый хлеб, что уж не только пахать, просто купить себе к обеду провизии на рынке мы считаем за дело недостойное нас. Странно то, что есть нам не стыдно, а добывать пищу стыдно.

— Браво! браво,— сказал старик,— хорошенько их, а то только и слышишь: «Ах, какая скука! боже! какая скука!..» А отчего? — все от безделья!..

— Впрочем, я не знаю, как для кого,— продолжал Новоселов,— по крайней мере относительно себя я решил...

— Пахать? Ну, а нам, по-вашему, жать и снопы вязать?

— Позвольте, чем же дурно это занятие? По-моему, все же лучше взяться за черную работу, нежели жить так, как живет весь наш так называемый образованный класс. Нет-с, Александра Семеновна, в природе существует правда: вы посмотрите, все эти образованные, устроившие себе карьеру — задыхаются от скуки...

— Значит, вы идете против образования, против науки?

— Нет, я ратую только против такого образования, какое существует у нас. Просвещаемся мы из-за погони за карьерами, полагая все свое счастие в окладах да в квартирах; мало того, мы добиваемся совершенной

праздности; в настоящее время весь Петербург, вся Москва, весь цивилизованный русский мир хочет выиграть двести тысяч — для чего? для того, чтобы всю жизнь лежать на боку со всем своим потомством... Зато посмотрите, что делается в Петербурге-то!

— Что такое?.. Расскажите-ка, Андрей Петрович,— посмеиваясь, сказал старик.

Новоселов закурил сигару.

— В нашей северной Пальмире, особенно в последнее время, когда учение Дарвина, понятое в смысле обирания ближнего, вошло в плоть и кровь каждого, процветает непроходимая тоска. Петербургский житель (я разумею петербуржца обеспеченного) чувствует в себе такую неисходную пустоту, что ему страшно остаться с самим собой наедине, как ребенку в темной комнате. Не угодно ли вам взглянуть на Невский около двух часов пополудни, когда столичное население с бодрыми силами несется за впечатлениями; это население, как рыба в жаркое время, шарахается в разные стороны: тоска выгнала всех из домов и преследует даже по улице, массы людей в скунсовых и бобровых шубах. Все предприняли поход против общего врага — ошеломляющей скуки. При этом замечательно то, что, как говорил когда-то Роберт Овэн, *все во вражде с каждым, и каждый во вражде со всеми*. Поголовное отупение доходит до такой степени, что лишь только часовая стрелка укажет шесть с половиною вечера, по всем улицам сломя голову летят кареты, тройки, кукушки, рыболовы, и все это стремится в театры, как в овчую купель, в чаянии омыться от проказы, все как будто вдруг почувствовали приближение смерти... А ведь кажется, чего бы желать всем этим людям в бобрах да в скунсах? Слава богу, все есть... удобства на каждом шагу: обидел кто — есть суд: даже на каждом перекрестке стоит полицейский чиновник, который смотрит, не задели бы вас плечом, оглоблей, не сказали бы вам дерзкого слова. Есть хотите? тысячи ресторанов и трактиров к вашим услугам. Об увеселениях и говорить нечего... Между тем скука, как море, волнуется повсюду. Так предложить нашему образованному классу пахать землю — давно пора!.. На что весь этот люд народу? Цивилизация, основанная на тунеядстве, развращает только людей, делает их отребьями мира сего... Вы вспомните хоть одно: например, в вашем пруде кто-нибудь утонул... ведь ни мы с вами, ни один петербургский «прогрессист» не полезем туда, особенно в октябре... а любой мужик полезет, намо-

чится, простудится и все-таки достанет своего ближнего... Мы же будем красноречиво рассуждать о гражданских доблестях, разыгрывать из себя одержимых гражданскою скорбию... Вот почему, Александра Семеновна, я и обратился к сохе, в надежде хоть сколько-нибудь себя исправить... Мы Сатурново кольцо, отделившееся от планеты, или, вернее, нарыв, которому надо же когда-нибудь прорваться... При этом нельзя не вспомнить Руссо, который в своем «Эмиле» советует добывать насущный хлеб собственными руками: вам, говорит, не будет тогда надобности подличать, лгать перед вельможами, льстить дураку, задобривать швейцара и т. д.; пускай мошенники заправляют крупными делами, вам до этого нет дела; добывая же своими руками хлеб, вы будете оставаться свободными, здоровыми и честными людьми...

— Да, Андрей Петрович! — вдруг воскликнул старик,— все это хорошо, прекрасно, умно: вам Петербург надоел, служить вы не хотите, значит решено!.. Вот что: в самом деле — поселяйтесь с нами в деревне и принимайтесь хозяйничать... По опыту вам скажу — лучше ничего не может быть на свете, как сельское хозяйство... Я уверен, что вы его страстно полюбите... Но только этот вздор выкиньте из головы.

— Какой вздор?

— Самому пахать землю... Как это можно!..

— О, нет, Егор Трофимович... Я решился...

— Ну, как хотите! Я уверен, однако, что вы сами скоро убедитесь, как многого вы еще не знаете, хотя и странствовали долго по белу свету... Во всяком случае, поживите-ка у нас пока... давеча Вася хотел вас просить об этом... он и комнату вам приготовил...

Старик потрепал гостя по плечу.

Особенная любезность и внимание, которые проявил старик в отношении к Новоселову, имели своим источником весьма житейское обстоятельство. Слушая проповеди Андрея Петровича, он мысленно делал им подстрочный перевод такого содержания: проповедник, как видно, угомонился — он у пристани; те беспокойные страсти, которые обуревают юношей, сменились определенным, трезвым взглядом на жизнь; города, эти омуты разврата и мотовства, потеряли для него обаятельную силу; человек установился, и нет никакого сомнения, что из него выйдет дельный, расчетливый и трудолюбивый хозяин, у которого, однако, весьма порядочное имение. Сверх того, старик знал Новоселова как доброго и честного своего со-

седа: слушая с удовольствием его энергические рекламы против мотовства, дармоедства, праздности городской жизни, Карпов в то же время с необыкновенною нежностию поглядывал на свою дочь, составлявшую предмет его родительской заботливости и даже тревоги относительно ее будущности, так как, по его мнению, во всем околодке не было ни одного молодого человека, на которого бы он мог рассчитывать как на будущего зятя и который бы, женившись на Варваре Егоровне, не промотал ее состояния. Новоселов же представлял много задатков, обеспечивавших родительские надежды и планы... «По крайней мере не мешает поприсмотреться к Новоселову»,— решил старик. Дамы, напротив, не только не увлеклись пропагандой Новоселова, но даже видели в ней прямую солидарность со взглядами и убеждениями Карпова, закабалившего их в такую трущобу, из которой они день и ночь думали вырваться, как из острога, поэтому они и не рассчитывали на Новоселова как на зятя; по их мнению, зять должен быть их спасителем: он никак не должен порицать городов уже по одному тому, что в городах есть театры и разного рода увеселения. Таким спасителем мог быть только человек светский, galant homme[1], жуир, но ни в каком случае не пахарь и проповедник сохи.

— Ну что вам там делать в своем имении,— говорил старик Новоселову,— земля ваша сдана в аренду; ни прислуги у вас, ни заготовленной провизии; ведь вы как с неба свалились в свою хату. Поживите-ка у нас, и нам с вами будет веселей...

— Действительно,— отвечал Новоселов,— до первого сентября мне делать нечего на своей земле...

— Ну и погостите у нас...

— Если я останусь у вас, то с условием...

— Говорите, с каким? — отвечал весело старик.

— Пахать землю... до сентября...

— В чем же дело? ну, вам дадут соху и клячу. Пашите, коли охота берет... Я знаю, что вы скоро набьете оскомину...

— Не беспокойтесь! Я положил себе за правило каждый день, во что бы то ни стало, вспахать полдесятины...

— Фуй!.. Оставьте, пожалуйста, ваши замыслы...—

[1] Любезник *(фр.)*.

воскликнула Карпова,— право, я уж и сама начинаю сомневаться в пользе образования: ну, скажите, чему вас выучили? Пахать землю!.. Варя! подай мне vinaigre de toilette...[1]

В это время вошел молодой Карпов.

— А! Андрей Петрович! вот это делает вам честь, что сдержали слово; а уж я вам приготовил комнату, да еще какую: с цветами и огромной картиной, представляющей избиение десяти тысяч младенцев во времена Ирода. Давно вы приехали?

— Только сейчас.

— А уж он нам тут говорил такие проповеди! — сказала Карпова.

— Что, о пахоте? — спросил молодой Карпов.

— Нет,— подхватил старик,— я, с своей стороны, очень благодарен Андрею Петровичу: ей-богу, дело говорил, особенно насчет Петербурга... что дело, то дело! А и впрямь все хотят есть хлеб на боку лежа, да еще обманывать друг друга... от прощелыг отбою нет!.. Нет, вы, Андрей Петрович, пожалуйста, поживите у нас...

— Разумеется,— сказал сын.— Да разве я его пущу отсюда? Итак, решено? вы остаетесь? А на днях съездим с вами тут к некоему графу... Интереснейший тип! аристократ, изучающий естественные науки. Понимаете, граф-натуралист...

— Ах, Вася, пожалуйста, съездите,— сказали дамы,— да вы ступайте завтра! что вам тут делать? А то чего доброго граф уедет куда-нибудь — и останемся на бобах...

— С какой же стати я-то поеду? — возразил Новоселов,— я с ним не знаком, да и нет никакой крайности с ним знакомиться...

— Андрей Петрович! мы все вас просим! — заговорили дамы.— Что вам стоит съездить?

— Бестолковые бабы!— перебил старик.— Скажите, ради Христа! на что вам этот граф?

— Послушайте, любезнейший Егор Трофимыч,— возразила Александра Семеновна,— не вы ли сами давеча говорили, что приедет Вася, он познакомится с графом; ведь это ни на что не похоже!.. вы уж начинаете отпираться от ваших слов.

— Ну, делайте, как хотите! — зажимая уши, сказал старик.

---

[1] Туалетный уксус *(фр.)*.

— Итак, Андрей Петрович, вы согласны?..— объявил молодой Карпов.

— Андрей Петрович! Я вас прошу,— сказала девушка,— съездите...

— Варя вас просит,— сказали дамы.

Старик вдруг погрозился на дочь и сказал:

— И ты, негодная, туда же?.. Постой ты у меня: недаром я тебя хотел заставить индюшек стеречь...

— Что ж, папочка, разве я не сумею? — возразила дочь,— я, пожалуй, и огурцы буду солить, как вы говорили...

— Так тебе хочется познакомиться с графом?

— Я ни разу не видала ни одного графа: какие они такие бывают?

Все расхохотались. Старик поцеловал дочь и сказал ей:

— Ну, спой же ты нам что-нибудь...

— А вы поете? — спросил Андрей Петрович.

— И как еще поет! — воскликнул старик,— впрочем, одни русские песни... Я, признаться, терпеть не могу иностранных. Варя! «Выду ль я на реченьку».— Старик начал:— «Вы-ы-д-у-ль я...»

Девушка взяла аккорды и запела; молодые люди подхватили. Старик, сидя на диване, с большим чувством пел: «По-о-осмотрю ль на быструю...» — причем он громко отбивал такт ногой.

— Неправда ли, хорошая песня? — спросил он,— и все это так просто...

— А вы поете прелестно! — обратился к девушке Новоселов,— у вас очень сильный сопрано.

— Ага! она у меня, батюшка, знатная певица! — сказал старик,— а главное, все самоучкой... Ну-ка, Варя — «Стонет сизый голубочек».

По окончании пения дамы объявили: «Господа! надо распорядиться насчет экипажа».

— Папа, мы поедем в тарантасе,— сказал сын.

— Неловко! — возразили дамы,— надо в коляске...

— Разумеется, к нему надо ехать в коляске,— сказал старик,— он хоть лыком шит, а все же его сиятельство.

Дамы, тронутые любезностию старика, принялись целовать его, и вечер, к общему удовольствию, окончился весело...

Молодые люди отправились во флигель. Хозяин вышел на крыльцо проводить их. Сверху, с балкона, раздался женский голос: «Покойной ночи...»

— Все ли у вас там есть: подушки, одеяла? — спрашивал старик.

— Все, все!

— Не нужно ли вам провожатого?

— Прощайте!.. не надо!

Между тем как уже далеко было за полночь и во флигеле было темно, в доме светились огни: там шла оживленная беседа по поводу предстоящего знакомства с графом. Дамы собрались в кабинет хозяина и энергически внушали ему мысль, что граф, сообразно своему званию, вдоволь пожуировавший и наскучивший пустотой светской жизни, непременно должен обратить внимание на Варю, как на свежий полевой цветок; ибо известно, что люди, изнеженные утонченностию цивилизации, всегда обращаются к простоте, к дубравам и сельским девам: они приводили в пример карамзинского Эраста, вспыхнувшего благородною страстью к «Бедной Лизе», Евгения Онегина и Татьяну, наконец Фауста, влюбившегося в простую, необразованную девочку Гретхен. С этими странностями человеческой натуры старик был знаком по собственному опыту, и как человек, в свое время с избытком вкусивший благ земных, он не возражал дамам. Но его расчеты на графа, как на будущего зятя, не согласовались с воззрениями дам именно в том отношении, что граф есть не что иное, как вулкан; кто может поручиться, что этот вулкан угас?.. Старик даже уверял, что натуры, подобные графским, княжеским, баронским и т. п., представляют собою вулканы почти неугасаемые. Чтобы умерить воодушевление, с которым дамы относились к погореловскому графу, Карпов приводил в пример Геркуланум и Помпею, за свою излишнюю доверчивость засыпанные огненной лавой Везувия. Он высказал, что гораздо основательнее рассчитывать на Новоселова, который испытал в своей жизни много горя, с раннего возраста лишился отца и матери, лбом пробивал себе дорогу, приобрел твердый характер и правильный взгляд на жизнь. Зная упрямство старика, дамы ему не возражали относительно достоинств Андрея Петровича, но вместе с тем они дали заметить старику: отчего же не сблизиться с графом, как с владельцем огромного имения? Притом есть много вероятностей, что граф даже совсем на обратит внимания на Варвару Егоровну; правда, она очень красива, умна, недурно поет; но она мало развита, ее манеры чересчур резки, у ней нет дара слова; а уменье петь русские песни едва ли будет

иметь какое-нибудь значение в глазах великосветского человека, слух которого воспитан на утонченных мелодиях итальянской музыки. Старик был побежден этими доводами, он не мог не сознаться, что дамы говорили правду, и ему стало обидно при мысли, что граф, чего доброго, не удостоит внимания его дочь.

Так как беседа велась дамами в самом восторженном тоне, невольно увлекавшем самого старика, то и кончилась она в пользу того мнения, что Варе не мешает из себя представить нежную лилию или нетронутый бутон, который мог бы заинтересовать графа не только как натуралиста, но и как знатока дела. При этом решено было уговорить юношу обращаться с графом наивозможно любезнее, так как студент не раз заявлял свое пренебрежение к аристократам, называя их выродившейся расой.

Господин пахарь (Новоселов), по мнению дам, был как нельзя лучше на своем месте: проповедуя соху, он тем самым убеждал людей, подобно Руссо, обратиться к природе, к ручейкам и лесным дебрям, где именно и произрастают такие пленительные цветы, как Варвара Егоровна; поэтому есть надежда, что его сиятельство тотчас устремится к этому цветку, благодаря тому, что не встретит в означенных дебрях казенной вывески, которую он привык встречать в городских парках: «Травы не мять, собак не водить» и т. д.

Во время этого шумного собрания Варвара Егоровна покойно спала на своей постельке, нимало не предвидя роли, какая ее ожидала с завтрашнего же утра. Так как Александра Семеновна спала в одной комнате с девушкой, то, пришедши наверх со свечой в руке, она долго смотрела на спящую племянницу; по-видимому, ее обуревали тревожные мысли. Девушка вдруг проснулась и с изумлением устремила взор на свою тетю.

— Варя, друг мой,— исполненная какого-то вдохновения, проговорила Александра Семеновна,— если бы ты знала, о чем я думаю...

— О чем, тетя? — с беспокойством спросила девушка.

Тетя медленно опустилась в кресла и голосом, в котором слышалось утомление, произнесла:

— Ах, мы сейчас долго толковали о тебе, мой друг... Видишь ли,— надо говорить правду. Ты хороша собой... почем знать? может быть, ты будешь графиней... графиней, мой друг! это великое слово!

При этих словах Александра Семеновна чуть не заплакала, а девушка испуганно вскочила с постели.

— Что с вами, тетя?

Александра Семеновна закрыла лицо руками.

— Тетя, милая, о чем вы плачете?

— Нет, я так... я не плачу, мой друг,— утираясь платком, говорила Александра Семеновна,— мне грустно стало; я вспомнила свою жизнь, и мне показалось, что ты, которую я так любила, любила более, нежели самое себя, ты забудешь меня... Но я успокоилась... будь что будет... видно, не возвратить того, что уже давно унеслось в вечность. Вот в чем дело, моя милая,— начала Александра Семеновна.— Ты уже знаешь, что Вася завтра хочет ехать к графу. Нет никакого сомнения, что граф познакомится с нами: ему приятно будет у нас благодаря таким людям, как Новоселов и твой брат, с которыми он будет беседовать об ученых предметах. Но кто знает? может быть, ты ему понравишься... Ах, Варя! я без волнения не могу вспомнить об этом! Представь себе, граф! роскошный дом, аристократическая обстановка, щегольские экипажи... пойми, мой друг, какая жизнь ожидает нас всех! Он человек богатый, у тебя у самой прекрасное состояние. Мы могли бы все за границу ездить, в Петербург, уж я не знаю куда! Ох! мои нервы не выносят этих картин. Господи! — вдруг обратилась она к образу,— неужели для меня нет радости в жизни... Нет! ты щедр, долготерпелив и многомилостив...

Затем началось нечто вроде репетиции для Варвары Егоровны: тетя принялась ее учить, как можно дальше держать себя от графа, но так, однако, чтобы ни в каком случае не терять его из виду; не позволять ему целовать ни одного своего пальчика, поменьше с ним разговаривать, ходить постоянно с куклой в руках и раз навсегда сказать графу, что папаша ей и думать не приказал о замужестве прежде, нежели ей исполнится двадцать лет, на том основании, что только с двадцатилетнего возраста девушка начинает входить в смысл. А если Варвара Егоровна заметит, что граф начинает увлекаться ею, тогда еще более надо его томить и мучить; самой же быть холодней и неприступней.

V

ПОЕЗДКА

С восходом солнца в барском доме все начало пробуждаться; кучера повели поить лошадей; горничные принялись бегать из кухни в дом и обратно с накрахмален-

ными юбками, утюгами, ботинками; кузнец справлял стоявшую у крыльца коляску; по двору бродили больные грачи — питомцы Александры Семеновны. Старик Карпов давно проснулся и, утираясь полотенцем, посматривал из своего кабинета, как водовоз запрягал свою лошадь; он спрашивал, почему в водовозку не запрягают другую лошадь и отчего наливка, которою черпают воду, никогда не привязывается к бочке; мимо барина, по направлению к саду, с низкими поклонами прошли деревенские бабы с люльками за плечами и заступами в руках; впереди их шел садовник, седой старик в белом фартуке: барин сделал и ему несколько вопросов; завидев вдали медленно шедших мужиков без шапок, барин приказал подавать себе одеваться. Во флигеле, при громком кудахтанье кур, молодой Карпов, лежа в постели, спрашивал лакея:

— Барыни встали?

— Никак нет; барин поднялся: они с мужиками занимаются.

— Андрей Петрович! — громко крикнул Василий Егорыч.

— Чего? — послышался хриплый голос из другой комнаты.

— Вы проснулись?

— Проснулся.

— Хорошо спали?

— Великолепно. Что это у вас за писк на потолке?

— Крысы; должно быть, у них идет борьба за существование; флигель старинный: целые поколения развелись.

Василий Егорыч накинул халат и вышел в залу, где отворил все окна, выходившие в сад: там, среди кустов сирени и акаций, бродили наседки с цыплятами, чирикали воробьи и распевали петухи.

— Андрей Петрович! какая, батюшка, погода! ни один листок на дереве не шевельнется. Тю-тю-тю! — вдруг закричал Василий Егорыч,— Иван! впусти щенка.

Лакей Иван отворил дверь, и в залу вошел маленький черный щенок, пригибая голову перед хозяином и ласково виляя хвостом. Василий Егорыч взял его на руки и поцеловал в голову.

— Где это вы были? где таскались?

— С кем вы там разговариваете?

— Вот с дорогим гостем: посмотрите, что за прелесть!..

Василий Егорыч внес щенка в комнату Новоселова и положил его на постель.

— Это Варин... Я не знаю, как он сюда попал: им в саду выстроена будка. Варя страшная любительница по части кур, голубей, собак и всякой твари. Вы посмотрите, глазки какие!

— Да! я уж не раз думал об этом,— говорил Новоселов, прикрывая щенка одеялом,— у животных гораздо лучше глаза, чем у многих людей.

— Это верно! у какого-нибудь московского сановника или у Удар-Ерыгина с Кузнецкого моста — глаза черт знает на что похожи: точно у аллигатора... впрочем, и у этого земноводного они хоть любопытней и не столь отвратительны... Вот окружу себя здесь бессловесными животными и буду жить, как натуралист Франклин... погружусь в химию, буду производить разные анализы.

— В последнее время,— начал Андрей Петрович,— этих городов, признаться, я видеть не мог. Пробовал перебраться в Москву, но в Москве еще больше безобразий, нежели в Петербурге: татарщина в полном разгуле, с примесью какого-то старушечьего мистицизма и капустного запаха... Я было думал в Москве определиться на службу; но с одним университетским дипломом, как оказалось, хоть лоб разбей — ничего не сделаешь: надо сперва несколько раз забежать с заднего крыльца к графине Чертопхановой; притом на естественников смотрят, как на антихристов... Пытался пробовать счастье в губернских городах, хотя в писцы поступить... но там всё играет в карты, пьянствует и спит после обеда... Об уездных городах и говорить нечего: там ведут еще речь о том, что правда ли, дескать, земля вертится?

— Экая мерзость! — вздохнув, сказал Василий Егорыч, задумчиво глядя в окно.

— Я, признаться, только и пришел в себя, как очутился в деревне: вы не можете себе представить, до чего доходила моя радость при виде этих полей, березовых рощиц, грачей и так далее.

Лакей принес газеты и объявил:

— С почты привезли...

— Ну-ка посмотрим, что новенького? — сказал Василий Егорыч, срывая обертки с газет,— все об обрусении толкуют. «В ущелии,— читал он,— духовное лицо говорило проповедь абхазцам, на лицах которых выражалось умиление». Ха, ха, ха!.. Абхазцы умилились, нако-

нец... Они, должно быть, с умилением посматривали на проповедника, заряжая винтовки.

— Ну-ка, нет ли еще чего? — проговорил Новоселов.

Василий Егорыч читал:

— «Прискорбный случай; один из здешних врачей, оказав помощь больному старцу, забыл бедную обстановку и горе несчастной семнадцатилетней дочери больного...»

— Оставьте, черт с ними! — проговорил Новоселов. Лаская щенка, он продолжал: — Недавно я ехал на перекладных с одним офицером; он мне рассказывал такие мерзости из столичной жизни, что я с удовольствием засматривался на первую попавшуюся ветлу, даже на лежавшую в яме свинью, которая, в моих глазах, была несравненно чище и опрятнее всех этих столичных шалопаев...

Новоселов встал и начал натягивать сапоги, декламируя:

Вы еще не в могиле, вы живы,
Но для дела вы мертвы давно,
Суждены вам благие порывы,
Но свершить ничего не дано!..

Впрочем, как не дано? — продолжал он,— совершаем кое-что: грабим бедных, ездим в каретах да еще слывем за передовых людей. А грабежи производим благопристойнейшим образом...

— «Завлечение обманом девицы в публичный дом,— читал Василий Егорыч.— Грустный случай: молодая, образованная девушка приехала в Петербург для приискания себе места учительницы и публиковала о том в газетах...»

— Бросьте! я знаю, что дальше!

— Что? — спросил молодой человек.

— Ну, вскоре к ней явился «передовой» господин...

Василий Егорыч зачитал: «Вскоре к ней явился приличный господин...» Тьфу!

— Да ну их к черту!

Василий Егорыч скомкал газеты и бросил их на пол. Новоселов начал подвязывать перед зеркалом галстук.

— Вот этих бы господ в соху-то! — крикнул из другой комнаты Василий Егорыч.

— Они делом занимаются; просвещают отечество...

— Если бы я имел подобающую власть, выстроил бы где-нибудь в степи избы; завел бы сбрую и непременно запряг бы в соху этих «прогрессистов».

— Да ведь не станут работать, все перековеркают!

— Что значит вольный хлеб-то!

— А главное, даровой!..— прибавил Андрей Петрович.— Однако сегодня мы хотели ехать к какому-то графу.

— Да, да!

— Уж коляску приготовили,— сказал лакей.

— С какой стати мне-то?

— Пожалуйста, Андрей Петрович: дамы просили... Нельзя... да мы к нему на одну минуту; сделаем визит, и только... Вы так в своем костюме и поедете, нам с этим графом церемониться нечего: если он порядочный человек, мы готовы с ним завести знакомство, а если дрянь, так повернем назад оглобли. Мне думается, не сознал ли этот господин всю пошлось окружающей его среды, не хочет ли он выйти на путь истинный... он, видите, ударился в естественные науки; признак добрый; не свершился ли с ним перелом? А впрочем, кто его знает? Не мудрено и то, что в петербургской гостинице ему подали счет, в котором значилось невероятное количество шампанского, гатчинских форелей и тому подобное, он вдруг и взялся за естественные науки: ведь теперь в окнах всех модных магазинов торчат книги: «Человек и его место в природе», «Мир до сотворения человека», «Ледники» и пр.

— А вы, однако, Василий Егорыч, распорядитесь насчет лошади и сохи.

— Ах да! с величайшим удовольствием. Эй, Иван! пошли старосту. Я и для себя тоже велю приготовить соху: это вы великую истину открыли: где-то я читал, что гораздо больше умирает людей от обжорства, нежели от голода, и это я приписываю тому, что мы ничего не делаем, не работаем, а только едим, пьем и катаемся... Отчего у какой-нибудь аристократической барышни шея держится чуть не на ниточке и вся она похожа на копченую сельдь? оттого что не работает, а сидит, да сплетничает, да по шести блюд за обедом кушает...

Вошел староста.

— Слушай, Агафон: приготовь, друг любезный, две сохи и две лошади.

— Слушаю.

— Для нас вот с Андреем Петровичем... да оставь недалеко от дому десятин двадцать пару, чтобы мужики не пахали...

— Для вашей милости?

— Для нашей, сударь, милости...

— Стало быть, мужики будут пахать?

— Да мы, мы! понимаешь?

Староста от смеху закрыл свой рот ладонью и проговорил:

— Чудны вы, Василий Егорыч!

— Вот тебе чудны! пришло, брат, время: пора и господ запрягать в соху. А лошадей выбери таких, которые бы нас учили пахать... Как нужно покрикивать на них во время пахоты?

Староста снова фыркнул.

— Ну, скажи!..

— Да, стало быть: *вылезь!* Ой, ой, ой!.. Чудные вы, право слово...

— А еще как?

— *Возле, ближе!* хи-хи-хи...

— Ну и отлично.

Лакей доложил, что чай готов.

Молодые люди отправились в дом. На крыльце, в белом платке, с розовым поясом, стояла Варвара Егоровна, окруженная разными животными, которым она раздавала хлеб; рядом с ней стояли две крестьянские бабы, одна из них держала на руках ребенка. Василий Егорыч, поцеловав сестру, прошел в дом; Новоселов остался на крыльце.

— Видите, Андрей Петрович,— заговорила девушка,— собаки на вас не бросаются, как вчера; оттого, что я здесь: они меня боятся...

— Ваш брат мне говорил, что вы любите животных: это вас рекомендует с отличной стороны...

— Я их очень люблю. Вот посмотрите, Андрей Петрович: у этой бабочки ребенок болен: не знаете ли, чем полечить?

— Она из вашего села?

— Из нашего: одна-то — моя кормилица... она и привела эту бабочку...

— Ну, русский гражданин, позволь на тебя взглянуть,— обратился Новоселов к младенцу, которого мать торопливо развертывала. Ребенок, с корою золотухи на голове, с запекшимися устами, тихо стонал.— Вот эти ножки, Варвара Егоровна, посмотрите,— продолжал Новоселов,— обуются в лапотки, будут ходить за сохой, за обозами в крещенский мороз, в октябре месяце при вытаскивании пеньки из реки промокать, опухать, покрываться язвами от простуды и от скорбута вследствие

плохой пищи, и эти подвиги будут совершаться на тот конец, чтобы нам с вами было хорошо.

— Вы помогите ему...— с участием промолвила барышня.

— Чем же я помогу? вы видите, какова мать-то.— Что вы едите, тетушка?

— Лебедку, касатик,— сказала баба.

— Значит, ребенку не жить на свете; а вот придет рабочая пора, крестьянские дети будут умирать, как мухи.

— Ступайте,— сказала барышня бабам,— сегодня я пришлю к вам горничную.

Бабы поклонились и пошли.

— Итак, сегодня вы едете к графу? — сказала Варвара Егоровна Новоселову.

— Вот как! уж вас, кажется, занял граф?

— Нисколько! Я так...

— Послушайте, Варвара Егоровна, вот вам мой искренний совет: не увлекайтесь этой пустой, исполненной безделья и тоски — светскою жизнью: извратятся все ваши добрые инстинкты; да вы и не годитесь для света. Будьте тем, чем создал вас бог; поверьте, счастье к вам будет ближе.

— Да с чего вы взяли, что я занята графом?..

— Я говорю в видах предостережения, из желания вам добра... Впрочем, извините...

— Ну, хорошо, извиняю... пойдемте пить чай. А не правда ли, какая сегодня славная погода? Вам будет весело ехать...

Дамы, зазвав Василия Егорыча в кабинет, упрашивали его пригласить графа к себе и выбросить из своей головы предрассудки насчет аристократов: граф нисколько не виноват, что родился в великосветской среде; поэтому бросать камень в невинное существо не следует, а тем более поддерживать сословную вражду — в наш просвещенный век — недостойно порядочного человека.

Наконец, четверня лошадей, запряженная в крытую коляску, сделав несколько туров около барского дома, подъехали к крыльцу. Все семейство вышло провожать молодых людей. Старик Карпов расспрашивал кучера:

— С левой стороны какой же у тебя...

— Косоурый... из Лебедяни...

— Рессору-то подвязал?..

— Варя! Варя! отойди! — кричали дамы девушке, которая гладила рукою лошадь.

— Осторожней, мой друг,— сказал отец.

— Ничего, папочка, он смирный. Петр! — обратилась Варвара Егоровна к кучеру,— ты не шибко поезжай и не смей стегать лошадей; а то я тебя тогда!..

— Ну, до свидания...

— Как я вам завидую, господа...— говорила Карпова,— когда же вы вернетесь оттуда?

— Если нам там будет хорошо — пожалуй, останемся обедать, а к чаю сюда...

— Вася, смотри же... во что бы то ни стало.

— Понять не могу, зачем я-то еду? — высунув голову в окно, говорил Новоселов.

— Ну, сидите уж!.. Пахарь!..

— Петр! Пошел!

— Прощайте!

Четверня тронулась, и коляска понеслась по направлению к церкви, завернула налево под гору и скрылась.

— Боже мой! со мной просто лихорадка! с таким нетерпением я жду развязки, чем все это кончится,— сказала Александра Семеновна.

— Я в восторге! — воскликнула Карпова,— вот когда начнется жизнь-то... А за все это надо благодарить вот кого...— Карпова обняла мужа и начала целовать его в глаза; старик покорно наклонился к жене и проговорил: «Что ж с вами делать? не сделай по-вашему — мне житья тогда не будет...»

Все принялись целовать старика.

— Варя! — сказала Александра Семеновна девушке, которая пробиралась в сад,— пойдем-ка наверх... я тебе что-то скажу...

— Тетя, милая! — умоляющим голосом воскликнула Варвара Егоровна,— я сейчас приду. Я только немножко покачаюсь...

— Послушай, mon ami: теперь эти качели и своих деревенских подруг надо будет оставить... C'est impossible, ma chère...[1]

— Ну вот еще! — сказал старик,— что граф, так и засесть на пище святого Антония!.. Ступай, Варя! качайся... Если он добрый человек, я готов с ним делить хлеб-соль, а если он выскочка, какой-нибудь франт с Невского проспекта — бог с ним совсем...

Варвара Егоровна завидела в конце сада дворовых девиц и устремилась к ним. Вскоре послышалась гармония и звонкий смех. Старик приказал запрячь для себя ло-

---

[1] Это невозможно, дорогая моя... *(фр.)*.

шадь в беговые дрожки, намереваясь проехать в поле. Дамы с зонтиками в руках отправились в сад.

Коляска неслась по полю среди колосившейся ржи, из которой выглядывали голубые васильки, белые колокольчики полевого плюща, похожие на бабочек, летавших по межам; среди однообразного, глухого топота лошадиных копыт иногда слышался крик перепела, и вслед за этим вдруг появился ястреб, повертывая своей головой над самой рожью, как бы отыскивая смелую птицу; но перепел, при виде зловещей тени, мелькнувшей над его головой, смолкал надолго, вероятно пользуясь быстротою своих ног. Мимо коляски проносились полянки зеленеющего овса, льна и белой гречихи, мелкие дубовые кусты, овражки с маленькими пасеками, наконец потянулись деревни с гурьбою нищих и неумолкаемым лаем собак; стоя перед угрюмыми, закоптелыми окнами избы, держа в руках посохи, нищие пели, как «солнце и месяц померкали, часты звезды на землю падали и как Михаил свет архангел трубил в семигласную трубу», очевидно, песня грозила готовой развалиться избушке страшным судом; избушка смиренно слушала грозную песню, как бы чувствуя за собой множество недоимок, за которые придется ей тошно на том свете.

Коляска продолжала мчаться по бревенчатым мостикам, мимо шумящей мельницы, прятавшейся в лозиновых кустах, где жалобно пищали кулики, мимо барских домов с маркизами и балконами, на которых сидели барыни и кавалеры.

Наконец, во всей своей красе открылся графский дом с огромным садом, из которого высоко поднимались столетние осокори, тополи и сосны. Над домом развевался флаг.

VI

РЕЗУЛЬТАТЫ ПЕРВОГО ВИЗИТА

Часов в десять вечера семейство Карповых сидело в зале. Хозяин, по обыкновению заложив за спину подушку, закрыв глаза, сидел на диване и время от времени сдвигал свою ермолку то на одну сторону, то на другую. Он делал это всякий раз, когда его занимали какие-нибудь новые мысли. В настоящее время он думал о том, какое направление следует дать возникающим отношениям к графу и к чему может повести знакомство с ним?

Его практический ум решил, что «пеший конному — не

товарищ»: граф — особа высшего полета, между тем как Карпов перед ним человек маленький, скромный землевладелец, медными пятаками составивший себе *некоторое* состояние; хотя совесть подсказывала ему, что его состояние поспорит с любым графским. Как бы то ни было, Карпов не находил ничего общего между собою и графом и решился ни на волос не изменять своей обыденной жизни даже в таком случае, если бы его сиятельству вздумалось влюбиться в его дочь: не покупать лишнего вина, исключая лиссабонского, которое постоянно подавалось к столу, не одевать лакея лучше того, как он одет всегда, то есть с потертыми локтями на старом фраке и не совсем белыми нитяными перчатками.

Успокоившись на таком решении, старик открыл глаза и, с ласковой улыбкой посматривая на свою дочь, разглядывавшую с своей тетей «Иллюстрацию» за большим круглым столом, начал отбивать ногою такт под фортепьянную игру своей жены и припевать: «Рыба-ак, не шуми!» (Хозяйка играла отрывок из «Фенеллы».) Вдруг на улице залаяли собаки, и через минуту у самого подъезда раздалось дружное фырканье лошадей.

— Наши приехали!— в один голос вскрикнули дамы.

В залу вошел Василий Егорыч, за ним Новоселов.

— Вот мы и от графа! — возвестил первый.

— Ну что, что?..— наперерыв спрашивали дамы.

— Погодите, дайте перевести дух...

— Пили ли чай? — спросил старик.

— Пили у Андрея Петровича,— сказал юноша, указывая на Новоселова,— мы к нему заезжали, верст пять крюку сделали.

— А у графа обедали?

— Как же! у его сиятельства и обедали, и завтракали, и шампанское пили.

— Вот как! Значит, он вам был рад?

— Еще бы! — произнес молодой человек, доставая сигару.

— Ну? рассказывай по порядку,— сказали дамы, садясь все на диван против рассказчика, который стоял среди залы.

— Вася! что, красив он? — спросила Александра Семеновна.

— Чрезвычайно! если хотите, до тошноты красив... в вашем вкусе! Ну-с! приезжаем,— начал Василий Егорыч, закурив сигару,— камердинеры в белых жилетах встре-

чают нас у подъезда. Спрашиваем: «Дома граф?» — «Дома».— «Доложите ему: соседи по имению».

Хозяйка обратилась к Новоселову, сидевшему у окна:

— Послушайте, Андрей Петрович, вы явились в этом самом костюме?

— А то в каком же? — возразил Василий Егорыч.

— А я думала, что вы заедете к себе домой, переоденетесь...

— Ну, ладно! по платью встречают, а по уму провожают... не так ли, Андрей Петрович? — возразил старик.

— Оказалось, папаша, граф вас знает,— продолжал Василий Егорыч,— когда, говорит, он был предводителем, он ездил к моему отцу.

— Я его помню! — подхватил старик,— ему было тогда лет двенадцать...

— Начались разговоры: надолго ли? как и что? Зашла речь о Петербурге, о заграничной жизни и т. п. Граф был очень разговорчив. Я заметил, что приезд наш был кстати... Граф водил нас по саду, по оранжереям; ну, уж сад!.. просто итальянская вилла! Показывал нам памятник из каррарского мрамора, сооруженный его предками над одной собакой... показывал даже огромного медведя, которого он недавно купил за пятьдесят рублей у медвежатников.

— На что же он ему?

— Должно быть, для сильных ощущений... Словом, граф, как видно, жестоко скучает. О Петербурге вспоминает с отвращением: эти Берги, Деверин и т. п. ему ужасно надоели; рассказывал, как у кассы, в Большом театре, когда в афишах значилось, что будет петь Патти, двух любителей задавили до смерти. Черт знает что в самом деле творится!.. Представьте себе: несмотря на все увеселения, в Петербурге свирепствует такая пустота, что однажды (рассказывал граф) во время зимы два знакомые ему витязя ездили, ездили по Петербургу, наконец спрашивают лихача: «Послушай! что возьмешь свезти нас в поле и там заблудиться?»

— Как заблудиться? — спросили дамы.

— Очень просто: как плутают в поле?..

Все захохотали.

— Ну что же лихач?

— Лихач, разумеется, сообразил, в чем дело, говорит: «Заплатите мне двести рублей за лошадь и ступайте куда знаете: мне, говорит, пока жизнь не надоела; у меня жена, дети... А с вами заблудишься, да и замерзнешь...»

— Значит, граф решился навсегда поселиться в имении? — спросил старик.

— Навсегда. «Уж если, говорит, очень скучно будет в деревне, то проедусь за границу или куда-нибудь в Бомбей, но уж никак не в Петербург». Или, например, такие курьезы рассказывал: «Зайдешь, говорит, куда-нибудь в ресторан — только и слышишь: «Дюжину устриц! Sterlet à la minute[1], бутылку шампанского!» Заглянешь в афиши — там в Большом театре «Золотая рыбка», в Александринском «Все мы жаждем любви», у Берга «Студенты и гризетки», еще какие-то *греческие богини*. А уж какая скука царит в аристократических гостиных; надобно иметь железное терпение, чтобы выносить ее: разговоров никаких, исключая той же Патти, «La belle Hélène» да обычных сплетней...»

— Удивительный в самом деле город! — заметил старик,— сколько денег поглощает... А вишь, чем занимаются? Ищут, где бы заблудиться?..

— Граф показывал нам свои ученые принадлежности,— говорил рассказчик,— микроскоп, минералы, колбы. В кабинете зашла речь, где находится минерал хризоберилл? Граф сказал, что в Зеландии; Андрей Петрович объявляет, что хризоберилл вместе с изумрудом находятся у нас на Урале. Граф так и вытаращил глаза: ему показалось, что к нему приехал сам академик Кокшаров... Да! тут замечательные вещи были; я вам расскажу, какой ученый разговор вел Андрей Петрович с графом, когда мы гуляли по саду. Граф начал с того, что он погрузился в естественные науки, так как они одни и могут дать положительное знание. На это Андрей Петрович заметил, что, не будь естественных наук, мы бы долго еще летали в эмпиреях, упиваясь музыкой собственного красноречия, трактуя об идеальности в реальном и, подобно Рудиным и Лаврецким, ударяя по струнам женских сердец. С этим граф совершенно согласился. Пошли рассуждения об эгоизме, на тему:

Каждый себя самолюбьем измучил,
Каждому каждый наскучил,

что все чего-то ждут, словно не нынче-завтра наступит светопреставление... Граф спрашивал: «В чем же секрет?» — «А вот в чем,— сказал Андрей Петрович,— если

[1] Стерлядь на скорую руку *(фр.)*.

мы будем понимать эгоизм так, как понимали до сего времени, то мы не только ничем не будем отличаться от вандалов, но даже просто от акул, которые тем только и занимаются, что пожирают слабейших себя: тогда нечего и думать о прогрессе, о котором мы болтаем с утра до ночи; тогда и самая жизнь-то человеческая сделается невозможною».— «Что же делать? Как выйти из этой пропасти?» — спрашивал граф.— «Заняться самоисправлением,— был ему ответ,— отцы наши могли себе благодушествовать, подвергая всякого рода экспериментам своих ближних; теперь эти развлечения мало кого удовлетворяют оттого, что все начали сознательно относиться к окружающему, и нет сомнения, что если общество не исправится, оно задохнется от скуки — этой современной моровой язвы». Я с своей стороны добавил, что, кажется, уже пришел судья милосердый — отделить козлищ от овец, пшеницу от плевел... не все-то нам порхать по цветкам... Граф сильно задумался. Наконец, он спросил: «В чем же должно заключаться самоисправление?» Тогда мы перед ним выдвинули соху.

— Что это? какие глупости! — воскликнули дамы,— неужели вы не могли обойтись без вашей дурацкой сохи?..

— Нельзя, нельзя! mesdames![1] этот инструмент — краеугольный камень общественного благосостояния... А по-вашему, если человек носит pince-nez, так и надо рассуждать с ним об одних сильфидах? Вы видите, что сильфиды ему надоели! что же остается ему предложить, кроме сохи андреевны!

— Оставь свои глупости! — перебила хозяйка,— скажи лучше, что же он, к нам обещался приехать?..

— На этих днях непременно приедет... Как изволите видеть, милостивая государыня, поручение ваше мы исполнили; за это вы должны благодарить нас,— заключил Василий Егорыч.

— Merci, merci...[2]

— Андрей Петрович,— обратилась хозяйка к Новоселову,— как вы нашли графа?

— Мне кажется, он человек со всеми достоинствами...

— Короче — bel homme![3] — подхватил молодой Карпов,— впрочем, он добрый малый... Теперь я поведу речь

---

[1] Сударыни! *(фр.)*
[2] Спасибо, спасибо... *(фр.)*
[3] Красавец мужчина *(фр.)*.

о том (про графа, кажется, уже довольно), что с завтрашнего же дня я устраиваю во флигеле лабораторию, пора приниматься за дело; потом мы с Андреем Петровичем решили насчет вас, сударыня,— обратился Василий Егорыч к сестре,— мы хотим сделать такого рода предложение: не угодно ли вам брать уроки по какой-нибудь отрасли знания у меня или у Андрея Петровича? Намерены ли вы чем-нибудь заняться, кроме ваших кукол и собачек? Мне кажется, что вам скоро наскучат детские игры...

— Да, я готова,— воскликнула Варвара Егоровна,— кто ж тебе сказал, что я только способна играть в куклы?

— Пожалуйста, не обижайтесь.— Василий Егорыч поцеловал сестру.— Теперь позвольте спросить, какой предмет вы желаете изучать?

— Я, право, не знаю,— сильно покраснев, сказала девушка.

— Хотите, я вам буду читать гигиену — уменье сохранять свое здоровье? — предложил Новоселов.

— С удовольствием,— ответила будущая ученица.

— Ах, Basile! чего ты не затеешь? — возразила мать,— скажи, ради бога, к чему эти уроки? Ведь она читала много: например, «Хижину дяди Тома», Островского, Тургенева, мало ли кого?

— Ну, пусть играет в куклы,— сказал молодой человек.

— Maman, я с удовольствием готова поучиться чему-нибудь...

В это время старик обратился к Новоселову:

— Ничего! Займитесь с нею... как сохранять здоровье, всякому надо знать... А то, признаться, мне доктора наскучили... Надо делать так, чтобы обходиться без них; я век целый прожил без всяких лекарств...

— А вы мне, Егор Трофимыч, позвольте у вас брать уроки сельского хозяйства,— сказал Новоселов.

— С большим удовольствием,— ответил старик,— вы как думаете насчет хозяйства? у нас тут свой университет.

Хозяйка поднялась и объявила, что отправляется наверх; она пригласила с собой сына, чтобы он рассказал ей кое-что про графа.

— Через полчаса я буду во флигеле,— сказал молодой Карпов Новоселову,— если соскучитесь, приходите.

VII

БЕСЕДА В КАБИНЕТЕ

Дамы с Василием Егоровичем отправились наверх; старик повел Новоселова в свой кабинет, приказав слуге зажечь лампу.

В кабинете на стенах висели фамильные портреты, связки ключей от кладовых, барометр, сабли с портупеями и целый ряд старых картузов, которые когда-то носил Карпов; на столе лежали конторские книги; очки, мешочки с образцами овса и гречихи, молитвенники. В переднем углу, украшенные вербами, помещались образа в золотых киотах, внутри которых хранились бархатные шапочки от святых мест, венчальные свечи и аномалии хлебных злаков: двойные, тройные и даже семерные колосья ржи и пшеницы.

— Прошу покорно,— сказал старик, указывая гостю на диван и сам располагаясь в креслах.

Новоселов закурил сигару и начал:

— Мне, Егор Трофимыч, хочется поближе познакомиться с положением сельского батрака. Сколько вы платите своим рабочим в год?

— Цена разная,— сказал старик, искоса поглядывая на собеседника,— впрочем, никак не более тридцати пяти рублей в год... харчи мои...

— А одежда?

— Уж это их дело! как они хотят...

Наступило молчание...

— Да заметьте,— продолжал старик,— из этих тридцати пяти рублей крестьянин должен заплатить подушные, пастушные, пожарные, мостовые; сверх того одеть, обуть себя, прокормить детей...

— Так,— задумчиво проговорил Новоселов.

— Что ж делать? Такая цена везде: оттого-то все мужики и разорены. Придет время платить подати, мужик начнет метаться как угорелый; нанимается на заработки — за какую угодно плату; уж тут его бери руками. Ошалеет совсем: ты ему даешь пять рублей за обработку десятины, а он просит четыре с полтиной... Что говорить,— сказал старик, вздохнув,— положение безвыходное... Вот вам и воля, которой вы добивались, господа прогрессисты.

— А нет ли между вашими мужиками такого господина, который вовсе не имеет земли, следовательно, не знает ни подушных ни пастушных?

— Есть такой мужик: его зовут Андреяшкой. Он отка-

зался от надела, выпросил у мира местечко для избы и живет один с женою. Поутру придет к моему старосте и спрашивает работы. Ему нет дела, кормлена ли лошадь, которую ему дают; сломалась соха, давай другую. Таких бобылей стало появляться немало, особенно в последнее время. Да, по-моему, Андреяшка — философ. Вы что же, Андрей Петрович, хотите завести работников?

— Сохрани меня бог,— сказал Новоселов,— ведь по вашим словам, я им должен платить по тридцати пяти рублей в год?

— Разумеется. Иначе какая же вам будет выгода? Так что же вы намерены делать? — спросил Карпов, пристально глядя на гостя.

— Удалиться от зла и сотворить благо; другими словами, продать землю.

— Как?..

— Непременно...

— Послушайте, Андрей Петрович, я, право, никак не могу верить тому, что вы говорите. Извините за нескромный вопрос: чем же вы будете жить? Деньги, которые вы получите за ваше имение, конечно, пролетят, служить вы не хотите, на что же вы рассчитываете?

— Дело вот в чем, добрейший Егор Трофимыч: признаться сказать, надоели мне эти родовые наши именьица, с которых мы получаем доход, не помышляя о том, какими путями он достигает нашего кармана... а главное — пользы-то нам от него мало... хочется мне хлебнуть горькой чаши, которую пьет наш народ.

— Значит, хотите быть мужиком?

— Где мне об этом мечтать — изнеженному баричу, просто потешить себя хочется: опротивел мне наш пресловутый, незаслуженный комфорт; попробую надеть мужицкий армяк...

Старик засмеялся и вдруг воскликнул:

— Да вы, я вижу, шутите мужицким армяком-то? Знаете ли, на что вы решаетесь?

— Знаю...

— Нет, не знаете... Вы, батюшка, с позволения сказать, мелко плаваете! Хотите, я вам расскажу, что такое мужицкая жизнь?

— Сделайте одолжение. Я вас предупреждал, что мне хочется поближе познакомиться с положением нашего крестьянина

— Эй, человек! подай нам вина! — крикнул старик.

Слуга подал лиссабонское. Собеседники выпили по бо-

калу (у Карпова и к простой водке подавались бокалы).

— Слушайте, почтеннейший Андрей Петрович; я буду краток, но выразителен,— так начал старик, наполнив снова бокалы.— Представьте себе мужицкую избу,— старик низко развел руками, желая представить убогую хижину,— вонь... мерзость... тараканы...— Старик отплюнулся.— Н-нет, вы не знаете мужицкой жизни; я вам ее обрисую...

— Обрисуйте, пожалуйста.

— Выпьем!— сказал старик.— Я, батюшка, около сорока лет трусь около этого народа: я его изучил не по книжкам, как вы!.. Про летнюю пору я вам не буду говорить: вы ее более или менее знаете; а я начну с зимы, когда вы в своем Петербурге слушаете Патти, а у нас в трубе своя Патти запевает.

— Вы расскажите, что я буду делать зимою, живя в крестьянской избе.

— Я к тому-то и веду. Прежде всего надо встать с петухов, часа в три утра, чтобы задать всей скотине корму... слышите? а корм надо с вечеру изготовить в вязаночках; потому в три часа утра некогда его искать на гумнах; темно, да еще, пожалуй, на волка наткнешься, у нас же волков пропасть, примите к сведению (они ходят по дворам — ловят собак)... На рассвете опять принимайся за корм; тут надо идти в одонья и отрывать его из-под снегу. Потом разносить этот корм по двору, по закутам; а заметьте, дверей везде пропасть; иную отворишь — она из пятки вывернулась,— надо чинить, а то выскочит скотина. Далее, придете в избу — отдохнете да поговорите с бабами о том, когда начать морозить тараканов!.. Вот вопрос! А не забудьте, на дворе опять ревет скотина, просит опять есть!..

— Да ведь сейчас дали...

— Что ж такое, что дали? ведь корм-то непитательный — солома; скотина оберет колосок, да и опять кричит.

— Ну, а в продолжение дня!

— В продолжение дня? Извольте послушать, какая музыка пойдет: надо избу отчистить от снегу, потому в окнах темь; на дворе вырубить лед из корыта, обить бочку и ехать за водой. Потом бочка завязла, сидит в сугробе; глядь, и завертка лопнула. Одним словом, вавилоняне, что ль, строили памятник, когда было смешение языков?.. вот то же самое столпотворение идет и в мужицком быту... Я очень хорошо знаю, что вы фантазируете: вам мужиком не быть, это я наперед скажу; тем не ме-

нее я подробно описываю вам мужицкую жизнь, чтобы вы не относились к ней легкомысленно... Да! мужик наш — это, я не знаю, какая-то скала! где нам! — Старик махнул рукой.

— Но вы обещались рассказывать, так продолжайте,— сказал Новоселов.

— Что же рассказывать? Что рассказывать про ад кромешный!..— с грустью проговорил старик.

— Вы мне, Егор Трофимыч, обещались читать лекции по сельскому хозяйству: вот что вы теперь передаете, это-то я и желал слышать от вас.

— А весна!..— продолжал старик, покачав головой,— все больны, скотина без корму... хлеба нет... Или вот, самое простое обстоятельство, например сошник наварить. Мужик приходит к кузнецу; оказывается, что кузнец завален работой; значит, прошатался задаром. В другой раз идет; кузнец говорит: «Еще не брался за твою работу». Ну, наконец, справлен сошник. Мужик выехал пахать, прошел несколько борозд — хлоп! палица пополам; надо ехать в город; а тут навстречу верховой с известием: мировой судья требует в свидетели. Мужик едет за двадцать верст к мировому, а там объявляют, что дело отложено *до пятницы;* ступай назад! Да что тут рассказывать! Ясно как день, что вы забрали в голову пустяки, Андрей Петрович... Извините за откровенность.

Новоселов молчал. Старик посмотрел на него и сказал:

— А вам, знаете, что нужно?

— Что?

— Жениться да обзавестись семейкой... вот чего вам недостает.

— Где нам мечтать о таком счастье...

— Отчего же? — с участием спросил старик.

— Ведь надо, я думаю, понравиться какой-нибудь барышне, а это вещь невозможная. Нашим барышням нравятся каменные дома да люди, получающие хорошие оклады жалованья; а у меня нет ни того, ни другого. Притом какая же дура пойдет за человека, у которого идеал — соха и армяк? Вот если бы я проповедовал *теплую лежанку,* охотниц нашлось бы много.

— Так, стало быть, все-таки решились пахать.

— Непременно!

— Ну, батюшка, вы неизлечимы.

— Пожалуй, что и так. Прибавьте к этому, *дескать,* всякий по-своему с ума сходит. Покойной ночи.

— До свиданья.

VIII

ПРИЕЗД ГРАФА

Через несколько дней слуга Карповых объявил барину, сидевшему за письменным столом в кабинете: «Граф едет!» С тем же известием он бросился в девичью, и вскоре во всем доме, среди суматохи и беготни, на разные голоса раздавалось: «Граф едет! едет! Оля! Груша!..» «Подайте мне сюртук!» — кричал барин, снимая с себя камзол.

Все, что было в доме, припало к окнам и, затаив дыхание, стало высматривать, как к крыльцу подъезжала четверня вороных, запряженная в щегольскую коляску; на козлах красовался кучер в форменном кафтане и старый камердинер в ливрее и шляпе с позументами. С невыразимым наслаждением, любуясь на это зрелище, хозяйка говорила своей горничной: «Грушка! да смотри, смотри...»

— Вижу, сударыня! просто на редкость!..

Наверху Александра Семеновна в каком-то упоении говорила, отходя от окна:

— Оля! мне душно! подай капли!..

— Черт бы всех побрал,— кричал барин, с трудом всовывая руку в сюртук,— изволь исполнять бабьи прихоти...

— Оля! маши на меня веером,— опустившись на кушетку, говорила Александра Семеновна.

Одетый по последней моде, в шармеровском фраке, в черных узеньких панталонах с лампасами, в белых перчатках, с пробором на затылке, граф явился в залу.

Лакей доложил, что господа скоро выйдут. Граф начал поправлять перед зеркалом свою прическу.

Вошел, в светлом клетчатом жилете и в длиннополом сюртуке, хозяин. Граф быстро сбросил с глаз pince-nez и отрекомендовался.

— Прошу садиться,— сказал старик, утирая на лице пот.

Зашуршали платья, и в зале явились дамы.

— Это моя жена... моя свояченица,— сказал старик.

Граф, ловко придерживая шляпу, сделал реверанс с глубоким поклоном, причем его pince-nez заблестел и закачался, как маятник.

Все уселись. Со стороны дам последовали один за другим вопросы, на которые граф не знал, как отвечать. Мало-помалу беседа приняла плавное течение. Старик распространился о покойном отце графа; спросил о его

матери, которой досталась седьмая часть от мужнина имения, и получил известие, что она постоянно живет за границей.

— Так вы теперь сами приглядываете за хозяйством? — сказал, наконец, старик.

— Да... нельзя, знаете... правда, управляющий у меня — честный малый... но свой глаз все-таки необходим...— Граф очаровательно улыбнулся.

— О, без сомнения! — подхватили дамы.

— А много у вас нынешний год в посеве? — спросил старик.

— Десятин около трех тысяч, если не больше...

— Слава богу!..

— Скажите, граф,— спросила хозяйка,— ведь вы бывали за границей?

— Едва ли не всю Европу объездил,— почтительно наклонившись, произнес граф.

— Разумеется, были в Италии?

— Чудная страна! какой климат! да притом Италия,— как вам известно, страна искусства...

— А Флоренция — я воображаю, что это такое!..

— Это скорее — женственный город... знаете ли, мягкость какая-то во всем... в природе и в людях... Там этого нет, как у нас в Петербурге: всякий косится друг на друга... там все это поет... плащ через плечо... шляпа набекрень... Да вообще город замечательный сам по себе: например, Lung' Arno... il giardino di Boboli... palazzo Pitti... chef-d'oeuvre![1]

— А в Андалузии вам не случалось быть? — в свою очередь спросила Александра Семеновна.

— В Андалузии я был проездом, с матерью; она любит Испанию... там такая природа, что, право, чувствуешь себя несчастным при мысли, что родился на бесприютном, мрачном севере...

— Ах! именно бесприютный... мрачный север...

— И не скучали за границей? — спросил хозяин.

— Уже впоследствии... действительно начал скучать...

— По России?

— Мм-да... если хотите...

— Само собою разумеется,— подхватила Карпова,— вы родились в России... очень естественно... да ведь все, живущие за границей, жалуются на тоску по родине... А кажется, чего бы тосковать?

---

[1] Вдоль Арно... сад Боболи... дворец Питти... шедевр! *(ит.)*

Граф вздохнул, промолвив:

— Что делать! видно, уж человек так создан.

Наступило молчание. Все как будто хотели перевести дух после обильной умственной пищи, которою угостили себя.

— Ваши молодые люди дома? — обратился граф к хозяйке.

— Они во флигеле... я за ними пошлю. Иван! — Вошел слуга.— Сходи во флигель и скажи господам, чтобы они пожаловали сюда.

— Молодой барин у себя-с,— доложил лакей,— а Андрея Петровича, кажись, нету...

— Где же он?

— Они давеча собирались пахать...

Все навострили уши и засмеялись.

— Ступай узнай! (Лакей вышел.) Ведь Андрей Петрович, наш знакомый, чудак страшный,— поспешила объяснить Карпова,— явилась у него фантазия labourer la terre... vous comprenez, monsieur le prince... mais certainement c'est une idée fixe...[1]

— Ваш сын и ваш знакомый говорили мне об этом,— улыбаясь, сказал граф.— Конечно, я не спорю, в этой мысли есть много хорошего... гуманного даже, и вообще современного... но с другой стороны, как хотите...— Граф пожал плечами,— ведь это такой труд... такой подвиг, для которого, мне кажется, надо родиться героем...

— Просто утопия!..— подхватила хозяйка,— люди молодые... жаждут деятельности... а развернуться не над чем... ну и составили теорию такую...

— Впрочем, что ж? я готов! — воскликнул граф,— что ж? пахать землю в гигиеническом отношении — полезно... Я совершенно согласен, что нам работа нужна... у нас движения мало... Но предлагать для этой цели соху!!! Дело в том, что у нас, к несчастию, есть общественное мнение — деспот, пред которым всякий более или менее преклоняется... Дело другое, если бы мы жили где-нибудь на необитаемом острове...

— Они оба дома! — возвестил слуга,— чем-то занимаются...

— Так я к ним пойду. Надеюсь, это недалеко отсюда? — спросил граф.

— Вам хочется к ним? — спросила хозяйка, поднимаясь.— Иван! проводи их сиятельство. Граф! завтракать

[1] Обрабатывать землю... Понимаете, князь... но, конечно, это навязчивая идея... *(фр.)*

с нами... надеюсь, вы не откажете нам в этом удовольствии...

— Avec plaisir... au revoir...[1] — Граф удалился.

— Ах, какая прелесть!..— нараспев возопили дамы, всплеснув руками,— как мил!.. charmant!.. il est beau![2]

— Оля! подай мне веер... Какой bel homme!..

Восхищаясь дорогим гостем, дамы разошлись по своим комнатам. Старик отправился по хозяйству.

IX

ЛЕКЦИЯ

В сопровождении слуги Карповых и своего камердинера граф шел через сад во флигель. Садовник с лопаткою в руке и бабы, половшие клубнику, отвесили ему низкий поклон. Лакей, забежав вперед, отворил калитку. Граф увидел длинное здание с двумя подъездами.

— Так они здесь живут,— сказал он.

— Так точно! — подтвердил Иван,— а энто вон ихние сохи...— прибавил он, указывая к воротам.

— Как?! — воскликнул граф.

— Действительно-с! осмелюсь доложить, они дня с четыре пашут... Сначала по зорям... так как днем жарко — а вчера в самый жар пахали...

Граф смотрел на сохи с тем выражением, которое обличало более чем ужас.

— Да-с,— продолжал лакей, заметив действие своих слов,— они шибко занялись... потому соха не свой брат! она все руки отвертит... Особливо кто без привычки...

— Им никто не помогает? — спросил граф.

— Насчет пахоты-с? Никто!.. они как есть без всякой прислуги... молодой барин две палицы сломали, а Андрей Петрович подсекли было ноги лошади... Бог даст, привыкнут,— заключил слуга.

Через минуту он ввел графа в большую светлую комнату, среди которой стоял Василий Егорыч, одетый в блузу, держа в руках пробирный цилиндр и стеклянную палочку.

— Ба, ба!..— воскликнул химик,— я было только хотел идти в дом. Здравствуйте, граф.

— Чем это вы занимаетесь?

— Делаю анализ почвы.

---

[1] С удовольствием... до свидания... *(фр.)*

[2] Очарователен!.. как он хорош! *(фр.)*

Граф при помощи pince-nez пристально взглянул на цилиндр.

— Это я осадил магнезию,— объяснил Василий Егорыч,— видите, какой получился осадок?

— Это магнезия?

— Она.

— А сероводорода сюда не нужно? — спросил граф.

— На что же? Он испортит все дело.

— Значит, почва хорошая?

— Ну нет! — возразил химик, становя цилиндр за окно,— во-первых, хлористый барий никакой мути не производит... лапис осадка не делает... соляная кислота шипенья не производит... Словом, почву надо удобрять известью, серной кислотой и поваренной солью... вот какова земелька-то! да и фосфорных солей очень мало... Ну-с, рассказывайте, как вы поживаете? медведь жив?

— Ничего... на днях скинул было с себя ошейник... поправили... Где же Андрей Петрович?

— Он в соседней комнате. Пойдемте к нему.

Василий Егорыч отворил двери и ввел графа в другую комнату, в которой за столом сидели Новоселов и Варвара Егоровна.

— Честь имею рекомендовать — моя сестра,— сказал Василий Егорыч. Девушка встала и сделала книксен.

— Я, кажется, вам помешал,— начал граф, смотря на тетрадку с карандашом, лежавшую перед барышней.

— О! нисколько! — объявил Новоселов.— Не угодно ли присесть?

— Андрей Петрович читает моей сестре гигиену...

— Да у вас сильно процветает наука! — объявил граф, держась за спинку стула и приготовляясь садиться,— если позволите, и я послушаю...

— Вы сделаете нам большую честь... но мы уже на половине дороги,— сказал Новоселов.

Граф сел, сказав девушке, которая слегка отодвинула свой стул: «Mille pardon, mademoiselle»[1].

— А вы не слыхали новость, граф,— сказал Карпов,— Андрей Петрович продает свою землю и удаляется в пустыню...

— Как? куда же это вы?

— Кое-куда... впрочем, это еще не скоро.

— Как жаль! вы останьтесь с нами, Андрей Петрович...

[1] Тысячу извинений, сударыня *(фр.)*.

— Об этом мы поговорим; позвольте мне кончить лекцию.— Василий Егорыч также сел послушать. Новоселов объявил: — Предупреждаю вас, граф, что наша беседа ничего нового не представит для вас, все это вы тысячу раз слыхали...

— Ах, напротив... я уверен... я так мало знаю...

— Вот в чем дело,— обратился учитель к своей ученице:

«В природе, как я упомянул, разлита творческая сила; возьмите растение, кристалл какой-нибудь, мускул — все это созидалось вследствие творческой силы; из зерна является растение с листьями и цветами, наши пищеварительные органы из ржаной муки умеют сделать кровь.

Люди богатые едят кровавые ростбифы, другими словами, готовую кровь вливают в свою собственную, так что желудку не над чем и призадумываться; зато привыкший к ростбифам желудок станет в тупик перед ржаным хлебом, а какая-нибудь редька повлечет за собою смерть.

Так как человек существо всеядное, то и богатые люди прибегают к спарже, трюфелям, салату, фруктам. Но у них, как наука доказала, более половины пищи остается неусвоенною организмом, потому что богатые люди по большей части ничего не делают...

Таким образом, если хотите иметь исправный желудок, во-первых, не балуйте его изысканной пищей, а во-вторых, непременно работайте.

В этом направлении и идите: не хотите простудиться — привыкайте к холоду; ибо в настоящее время стало известно, что радикальным средством против жаб и катаров служит холодная вода, точно так же, как от объедения — диета и труд.

Вообще природа все нужное дает тем, которые прибегают к ее помощи, и преследует нарушителей своих законов. Зверей она одела в шерсть, лошади дала копыто, между тем тунеядца прежде времени лишила волос, наделила подагрой и так далее. Я вам, кажется, упоминал, что в природе существует правда; во имя этой правды неумолимая природа жестоко наказывает всех, считающих ее не за мать свою, а за врага, от которого надо скрываться; в силу этой правды человечество, хотя и медленно, идет вперед.

Наши цивилизованные люди все меры употребляют для того, чтобы удалиться, или, вернее, скрыться от природы. Зато посмотрите, как эта псевдоцивилизация изне-

живает, расслабляет и извращает людей, делает их трусами, жалкими отребьями...

После сказанного вам нетрудно убедиться, что надобно любить природу; а она на каждом шагу учит нас умеренности, труду, самоусовершенствованию, наконец, тому, что жизнь не есть праздник, а высокий и тяжкий подвиг.

До сего времени мы не знали цены ничему, а как скоро история вытащила нас в колею общечеловеческой культуры, мы и забегали, как клопы (насекомое паразитное), ошпаренные кипятком.

Задача цивилизации состоит не в том, чтобы жить на чужой счет, подставлять друг другу ногу (чего не делают даже самые низшие сравнительно с нами животные, и притом гораздо более способные к общественной жизни, нежели мы, например, пчелы, муравьи и пр.); а в том, чтобы блага природы распределить между возможно большим числом людей, чтобы путем науки выяснить тунеядцу, что от жирного куска, который он схватил у ближних, испортится желудок, его постигнут разные болезни, а лень и праздность доведут до смертной тоски.

Верь, ни единый пес не взвыл
Тоскливее лентяя,—

говорит один поэт. Словом, кусок, отнятый у ближнего, тунеядец схватит себе на погибель. Вы слыхали крестьянскую пословицу, что чужое добро впрок нейдет; эта пословица справедлива более, чем думают. Тот же поэт в одном месте говорит:

Роскошны вы, хлеба заповедные
Родимых нив,
Цветут, растут колосья наливные,
А я чуть жив!
Ах, странно так я создан небесами,
Таков мой рок,
Что хлеб полей, возделанных рабами,
Нейдет мне впрок!

Тунеядцам пища служит отравой; вся жизнь их не что иное, как патологический процесс; их фешенебельные квартиры — больницы, где в сильном ходу геморрои, желудочные катары, изнурения, расслабления, «укрепляющие эликсиры, питательные шоколады», сверх всего этого хандра и непомерная скука... Никто из этих господ не может сказать, что его не грызет какой-то червяк, который —

В сердце уняться не хочет никак;
Или он старую рану тревожит,
Или он новую гложет».

— Какую глубокую правду вы говорите, Андрей Петрович! — воскликнул граф,— позвольте пожать вам руку! Я не знаю, каким светом!..— Граф не договорил и взялся за голову, как будто хотел оттуда вытряхнуть что-то...— Представьте себе,— продолжал он,— у меня есть один знакомый в Петербурге, богач страшный. Само собою разумеется, каких-каких благ он не испробовал в своей жизни: он прежде времени облысел и согнулся, так что не может сидеть прямо, а поднявши ноги вверх... этот человек обыкновенных блюд уже не может есть: сидя спиной к своему повару, он приказывает ему изготовить, например, дупеля, но так, чтобы эта птица ни под каким видом не походила на самое себя: «Положи, говорит, в него мозгов, трюфелей»... вообще черт знает чего... Что ж бы вы думали? на этих днях получаю известие, что этот господин хотел застрелиться...

Новоселов продолжал: «Несмотря на роскошь, которой окружены эти несчастные, они покоя себе не видят: то устремятся за границу, то опять на родину, и так далее. Жизнь для них не имеет ни малейшего смысла. Вот к чему можно прийти в наше время. Привожу слова другого поэта:

Под бременем бесплодных лет
Изныл мой дух, увяла радость,
И весь я стал ни то ни се.
И жизнь подчас такая гадость,
Что не глядел бы на нее!»

— Итак,— обратился Новоселов к Варваре Егоровне,— теперь мы с вами узнали, отчего происходит вся эта кутерьма. В подтверждение сказанного приведу слова евангелия.

Учитель взял лежавшую на столе книжку с золотым распятием на переплете и с расстановкой прочитал следующее: «Блюдите и хранитеся от лихоимства: якоже не от избытка кому живот его есть от имения его: душа больши есть пищи и тело одежды. Продадите имения ваша и дадите милостыню. Сотворите себе влагалища не ветшающа, сокровище неоскудеемо (то есть займитесь самоисправлением,— добавил учитель): да будут чресла ваши препоясана и светильницы горящии (разумеется нравственный мир человека). Блаженыи раби тии, их же пришед господь обрящет бдящих. Аще же речет раб в сердце своем: коснит господин мой прийти, и *начнет бити рабы и рабыни, ясти же и пити упиватися*. Приидет господин раба того в день, в онь же не чает, и в час, в онь же

не весть (припомните судию милосердого, о котором говорил Василий Егорыч). Той *же раб биен будет много»*. Запишите эти тексты в свою тетрадку,— сказал Новоселов девушке,— еще присоедините слова апостола: «Не трудивыйся — да не яст». На том мы пока и остановимся.

Слушатели сидели в раздумье. Граф раза два вздохнул, устремив взор в угол аудитории и играя брелоками на своих часах. Василий Егорыч обратился к сестре с такими словами:

— Ну, что же ты, убедилась в необходимости труда?

— Еще бы! — промолвила девушка.

— Это главное! Я рад, что из тебя не выйдет сахарная барышня... Тебя, может быть, занимает вопрос: кто эти дармоеды, о которых говорилось в лекции?

— Дармоеды — это мы все!.. Положим, *наши предки Рим спасли;* да мы что сделали такое?.. Не правда ли, граф?

— О! без сомнения!..— тоном передового человека сказал граф.

— Вот мы когда заговорили о деле-то! — объявил Василий Егорыч. Все встали из-за стола.— Что называется, до самого корня...

— В настоящее время,— подтвердил граф,— когда, так сказать, все в каком-то напряжении... чего-то ждут...

— И мечуться от скуки,— добавил Карпов. Граф засмеялся. Новоселов обратился к Василию Егорычу:

— Как бы мне найти покупателя на свою землю?

— Найдутся, не беспокойтесь! Я сегодня скажу отцу, не купит ли он?

— Андрей Петрович хочет последовать словам евангелия: «Продадите имения ваша»,— заметил граф.

— «И дадите милостыню»,— прибавил Новоселов.

— Что же, вы хотите буквально исполнить эти слова? — спросил граф.

— Я хочу одну половину имения продать, а другую отдать мужикам.

Граф окинул с ног до головы проповедника и взглянул на его учеников, как бы приглашая их разъяснить слова своего учителя.

Василий Егорыч, скрестив руки, начал:

— Да что ж, граф?.. помочь крестьянам следует! Мы едим устриц, а мужики — лебеду. Мы от праздности едва не на стену лезем, а у мужиков рубаха от поту не просыхает...

— Да я — не спорю... я нимало на это не возражаю... напротив, я убежден, что этим только путем и следует идти в настоящее время,— возразил граф.

— Когда на то пошло, давайте, господа, все последуем евангельскому учению: я скажу отцу, чтобы он отдал в мое распоряжение мою наследственную часть; вы, граф, конечно, также заявите ваше сочувствие крестьянам. Ведь ваша мать не может запретить вам располагать своим имуществом, как вы вздумаете...

— Само собою разумеется,— сказал граф.

— Значит, остается сказать: «Да здравствует разум!» — воскликнул юноша,— вот она, наконец, Америка-то! а мы искали выхода! вот где наше спасение... пусть там прогрессисты ломают головы над экономическими и разными современными вопросами, воображая, что мужиков можно просвещать тогда, когда у них желудок набит мякиной. Нет! сперва надо дать человеку перевести дух, а там и книжку подкладывать. Знаете ли что, господа? Если наше решение состоится (я в этом и не сомневаюсь), откроем школы для народа и сами возьмемся его учить, только не латинскому языку, как того желают просвещенные друзья народа, а естествознанию. Земли у нас бездна, и земля давно выпахалась, скотоводства нет, удобрять почву нечем; шестьдесят миллионов людей задыхаются в курных избах, питаясь мусором и не имея никакого понятия о сохранении здоровья. А мы, образованный класс, бесимся от скуки, прикидываемся благожелателями родины, рассуждаем по-потугински, что Россия гвоздя не выдумала, и сидим сложа руки где-нибудь за границей. Между тем с русских земель получаем денежки, этим мы ничуть не брезгаем!.. Еще за хлеб за соль ругаем русский народ неисправимым холопом! Какие мы сыны отечества?!. что мы для него сделали хоть бы за то, что оно вспоило, вскормило нас? Мы выучились, à la Онегин, Печорин, Рудин — прикрывать мировыми вопросами и возгласами о гражданской деятельности свои любовные интрижки, какими-то исполинскими замыслами объяснять свое тунеядство... Итак, господа, выступим на честный путь... Если не имели совести отцы наши, из этого не следует, чтоб и в нас ее не было... Поделимся с несчастным народом, чем можем... Не все-то нам ездить на его спине!..

Слуга возвестил, что завтрак готов. Он предложил графу зонтик, сказав, что заходит туча.

В комнате становилось темней и темней; в отворенные окна повеяло прохладой. Зашумел ветер. Молодые люди вышли из флигеля.

X

НЕОЖИДАННЫЙ СЛУЧАЙ

По дороге неслась столбами пыль; ветер кружил солому, пух и нес к реке холсты, за которыми бежали бабы. По темному небосклону змейками скользили молнии. Слышались глухие, замирающие раскаты грома.

В саду шумели и волновались кусты сирени, бузины, яблони, с которых падали плоды. По направлению к пасеке, стоявшей на краю сада, летели с полей пчелы; к калитке с люльками за плечами бежали поденщицы, прикрываясь кафтанами. Садовник закрывал парники соломенными щитами.

Близ барского дома с хлебного амбара, под который вперегонку спешили куры, сорвало несколько притуг и отворотило угол повети. По застрехам слетались воробьи и недавно кружившиеся под небосклоном ласточки.

Удары грома слышались один за другим. Наконец, закапал крупный дождь, и вскоре хлынул страшный ливень. В воздухе, кроме сплошной водяной массы, сопровождавшейся необыкновенным шумом, ничего не было видно.

Вдруг молния, сделав несколько ослепительных зигзагов, быстро упала вниз, и вслед за тем раздался оглушительный удар грома; застонала земля, и дрогнули здания.

Сидевшие в отворенном сарае кучера сняли шапки и набожно перекрестились...

— Не обойдется без греха,— заметил один из них.

Вслед за ударом хлынул проливной дождь.

— У нас случай был,— рассказывал один из кучеров,— шел по дороге мужичок с косой; а тучка небольшая зашла над самой его головой. Вдруг грянул гром, и мужик потихоньку, потихоньку, словно нагибался... и упал... Мы все это видели...

Когда на небе сквозь легкие облачка выглянуло солнце, горничная прибежала в конюшню и объявила графскому кучеру, чтобы он закладывал лошадей. Опуская в карман трубку, кучер сказал:

— Будь хоть светопреставление — ни на что не посмотрит: что бы часочек погодить? Теперь коляску испачкаем на отделку.

— Видно, обедать не останется,— сказал другой.

— Господа упрашивали его, отказался... говорит, дома есть дела...— объяснила горничная и ушла в дом.

— Какие дела? — возразил графский кучер,— никаких там делов нету; одна забава — медведь...

Лошади были поданы. На крыльце происходило прощание Карповых с графом.

— Не забывайте нас, граф,— говорили дамы,— приезжайте на Ильин день; отправимся в лес...

— Непременно, если не задержит что-нибудь. А вы, господа,— обратился граф к молодым людям,— приезжайте без всяких церемоний...

— Как жаль, граф, что вы не остались обедать...

— И дорога грязна,— сказал старик...

— Дорога почти высохла... дождь шел недолго...

Коляска плавно покатилась от барского дома.

Небо было чисто, лишь кое-где неподвижно стояли белые облака. Под лучами ярко светившего солнца все вдруг ожило и встрепенулось; трава, которую с наслаждением щипали животные, листья деревьев — покрылись яркою зеленью. В воздухе запели птицы; послышалось жужжанье пчел, стремившихся в поле.

На селе, при громком пении петухов, среди выгона, бабы расстилали холсты. За околицей, в мокром кафтане, босиком, мужик вел за повод клячу, запряженную в соху, на которой звенела палица, болтаясь между сошниками. Завидев коляску, мужик издали снял шапку и свернул лошадь в сторону; граф кивнул пахарю головой.

В поле наперерыв весело распевали жаворонки. Мимо коляски потянулись хлеба; в некоторых местах колосья ржи спутались и поникли от бури. В воздухе пахнуло медовым запахом гречихи.

Душевное расположение графа не совсем гармонировало с окружающей природой; его отъезд из дома Карповых, как читатель видит, был поспешен — и причиною этого было то обстоятельство, что во время завтрака молодой Карпов с энтузиазмом заговорил о пожертвовании земли крестьянам. Таким поворотом дела граф не очень был доволен. Впрочем, к удовольствию графа, речь молодого Карпова была замята стариком, нашедшим энергическую поддержку в лице дам. Отъехав на несколько верст от дома Карповых, граф принялся рассуждать:

— Удовлетворит ли меня эта философия: «Продаждь имение и раздай нищим?» Успокоит ли она неугомонный пыл моих сомнений, мучительную жажду чего-то осмыс-

ленного, верного, ясного? Неужели последние слова науки совпадают с учением евангелия?

Камердинер доложил:

— Ваше сиятельство! а громовой удар не прошел даром.

Камердинер указал на дым вдалеке. Граф привстал и посмотрел вперед.

— Кажется, недалеко от Погорелова,— сказал он.

— Да это оно и горит! — с уверенностью воскликнул граф.

— Чего доброго? вон изволите видеть ветряную мельницу? она как раз стоит против сельского старосты... и пожар-то с того конца идет...

— Так и есть,— подтвердил кучер,— смотри, как лижет... все разгорается...

— Пошел! — крикнул граф.

И четверня полетела вскок. В деревнях, среди улиц, группами стоял народ. Мужики садились верхами на лошадей.

В последней деревне, под названием «Сорочьи гнезда», подле барского дома суетился господин в соломенной шляпе и громко кричал: «Живей! живей запрягайся!»

— Mesdames! — обратился господин к дамам, стоявшим на балконе, и кивнул головой на графский экипаж,— monsieur le prince... monsieur le prince...[1] — Дамы навели на графа бинокли.

— Проворней,— кричал господин в шляпе на пожарную команду, выдвигавшую из сарая бочки.

— Веди бурого! Стой! — шумели кучера,— хомут надели наизнанку!

— Mesdames! Семен Игнатьич! едемте!

Вскоре загремели гайки, заскрипели немазаные колеса,— и пожарная команда вместе с господами устремилась на пожар.

С горы открылось Погорелово, объятое ярким пламенем; в дыму виднелись черные шапки пепла... слышался глухой, нескончаемый шум народа, треск огня и разрушавшихся зданий... надо всем этим звучал благовест в набат.

Коляска приехала на пожар. Над некоторыми избами в дыму виднелись люди с граблями, попонами, веретьями, которыми прикрывались соломенные крыши. Близ самых изб толпились массы народа; крюками тащили бревна,

---

[1] Сударыни! князь... князь... *(фр.)*

ломали стропила, провозили бочки с водой; вырывавшееся из окон пламя нещадно обхватывало зеленые деревья, стоявшие у домов; в народе раздавался отчаянный крик:

— Скорей, воды! воды!..

Толпа мужиков схватила за узду лошадь, запряженную в водовозку, и тащила ее в разные стороны.

— Твоя сгорела! Не спасешь! моя занялась...

— Поворачивай! дорогу заняли!

В другом месте кричали:

— Не ломай!

— Отойди! убьет!

— Цепляй за слегу!..

Из сеней одной избы тащили мертвого мужика и, пробираясь сквозь толпу, несли его на воздух.

По направлению к выгону народ выносил свое имущество; несли бороны, сохи; кто вез сани, бабы вытаскивали гребни, ухваты, прялки; один мужик, потеряв всякое сознание, нес в поле своего кафтана осколки кирпичей. Среди убогого имущества, обняв свою дочь, голосила мать:

— Остались мы с тобой бесприютные!..

XI

ИЛЬИН ДЕНЬ

Имение Новоселова находилось верстах в пяти от Карповых, вблизи деревни Вязовки, состоявшей из двадцати крестьянских дворов. Ветхий господский дом с полуразвалившимися сараями и конюшнями стоял особняком, разделяясь от деревни глубоким оврагом, через который перекинут был мост. Около барского дома находился пруд, заиленный до того, что в жаркие дни скотина входила в него на самую средину по колени.

В полуверсте от Вязовки протекала небольшая речка с мельницей и толчеей, на которых издавна росла крапива и несколько молодых берез, наглядно знакомивших путника с распространением растений при пособии ветра, но мало говоривших в пользу владельца этих заведений.

Среди Вязовки красовался кабак с мелочной лавочкой, откуда крестьяне брали соль, деготь и другие товары, платя за них почти вдвое дороже против городского, особенно в осеннее время. Целовальник знал все статьи нового положения, на основании которых, как он уверял,

производил с крестьян взыски за долги не деньгами, а натурой, и притом без всяких формальных судов, по мнению самих крестьян отнимавших только время.

На барском дворе во флигеле, состоявшем из четырех небольших комнат, помещался арендатор с семейством. Он был из дворовых и управлял когда-то имением своего барина, но с объявлением воли приписался к мещанам и стал заниматься арендой. В последнее время он пришел к убеждению, что сельским хозяйством заниматься не стоит: «Урожаи стали плохие, земли вздорожали, с рабочими никак не сообразишь. То ли дело,— рассуждал он,— состоять на коронной службе: всегда сух, тепел; накупил акций железных дорог или билетов внутреннего займа — и покуривай сигару; а там, глядь, билеты поднялись в цене или выигрыш тысяч в десять...»

Рядом с заросшим травою барским домом стояла русская изба с резным крыльцом, выстроенная на случай приезда барина; над ее крышей возвышалась скворечница,— утеха барского караульного, одинокого старика. Во внутренности избы отгорожена была отдельная комната, которую украшали картины: отец Серапион, кормящий из рук медведя, затворник Иоанн и проч.

На Ильин день, после обедни, арендатор подъехал на дрожках к своему флигелю и, увидав толпу мужиков, шедших к барскому дому, спросил:

— Куда это вы, ребята?

— Да велено сбираться к барину; должно, насчет сенокосу...

Пришедши в комнату и повесив картуз близ старинных часов с футляром до самого потолка, арендатор обратился к жене и сидевшему с ней за самоваром целовальнику:

— С праздником!

— И вас с тем же, Алексей Митрич,— проговорил целовальник, выходя из-за стола и подавая руку хозяину.

Арендатор оделил всех, не исключая и детей, возивших по полу бумажного коня, по кусочку просфоры и сел за стол.

— Что ж не в кабаке?— спросил он целовальника.

— Там есть кому без меня... жена справится. Сами знаете, не добро быть человеку едину...

Арендатор тряхнул куском сахару над чайным блюдцем.

— Зачем-то барин велел мужикам сбираться,— сказал он.

— То-то и я подошел разведать: не будет ли нашему брату какой поживы? Что-нибудь барин хочет затеять.

— Аль думаешь подделаться к нему?

— Отчего же?.. Барин российский! он залетит опять в Питер, а нам пить, есть надо... Я прошлое лето снял у Горшковых сто десятин по три рубля, а мужикам роздал по семи, а хорошенькую по десяти...

— Ничего! — одобрительно проговорил хозяин.

— Да ведь в долг, Алексей Митрич; ждать до новины. Вон Карпухины должны мне двадцать рублей, плотник Федосей — шестьдесят, и без всяких расписок.

— Неужели ваши деньги не пропадают за мужиками? — спросила хозяйка.

— А бог-то? — возразил целовальник,— ведь у всякого человека, Марья Прокофьевна, совесть есть: ежели я с вами, будем говорить с глазу на глаз, богу помолимся и вы человек благородный, разве вы отопретесь от своих слов? Опять небойсь у вас на дворе есть какая-нибудь скотинишка... вот какое дело...

Все помолчали. Целовальник, опрокинув чашку и перекрестившись, начал:

— Вот бы вам, Алексей Митрич, подбиться к погореловскому графу... хоть бы насчет лесу... уж и статья! однова дыхнуть!.. А барин — угар! он слова не скажет... человек тоже, надо прямо говорить, благородный...

— Однако село-то его сгорело!

— Да!.. от молоньи... говорят, ударило прямо в Епихванову избу... мужики-то были на покосе... как есть все вчистую решило... Так теперь стоит один господский дом...

В это время арендатор взглянул в окно и сказал:

— Барин приехал.

— С мировым посредником,— подхватила жена,— и старшина с писарем... что-нибудь не так... Сходи, Алексей Митрич, узнай, что такое?

— Пойдемте вместе,— сказал целовальник и обратился к хозяйке,— благодарим покорно за угощение. К нам просим милости...

— Ваши гости...

Арендатор и целовальник отправились в барский дом; у крыльца стоял тарантас, несколько телег и толпился народ. Мужики рассуждали:

— Смотри, ребята: в случае чего... ежели насчет старшины,— надо выбирать кого поаккуратней... чтобы за нас умел сказать слово...

— Кого ж выбирать? — раздались голоса.

— Да на что лучше Якова Калистратова?

— Постой! не хочет ли барин отбить у нас Карнаухов Верх...

— Не шумите! — закричал сельский староста, выходя из сеней,— сейчас разверстка будет...

— Братцы вы мои! — заговорил народ...

— Что-то будет!..

Послышались тяжкие вздохи, сдержанный шепот. Мужики вдруг смолкли. На крыльце появилось начальство. С минуту длилась тишина; слышно было, как по двору пищали цыплята, над которыми в вышине носился коршун.

— Ну, ребята,— объявил посредник, держа в руках бумагу,— вы должны благодарить бога, что избавились от чересполосицы: размежевание кончилось, и вам остается разверстаться с вашим барином. Так как ваш поселок стоит далеко от водопою, то Андрей Петрович решился отдать вам ту часть, которая могла бы преграждать путь к реке, то есть он уступает вам с наделом удобной и неудобной, по урочище Дубровый Лог, Парохин Верх и Живое Урочище — реку Осетр, сколько на плане значится. Сверх того, он уступает вам небольшую рощицу, которая находится в этом наделе. Что касается до ваших повинностей, то они вами уже уплачены, когда дача находилась в чересполосном владении. Я очень рад,— продолжал посредник,— что вы теперь справитесь; мне будет легче сбирать с вас подати.

Посредник обратился к барину вполголоса: «Беда с этими сборами; исправник оттого и отказался от должности».

— Само собою разумеется,— объявил он мужикам,— как люди темные, вы можете во зло употребить данные вам средства... Будьте осторожны и в случае нужды не откажитесь помочь барину.

— Что же вы молчите? — кивнув головой мужикам, подхватил старшина.

— Завсягда... с нашим удовольством,— заговорили мужики,— последним поделимся...

— За этакой надел надо благодарить своего господина,— сказал старшина, сходя с крыльца и приготовляясь произнести речь мужикам. Он стал к ним лицом, поднял руку вверх и объявил:

— Таперича вам, к примеру, надо жить степенно, чтобы все было как следует: пуще всего не надобно займаться пьянством... да насчет податей быть исправными... потому что хорошего — доводить себя до этого? И какое ежели дело насчет уборки хлеба господам, то они завсегда наши благодетели,— и беспримерно жить в аккурате! друг друга не обижать, начальства не ослушаться... соблюдать себя в обхождении обаполо благородства... в случае чего прямо ко мне,— я вас окорочу...

Старшина посмотрел на посредника, доставая из шляпы платок, чтобы утереть с своего лица катившийся пот. Посредник жестом дал ему знать, что речь его произвела впечатление. Старшина отошел в сторону.

— Кто из вас грамотные?— объявил писарь,— подходите...

— Ну, теперь ступайте домой! — сказал посредник.— Вот как господа об вас заботятся: умейте ценить и пользоваться такими благодеяниями.

Мужики, держа в руках шапки, один за другим потянулись с барского двора. Вскоре всей ватагой они очутились в кабаке, куда пришел и целовальник.

— Ну, ребята,— объявил последний,— вам теперь ничего не остается делать, как взять сороковую бочку вина...

— Ой ли? — подхватили мужики.

— Верно! потому, изволишь видеть,— выкладывая на счетах, говорил целовальник,— двадцать дворов, шестьдесят ревизских душ... так?

— Так,— согласились мужики...

— Забыл я: кто это делал добрые дела, Филарет милостивый или Иоанн многострадальный? На милость образца нет! Понимаете? Вам теперь надо гулять целую неделю... жена! откупоривай бочку...

— Погоди, Перфил Семеныч,— заговорили мужики.

— Чего там годить? входите сюда, выкатывайте...

— Ребята! брать, что ль? — спросил один мужик...

— Постой! Надо сперва разобрать...

— Да чего вы боитесь? Аль не выпьете? — продолжал целовальник,— дай-ко из соседних деревень налетят, узнают... Федюшка! Запрягай лошадь! Ступай на завод... я вижу, дело-то не на шутку разыграется...

— Ведро, Семеныч!

— Ведро! там видно будет.

— Погоди! может, после что откроется...

— Чему открыться? — кричал целовальник,— аль вы впервой видите барина? Опять дело было при посредни-

ке... Экие дураки! вам теперь сто молебнов надо отслужить, а не то что из пустого в порожнее перегонять...

— Семеныч! стало быть, наша земля по самый Парохин Верх?

— Тебе сказано, по Дубровый Лог, Парохин Верх и речку Осетр...

— Так, так...— заговорили мужики...

— Ведь область али нет?

— Область!..

— А как же мы будем делить землю? по тяглам аль по душам?

— Зачем тебе делить! Без тебя все сделается... Неси вино! тащи на улицу...

— Постой! как же насчет Парохина Верха-то? Семеныч! положи-ко нам на счетах...

— Ну, будет кричать! давай два ведра.

— Семеныч! и ты с нами выпей!

— Поздравляю вас... Дай господи вам богатеть..

— Кушай на доброе здоровье... А хозяюшке твоей надо купить настоечки...

— Это она потребляет... да что ж вы не зовете своих баб?

— Антон! беги за ними... да захвати ковригу хлеба... Ребята! неси вино на улицу... там просторней...

— Что ж не сказано: платить за нее аль нет?

— За вино-то, что ль?

— Толкуй еще! я вон плачу за двух, которые в люльке качаются...

— Ну, не толкитесь здесь! ступайте на улицу...

— Слава богу! мы господами не обижены... Я хотел давеча сказать: вы-то, мол, нас не забудьте,— а мы вас из нужды выручим... бывает, миром в один день справишь... аль мы не крещеные?

— Вон сорочинские завсегда уберутся с хлебом, а у него копны в поле...

— Что такое значит? отчего так?

На улице раздавались песни.

XII

ПЕРЕПИСКА

НОВОСЕЛОВ В. Е. КАРПОВУ

Село Кострюлино. Сентябрь.

Расставшись с вами, по совершении купчей крепости, я долго стоял у растворенного окна моей комнаты и вслу-

шивался в городской шум. Было около девяти часов вечера. «Прощай, мираж! — думал я,— жаль, что ты унес из моей жизни целых пятнадцать лет! Обращаюсь опять к тебе, мать природа: прими к себе заблудшего, кающегося сына...»

Но что значит эта перемена? Этот родной луг, который был так прекрасен во время моего детства, речка с островами, поля — все, что так радостно когда-то встречало меня, возвращавшегося из дальней стороны,— теперь смотрит на меня неприветливо, все чуждо мне и, увы! как будто гонит от себя прочь... Я вижу, как на этому лугу сидят группы детей; они веселы, они у себя дома; их мудрая мать, как и меня прежде, ласкает, занимается их воспитанием... А я, одинокий, стою перед ней и чувствую, что на родной земле уже нет для меня места... Я вижу, как и в былое время, сидит у своей хатки старичок, тихо доживая век свой; как он ни страдал здесь, как ни голодал, от сырости и холоду ни мерз, природа сберегла-таки его до сего времени...

Что же мне делать? Неужели на арену схваток с ближними?.. Нет, что бы со мной ни было, как бы мать природа ни наказывала меня за мои преступления, я преклоняюсь перед ее ударами и, может быть, вымолю у ней прощение. Я виновен в том, что, получивши ясный взгляд на наших *меньших братьев,* сколько раз приезжал к ним, воочию видел их бедствия и уезжал, не сделав им ничего, словно спасался бегством...

Вот почему я оставил свою Вязовку... Для нового вина нужны и мехи новые...

Рано утром я выехал из города. Небо было пасмурно. Потянулись скошенные поля, обозы, богомольцы с сумками,— вот деревня, усаженная березками, ряд высоких возов с отпряженными лошадьми, в стороне деревянная церковь...

Погода вдруг переменилась; подул холодный ветер, по небу понеслись тяжелые, осенние облака.

На первом постоялом дворе я спросил себе водки и редьки (не правда ли, смело?) и, проехав несколько верст, снова возблагодарил бога за его милости; вместо того, чтобы получить лихорадку, несмотря на то, что у меня в желудке вместо ростбифа была редька, я чувствовал себя прекрасно... Я с удовольствием начал беседовать с ямщиком о мужицком житье...

Но вот и ночь. Справа и слева появляются какие-то одинокие дома; пролетит тройка с колокольцем... Лоша-

ди наши выбираются на горку; ямщик идет рядом с повозкой и закуривает трубку...

— Так ты знаешь село Кострюлино?

— Как не знать. Там наши часто бывают. Там живет лекарь Гаврил Иваныч...

— К нему-то я и еду.

— А много осталось до Кострюлина?

— Верст сорок.

Опять заскрипела повозка. Вот уездный город; замелькали кривобокие лачужки, пустыри, заборы и, наконец, каменные дома; в окнах горят огни. Что делают там люди? Купчиха ли расспрашивает богомолку про чудеса, купец ли с очками на носу сидит за счетами, или чиновник блуждает по своей квартире, не зная, за что ему приняться? спать ли, пройтись ли куда, переписывать ли бумаги? Душа его, несмотря на долговременную, беспорочную службу, все куда-то просится, чего-то ждет... но ждать, кроме пряжки и смерти, нечего... Мещане ли с соборным голосистым дьяконом пьют чай и ведут беседу о концерте: «Кто взыдет на гору господню?» Пройдут десятки, сотни лет, люди, как и теперь, будут изнывать в своих каморках и чего-то ждать...

Часов около десяти мы приехали в деревню Павловку. Я зашел в крестьянскую избу, наполненную народом. За столом сидели девицы; у них были так называемые *посиделки.* На полатях лежали мужики. Между тем осенний ветер стучал ставнями и подвывал под окнами, как бы аккомпанируя грустным песням. Девицы пели:

Ходила Маша по саду,
Сбирала вишенья,
Сбирала своих подруженек.
Сажала их за дубовый стол,
За белы скатерти.
Сама садилась выше всех,
Клонила голову ниже всех.
Как мне жить, подруженьки,
Во чужой семье?
Как мне чужого отца
Звать батюшкой?
Мне звать его батюшкой
Не хочется.

Мне было так грустно, я так полюбил избу, этих добрых людей, что у меня подступили слезы. Я вышел на улицу.

Завернув за угол крайнего дома, я очутился в поле,— опять на большой дороге. Ветер не затих, но небо просвет-

лело; высоко и ярко светила луна сквозь прозрачные белые облака; вокруг нее образовался светло-оранжевый, широкий круг. Я шел по гладкой дороге; на небосклоне тускло очерчивались ветлы, словно избы, телеграфные столбы... впереди вдруг показалось что-то живое и вскоре исчезло... Я все шел... Но, наконец, без всякой причины меня объял ужас... Чем более я всматривался в пустынную даль, тем страшнее она мне казалась... Невольно подумал я, что русские мужички, населяющие эти страшные степи, подвизающиеся в этом мертвом пространстве,— великие люди; вспомнил я наши города, пятиэтажные дома, мосты, насыпи, вспаханные поля, *дубинушку зеленую,* наконец эту вечную безысходную нужду,— и преклонился перед мужиком.

Через час я возвратился в избу; народ разошелся, исключая хозяев, садившихся за ужин. Семья начала есть тюрю; хозяйка, державшая на руке младенца, подала на стол на дне чашки молоко. Все хлебнули и, вздохнув, вышли из-за стола. Разумеется, все были голодны.

Поутру я зашел в соседнюю избу. Так называемая *черная* печь была только что закрыта; по избе носился дым; запах был невыносимый. Посредине хаты висели лапти; по полу бродили неумытые дети. Один мальчик с разбитым носом, на котором запеклась кровь, пристально смотрел на меня.

— Это у вас мазанка?— спросил я, не зная, с чего начать разговор.

— Мазанка... Цыц!— крикнула старуха на петуха, запевшего на всю избу.— Мы недавно выстроились. Мы прежде были прудищенские. Барин нашу землю взял себе, а эту отдал нам.

Вошел мужик с красной, больной щекой, сказав:

— Доброго здоровья!

— Здравствуй. Что ж, вы довольны этим местом?

— Местечко бы и ничего, да вот достатки плохие,— сказал мужик.

Эта неизменная песня заставила меня не возобновлять разговора про *достатки.*

— Что это мальчик-то ушибся? — спросил я.

— Да вон об чугун расшибся.

Старуха погладила мальчика по голове.

Я все рассматривал избу: на полу, на лавках, на хорах была такая грязь, что меня ошеломила эта страшная картина человеческого унижения. Я почувствовал боль в голове и вышел.

У самой избы я увидел телегу с приходским священником. Его работник стучал палкой в окно и кричал:

— Выносите новину!..

На улице шумели грачи, летали голуби, вдали сверкала речка. Светило солнце. Пользуясь хорошей погодой, я отправился пешком в село Кострюлино. Дорогой мне стало стыдно за свое малодушие, и я решился непременно выпить чашу до дна...

Сейчас только получил ваше письмо и прочел его с удовольствием. Работайте, мой милый друг! не унывайте! Как только присмотрюсь к родным картинам, примусь и я за дело. Передайте вязовским мужикам, что, когда они поправятся и выстроят школу, я весь к их услугам. Вот видите, кусок хлеба впереди есть...

Доктор, у которого я остановился, мой давнишний приятель, поселившийся на вечные времена в глуши. Он купил у кострюлинского барина десятин пять земли, развел сад, устроил пасеку и занимается практикой, снабжая крестьян лекарствами и наставлениями. На вопрос: отчего он не живет в городе,— Гаврила Иваныч (так звать его) отвечает: «Мне нужно, чтобы вот тут, против окон, пролетел вальдшнеп, чтобы зимою я видел заячьи следы на снегу; без этого я не могу жить».

Насчет моего намерения приняться за мужицкую работу вот что он говорит: «Даю вам честное слово, что через неделю, а много через две, вы схватите горячку. Вы хотите шутки шутить с жизнью, так знайте же, как закаливается наш русский пахарь,— он с раннего возраста ходит разутый, раздетый, голодный; этого мало: тот из наших крестьян делается настоящим пахарем, кто в детстве перенес всякие тифы, лихоманки (последних народ насчитывает двенадцать); а вы знаете, что редкие из крестьянских детей переносят это испытание; статистика говорит, что нигде так не мрут дети, как в русском народе».

Чудак воображает, что я боюсь смерти... На этих днях я отправляюсь снова в путь... впрочем, недалеко... Если долго не буду писать, не удивляйтесь этому. Но вы, пожалуйста, пишите. По-прежнему адресуйте на имя Гаврила Иваныча в село Кострюлино.

ПИСЬМО КАРПОВА К НОВОСЕЛОВУ

Октябрь.

На улице грязь по колено и завывает ветер, но мы, любезный Андрей Петрович, пока не падаем духом. Сестра

учит детей грамоте, сама берет у меня уроки химии. (*Я вам писал, что* единственная уступка, какую отец мог сделать,— это школа для крестьянских детей: все остальные мои просьбы признаны не подлежащими удовлетворению; придется сознаться, что natura non facit saltum[1]). Александре Семеновне я устроил аквариум, перед которым она проводит целые часы, любуясь каким-нибудь головастиком. Граф к нам давно не ездит; слышно, что он завел борзых и гончих собак. Относительно погореловских его крестьян, к сожалению, известно, что они побираются. К нам он не ездит потому, вероятно, что считает нас людьми «опасными». Да оно лучше! пусть все размещается по удельному своему весу.

Наши говорят, что вы сбили меня с истинного пути. Я им сказал, что Андрей Петрович только ускорил процесс кристаллизации моих убеждений. Тетушке я на опыте показал это (раствор глауберовой соли и готовый кристалл той же соли).

Александра Семеновна присутствовала при некоторых химических опытах. Раз у нас зашла речь с ней, по поводу серной кислоты, о кулачном праве. Я убедил ее, что химия вовсе не учит кулачному праву, и серная кислота, вытесняющая слабейшие кислоты, доказывает лишь то, что в природе надежны одни прочные соединения (гипс).

В настоящее время я приступаю к определению свойств почвы по дикорастущим на ней растениям. Это возможно в таком случае, когда известен состав золы растений, длина и форма их корней. У Либиха определен состав некоторых наших полевых растений, но у него ничего не сказано про нашу кормилицу *лебеду;* поэтому я хочу начать анализы с этого растения.

Перед тем я разлагал почву, находившуюся в банке с давно умершим растением; я открыл, что последнее погибло от недостатка некоторых солей. Уже не в первый раз мне приходит мысль, что растение — то же, что и животное, которому нужна пища, свойственная его организации; между тем люди не знают, сколько борьбы, роковых усилий поддержать свое существование заключалось, например, в этом умершем растении; а какая-нибудь ложка супу, спитой чай могли бы вдохнуть в него жизнь и разукрасить его лепестки... Все это я объяснил сестре. Она спросила меня: «Кто ж эти люди, которые преследуют естествознание?»

---

[1] Природа не делает скачков *(лат.)*.

Сообщу вам кое-что о нашей школе. Она выстроена по моему плану и представляет два здания; в одном детей учат, в другом их кормят (отец отпускает провизию, но не без того, чтобы не сказать всякий раз: ну, уж времена!). Отец Павел, наш священник, также учит детей грамоте. Он составил было программу преподавания такого рода:

В. Кто спасся после потопа?

От. Ной. (Как будто он один.)

В. Сколько было чистых пар животных и сколько нечистых? и т. д.

Новостей у нас никаких. Отец нимало не раскаивается в покупке вашей земли. Он часто бывает в Вязовке и вспоминает, сидя в старом доме, вашего покойного батюшку: «Примерный был хозяин и добрый сосед! а вот что значит детки! постройка вся развалилась, в доме живут одни галки, сам наследник этого имения пропал без вести». Отец хочет в вашем имении устроить отдельную ферму. Вязовские мужики заметно поправляются; они обещались у себя в деревне выстроить школу. Бывший ваш арендатор живет в Сорочьих Гнездах и торгует у графа десятин в пятьсот лес. Наши все вам кланяются и просят, чтобы вы приезжали к нам на святки. К этому особенную просьбу присоединяем сестра и я —

Василий Карпов.

ОТ ТОГО ЖЕ К ТОМУ ЖЕ

Декабрь.

Вот и зима на дворе, любезнейший Андрей Петрович. Как-то вас бог спасает? Признаюсь, я без ужаса не могу подумать о ваших похождениях à la Вамбери[1]. Я начинаю серьезно побаиваться за ваше здоровье: доктор говорил вам правду...

Извещаю вас, что ученье у нас кончилось, ибо до рождества осталась одна неделя. Я никуда не поеду во время праздника, буду ждать вас. У нас в доме настоящая больница. Никто никуда не ездит, все стонут, а иногда ведут разговорную канитель такого рода, что хоть уши зажимай. У нас гостят две барышни-соседки (уже заматорелые), которые исправно играют в свои козыри и даже на гармонике. Мать не выходит из своей комнаты; Александра Семеновна по целым дням сидит наверху и раскла-

[1] В стиле Вамбери *(фр.)*.

дывает гран-пасьянс. К ней часто приходит из города странница — тип, заслуживающий внимания. Когда эта женщина тут, то весь дом, не исключая прислуги, стекается наверх послушать, что будет говорить матушка Апраксия. По-видимому, Апраксия пользовалась когда-то красотой, потому что, несмотря на свои пятьдесят лет, она и теперь поражает своими как огонь сверкающими карими глазами, правильными и тонкими чертами лица. Разглагольствования ее в таком роде:

— Всё мы недовольны! Отчего? оттого, что стали вольны... Баба, змея подколодная, она взяла верх над мужем. Он на работе всю свою силу положил, а она думает только о нарядах. Есть баба благочестивая, баба домовитая и баба — змея; выбирай любую.

— Выбирай любую,— поощряет странницу лакей Иван.— Вы верно говорите.

— Что сказано в писании?— строго оглядывая публику, спрашивает Апраксия.— Сказано: брак есть таинство... разве он теперь таинство? жены все пустились в разврат, надели кринолины, да шляпки, да разные тряпки! Ходят в церковь зачем? друг друга перемывать да осуждать. А что читает дьячок: «Щедр и милостив господь», этого они не слушают. Цветы на лугах давно посохли и пропали. Где они? Они очутились все на платьях да шляпках!.. Все стали умны, да у всех порожни гумны... все учены, да в ступе не толчены... я ведь вот какая!..

— Это проезжай всю Россею,— замечает Иван,— нигде таких умных слов не услышишь...— Горничные вздыхают. Александра Семеновна слушает с глубоким вниманием.

— А вы, толстые купцы, проклятые...— обращается Апраксия к воображаемым купцам,— куда готовите свою душу? в ад ее готовите! Как кошка достает из дупла скворцов, так и вы бедных хватаете, обманываете! Ты хочешь чаю? погоди! я тебе из ада смолы кромешной накачаю! Прежде бесы шлялись где попало... а теперь они сидят в людях... Все забыли храмы божьи; молятся, только бесов утешают... А что дьякон голосом выводит? Никто не слушает; все живут обманом, хитростию... Все бога забыли, все сатану возлюбили... Христа вторично распинают, ко кресту его пригвождают, родителей не почитают... Мне однажды сказал голос: «Иди за мною, Апраксия!» Я и иду, словно парком. Вдруг опять слышу: «Смотри! эти парки — будут жарки!..» Не правду я говорю?— обращается Апраксия к Ивану и продолжает:— Правда светлее

солнца: солнце померкнет, а правда никогда! Все умны! Слава богу, хоть я одна дура (Апраксия крестится). Один про меня сказал: «Она — словно Леонид». Да! нынче всякий Леонид, кто правду говорит.

— А что значит вскую шаташеся?— спрашивает Иван, ухищренный в писании.

— А вот что!— Странница неожиданно напускается на Ивана за его дерзкие слова,— вот ты постов не соблюдаешь, мамон свой набиваешь, бесов утешаешь — вот и шатаешься, да скоро и в ад попадешь... Я вижу,— продолжает странница, обращаясь к смущенному Ивану,— как за спиной твоей сидит бес да на ухо тебе шепчет, вот ты вскую и шатаешься...

— Матушка Апраксия!— говорит Иван,— я спрашиваю насчет жизни: отчего я шатаюсь?

— Ну, а я отчего шатаюсь? Почем я знаю! Вот так-то один говорил мне: ты не за свое дело взялась; апостол сказал: «Женщина да не учит». А разве я учу? Я разговариваю... Хочешь — слушай, хочешь — нет... Я говорю про разврат: нынче парни покупают орехи, а от этого бывают прорехи...

— И все правду говорит,— восклицают слушатели.

Александра Семеновна очень любит странниц; она даже ведет переписку с монахинями. Посылаю вам образчик одной из душеспасительных бесед: «Христос посреде нас, моя безценая подруга и собеседница Александра Семеновна (соблюдена орфография подлинника). Спасайса, моя голубушка, придумываю и вспоминаю, как мы стобою, моя незабвенная, проводили время приятно, часто ты пекласа о своей жизти, я знаю, что не без скорби теперишняя ваша жизть, но что делать, нада всегда вуме держать, что здесь не вечность и здесь покою нечего желать, а ждать и думать о вечном покои кабы нам не лишитца вбудущей жизни; о себе скажу, что телом здорова да духом часто бизпакойна и скорбями висьма давольна но все дыки моя галубушка опишу, как я грешная празник встретила, после утрени во втором часу обедня, пришли отобедни напились чаю збулками и легли спать...»

Теперь опишу я, как мы вообще проводим время. Мать, рассматривая в увеличительное стекло разные картинки, расспрашивает меня, что такое диафрагма, которая будто бы не дает ей покоя (уездный доктор определял ее болезнь); при этом она жалуется на бессонницу. В углу на столе сидит любимица матери — ангорская кошка, словно мертвая: она постоянно спит, опустив голову до

самого стола... Скука страшная. В зале за чаем или обедом идут разговоры такого сорта:

— Смотрите, какой снег идет!— говорят барышни-соседки.

— Да! теперь дорога поисправится,— замечает отец.

Все задумываются, как будто решают вопрос: что, если в самом деле дорога исправится? Куда ехать? ехать-то и некуда. Затем идет речь о том, что в город приехали фокусники,— купчиху Слабоумову схоронили, гувернантка Пряничникова убежала с офицером. Зина Горшкова влюбилась в дьякона. (Отец любит слушать подобные курьезы.)

Иногда приезжает к нам сосед Пылаев и начинает пороть околесную... (Надо заметить, что мужики почему-то стали ему поперек горла.)

— Вы не знаете этого народа!— вопит он, осушая одну рюмку водки за другой.

— Как мне не знать мужиков?— возражает отец.

— Нет, вы не знаете! вы не знаете! Разными послаблениями вы только избалуете мужика! его тогда не допросишься ни на какую работу. Тот только и работник — у кого нет ничего... (каков?) Разве наш мужик думает о завтрашнем дне? у него есть лапти да кусок хлеба, он и лежит на печке. Его, голубчика, тогда только и можно прикрутить, когда ему есть нечего! О! вы не знаете этого народа!

Пылаев напивается у нас всякий раз до помрачения ума, и тогда только и слышишь: «Parole d'honneur[1], последние времена пришли...» Каковы типы, любезнейший Андрей Петрович, окружают меня? Отец Павел также нередко посещает нас; повествует про больных, про повсеместный угар, как одной бабе на толчее руку отшибло и пр.

Я живу во флигеле с старым охотником Поликарпом, который рассказывает мне про жизнь и нравы птиц. Рассказы эти до того хороши, что я записываю их для моих учеников, с которыми после святок намерен проходить естественную историю. На сон грядущий Поликарп рассказывает мне про волков и разбойников (во мне уцелели барские замашки): как, например, в старину шайка удальцов верхом на лошадях, в полночь, останавливалась перед домом дьячка, который со смирением являлся перед гостями и упрашивал их зайти к нему откушать хлеба-

[1] Честное слово *(фр.)*.

соли. Незнакомцы с кистенями и топорами спрашивали у причетника: не видал ли он проехавшей тройки?.. «Людей бедных и смирных,— говорит Поликарп,— разбойники не обижали, а, напротив, даже помогали им; приходского попа сам атаман нередко просил помолиться за него богу и давал на весь причт не менее красненькой».

Во время подобных рассказов иногда с такою силою бушует вьюга на улице, что флигель наш уподобляется морскому судну, носимому волнами. У меня кружится голова, и я слышу явственно скрып мачт, хлестание волн, даже крик народа... Господи, как иногда тяжело!.. невыносимо грустна ты, русская жизнь... Где-то вы теперь? Меня берет досада, что вы не пишете... Живы ли?..

ОТ ТОГО ЖЕ К ТОМУ ЖЕ

Март.

Что же вы не пишете, Андрей Петрович? Где вы? Что поделываете? Беседой с вами я только и отвожу душу... Один в поле не воин, вы это знаете. Если вы не откликнетесь и на это письмо, то я поеду вас отыскивать.

Посмотрите! уже весна начинается... Солнце так ярко светит; с крыш, на которых прыгают воробьи, каплет растаявший снег... Коровы и лошади подставили свои спины под теплые солнечные лучи. «Ну!— думаю я себе,— зиму пережил! теперь не погибну...»

А между тем жалобно раздается благовест церковного колокола, призывающий говельщиков, богомольных старушек к часам. Одетые в полушубки, толстые сермяги и заячьи шубки, богомольцы тянутся по улице, вероятно толкуя о грехах своих или вообще о предметах, в которых наиболее проявляется промысл божий.

Я, конечно, знаю все порядки относительно богослужения и поста. Я знаю, например, что в промежутке между заутреней и часами говельщики собираются в церковную караулку, где под образами сидят духовные, рядом с ними почетные люди: приказчик в калмыцком тулупе или богатый дворник. Они ведут речь о зимней стуже, о четье минее и т. п. Их слушают мужики с отмороженными носами, стоящие близ печи.

О своих занятиях ничего вам не сообщаю, так как не знаю, доходят ли мои письма к вам? В силу этого ограничиваюсь написанным. До тех пор, пока вы не отзоветесь, не стану писать. Отвечайте скорее...

Но ответа не было.

XIII

ВЕСНА

Русский народ говорит, что весна начинается с самых «Спиридоновых поворотов», когда *солнце поворачивает на лето, а зима на мороз*. Таким образом, почти весь великий пост, называемый четыредесятницей, стоят сильные морозы и бушует зимняя вьюга. Но иногда выпадают красные деньки, когда все говорят о весне и когда внутренний голос подсказывает каждому деревенскому жителю, что у бога милости много: он накажет, он и помилует. Едва ли не в каждом доме начинают поговаривать о прилете грачей и жаворонков; вынимаются из сундуков праздничные платья, радужные шали, полинялые мантильи под предлогом, не попортила ли их моль, при этом соображают, что лучше, надеть на благовещение или на светлый день? так что красный денек, выпавший на долю изможденных зимними холодами людей, позволяет им запастись силами для новой борьбы с стихиями, ибо вскоре опять сердито заглядывает зима.

Так начинается русская весна, и народное изречение: солнце поворачивает на лето, а зима на мороз, показывает, что в это время завязывается борьба зимы с весною. Но вот, наконец, и несомненные признаки весны: снег разрыхлел, соломенные и закоптелые крыши домов обнажились. По улице шумят ручьи, на полях показались проталинки, грачи кричат в березнике. В село приходит известие, что через плотину ездить нельзя по причине сильного напора воды, и мельница остановилась; везде, как говорят, все растворилось. Между деревнями и городами прекращается всякое сообщение, время от времени разносятся вести, что половину города М. затопило водой, а городскую мельницу снесло за пятнадцать верст, что в овраге засел какой-то барин в возке.

Мало-помалу полая вода сбывает. Снег лежит только в оврагах и на склонах гор, обращенных к северу. На лугах и выгонах зазеленела трава, которую щиплют овцы. Приближается светлый день.

В селе Кострюлине, в доме доктора Гаврила Иваныча (о котором писал Новоселов), на столе под образами стояло каменное блюдо с водой, назначенной для освящения. Было около четырех часов утра. У икон горели свечи. Тучный хозяин сидел на диване и вслушивался в неясный, но торжественный крик приближавшихся к его

дому «богоносцев», которые пели «Христос воскресе», что свидетельствовало о наступившем светлом дне.

С фонарями и украшенными образами богоносцы вошли в дом Гаврила Иваныча, причем каждый из них повторил: «Христос воскресе». Вслед за богоносцами вошел причт.

После водоосвящения хозяин пригласил священника в другую комнату, к больному. Это был Новоселов.

— Христос воскресе!— возгласил священник, прикладывая к устам больного крест,— Христос и тебя пришел посетить... Неужели в эти радостные дни ты обречен на смерть? Выздоравливай!— Священник положил у подушки больного красное яйцо.

На лицах присутствовавших выразилось участие к больному, который лежал в забытьи...

1870

ЕГОРКА-ПАСТУХ

I

ВСТРЕЧА В ЛЕСУ

Был осенний вечер. Невдалеке от села Лебедкина, на опушке леса, сидел красивый парень, лет двадцати двух, в худом стареньком армяке, в низенькой шляпе, украшенной лентами. Он вил кнут, напевая песню и посматривая на табун барских лошадей, пасшихся в глубине леса; подле него лежал мешочек с хлебом, горсть пеньки с прядями конских волос и новый, недоконченный лапоть.

Солнце уже закатилось. Изредка моросил дождь; на верхушки дерев с резким щебетом взлетали дрозды; на пасеке за оврагом, тянувшимся посреди леса, громко лаяла собака. Парень окончил свою работу, снял кафтан и, положив кнут на плечо, начал обходить табун. Вдруг из-за оврага показалась крестьянская девушка в красном платке, в набойчатом, холстинном сарафане, босиком. Зорко оглянувшись кругом, парень подошел к девушке.

— Ты кого ищешь?— спросил он.

— Я так... за грибами...

— Теперь темно... не найдешь грибов...

— Ну, я так похожу...

— Ты чья? из какого дома?

— Из Губарева... Воробьевская...

— А! это что на молотилке подает,— говорил парень, идя рядом с девушкой,— что ж, он твой отец?

— Отец.

— Я и тебя словно видал... Что ж, вы хлеб-то весь свозили?

— Не знаю... там возят...

— Ты небойсь уморилась, ходивши... пойдем — посидим...

— И-и! что ты!

— Да что ж? Ничего!

— Тебе пора лошадей гнать.

— Ничего! если бы подле села,— там управитель, али сам барин увидал бы; а тут один солдат на пасеке...

Лошади, почуяв время домой, подняли головы и начали ржать. Пастух громко хлопнул кнутом, и табун, фыркая, начал опять щипать траву.

— Садись вот сюда — на кафтан.— Парень и девушка сели.— А я вот тут один стерегу... дали было малого, да он только верхом разъезжает на лошадях, совсем мне не нужен...

— Тебе бы вдвоем веселей: бывает, какая забежит в хлеб, тебе не справиться...

— Экая ты! одному лучше... ты не знаешь... Вот мы с тобой теперь вдвоем... А кабы малый-то был, нам бы не пришлось посидеть...

— Да что ж я сижу-то?— улыбаясь, проговорила девушка,— разве от этого какая...

— Да нет... все-таки... А что б ты ко мне почаще ходила?— вдруг спросил парень.

— Зачем же я буду ходить?

— Да так... может, спознались бы,— а может, я и женился бы на тебе...

— Нет! тебе жениться не придется на мне... я уж пропита!

— Когда пропита? кому пропита?

— Еще прошлый Микитий — Краюхиным...

— Знаю Краюхиных... уж не за Ваньку ли?

— За него...

— Вот оказия-то!..

— Да я бы вовсе не хотела... Знамо дело, все батюшка с матушкой... Они там — приставили свечку к образу, помолились, выпили штоф... а наше дело девичье, вестимо: только смотри на них...

— Ты бы сказала, что не пойду! Ведь жених твоего ногтя не стоит...

— Эхма! Отец с матерью боем убьют! скажут, исхарчились: тоже десятую пили за меня под телегой, на ярмарке. Сват-то скажет, все вывороти... заплати, а нам где ж взять? Мы уж весь двор сожгли... Лебеда была, соломки-то нет, топить нечем... К воротам маленько двор похож на двор, а сзади нет ничего...

— Слышь! тебя как зовут?

— Прасковья. А тебя как?

— Был Егор. Вот что! выходи за меня замуж! Я навек

буду у барина служить. Нам с тобой ни дома не надо, ничего не надо!.. Будем лошадей стеречь... А на жалованье я тебе куплю панёву, и платок, и полушубок... мы зимой будем жить в господской избе... нанимают же кухарку, ты будешь варить щи нам... А летом мы с тобой вот тут... ты будешь невод вязать, а я лапти плесть... Ты знаешь, я сам из бедного дома... ты думаешь, как бы богаты были, разве пошел бы лошадей стеречь?..

— Ведь пропита-то я!.. батюшка с матушкой ну-ко будут бить... они у Краюхиных взяли две четверти ржи... отдать нечем, а как меня отдадут, сват-то, может, простит...

— За рожь я заплачу!— подхватил парень,— я по три цалковых получаю, значит два месяца только послужить... Это ничего!..— Парень помолчал,— ну, что же, будешь отказываться от Краюхиных?..

— С чево ж...— задумчиво произнесла девушка,— у тебя отец с матерью есть?

— Матери нету... один отец... он камни в горе копает... один живет... мазанка у нас небольшая есть... почесть вся завалилась.

— А ну-ко я останусь в девках?

— Экая ты! разве я с тобой смеюсь?.. ты скажи прямо, пойдешь за меня аль нет? люб я тебе аль нет?

— Неужли ж?.. не с Ванькой сменить...

— Тебе за ним пропадать надо!.. где ж тебе сжиться с ним?.. он словно блажной... а ты как маков цвет...

— За него и Ганька не пошла Андрюшина... Еремины тоже отказались... девки ни к себе уперлись...

— Что ж? упрись и ты...

— Беднота-то одолела! Ты не поверишь, мы всю зиму лебеду ели... и той не было: покупали да за заработки брали у барина...— Девушка вздохнула.— Вишь, у тебя дома-то нет... наши не отдадут!.. Чем же ты будешь играть свадьбу-то?.. ведь надо попу три цалковых заплатить... а там вина купить...

— Экая!.. Поп наш добрый!.. вон его две лошади ходят в табуне. Я у него взял полтора цалковых, я ему отдам назад...

— Что ж только-то?

— Да что нам расход? Нам вся сила перевенчаться... а это пить-то... пускай кто хочет, тот и пьет...

В это время лошади захрапели и столпились в кучу: на опушке леса показались два волка. Парень схватил кафтан и направился к табуну.

— Постой, постой!— закричала девушка,— я с тобой...

— Не робей!.. они вон пошли... кабы тут овцы, а с лошадью где же ему справиться? они завсегда в эту пору выходят... мне уже не впервой...

— Ах, грехи тяжкие!— вымолвила девушка.

— Я верхом не сяду... иди подле меня. Я до гумна тебя провожу, а там ты пойдешь себе...

Парень замотал веревку на шею лошади, которая была привязана к дереву, и повел ее в поводу. Табун устремился по направлению к селу через овраг.

— Ну, так слышь,— говорил пастух при прощании,— я ноне же пойду к своему отцу... ты будь на своем слове верна... а уж я свое дело сделаю...

Парень сел на лошадь, гикнул и скрылся за барским гумном.

II

ОТЕЦ И СЫН

Поздно вечером пастух стучался в окно мазанки, стоявшей на краю деревни Чернолесок, которая разделялась от села Лебедкина небольшой речкой. Ночь была светлая; единственное окно мазанки ярко блестело против месяца.

— Отвори, батя!

В избе закряхтел старик.

— Ты что?

— Да так пришел... рубаху сменить.

— Зажечь-то нечего,— отпирая дверь, говорил старик.

— На что? авось месяц...

— Ты поужинал?

— Неужели ж не евши приду... ты сам-то небось дня три не ел...

— И то, парень,— сказал старик, садясь около печки и почесываясь,— намесь целковый-то ты принес, два пуда купил, увсе вышло... Кажись, один живу...

— Один!— подхватил сын, закуривая трубку в переднем углу,— ведь у тебя хлёбова нет, и кашки-то не бывало... ешь один хлеб,— вот оно и скоро выходит...

— И чудно, братец ты мой,— проговорил старик,— как это скоро выходит! Кабы скотина была, живот бы не болел; а то нет ни поросенка, нет ни ягненка...

— Ты что ноне работал?— спросил сын.

— Работа одна: всё камни копаю; ноне чуть глиной

не придавило... Анадысь вот случай-то, я тебе расскажу: пришел я к яме, а в ней сидят два волчонка... хотел я их пыймать, в город отнесть, да подумал: волчица житья не даст... она запах чует... так и не трогал: гидай их голова!.. Вот солюшки нет, горе мне... беда, да и только...

— Тут не про соль дело! я к тебе пришел маленько погутарить...

— Об чем? говори! аль тебе плохо жить?..

— Оно жить-то мне покуля ничего! Да вот ребят-то всё женят... а ты меня не женишь...

— Эх, Егорушка,— воскликнул старик,— кабы ты знал, как моя душенька болит об тебе... ты думаешь, я сам не смекаю... я у горе-то копаю, копаю, а все об тебе думаю... Люди запивают... Вон намесь Терехины усплений пили... а я пошел на ярмарку лычек купить, иду мимо-то — они гуляют... Я и вздумал об тебе... Вот кабы мочь была, я б не хуже людей разгулялся...

— Не тужи, батя... ты смотри.

— Что нам с тобой смотреть? Нам кабы господь послал по смерть хлеб-соль,— и слава богу...

— Эко, батя... хлеб-соль — хлебом-солью, а дело само собою. Вот нас с тобой двое; ты меня не бил никогда, жили мы с тобой ладно... Надо правду сказать: полюбилась мне девка...

— Где же это?

— Воробьевская... знаешь, у Губаревых...

— Как не знать! Эх, братец ты мой: голь на голь — что ж выйдет?

— Оно голь-то голь, батя! а ведь мы с тобой с голоду не помираем... авось господь! И ты живешь, и я живу... Вон ноне всю зиму лебеду ели, а живы остались... Будем оба с женою работать,— наймемся куда... а ты посмотри у работниках: каши невпроворот... еда хорошая... а что ж нам еще надо? Мне девку жалко... Ее пропили, за Ваньку косорылова... а девка-то какая!

— Так-то так, Егорушка, Краюхины люди богатые, а нам-то с чем свадьбу сыграть? ведь у нас куда ни кинь — везде клин, нет ничего!.. вон путо нашел, другой год им подпоясываюсь... а кафтанишко — в добрые люди и показаться нельзя... да уж и стар стал... хорошо, как глиной пришибет? а ну-ко нет?.. я и сяду на твои руки?.. а ты беден, хозяйка еще бедней...

— Эх, батя! дай пожить мне-то! все у нас будет: я буду служить старательно, попрошу управителя, он прибавит жалованья и тебя куда-нибудь возьмет — лес, что

ль, караулить... авось как-нибудь проживем...: жена будет помогать...

— Оно, вестимо, так,— ободрясь, продолжал старик,— что ж? лес караулить — это бы ничто!.. А ведь я ломом-то долблю, долблю — рук не подымешь; придешь домой, ляжешь на печку, поясница так и ломит... Как же это нам быть-то?

— Да ты уж не хлопочи; я оборудую дело... только слухайся меня: ступай ты завтра к Губаревым свататься, наперва приходи ко мне в лес, я ранехочко у приказчика выпрошу пару цалковых... Ты купи вина и ступай, запивай за меня... потому, я тебе сказываю, девке идти не хочется за косорылова... мы с ней устрелись в лесу... она за грибами ходила... Девка, одно слово, смиренная... супротив этой девки весь свет вы́ходи — не найдешь... Что ж я буду так жить? Ты помрешь, кто меня женит? И запить некому будет...

— Оно ничего... Что ж, когда такое дело?.. вот маленько у меня не докопано до сажени... десятский приезжал, кричал, кричал...

— Авось докопаешь! Ступай, да и раз! там уж запой был... отдадут за Ваньку — девка пропала... а она мне говорила, что со всем согласьем... дело насчет, значит, родителев...

— Вот что, малый: куда ж мы ее приведем-то?

— Толкуй там, куда приведем... а у них-то что? одни ворота... двора-то нету... весь сожгли...

— Стало быть, вы промеж себя будете жить?

— А то что же! Я не во двор ее веду, а будем жить по людям, и ладно...

— Это так...— доставая тавлинку, заметил старик,— ну что ж... пожалуй...

— Вот что, батя: однова дыхнуть, жени меня на Параше... дюже будет хорошо!.. Ну, я пойду... завтра поране вставай...

— Эх, Егорушка,— говорил старик, провожая сына,— я б тебя на ком хошь женил, мочи-то не хватает...

III

ПОПЫТКА

Рано утром Ефим, так звали отца пастуха, зашел к сыну в лес, взял деньги и отправился в деревню Воробьевку, до которой считалось от Лебедкина не более двух

верст. На пути в кабаке, стоявшем на большой дороге, он купил водки, белого хлеба и середку ветчины.

Ефим вошел в дом невесты, сложив провизию в сенцах.

— Что, хозяин дома?— спросил он, помолившись образам.

— Тебе что надо?— спросила хозяйка.

— Да я так пришел: мне повидаться надо.

— Тебе насчет чего же надо-то?

— Да так! поговорить насчет одного дела.

— Ты откудова?

— Чернолесский.

Вскоре вошел хозяин.

— Доброго здоровья!— сказал он,— тебе что надо?

— Тут... насчет своего дела...

— Об чем же?

— Да насчет, примеру, девки...

— Какой девки?

— Силич, твоей.

— Моя пропита!

— Мало что есть! вот мы поглядим, как дело пойдет...

Ефим отправился в сени, принес оттуда провизию и, становя ее на стол, проговорил:

— Тут вот что!..

— Да это мы видали виду-то,— возразил хозяин, с пренебрежением глядя на закуску,— у нас не такие бывали: и яблок принесут и арбузов... что твоей душе угодно... Только нам теперь не до этого... я уж готовлюсь к свадьбе: вон и ржицы на солод приготовил; бражку затеваем...

— Эх, брат!— воскликнул Ефим, развязывая провизию,— люб-нелюб — повидался...

— Да что, брат ты мой, повидался... у нас уж два года дружелюбие идё с Краюхиными...

— Опоздал, батюшка, опоздал!— заговорила хозяйка, становя чугун в печку,— мы уж никак больше году с Краюхиными знаемся... и дары уж отдали.

— Мало что отдали!— сказал Ефим,— хлеб-соль во сне хорошо, а наяву еще лучше...

— Ну так что же, брат ты мой?— сказал хозяин, садясь за стол,— в чем же у нас будет дело? ты чей, откулева?

— Да я — чернолесский... Ефим... А у мня малый есть, Егорка, знаешь, в Лебедкине у барина лошадей стережет...

— Знаю, знаю... Так что ж, значит, куда же это вы

мою Параньку хочете взять? ведь я дом-то ваш знаю: мой хорош, а ваш еще ловчей!..

— Э! братец ты мой любезный!— держа в руках штоф, заговорил Ефим,— и через золото слезы льются, я слыхал... Я ведь не в дом беру, а просто за Егорку: человек дорог!.. Парень тебе известный: вокруг вас другой год живет...

— Живет-то живет... ну-ко, садись за стол: там видно будет... что с тобой делать. Подноси... ну, пей сам.

— Дурья голова!— завопила хозяйка на мужа,— что у тебя горло-то как бёрда! что хошь пройдет... И рад, родимец те растяни, что вина принесли... а забыл, что девка давно пропита...

— Э! гость на гость, хозяину радость... во всем воля божия!.. вот Еремины опили, может быть, десятерых... а нам по бедности только другой пришелся...

— Я не к чему что,— держа перед хозяином стакан, говорил Ефим,— не знаю, как имя, отчество...

— Был Кузьма,— сказал хозяин и обратился к жене,— ты бы посмотрела на улице да хлудом дверь-то заперла... неравно сваты придут... Краюхин ноне Параньке говорил... То-то, стало быть, баба дура!

Хозяйка заперла дверь и возвратилась в избу.

— Садись, сват!— продолжал хозяин, обращаясь к Ефиму,— мы попросту... мы народ бедный... Аксинья! порежь ветчинки-то...

— Я сам, малый, бедный, не рассказывать тебе,— объяснил Ефим, присаживаясь на коник,— у вашего же барина камни копаю... Только вот что я тебе скажу... Нет! давай выпьем по другой... Просим покорно!

— Отрежь ребрышко,— сказал хозяин жене.

— Вся для вас!— указывая на ветчину, объявил Ефим,— дело, видишь, какое: лежу я на печке, Егорка приходит мой и пересказал мне, что твоя девка больно полюбилась ему...

В это время вошла Параша с коромыслом, увешанным рубахами.

— Здорово живете!— сказала она гостю, проходя к печке.

— Здравствуй, касатка!— проговорил Ефим, глядя на девушку,— стало быть, твоя дочка?— спросил он хозяина.

— Моя...

— Ну, я и говорю,— продолжал Ефим,— куда ж нам,

говорю?.. не сыграть нам свадьбы... а он вон как: «У меня управляющий нипочем! Взял пару целковых, ступай, говорит, запивай! Вот тебе вино, вот тебе и середка...» Удалой парень зародился...

— Знамо! что говорить?— сказал хозяин,— по душе на что лучше! Только как же, сват? где же мы свадьбу-то играть будем?

— Матушка!— шептала за перегородкой девушка своей матери,— это пастухов отец?

— Он...

— Я видала парня-то... он малый хороший... я за него с радостью пойду!

— Погоди ты, девка, дай послушать, что говорят.

— Да, вишь, он хитрый какой,— продолжал Ефим,— беру, говорит, не в дом, а себе...

— Значит, по людям?— спросил хозяин,— а мы-то где ж при старости будем?

Ефим замялся, взял в руки штоф и проговорил:

— Ведь это и так сказать, это дело его! лишь было б согласие!.. ведь не нам с тобой жить... Ну-ко, сватенек, давай еще по одной...

В это время на улице раздался стук в дверь... «Отпирай, сват!» — кричали несколько голосов...

— Я тебе говорил!— воскликнул хозяин, сердито смотря на жену,— это что? Беги посмотри!

— Ах, провал тебя возьми; они, и то они!— объявила хозяйка, входя из сеней в избу...

— Ну слухай, сват,— сказал хозяин Ефиму,— ты сядь поди к печке... кабысь насчет колес пришел... Аксинья! прибирай! поставь посуду-то на полку... возьми середку... поправь скатерть...

— Это кто же?— боязливо спросил Ефим, отправляясь к печке...

— Экой ты, братец ты мой! Сваты...

— Что ты врешь?

— А ты как думаешь об Параньке? За ней бяда что народу!

— Батюшка!— объявила девушка, подходя к столу,— ты меня лучше не отдавай за Ваньку... вот тебе Христос, не пойду за него! За Егора — пойду!..

— Ну, ну! знать, не учена давно?

— Ты забыла,— подхватила мать,— что у отца с матерью на гумне-то?.. кладушка одна...

Параша ушла за перегородку и села на кровать.

Между тем Ефим, сидя у печки, рассуждал сам с собою:

«Вот оно, значит, молодо-зелено... Послухал Егорку — и наткнулся... Ну, да что ж?.. я ни в чем не повинен... плохого ничего не сделал...»

IV

СВАТЫ

Толпа мужиков и несколько баб, держа в руках жбаны с вином, ковриги хлеба, пироги, завернутую в скатерть баранину, стояли на крыльце. Хозяин без шапки встретил гостей, умильно говоря:

— Добро пожаловать, добро пожаловать...

— Мы маленько припоздали, сват,— заговорил сам Краюхин, одетый в дубленый полушубок,— за вином долго проездили: в город посылали... я хотел тебе удружить.

— Ну, благодарим на этом,— сказал хозяин.

Мужики вошли в избу, помолившись богу, снова поздоровались и начали раскладывать свои припасы на столе.

— Это чей же у вас такой?— спросил Краюхин, кивая на Ефима.

— Да чернолесский... пришел было передки поторговать... Человек тоже бедный...

— Что ж?— заметил Краюхин,— не замай... Ну что ж, сватики,— обратился Краюхин к хозяевам,— стало быть, с богом! пора помолиться в последний раз...

— Что ж?— плаксиво сказал хозяин,— давай бог час! Аксинья! вздуй огоньку, зажги свечку...

— Слава богу!— продолжал Краюхин,— попили винца вдоволь... дело сладили...

Хозяйка приставила к образу свечку, и все начали молиться в землю, приговаривая: «Христос господь, божия матушка!.. Сам Миколай-угодник и все родители...»

— Просим покорно! сват! что ж не садишься? мы пришли тебя угощать... И ты, сватьюшка... двигайся, двигайся дальше...

— Мне было некогда,— проговорила хозяйка,— ну, я сяду поближе: придется подать...

— Чего тут подать? у нас все тут есть. Дядя Евлампий! развязывай! Крой пироги-то...

Краюхин, стоя перед столом, расчистил свои усы, потер пальцами по животу, встряхнул волосами и взял в руки штоф.

— Просим покорно!..

— Пей, сват, сам,— сказал хозяин,— что в руках, то в устах...

— Ну, стало быть, будьте здоровы...

Остаток капель Краюхин брызнул в потолок, постучал опрокинутым стаканом себе по голове и объявил: «Вот так, чтобы наши молодые попрыгивали...»

— Пошли господи!

— Его святая воля!

— Помоги бог, что задумали, загадали...

— Авось невеста идет не куда-нибудь, а в богатый дом...

— Мы ее не обидим!— сказал Краюхин,— у нас и так баб мало... работой неволить не будем... была б только почетница...

— Своим добром хвалиться грех,— заметил хозяин, доставая кусок баранины,— а мы за ней плохого не замечали...

— Даст бог, заживем знатно...

— И жених — малый смирный...

— Я тебе, сват, по истинной правде скажу,— объявил Краюхин,— вот ему восемнадцать лет, и от него вот чего не видал... просто красная девка...

— Маленько лицом не вышел,— заметила хозяйка,— ну да стерпится — слюбится... Народ болтает, что он какой-то блажной...

— Это, я тебе скажу, природа такая!— воскликнула мать жениха,— на ем, должно, была младенческая...

— Да и насчет работы ничего...— подхватил Краюхин,— вот за водой все он ездит... это уж работа за ним... Ну, маленько недосмыслит чего, знамо, парень молодой... мы сами молоды были... Вон нонче умные-то понадели красные рубахи, пояса с махрами, лосные картузы — словно господа. А нашему брату за господами не угоняться...

— Да что говорить!— возразил один старик,— эти умные избаловались на отделку: пустились в воровство да в пьянство... Иной сошник али курицу стащит с перемета — все в кабак... Прежде их секли в конторе, а теперь сечь-то некому... Надысь мне кум Игнат рассказывал: чей-то лебедкинский малый пропил в кабаке кошку — заместо петуха...

— Что ты врешь?— раздались голоса.

— Истинная правда: к примеру, посадил ее в мешок и пустил под печку — к целовальнику. Вот они умные-то!..

— Ах, домовой те расшиби!— удивлялись мужики, покатываясь со смеху...

— Сват! пора по другой!— сказал Краюхин,— видно, не затем принесена, чтобы ей стоять...

— С чего ж? давай...

Между тем хозяйка достала из-за пазухи красный платок и, подавая его Краюхину, сказала: «Вот, сваток, женишку...»

— Благодарим покорно!— сказал Краюхин и спрятал подарок в карман.

— А что, дядя Иван,— беседовали мужики,— извоз маленько посдался...

— Знамо дело, народ теперь отработался, ездока стало много. Я вот другой год смотрю и колес не стал шиновать. У господ земли много, намесь мы вдвоем у енарала цалковых двадцать сгладили у три дни... А то поедешь в извоз, где колесо, где лошадь оставишь, с одним кнутиком и придешь...

— Ноне, что говорить! народ поправится... господь хлебушка зародил...

— Эхма!— сказал хозяин,— у людей вон — скирды, у меня одна кладушка в семь копен... вот и живи целый год... у свата две четверти занял, а чем отдать?

— Слухай, сват!— заговорил Краюхин,— когда такое дело, вот тебе при свидетелях говорю: рожь твоя! я не гонюсь! у нас покелева слава богу! молодка заработает...

— Ну, благодарим...

— Мы друг об друге, а бог обо всех!.. да что ж мы пируем?— воскликнул Краюхин,— а где ж девка-то?

Все примолкли, ожидая появления невесты.

— Ну, что, сват!— проговорил хозяин,— не трогай!.. не ее дело...

Из-за перегородки вышла Параша.

— Как же не мое дело?— заговорила она, став среди избы и сдвинув брови на отца,— с Ванькой-то мне жить,— а не вам... он распустил губы-то, вы, что ль, их будете цаловать?..

— Стой, что ты, что ты!..— вставая из-за стола, заговорила мать.

— Паранька!— закричал отец,— с чего это ты вздумала? в кои века... ах, господи Христос...

— Как вы хотите,— продолжала девушка,— а я не пойду... Хоть опейтесь до смерти! а мне не быть за Ванькой...

— Вот таэ и раз!— возопила хозяйка,— какой же родимец те научил?..

— Супротив родителев итить,— подхватил хозяин,— мы пили, пили... стало быть, года два харчились... а ты все дело хочешь попортить...

— Вы пили, меня не спрашивались!..— решительно сказала девушка,— жить-то мне... Я сказала, за Ваньку не пойду — так не пойду...

— Да что ж это такое?— воскликнула мать,— лихоманка тебя убей...

— Слушай, красавица!— обратился к девушке Краюхин,— теперь, к примеру, это дело мне стоит двадцать пять целковых... да две четверти ржи, ты слышала? это я должен выворотить все! так вот что: у твоего отца всего имения не хватит — и с тобой со всем...

— Мне имения не надо!— объявила Параша,— с голоду не помру!.. Я вам сказываю: не быть этому делу!.. Я готова душеньку отдать за того, кто мне люб-то... пускай я с голоду помру, буду таскаться по чужим углам... а то вы что же делаете? только опиваете? а мне невесть за кого идти...

— Постой! Кого же тебе надо?— спросил отец.

— Вон,— указывая на Ефима, сказала девушка,— запивали за Егора, за него иду!.. а то силком хочут отдать...

— Дура несуразная! там нет ни кола, ни двора, куда ты пойдешь-то?

— Это не ваше дело!

— Как?— воскликнул Краюхин, глядя на хозяина,— ты, сватенек, что же? за другого запивал? Ты что, почтенный,— обратился Краюхин к Ефиму,— с запоем пришел сюда?

— С запоем,— отвечал Ефим,— моих два целковых тут запито...

— Что ты, что ты, милый человек,— сказала Ефиму хозяйка,— у нас больше году длится дело... к чему ж тебе? Грех тебе, право слово...

— Вот тебе два целковых,— доставая деньги, закричал Краюхин,— девка моя!

— Ан не твоя!— перебила Параша.

— Погоди, красавица! у тебя отец, мать есть.

— Отец с матерью в этом деле мне не указ...

— Угодники святые! Что ж это такое делается?

— Оказия, малый!— говорил народ.

— Что ж? наше дело сторона...

— Иди, Паранька! я тебе сказываю, иди!— кричал хозяин.

— Не пойду! что хотите со мной делайте... сказала — не пойду!

— Что ж это, православные, будет?— кричал Краюхин,— будьте свидетели: я завтра в суд...

— За что ж в суд? Сам видишь, мы уговариваем ее...

— Угомонитесь, братцы! мало что девка сказала...

— Завтра же еду в суд! Ноне расчет с вами короток...

— Ну, в суд так в суд! ты проси на девку, а не на меня! Что ты с девкой сотворишь?

— Пойдем, малый, тут, я вижу, дело не приходится...

Вдруг отворилась дверь, и в избу вошел пастух.

— Здравствуйте, добрые люди,— сказал он,— что это у вас такое производится? Батя!— обратился он к отцу,— ты что ж? дело делать, так делал бы... а не делать, так и ходить незачем сюда...

— Ты чей такой — в чужое дело встрявать?— возразил Краюхин.

— Нет, не в чужое!— объявил парень,— а в свое собственное! ты девку-то запил, может, год назад; а мне она раньше твоего запою по сердцу пришла... Стало быть, и оставайся с своим вином... Вот бы ты как действовал!— обратился парень к отцу,— а ты забился в угол...

— Послухай, брат!— сказал Краюхин,— какую ты имеешь праву встрявать? ведь я тебя притяну в суд...

— А ты какую праву имеешь насильно девку брать?

— Послухай, молодец; насчет запою девки в законе писано... испокон веку деды-прадеды наши делали так...

— Вот что, православные!— объявил парень,— шумите, не шумите, весь навек заложусь, а девки не дам! вот она... спросите ее!..

— Я переж тебя говорила им,— утирая слезы, сказала девушка.

— Да что с ним толковать? Гоните его!— крикнул один.

— Слышите, ребята,— сказал парень,— лучше добром сойдемся... А то берегитеся: я не пожалею красного петуха...

— Послухайте, добрые люди, что он говорит... видь это значит разбой!

— А это не разбой,— кричал парень,— девку навек погубить? За кого это вы вздумали ее отдавать, за шалая? Ему не жениться, ему только фуры подмазывать...

— А ты знаешь, за эти слова вашего брата в острог сажают?— объявил Краюхин.

— Сажай! За правду и в острог сяду!

— Вижу, братцы, толку никакого не будет... А надо его вязать!

— Ну-ко, парень, иди подобру-поздорову,— сказал хозяин,— откелева пришел...

— Вяжите его! он не может такие слова говорить...

— Ну-ко попробуй! Эко испугался! Сами собрались хуже разбойников, а меня вязать? Ишь пьяные рожи! Пойдем, батя! ты, я вижу, пить вино только любишь...

— Ребята! надо за старостой сходить!

— Я до царя дойду!— кричал парень,— он, батюшка, всех ослобонил... Это в старину господа девок отдавали за кого хотели...

— Да ты кто такой?— подступая к парню, вопил Краюхин,— один кнут на плече!

— Сказано слово — не уступлю девку! Как вы ни гоните!

Пастух с отцом вышли из избы.

— Что ж ефто такое?— говорили мужики,— авось у нас хрященая вера: когда девка супротив родителев шла?!.

— Это все ты!— кричал хозяин на жену,— это твоя дель... избаловала девку...

— Нет, ты!— подхватила хозяйка,— говорила, погоди пропивать девку; полштоф да калач принесут, а ты и рад.

— Ну, сват, помни!— грозил Краюхин,— срамоту завел, как бы самому не расхлебать... Я те навек в работники запру... православные! будьте свидетели: я сейчас еду в суд... меня же опили, меня же хотят и поджечь...

— Постой, сват! Надо говорить по-божьи: разве я тебя хотел поджечь?

— Вот грехи-то,— говорил народ, выходя из избы.

V

СБОРЫ К МИРОВОМУ

Кирпичная изба Краюхина, покрытая вприческу, стояла среди деревни, дворов через пять от дома невесты: раскрашенные ставни, узорчатое крыльцо с скворечницей, пустые ульи на завалинках, несколько тележных станков — все говорило о зажиточности хозяина. В сенях стояло исполинское корыто для свиней, выдолбленное из столетнего дуба; на стропилах и переметах висели мешки с салом, окорока ветчины, дубленые овчины и пр.

Пришедши в избу с женой, Краюхин бросил шапку на нары и сел подле стола. Жених спал на полатях.

— Нет, я этого дела не оставлю!— говорил хозяин, стуча кулаком по столу,— все имение просужу, а не поддамся... Ноне же поеду к мировому...

— Посудись, попытай,— возражала хозяйка,— благо у тебя скирдов много... Гляди, как бы чего хуже не было... вон пастух-то грозит красного петуха подпустить: ты думаешь, он своей головой подорожит! Беды — горе! У него всего имения — кнут, а у тебя, может, тысячи... Что ему острог? Он просидел свое время, и опять вот он! Ох!— заключила хозяйка, сложив руки на груди,— избави, царица небесная...

— По-твоему, стало быть, все дело бросить?— говорил Краюхин,— целковых на двадцать огрели да срамоты наделали — тебе этого мало?

— Не проводи с этими судами поболе...— отыскивая кудельку, заметила хозяйка,— бывает, истратишься, а по-твоему ничего не сделается... В суд тоже — завяжи в узел, да и ступай туда...

— Стало быть, и Ваньку не надо женить. Кто ж будет работать-то? Баб вовсе нет!..

— Женить-то женить,— отвечала жена,— как бы греха не было: ты вишь, господь свое строит: никак третью невесту запиваем, а все нет толку: малый сам того не стоит, что пропили... Кто пойдет за него? Ты вишь, совсем дурак... какая на него польстится?

В ответ на все это с полатей раздавалось громкое, беззаботное храпенье хозяйского сына.

В задумчивости, побарабанив пальцами по столу, Краюхин подошел к полатям, дернул сына за волосы и сказал:

— Эй! тебе только спать?

— Чаво?— протирая глаза, буркнул парень.

— Слезай оттуда!— крикнул отец,— небойсь лошадям пора давать корму...

Иван с красным длинным лицом, светло-русыми волосами, высунутым языком и белыми едва пробивающимися усами неторопливо подошел к столу; глядя на отца мутными, серыми глазами, он проговорил:

— Я давал...

— На вот платок от невесты,— сказал Краюхин.

— А! малый... Это я у кабаке на шасту видел...— с усмешкой разглядывая платок, сказал Иван. Затем он высморкался и сел на лавку.

— И господь таэ на нас навязал!— проговорила мать, качая головой,— покуля мы с тобой будем маяться?

— Бать! а что ж, колоду-то надо вытащить...— сказал Иван.

— Ах ты, господи!— говорила хозяйка, глядя на сына,— и родимец его расшиби — еще спит!.. кабыдто не до него дело...

— Будет тебе ругаться-то,— возразил Краюхин жене,— сама небойсь родила его... Что ты чешешься, дурила!— обратился он к сыну,— утри слюни-то... На вас на обоих-то дрова возить. Слышь, Ванька! Ступай запрягай бурого... Тут сколько ни сиди, ничего не будет...

— Куда это ты?— спросила хозяйка.

— Знамо куда! к мировому!— поднимаясь и отыскивая шапку, сказал Краюхин,— сбирайся скорей! Навялился малый... одних колес что истреплешь...

Между тем на крыльце у Краюхина собралась толпа мужиков, бывших на запое. Тут был и невестин отец, которого сваты уговаривали помириться с Краюхиным и *«не заводить лишнего»*.

— Петруха! ты куда ж?— толковали мужики...

— Что, малый! хочу домой пойти... Ты вишь, дела-то! весь хмель вышибя вон!..

— Экой ты чудной! пойдем! Что ж, пили, пили, так и бросить?

— Да что? У него небойсь вино-то из глаз льется? Шутка ли дело, колько исхарчил... Ну, кабы не Егорка, дело пошло бы как следует...

— А ты слухай, Кузьма!— обратился один к отцу невесты,— мы твоей хлебом-солью довольны... только это дело, я тебе сказываю, не приходится: девке волю давать нельзя!.. тогда и на свете не жить...

— Я уж ее оттаскал на задворке!— объявил невестин отец,— уж и каляная, пропади она! Кричит: руки наложу!

— Слухай-ко,— это дело ничего... А вот Краюхин как бы не поехал к мировому! приедет становой... туды сюды... замотают на отделку!.. Пойдем,— авось поуладим... Что ж хорошего? Сам знаешь! ведь Егорка пастух-бездомовник, а тут чего изволишь... всего слава богу! может, птичьего молока нет...

Невестин отец бросил шапку оземь и объявил:

— Эх, братцы! и не знаю, куда прикинуться! сокрушила меня эта девка!

Мужики, пораженные родительским отчаянием, заговорили:

— Вот она что значит, дитё-то!

— Эко, братец! ведь одна утроба-то!

— Что говорить! вспоил, вскормил; а она вон что!..

— Ну, ребята, пойдем! Евлан, иди!..

Мужики вошли в избу.

— Еще здравствуйте...

— Здравствуйте...

— Слухай, Петрей!— обратился к Краюхину один из сватов,— что ж это будя? пили, стало быть, пили, а толку все нет? Мы погуторить к тебе пришли... Захватили с собой свата Кузьму! Надо чем-нибудь порешить... а то ведь уся деревня сбежалась на срамоту...

— Я сказал слово!— объявил Краюхин, севши опять за стол,— мое слово верное! мы ему покажем петуха!..

— Ну, вот что: поедешь ты в суд... протори да убытки... и больше того пройдет! а лучше как-нибудь промеж себя поладим, мало что говорится... на брань слово не купится...

— Нет, я докажу!— воскликнул Краюхин,— хаить малого?.. Ваньку?.. да он мало того... он всему миру известен!.. Кто кося? кто паша? кто навоз возя? Ведь он вот — он! И, стало быть, девка не стоит? Ишь какая хрелина!.. право!..

— Сват!— сказал отец невесты умоляющим голосом,— ведь это дело девичье... как ты рассуждаешь! Знамо дело, народ молодой, неуч! Я вот сейчас лудил ее на задворке... ты ушел, небойсь ничего не знаешь... Стало быть, ты не судись, хоша она тебе нагрубила сколько-нибудь, уж это дело я покрою... А то нам обоим будет нехорошо!.. Когда я согласился с тобой, дал правую руку, я своему слову не изменю!

— Когда ты дал слово,— подхватил Краюхин,— я всю свою родню созвал к законному делу... честь честью... и никого я не огорчил!.. А наконец, главное дело, невеста выходит и говорит, что то, что не хочу идти!.. и я тепереча остаюсь ни при чем!.. где ж ты был прежде?..

— Экой ты! я со всем усердием отдаваю тебе,— сказал Кузьма,— а ведь это она своей головой выдумала,— что не отец во власти, а дочь во власти стала... По-моему, отец с матерью чем благословит, нужно жить! И господь так велит... а ежели она нашла себе особенного, так я не знал об этой части...

— Слухайте, ребята,— возразил высокого роста му-

жик с седой бородой,— одно слово, вышла у всех горячка — к примеру, чего спокон веку не бывало... Ты, Петрей, охлынь!.. а ты, Кузьма, не дюже думай об своей девке... вот какая вещия — обойдется!.. Я десятую на варке купил кобылу, помнишь?.. Насилу поймали. Заарканили, я тебе скажу,— того и гляди душенька вон из ней!.. А деньги все отдал! Вот таэ перед богом! (Мужик перекрестился.) Что ж ты думаешь? Кобыла-то какая вышла!.. Сам знаешь, что ж тебе толковать? Колько разов в Москву ездила... А ты об девке толкуешь!.. смотри — обомнется,— какая баба-то будет!..

— Это что говорить!— подхватил один из родственников Краюхина,— ты знай завсягды: коли девка супротивная — значит, будет добро!.. А то что ступу-то возьмешь? Она ни в куль ни в воду!.. у ней ступень по рублю...

— Это уж так!— заметил отец невесты,— насчет девки не сумлявайся! Ухожу!.. А уж насчет пастуха — дело не мое! Я его и знать не знаю...

— Ведь вот ты какой алырник,— сказал Краюхин,— теперь пьешь, стало быть, и с меня и с пастухова отца...

— Послухай, Петрей Анисимыч; мы с тобой спознались еще с энтой десятой, ужли ж я тебя променяю на какого-нибудь межедворника? ты сам знаешь, ведь я его не звал к сабе в дом... Неужели ж я какой? Был я на задворке да потом в избу, гляжу, он тут и есть с кошелкой... со всеми припасами... Ну, знамо дело, от двора отгонять не приходится... Завели мы с ним балы... а тут и вы пришли.

Хозяйка подошла к мужу:

— Петрей!— начала она,— будет тебе каляниться! вишь, сваты пришли... подобру-поздорову... к какому-то там мировому! Ведь все тут в собрании: пореши дело, и с богом! как с сватом вы перва запили, так и нужно сходиться... Ты знаешь пословицу: кто первый брак разлучает, тот царствия небесного не получает!..

— Вот что дело, так дело!— заговорили мужики,— а то ноне тоже и в суде за рубль отдашь пять... Да небойсь не прикажут девку срамить сколько-нибудь... А вот что: ты, Кузьма, ступай зови свою хозяйку и девку захвати, да тут сообча при всем честном народе и порешим дело...

— Ты ее постегал, она небось опамятовалась... поумнела... Говорит пословица: не бить, добра не видать!..

— Что вы!— закричала хозяйка,— разве девку к жениху в дом водят?.. это отродясь не бывало...

— Ничего, Сергевна! толковать еще! Уж коли на срамоту пошли — так и быть!

— Я ее сюда не поведу,— сказал Кузьма,— а отпытаю от ней речи... что она скажет?..

Кузьма вышел.

— Ничего! обойдется,— успокаивали мужики Краюхина,— следовательно, чем она гребует? идет в богатый дом!.. об чем ей горевать? А ты, сватенек, покель станови на стол штох! мы засядем... погуторим...

— Погуторим-то погуторим,— в раздумье проговорил Краюхин,— оно, к примеру, хоть и повенчаешь... дальше-то что будет? как бы опосля чего не было?..

— Да что ж опосля? жить будет у твоем доме, работать будет... Неужли ж ты пастуха к себе на двор пустишь! А коли такое дело: взял да в суд его!.. волков бояться, в лес не ходить! что такое пастух? что такая за птица? что он, на колесницах, что ль, ездит? Важное дело! Разве он смеет такие слова говорить? ведь это уголовщина?.. всем нам будет беда, не одному тебе, как он подпустит кочета-то!..

Вошел отец невесты и объявил:

— Что, братцы, дело плохо!

— Как так?

— Запировала, бяда! говорит: хоть осел цепляйте на шею, не пойду!..

— Ты бы ее съукротил...

— Куда тебе! Завертелась в поле, из виду вон!

— Куда ж это она?

— Вихор ее знает! ребята сказывали, побежала по гуменникам прямо к лесу...

— Мотри, малый, это она к Егорке...

— Знамо дело... к кому ж больше?

— Нет, уж их, видно, братец ты мой, не развядешь!

Краюхин выпрямился во весь рост и закричал:

— Это что ж такое будет? что я вам, на посмеховство, что ль, достался? Ванька! Запрягай лошадь! кажись, мой дом не из последних в деревне!

— Слухай, сват... чаго там?.. авось не важная штука...

— Нет! я вижу, вам только горло заливать? А вы готовьтесь-ка в суд... Ванька! подмазывай телегу..

Мужики стали выходить из избы. Краюхин кричал им вслед:

— Я докажу! у меня вся деревня узнает, что значит

Краюхин... живой в руки не дамся!.. Я пять мировых куплю!..

Вышедши на улицу, мужики толковали:

— Ну, малый! пойдет теперь судьбище! и нас всех потянут... Пропали мы с этой девкой...

— Что ж? мы так и покажем! пришли, попили... а насчет девки дело не наше... Кто их знает, как они там сходились?..

Краюхин надел армяк, велел жене поймать курицу — «подарить писаря мирового», и отправился с сыном на задворок. Приготовив пехтерь с сеном и подмазав телегу, он велел сыну искать вожжи, а сам начал заводить в оглобли лошадь. В это время мимо задворка проехал верхом лебедкинский староста в дубленом полушубке. Увидав Краюхина, он повернул назад и остановился напротив ворот.

— Далеко, Петр Анисимыч, отправляешься?— спросил староста, сняв шапку.

— Да хотел было к мировому...

— Какая тебе неволя пришла?..

— Да тут занялся я с человеком!.. сосватал невесту!.. Я так полагал, дескать человек бедный, я ему могу пособить во всяком деле, а он наделал кляузы... Давай, говорят, вожжи-то!— обратился Краюхин к сыну. Иван вместо вожжей вынес тяжи. Краюхин сурово посмотрел на сына и проговорил: «Ах, дурак те скудахтал...»

— Какие ж кляузы?— спросил староста.

— Да вот какие кляузы: прежде говорил, что девку отдаю, что оченно любопытно, а после того девка запировала,— да откуда ни возьмись наскочил пастух... На запое такие грозы наделал!.. как есть всех повязал!.. Кричит, всех сожгу... Он ваш, лебедкинский...

— Что ты врешь? это Егорка, должно быть?

— Он самый!.. кабы я знал-ведал — блаже бы я не связывался с таким человеком...

— Погоди ж,— сказал староста,— я управителю скажу. Экой! ты плох!

— Как плох? Я тут же заявил миру...

— Ты должон старшину просить...

— Нет, я хочу прямо к мировому! Что старшина? такой же плут... он судить не судит, а рюмки собирает... Там просудишь жеребца, а делов никаких не будет...

— Что ж на ночь глядя едете?

— Придется, в дороге ночуем... это такое дело, что

делать с разбойником...— Краюхин сел в телегу, перекрестился и сказал:— Ну, прощай!

— Счастливо! дай бог тебе...

VI

У МИРОВОГО

На другой день утром Краюхин сидел в передней мирового судьи, где было человек до десяти просителей. В ожидании разбирательства вполголоса шел разговор.

— Ты насчет чего?— спрашивал один кучер другого.

— Да оно дело-то пустяковое, а все в нонешнее время не приходится... Ехали мы с управителем из города, поздно вечером; подъезжаем к имению-то, а тут пни... Вихор ее знает, пристяжная начала беситься... Не успел я образумиться, вся тройка понесла... Мы и пошли прыгать по пням-то... А управитель у нас балухманный: давай меня оплеухами кормить... А ноне за оплеуху-то двадцать пять целковых!

— Стало быть, тебе придется денег вволю...

— А вот увидим...

— А со мной какая оказия,— говорил мещанин огороднику,— заехал я к одной барыне, старинного завета, насчет птицы. А у барыни есть дочка. Я спрашиваю барыню: отчего вы в доме не заведете мужчину?.. дочка ваша, например, на возрасте, следовательно сейчас и надоть их пристроить за человека хозяйственного, благочестивого,— а не токмо что за вертопраха... Дворяне ноне не женятся, потому жалуются на недостатки... Так вам на что лучше в соблюдении расчета пристроить дочку за человека из нашего брата, примерно хоть по куриной части... А за дочкой-то десятин полтораста приданого. Приехал я домой, думаю, дай письмо напишу этой самой барыне, и, нимало не медля, что в положении долженствовать нужно, пишу, стало быть: «Милостивая государыня! Найпаче обаполо благородства обращаюсь к вам на слабоде касательно своей участи... и таперь, стало быть, в расчете на вас курятник... какова ни мера прикажите заехать сделать предложение,— и мы заедем к вам будто бы насчет птицы...» Она возьми это письмо да к мировому!.. Я ей по душе говорил... потому дом у ней почесть развалился, прислуга вся сбежала, я рассчитываю себе: тогды можно все перестроить...

— Я отродясь, милый человек, не бывал у мировых,—

обратился Краюхин к одному кучеру,— как это тут делается?

— А вот выйдет мировой, увидишь...

— Так-то так, да с чего начать-то?

— Известно, подай жалобу. Ее запишут в книгу и будут разбирать...

— У меня дело насчет свадьбы... тут это вышла у нас дрязга с сватами...

— А у меня вот жена забаловала,— говорил один лакей управляющему,— женился я недавно... девчонка попала смазливая... барин, значит, и облюбовал ее... Думаю себе, уйтить?.. жалованье хорошее, а местов мало... Взялся ее бить!.. Она кричит — повешусь!.. хочу просить развода...

— Мы, кажется, с вами по одному делу?— беседуют управляющие,— насчет работников...

— И не говорите: как пашня, как рабочая пора — либо прикинется болен, велит приехать за собой из дому, и глядишь — там работает, либо просто уйдет и был таков.

— Да-с! вот извольте тут вести хозяйство... И заметьте, кто нанимается в работники!.. их у меня до тридцати человек — все бездомовники! Разумеется, пойдет ли хороший в работники?..

— Послушай!— спрашивает проходящего лакея один проситель,— скоро выйдет мировой?

— Не знаю! в кабинете занимаются... Не шли бы судиться! мирились бы дома...

Наконец, распахнулись двери и явился мировой судья с цепью на груди, за ним письмоводитель.

— Вам что угодно?— спросил судья управляющего.

— Я вам заявил, в ночь под восьмое октября крестьянин деревни Бондуровки, Епифан Игнатов, воровски забрался в господский лес графа Чеботаева и спилил корень четырех с половиною четвертей. Корень этот мною найден совокупно с сельским старостой и при посторонних понятых людях.

— Знаю! преступник здесь?

— Точно так-с...

— А сельский староста?

— Все здесь, кого изволили требовать...

Судья обратился к старосте и понятым:

— Признаете ли вы действительность факта преступления?

— Точно так, ваше высокоблагородие: мужичонка он бедный, на ось понадобилась дубинка!..

— А вы, Епифан Игнатов, сознаетесь в преступлении?

— Виноват, ваше благородие...

— И у вас своего лесу нету?

— Ни одной хворостинки.

— Значит, вы целой деревней можете воровать подобные оси?..

— Помилуй бог, ваше благородие...

— Мое внутреннее убеждение говорит, что вы поголовно со двора на двор можете повторять подобные преступления; а потому, в видах пресечения зла, возлагаю штраф на означенную деревню по три рубля с души, а на преступника десять рублей...

— Ваше благородие! чем же мы виноваты?— возразил староста,— мы в лес не ездили!

— Вы не ездили, но можете ездить... Я вас очень хорошо знаю, любезные...

— Коли попадемся, тогда штрахуй! за что ж невинно-напрасно подати платить?

— Это не подати, а единовременный штраф... Так как у вас во всем круговая порука, то вы должны отвечать за каждого негодяя в своей деревне!.. Я знаю, как в настоящее время помещику трудно охранять свою собственность... Можете идти... Вам что угодно?— обратился судья к лакею.

— Я вам докладывал, недавно я женился... и супругу мою нашел в незаконном виде... Вы нам приказали явиться...

— А жена ваша здесь?

— Здесь! вот она!

— Вы почему не хотите жить с мужем?

— Помилуйте, ваше высокоблагородие... что ни ночь — бьет меня чем ни попадя! Я уж сплю с сенными девушками...

— Правда это?— спросил судья лакея.

— Точно так-с! Невозможно, господин мировой судья... Иной раз такие оказии делает... уму непостижимо!

— Словом, вы друг друга ненавидите?

— Точно так-с...

— И желали бы жить врозь?

— Эвдакого азиата на белом свету нету,— сказала горничная,— сохрани господи, с ним вместе жить...

— Так вы можете разойтись...

— Ваше благородие! а как же мое приданое-то,— спросила горничная...

— Приданое вы можете взять назад... Вы, конечно, отдадите?— обратился судья к мужу.

— Черт с ней-с! ни покуда маяться!

— Так вот слушайте решение: с завтрашнего дня вы расходитесь врозь... Довольны вы решением?

— Покорно вас благодарим...

— Ваше благородие!— объявил Краюхин,— я это запил девку... Пили... пили!..

— Ты кто такой?

— Пили мы десятую... пили два Микития...

— Я спрашиваю, ты чей, откуда?

В это время у подъезда загремела карета и в камеру вошла небольшого роста, худощавая барыня с черным вуалем, в бархатном бурнусе. Не поднимая вуаля, она обратилась к судье:

— Я к вам, Федор Иваныч, насчет оскорбления моей Мими...

— Позвольте узнать, кто это Мими?

— Моя собака...

— Извините, сударыня, закон обязывает меня объяснить вам, что в нашем судебном уставе не упоминается об оскорблении животных... Я думал, что Мими ваша служанка. Впрочем, не угодно ли вам рассказать, как было дело?

— Вообразите: я Дуняшке приказала для Мими готовить бульон, а она с лакеем Алешкой изволит кушать его... Я замечаю день, другой: Мими худеет!.. Вы не можете представить, что стало с несчастной собакой... Смотрю однажды в окно: Мими выскочила к воротам, а там сидели лакей с горничной. Они схватили собаку и начали ее бить по щекам... да приговаривают: «Из-за тебя нам от барыни достается!..» Это я слышала собственными моими ушами...

— За последнее время жалобы на прислугу до того увеличились,— сказал судья,— что я не предвижу, чем все это кончится... Мне сдается, что ваша прислуга имеет настойчивое стремление оскорблять именно вас... Позвольте узнать, когда вы свободны?

— Я постоянно свободна...

— Не угодно ли вам пожаловать в понедельник... тринадцатого числа... Как звать вашу прислугу?— спросил судья.

— Дуняшка и Алешка.

— Я их вызову...

Барыня раскланялась и уехала. Краюхин снова начал:

— Я, ваше благородие, из Воробьевки... насчет запою...

— Ты кого запил?

— Девку!..

— Какую девку?

— У соседа дворов через пять...

— Тоже у крестьянина?

— У крестьянина.

— Дела между крестьянами разбираются волостным сходом...

— Ведь я, ваше благородие, насчет пастуха... он не нашей барщины...

— Это все равно... пастух — крестьянин...

— Вестимо, крестьянин... Хорошо! только эта мы гуляли... больше году!.. девка со всем согласьем...

— Я тебе сказал, обратись в волостное правление...

— Откуда ни навернись пастух... говорит, ежели на что пойдет, я не пожалею красного петуха...

— Павел! выведи вон...

Лакей взял Краюхина за пельки.

— Вот оказия-то!— рассуждал Краюхин, выведенный на улицу.— Какой это мировой? слова не даст сказать... Куда ж теперь? Неужели в волость?..

Подошедши к телеге, в которой спал Иван, Краюхин почесал затылок, растолкал сына и крикнул:

— Ты что ж сена-то не дал лошади? для тебя, что ль, под голову взяли, хрептуг!

В это время Краюхин увидал на дороге проезжавшего мужика.

— Эй, брат!— закричал Краюхин,— погоди-ко...

— Что ты там?

— Да погоди... Где бы мне тут разыскать мирового?

— Да ты от его хором идешь... вот он!

— Это не наш, должно... Господь его знает!

— Уж не знаю, как те сказать... у нас есть... да тоже, пожалуй, не ваш...

— Где ж к нему проехать?

— Вот ты под взволок съедешь, придет перехресток, ты так-то не езди, а заверни направо прямо по овражку, вдоль овражка-то и ступай... приедешь к реке, через мост прямо в нее!..

— Куда ж в нее-то?
— В мировиху!..
— Я насчет мирового тебя спрашиваю...
— Экой! в энтой деревне, Антоновкой называется, у меня кум живет. Он с ей почесть зады с задами...
— Кто ж такая мировиха?..
— Да нашего мирового жена... дело как правя ловко! Знамо, можа, чего и недосмысля, ну там писарь на то есть... живой рукой разбяре!..
— А мировой-то где ж?
— Да он, вестимо дело, барин богатый: где ему заниматься? со всякой безделицей лезут... а он, значит, не привычен к эвтому... и жил-то все в чужих землях...
— Ну насчет свадьбы она может разобрать?
— Я тебе говорю, баба — насчет всех делов! Мы обиды от ней не видали...
— Ну спасибо...
— Как рассказывал, все поезжай...

VII

МИРОВИХА

Краюхин приехал в деревню Антоновку. Крытый железом барский дом, с ярко раскрашенным балясником и двумя каменными воротами, стоял на крутой горе. В стороне тянулся длинный ряд амбаров с жирными соломенными навесами, на которых висели чугунные доски. За барским домом виднелся сад. Въехав в деревню, Краюхин постучался в окно мужицкой избы и сказал:
— Хозяин! Что, тут живет мировиха?
— Какая мировиха?— спросил мужик, выходя из избы.
— Стало быть, мне так сказали...
— Да! Силич Пятровна?— почесываясь, сказал мужик,— это коли самого барина нет... и то не одна, с писарем...
— Мне было к ней нужно... Можно тут лошадь отпречь? Не украдут?
— Отпрягай! у нас смирно...
— Ты уж, братенек, проведи меня... а то собаки на отделку съедя...
— Что ж, пожалуй... У ней псы здоровые... Они нас-то признали... Глядеть-то они дюже страшны, а то ведь ничего!.. иную пору хоть на язык наступи... Ты отпрягай, а я зипун надену...

— Ах ты, господи!— говорит Краюхин, отпрягая лошадь,— кабы сын-то у меня был как следует, разве быть бы мне тут? Куда заехал! где сроду не бывал... Ну, пойдем, милый человек,— увидав вышедшего мужика, сказал Краюхин.

— Ты откулева? Насчет чего засудился?

— Я воробьевский... А дело-то у меня насчет свадьбенки.

— Что ж это, знача, родня, что ли, али насчет годов?.. Мы тоже сами вокруг вешней Миколы до алхирея доходили... тоже, стало быть, мому куму приходилась Аксиньина дочь,— с Петрухой-то они родные были... Агафья крестила Петруху-то...

— У нас родни николи не было... Я насчет запою...

— Знамо дело... усякие дела бывают... Ну вот теперь иди... прямо, как взойдешь на двор, налево заверни... Ишь холопьев-то нет ни одного... Ступай! дай бог час!..

Краюхин вошел в переднюю и положил рукавицы с шапкой у дверей, на полу.

— Надежда Павловна! крестьянин пришел!— доложил лакей пожилой худощавой барыне.

— А где ж Скворцов?

— Они на охоту ушли...

— Пошли за ним...

Накинув большой барсовый платок на плечи, барыня вышла в зал, где стоял письменный стол с кипами бумаг и два кресла с высокими спинками.

Краюхин вошел в зал, помолился на образ и сказал:

— Здорово живете, сударыня.

— Здравствуй! Ты что?

— К вашей милости. Дело у нас завязалось насчет свадьбенки; я у Кузьмы запил девку за своего малого... дело тянулось долго...

— Петр! притвори двери...— сказала барыня,— да принеси мне папирос... Так в чем твое дело?

— Это значит, сударыня моя, запили мы с Кузьмой... расход был мой...

— То есть ты запил невесту.

— Так точно.

— Понимаю.

— Только пришло дело к концу, навернись ни оттуда ни отсюда Егорка... он и навостри своего отца запивать,— а девка ему полюбилась... Вот мы приходим с хлебом с солью, а Егоркин отец там... Мы сели за стол, как следует по положению... выпили маненько... только вдруг

приходит Егорка — и ну, пировать! А девка выскочила на кон, себе взбесилась... пошел крик да бушеванье... Егорка говорит: я вам, такие-сякие, красного петуха подпущу...

— Послушай, мой друг, я тебя не понимаю... Ты хочешь сказать, что тебя оскорбили?

— Оскорбление ништо!.. а тут осталось недели две до свадьбы, а дела расстроились, а все вина вот Егорка!

— Да чем же он виноват?

— Знамо дело, съякшался с Параниькой; а мой-то парень недосмыслит... девка-то и заартачилась.

— Ты засватал невесту за своего сына, а Егор перебивает, так ли?

— Точная правда, сударыня: да еще кочета хочет подпустить... А я истратился — боже мой! цалковых с двадцать с прибавком... и даров немало было!..

— Так ты хочешь вознаграждения?

— Кое награждение! мне девку надо!.. Я ему еще две четверти ржи дал... Не будет ли ваша милость — приказать ему, и расписочку мне пожалуйте, чтобы он не смел перебивать... а чтобы наша свадьба у законе была...

— Видишь, друг мой: все-таки без разбирательства нельзя положить решения... форму исполнить надобно... Мы твою жалобу запишем, разошлем повестки кому следует, назначим день и тогда разберем и решим.

— Матушка сударыня!— воскликнул Краюхин, кланяясь барыне в ноги,— будь милосердна! Заставь вечно бога молить... ведь всего две недели осталось до свадьбы... У нас, значит, праздник престольный: харчи заодно! дело осеннее... убоина есть... а там коли ее играть?

— Нельзя же, мой друг... я бы рада, но ведь закон...— Барыня показала Краюхину книгу.

— Ваше благородие! книжка в ваших руках... что ж? разя она поперечна у чем?

— Я тебе говорю... мы все под законом...

Барыня встала и начала ходить по комнате, по-видимому придумывая, нельзя ли как помочь мужику... Краюхин снова упал в ноги и взмолился:

— Сударыня барыня! не взыщи на нас, на дураках...

— Встань, что можно, я и так сделаю...

— Коли такое дело, нельзя ли разобраться хоть завтра... мы бы и управились...

— Нет, завтра нельзя,— сказала барыня, глядя в окно.

В это время лакей, держа руки за спиной, подошел

к барыне и тихо произнес:— Вы о чем изволите беспокоиться?.. ведь у письмоводителя есть подписные листы... бариновой подписи целый стол...

— Знаю!— сказала барыня и обратилась к мужику:— Так ты приезжай завтра часов в десять... только ты можешь ли вызвать всех, кого нужно...

— Они все в одной деревне...

— Ах, вот и Скворцов пришел,— проговорила барыня, увидав входившего письмоводителя.— Так, значит,— снова обратилась она к Краюхину,— ты получишь эти бумаги, они будут написаны на волостное правление, а для скорости отдай сам этим лицам...

— Ты какой волости?— спросил Краюхина письмоводитель.

— Брендеевской.

— Позвольте! в нашем участке Брендеевской волости нету,— возразил письмоводитель.— Вот я каталог посмотрю: Березовская... Буславская, нет, нету! Это четвертого участка... ты ступай к мировому Вилюхину...

— Э! Братец ты мой,— взмахнув руками, воскликнул Краюхин.— А ведь я велел дома борова зарезать!..

— Какого борова?— спросил письмоводитель...

— Тут у них свадьба затевается,— объяснила барыня...

— Как же теперь быть?— говорил Краюхин...— Кое доедешь, кое что... я и то уж у одного мирового был... в Петровке...

— У Окулова?— спросила барыня.— Это опять третий участок... а наш пятый...

— Тебе что ж сказал Окулов?— спросил письмоводитель.

— Там сказали, в волостную надо... а я, знамо дело, поопасался: в волостной-то жмут нашего брата... а мировой лучше разбярет...

— Ты с кем судишься?— спросил письмоводитель.

— Вестимо, берем у своего брата...

Письмоводитель подошел к барыне и шепотом сказал:

— Ведь мы не имеем права судить...

— Почему же?

— Он приносит жалобу на крестьянина, а крестьяне с крестьянами разбираются волостным судом.

— Так вот видишь, друг мой,— сказала барыня Краюхину,— тебе ни к какому мировому не надо! ты прямо отнесись в волостное правление...

— А может, петух-то мировому подлежит,— сказал Краюхин...

Эти слова озадачили барыню, и она обратилась к письмоводителю:

— Справьтесь в уставе насчет поджогов.

Письмоводитель начал листать устав, бормоча: «Штрафы, взыскания, дела по имуществу, сроки арестов...»

— Нет-с... Нечего и искать... там прямо сказано: если крестьянин приносит жалобу на крестьянина...

— Ну, значит, ступай!— сказала барыня Краюхину,— очень жаль, мой друг...

— Что ты будешь делать!— повертываясь к дверям, проговорил мужик.

— Ну, что, брат? как решили?— спрашивал мужик Краюхина, когда он пришел к телеге.

— Что, милый! толков никаких нет! Я думал, барыня-то ловчей разбяре... она, видно, одна статья!

— Бать!— крикнул Иван, сидя в телеге,— я не ел!..

— Эко пасть-то разинул!— сказал отец,— я и сам из тебя не жравши другой день...

— Так что ж теперь? Как твои дела?— спрашивал мужик.

— Что дела! нет ли у тебя хлябнуть чего! а то, брат ты мой, у брюхе щелкая!.. Нам хоть штей влей...

— С чаго ж?.. Я скажу бабам... ноне капустки бог зародил...

— Пожалуйста... Я тебе заплачу.

— Идите в избу...

— Ванюха! подымайся! пойдем хлябнем...

— Бабы!— кричал в сенях хозяин,— где их вихор взял? Эко окаянные!

С надворья показалась баба с пенькой в руках.

— Где вас разнесло?— кричал мужик.

— Аль не знаешь? пеньки мяли,— сказала баба.

— Улей проезжим штец...

— А хлеб-то у них свой?

— Какой свой? Разве тут большая дорога!.. Сходи в чулан...

Отец с сыном сели за стол и принялись за щи. Хозяин сидел сбоку на конике и говорил:

— Так тебя, братец ты мой, наша барыня не разобрала? Ведь она усех разбирая! Барин-то забубенный...

а она, сердечная, все дела правит за него... Николи не слыхать, чтобы она обиждала... Знамо, писарь подсобляя... где ж бабье дело одной? Оно что ж, и барин до нас ничего... да там у них промеж себя вышло... кто их разбяре! дело не наше...

— Она ничего,— сказал Краюхин,— такая умильная... да закону, значит, нет... Кабы я засудился с приказчиком али что... она разобрала бы... А наше хрестьянское дело в волостную...

— Так!— сказал мужик,— оно, малый, в волостной ноне тоже не доберешься толку.

— Отчего ж я езжу по мировым-то? А что я хочу спросить: тут, поблизости, обаполо нет мировых? Уж за одной заездкой попытал бы, чтоб в другой раз не собираться... А к ночи домой...

— Что ж?— сказал мужик зевая,— поезжай! вот прямо на бугор... как выедешь, управе будет видна деревня... на нее и держи... потом придут две лозинки... там успросишь...

Краюхин вылез из-за стола, помолился богу и сказал хозяину:

— Благодарим покорно! За хлеб за соль... Что ж положишь за хлёбово?

— Ну, Христос с тобой! авось у нас не большая дорога... приведется, мы побываем у вас...

— Ну, спасибо... Ванька! Поди из телеги принеси курицу... Жива, что ль, она?.. мы ее здесь оставим... а то вряд до двора довезем.

— Это на что ж вы возите курицу?— спросил хозяин.

— Да хотели подарить писаря мирового.

— То дело!..

Иван принес мешок и объявил:

— Бать! она издохла!

— Это небось ты ее придавил... Ах, дураково поле!.. Ну, малый,— обратился Краюхин к хозяину, подпоясываясь кушаком,— не приведи бог по судам ездить... Я вот к третьему мировому... а дело правое...

— Бать!— сказал Иван ухмыляясь,— шапка пропала...

— Мотри в телеге-то, с шапкой пришел аль нет?

— А кто ее знает?..

— Что ж, стало, твой сынок?— спросил хозяин...

— Да!— вздохнув, сказал Краюхин,— господь навязал!

— Что ж, его женить хочешь?

— Его, да девки не подыщешь... уж и запивал-то... что-что ни делал... баб дома нет... Ничего не поделаешь... А эта попалась хучь и бедная, да моторная... Ну, прощавай... благодарим покорно...

— На здоровье себе!..

— Так, стало быть, на бугор?

— Вот прямо через речку, мимо кустиков...

Уже смеркалось, когда Краюхин въехал в имение третьего мирового судьи. Старинный барский дом с деревянными колоннами, поросшими мхом, с двумя прудами и винокуренным заводом стоял среди дубового леса, заменявшего сад. Маленький присадник перед балконом украшался мраморными статуями.

— Почтенный, где тут к мировому проехать?— спросил Краюхин кучера, шедшего за возом соломы к барским конюшням.

— Поезжай прямо к хлигелю... там для вашего брата сделана слега... к ней привяжешь лошадь.

— А это какие ж такие статуи стоят?— указывая на присадник, спросил Краюхин.

— Это бога́!— сказал кучер.

Краюхин снял шапку.

— Только не наши...— объяснил кучер.— Тебе на что к барину-то?

— Насчет своих делов.

— Барина нет дома. Он уехал во Владимирскую губернию; у него там имение...

— Кто ж разбирает?

— Тут жалобы записывает конторщик... Ступай запиши, а когда приедет, разберет...

— Коли ж разбярет? нам недосуг!..

— Он так приказал... недельки через две приедет...

— Нет, что ж!— сказал Краюхин,— нам не рука... Ванюха, поворачивай! Я вижу, настоящих делов не доберешься... Что будет не будет — поеду в волостную...

VIII

ВОЛОСТНОЙ СУД

В воскресный день, часа в два пополудни, в лебедкинское волостное правление сбирались судьи из крестьян. В присутственной комнате с развешенными на стенах печатными и письменными объявлениями носилась клубами пыль; пол был загрязнен до того, что нельзя было разо-

брать, земляной он или деревянный; воздух был насыщен махоркой, капустой и пр. Видневшиеся между плотно забитыми двойными рамами кирпичи с солью еще более наводили уныние на свежего человека. В переднем углу висела икона мученика Пантелеймона, присланная с Афонской горы. У окон стоял письменный стол, покрытый клеенкой, с грудами бумаг и массивною волостною печатью. По стенам стояли скамейки для судей. В ожидании старшины и писаря в присутственной комнате два старика рассуждали между собою.

— Наши судьи, Антон Игнатыч, грех сказать плохова! Старый старшина малый смирный... И Андрюшка косолапый,— хоть он маленько и с горлом... орет, что на ум взбрядет, но за себя постоит! И мы с тобой!.. Знамо дело, винца выпьем, а ведь за полштоф никого не променяем... А приносят — надо пить, и проситель тоже: сухая ложка рот дере... в праздничное время почему ж не выпить?

— Ванюха тоже мужик хороший, да похмыра,— говорил другой,— слова не доберешься... А Листрат хоть молвит слово старшине! Человек книжный... надо так сказать!..

Пришел старшина в новом дубленом полушубке, за ним писарь, несколько просителей и судей. Старшина положил на стол свою белую крымскую шапку и обратился к просителям.

— Вы что лезете?

— К вашей милости, Захар Петрович: у меня ноне ночью замок сломали...

— А у меня Парашка прибила мово ребенка.

— Постойте, постойте! Засядем, тогда и жалуйся... А воробьевские — все собрались?

— Все,— сказал сторож,— они на крыльце...

Старшина подошел к письменному столу и вдруг всплеснул руками.

— Стой!.. Куда цепь девалась?

— Должно быть, обронили,— сказал писарь,— это судьи, должно, маленько потерлись — свалили, вот она!

— Зачем их безо времени пускать!— заметил старшина,— ведь это вещия царская... Ну, что же? пора начинать!

Судьи разместились на скамейках, писарь сел за стол, старшина стоял среди присутствия, наблюдая за порядком.

— Сват! дай табачку,— вполголоса говорил один старик.

— Что, малый! у Петрухи отсыпал. Намесь махорки

купил, стал это, братец ты мой, терет с золою... натер, понюхал — ничего не берé!..

— Будет вам калякать!— заметил старшина,— не накалякались! Здесь присутственное место...

— Ничего, Петрович, мы промеж себя...

— А то не хуже Егорки-пастуха... Он сдуру слово-то ляпнул на миру, а теперь другая неделя сидит...

— Петрович!.. Кого ж перва-наперво будем судить?

— Разве не видали?— сказал старшина,— вот в прихожей стоят!

— Нет, Петрович, для правды не лучше ли Егорку сперва судить, а эти только пришли...

— Егоркино дело,— возразил старшина,— ты молчи! Его разбирать надо с толком... А наперва разбяри плотву-то... вишь, она лезет! у сундучка замок сломали...

— По мне, что ж?— проговорил один старик,— кого хошь вяди!

Писарь сделал пол-оборота к судьям и объявил:

— Вот что, господа судьи: плотву-то оно плотву... она от нас не уйдет... а по-моему, лучше взяться за пастуха — а то как бы он на себя руки не наложил... кто его знает?.. долго ли до греха?..

— Что ж, Петрович, веди его! Когда-нибудь не миновать — судить надо!

— Сторож!— крикнул старшина,— зови сватов сюда...

В правление вошел Краюхин, невестин отец и мужики, бывшие на запое. Последние, вздыхая, бормотали:

— Вот оно, винцо-то, что делает! выливается наружу... не знаешь, где попадешь...

— Неверная его нанесла!.. у меня вот конопи не вытасканы...

Сторож привел пастуха. Парень был в изорванном полушубке, в худых сапогах и тяжовых, полосатых, домашнего изделия штанах. Он сильно похудел; всклокоченные волосы падали на глаза, и всего его охватывала дрожь. Сторож постановил его на средину комнаты. В эту пору все затихло; видно было, как пыль слоями улегалась на всем, что было в правлении.

— Ну, рассказывай, братец ты мой,— начал старшина;— какого петуха ты хотел подпустить? Евсигнеич! прочти-ка жалобу.

Писарь встал и прочитал: «18... года, дня... в лебедкинское волостное правление принесена словесная жалоба

крестьянина деревни Воробьевки, Петра Краюхина, в том, что казенный крестьянин деревни Чернолесок Егор Ивлиев злонамеренно подущал родителя своего Ивлия Карпухина запивать дочь крестьянина деревни Воробьевки Кузьмы Ерохина и во время последнего запития произвел бунт, а также возмутил запитую невесту к сопротивлению против родителей и произносил угрозительные слова».

— Ну вот, слышишь, какая на тебя принесена жалоба?— обратился старшина к пастуху.

— Вот что, Захар Петрович,— начал парень,— напервой я тебе скажу: девки я не перебивал, сама она не хочет за Ваньку итить... Родителя то есть своего я заслал сватать,— это у законе. Никто мне не смеет помехи делать. Отдали — отдали! а не отдали — вольному воля! Он тоже с угощением пришел, небойсь из последнего... Середку-то у Мотюхиных небойсь цалковый отдал... А что это, значит, насчет красного петуха-то, это мало что говорится! Кабы ты видел, что там было, так не то скажешь! Аль я с ума спятил — деревню жечь? Авось я тоже хрященый... разве я себе лиходей!

Судьи все молчали. Писарь скрипел пером. Старшина, сидя в креслах, поглаживал бороду. Наконец, он заговорил:

— Положим, что ты запивал... Это дело не наше! там валандайся с сватами, сколько знаешь... А вот насчет петуха-то, малый, дело наплевать...

— Ведь я, Захар Петрович, сказал тебе: петух дело пустое! Это я у этой страсти сбрехал...

— Сбрехать-то сбрехал,— подхватил старшина,— а ты небойсь слыхал пословицу: слово не воробей, а вылетит, не поймаешь: тебе бы не нужно этих речей и говорить; пришел, попил сабе, покалякал... Вышло дело — так, а не вышло — насилук мил не будешь. А то иде беседа, а ты сейчас красного кочета...

— Что ж, Захар Петрович!— воскликнул Егор,— я спокаялся тебе... вгорячах слово сказал... а насчет чтобы тоись того... не приведи бог лихому лиходею этакими делами займаться... спроста сказал, ей же богу! девка очень пондравилась...

— Слухай, Егор!— сказал старшина,— коли ты молвил, стало быть у тебя на уме лихое было!..

— Вот те лопни мои глаза, провались я сквозь землю, чтобы что-нибудь было такое... кабысь одно маненько взяло: нечем взять, наше дело бедное, она и сорвись с языка... А чтобы насчет настоящего... Я нехай век по чу-

жим углам буду биться, а на это дело николи не соглашусь...

— Ну что ж?— объявил старшина,— допрос снят. Будет с тебя! Сторож! отведи его!..

Пастуха вывели. Краюхин выступил вперед и объявил:

— Захар Петрович! Я у трех мировых... Усе поряшили, что за ентакие дела хвалить не следует... Только им нельзя с Егоркой справиться, потому они судят промеж господ. Будь ваша милость! Засади его в острог! незымь его подумает, как кочетов подпускать...

— Разбярем, разбярем, это дело наше!— сказал старшина и обратился к свидетелям:— Вы были на запое, когда Егорка бушевал?

— Что ж, Захар Петрович,— проговорили мужики,— мы не отрякаемся... только мы не с тем пришли, чтоб бушевать...

— Ну как же дело было?

— Это, значит, пришли мы,— заговорил один,— сели за стол как следствует, поели студень... Подали хлёбово... Знамо дело, выпили по стаканчику,— девка и закандрычься... хлёбово похлебали, побалакали, откуда ни навернись — Егорка. И начал бушевать: мы ально ужахнулись... И пошла промежду нас нескладица... А он и начал тращать: «Мотри! говорит, коли не будет по-моему, вся деревня слетит!»

— Ну, ступайте теперь,— сказал старшина мужикам,— мы разберем без вас. Посидите в избе...

— Что ж, так было, как Федот показывая?— спросил старшина остальных свидетелей.

— Точно так, Захар Петрович: пастух кричал благим матом, хоть бяги вон из избы...

Мужики вышли. В правлении оставались одни судьи и старшина с писарем.

— Что ж, старички,— начал старшина,— как дело-то порешим?

— Говори!— сказал один судья другому.

— Говори ты!

— Что ж,— подтвердил старшина,— как думаешь, так и говори!

— Вон Федосеич что скажет? Он кабысь постарше нас...

— Ай я один у миру!— возразил седой старичок, закладывая одну руку за пазуху, другую опуская в карман,— по мне, как мир, так и я...

— Федосеич!— воскликнул один рябой высокий мужик в худом армяке,— ты все-таки мужик пожилой, ну, значит, пчел имеешь... и с тобой всякое бывало на веку... Ты, примерно, как знаешь, так и говори... А то вон, пожалуй, спроси Фильку: он сбреша такую оказию, сам не рад будешь!

— Что ж такое знача?— заговорил приземистый мужик с рожей на щеке,— аль меня на смех призвали? Мы тут усе ровны... Что он судья, что я судья... Разя у него больше моего в голове?

— Стой! стой! тут не место!— прервал старшина,— это вот кончим дело, тогда кричи, сколько влезя!.. Ну что ж, судьи? как порешим?

— Вот наперва что скажет Федосеич, послухаем...

Федосеич кашлянул, посмотрел в пол и заговорил:

— У нас спокон веку неслыхано таких делов... У нас, бывало, ребята валяются на полатях аль на сене — и не знают, кого мы запиваем... Принесешь платок от невесты, швырнешь ему... платок красный, ну, знамо, парень и рад... никаких пустяков не было! А это вот нонешние ребята маненько стали из послухания выходить... Займаться чем не следует... вестимо, баловство!.. не смысляны... худа-то не видали!.. Егорку, что говорить! хвалить нечего... Да ведь он признался при всем суду, что пошутил... Отрастку дать ему следует, чтобы упережь не выдумывал чего не надо... Что ж налегать-то на него! Я слышал, управитель его расчел за эвти дела-то...

— Как же!— подхватил рябой мужик, вставая и размахивая руками,— ён, братец ты мой, приходя к управителю, а тот ему говорит: «Ты что там наделал? какую деревню хотел спалить? Нам таких негодяев держать в имении не приходится... получи расчет и убирайся с богом...»

— Вот что, ребятушки,— объявил богатый мужик с черной окладистой бородой,— слухал я, слухал ваши добрые речи и ничего не говорил... По-моему, я так полагаю: Егор парень молодой, допереж за ним мы ничего плохого не видали... А что дюже он зазарился на девку... и наболтал неведомо что... Глуп еще! Кабы он семьей жил... поучить некому... с мальства по чужим углам ходил... господь с им! довольно с него, что неделю отсидел в чижовке за одно слово! Незымь идет куда хочет! Ежели мы его будем казнить, он остервянится... Его в волости не продержишь... А вы, господа честные, решайте дело побожьи.

— На это я тебе скажу вот что, Алистрат Мокеич,— возразил старшина,— ежели он остервянится, ты говоришь, так у нас, братец ты мой, Сибирь не почата! На каторжную работу друга милого спровадят!.. Забудет пустяками займаться...

— У Сибирь,— обратившись к старшине, подхватил плотный, с добродушным лицом мужик, подпоясанный веревкой,— у Сибирь тоже миром ссылают! ежели мы не пустим, никто не моге его тронуть! Что, Ваньку Ерохина сослали? Небойсь у мира спросили... ан шиш!.. а он остепенился да мужик-то стал за мое почтенство! хоть куда! И семья, значит, за ним пропала... Уробел — еще смирней стал жить...

— Да опять и то сказать,— заметил тощий, с реденькой бородкой мужичок,— ведь он девку-то еще не перебил, от Краюхина она не ушла... Что ж его неволить-то? Он один сын у отца и есть... отец чуть не по миру ходит... Сгидай его голова! Пустим его!..

— Балакали, балакали!..— начал старшина, облокотившись на стол,— а все дело плохо... Ежели мы теперича будем всякого прощать, тогда на белом свету житья не будет! А по-моему, братцы, потакать — только баловать!.. Опять что ж нас начальство на смех, что ль, сюда посадило? У вас, скажет, законы под носом, а вы ничего не видите? Евсигнеич!— обратился старшина к писарю,— покажи-ко им статью...

Писарь с пером за ухом поднялся и объявил судьям, прикладывая к своей груди правую руку:

— Ежели мы тому и другому будем прощать, тогда, следовательно, будут большие поджоги и разбои... Как я называюсь писарь — и не что иное, как наемный, а вы избранные и принявши присягу должны судить по закону,— не щадить ни отца, ни мать!.. Я как постоянно нахожусь при правах (писарь указал на письменный стол) и обязан вам давать знать, то я отвечаю и решаюсь своей головой... Но потому что с нас, с писарей, мировой посредник спрашивает и приказывает смотреть больше в права, то я не сам из себя говорю... А пастух подвергнут по доказательству уголовному.

Писарь окинул глазами слушателей и опустился в кресло. Старшина, следуя его примеру, тоже встал и обратился к судьям:

— Хотя хучь я и неграмотный, но я имею у себя писаря... и спрашиваю его: погляди-кося в права... Что там права говорят? Но как писарь вам сейчас предлагает,

то вы должны слушать его. А ты, Евсигнеич! говоришь по правам! и напрасно ты эти слова принимаешь те, которые самые дрязги...

— По-моему, дело решено: и ён сознался... и сваты доказали... ведь это уголовщина! надо к судебному отправить...

— Что ж к судебному?— сказал богатый мужик,— засадят его в острог, через год, пожалуй, судить будут, а там, мотри, оправдают,— острожного-то к нам в деревню и пришлют... он там с острожными понашуркается,— он хуже нечистого будет! Тогда и беда с ним... Вон у Шепелевки у старосты Нехведа Андрюшка — сжег скирды, его подержали в остроге, да и пустили... настоящих примет нету. Он теперь и ходя по деревне, всем грозит: «Не то будя!» На всех такого холоду нагнал — поют,— как у праздника... А мой згад — посадим его еще на недельку и крепко-накрепко накажем... а не то отпорем...

— Нет уж, Савостьян Трофимыч, пороть не надо!— воскликнул один судья,— а то он, продрамши-то, еще злей будет! А вот что: коли такое дело, ежели он, напримерича, от судебного еще пуще подожже, то и сажать незачем... Пощуняем его и пустим... на слободе он скорей почувствуя!.. мало что бывает!

— А что, Егорыч, твоя речь правая!— заметил подпоясанный веревкой,— он судом-то нашим будет доволен, а уж его, коли он такая голова, у чижовке не выучишь... А то, мотри, и нам встретца нельзя будет...

— Что ж, это куда дело-то пошло?— возразил старшина,— куда ж мы закон-то денем? на что ж он нам дан?

— Что ж закон?— сказал один судья,— мы народ неграмотный... Что господь на душу положит, то и говорим... другое дело, мы закону не ослухаемся... Знамо, по мужичью!..

— А то кажное воскресенье тут сидишь, сидишь,— подхватил другой судья,— у меня вон картохи остались не рыты... всё в отлучке... А при чем мы тут? Вишь — решено Егорку пустить, а там говорят не так!..

— И то правда,— заговорило несколько голосов,— зачем же нас избрали? Кажинный раз бьем, бьем, а ничего не выходя...

— Вы что же забушевали?— воскликнул старшина.— Я, может, у земстве не жрамши три дня просидел, и то не супротивлюсь.

— Экой ты!— заговорили судьи,— ты вон мядаль

имеешь, у посредственника у почете, по миру разъезжаешь — всягды сыт, доволен... опять жалованье получаешь...

— А подводы-то? — крикнул высокий мужик,— он ноне с обчества слизал полтораста цалковых; нанял работника: он и разъезжая и кстати па́ша...

— Стой! — закричал старшина,— нешто вас призвали о подводах рассуждать?

— Ну что ж ты нас держишь? — заговорили судьи,— дело порешили!

— Как порешили?

— Егорку простить... али неделю посидит, да и ладно...

— Вот что, судьи! — сказал старшина,— совсем пустить не годится... Я вам говорю,— какое-нибудь да наказание ему подобает... надо еще у Краюхина спросить, не будет ли он искать, если мы Егорку своим судом решим.

— Ну, зови Краюхина! — сказали судьи.

Вошел Краюхин.

— Слухай, Петрей,— объявил старшина,— судьи порешили Егорку выпустить... а я настоял, чтобы ему какое-нибудь наказание определить... Как ты хочешь? Отпороть его?..

— Нет, Захар Петрович, пороть не надо! уж лучше babпририте его! а то он не даст свадьбу сыграть!

— Ты не будешь искать, если мы своим судом решим?

— Я боюсь,— сказал Краюхин,— как бы он после-то не выворотил...

— Судьи говорят,— продолжал старшина,— что ежели его к судебному отправить, хорошо, как его допекут!.. А если отпустят, тогда и держись...

— Это точно, Захар Петрович... он обозлится хуже. Мне бы только дал он в покое свадьбу сыграть... до праздника осталась одна неделя...

— Ну, на неделю его и посадить в чижовку! — заговорили судьи...

— Что ж, так, так, так! — подхватил Краюхин,— сажай его, Петрович, и ладно...

— Что ж ты, разве поладил с нареченным-то? — спросил старшина.

— Нет, Захар Петрович,— объявил Краюхин,— в суде толку мало! мы сошлись с ним опять... Стало быть, не хочем этого делать... Он вон там на крыльце... Господь нас

надоумил обоих! видно, что ни дальше в лес, то больше дров...

— Это доброе дело!— сказал старшина,— а то поди возжайся... Еще судьи как бы осудили, не то по-твоему, не то по-свату. А ноне как судьи осудили, то на них жалоба не принимается. Сторож! веди сюда Егорку. А ты, Петрей,— обратился старшина к Краюхину,— выдь отсюда!

Сторож ввел пастуха.

— Ну, вот что, братец ты мой,— сказал старшина, стоя пред подсудимым,— по закону тебя надыть бы отправить к судебному, это, силич, в острог... а там невесть что будя!.. а вот судьи сжалились над тобой... жалуют тебя посадить в чижовку на неделю... так я тебе объявляю ряшение...

— Я и то, Захар Петрович, восьмой день сижу,— сказал Егор,— за что сажать-то? мало что сказано... ведь я так...

— Нет, Егор: ты не супротивься,— сказал богатый мужик,— это мы тебя помиловали...

— Значит, ты осужден на неделю в чижовку!— подхватил старшина,— сторож! веди его!

— Ну-ко пойдем, брат, к праздничку,— сказал сторож, подхватывая Егора под руку.

— Нельзя ли, братцы, ослобонить,— взмолился пастух,— что ж? ведь ничего не будет! Мне отсидеть не важная штука!

— Коли решено, ты не ослухайся!— сказал старшина.

— Ну да, ничего! Веди!— встряхнув головою, произнес пастух и вышел.

Все судьи встали.

— Пятрович!— заговорили некоторые,— плотву до другого воскресенья отложим... вишь, ночь на дворе. Пора расходиться... лошадям не месили...

— Что ж, пожалуй,— сказал старшина и обратился к писарю:— Евсигнеич! надо бы выпить.

— Вина вволю!— сказал писарь,— Краюхин привез полведра, да Еремин тоже за энто дело, помнишь? привез полштоф.

— Экие подлецы!— сказал старшина,— разве оно полштофом пахнет? А ты, Евсигнеич, могри насчет бумаг, как бы какая не пропала.

— Кому они нужны? Народ бестолочь!

Судьи призвали в правление Краюхина и потребовали

с него магарыч. Сторож принес полведерный бочонок. Все выпили, поздравив Краюхина с окончанием дела.

— Что, ребятушки!— говорил последний, закусывая кренделем,— завязался я эвтим делом, а уж горе меня уело,— не роди мать на свете!

— Что ж? ведь по-твоему решено,— говорили судьи.

— Решено-то решено, да Егорка-то разбойник!— возразил Краюхин,— через неделю-то он вольный казак! Ты и гляди: он, пожалуй, на похмелье-то, после свадьбы, как снег на голову!.. Да и девка-то ухо!..— Краюхин затряс головой.

Все выпили еще по стаканчику и начали расходиться...

IX

ДВА СВАТА

В сумерках Краюхин с сватом Кузьмою, бывшим на суде в качестве свидетеля, возвращались в деревню Воробьевку. Кое-где в домах светились огоньки, на улице слышались голоса судей... На дороге хляскала грязь и скрипели телеги воробьевских мужиков, ехавших за Краюхиным и Кузьмою. Сваты еле тащились и, сидя в одной телеге, беседовали между собой.

— Вот что, сват!— говорил Кузьма,— девка, я тебе скажу, на все взяла!.. Что молотить, что рукодельем,— а умна-то: выродок выродился! я на нее не нарадуюсь...

— Затем-то, сват, мы и гонимся, потому сами видим...

— У нас с тобой чтоб было хорошо,— продолжал Кузьма,— я уж у ней допросился... Ты на нее не смотри... Как пастуха засадили в чижовку-то да как узнала она, что его отставили от должности — вдруг присмирела. Да и я-то молвил: что ж я теперь, дочка, куда от тебя пойду? побираться али в работники? При старости я и пойду за тебя страдать? Нам свату отплатиться нечем!

— Ну что же она на это?

— Она это говорит: «Потому что я не знала этих делов... вы мне тогды не сказали, как наперва запивали... По мне, дом жениха будь хоть золотой! Кабы я плохая девка была?.. а ты за слюнтяя пропил!» А опосле видит, некуда податься!..

— То-то, сват! мотри, чтоб не было посмешья никакого! ведь ты слышал, сколько я мировых объездил? а все через тебя да через твою дочь!.. Кабы девка не зартачилась, я бы ни одного мирового не видал и не слыхал...

— Я сам, сватушка, хлеба решился!— воскликнул Кузьма...— все уговаривал... ведь и так сказать: дочь хучь и моя, а ум у ней свой... разве скоро ее супретишь!..

— Вестимо, дите!— заметил Краюхин,— а не знает того: она у меня словно барыня будет ходить: такую шубу ей сошью! У меня теперь овчины выделаны — всё старика!.. Как же, сват, надо об деле поговорить: завтра, стало быть, мы поедем к попу... а на праздник, господь даст, свадьбу сыграем! от тебя много ль будет родни?

— У меня свояк, еще двоюродный брат, да кум Павел... хозяйки ихние... ну, и будет с меня!..

— Ты вели им приготовляться, лошадей подкармливать... Будочки коли нет, я дам... колокольчика два надо, довольно будет... ну, погромочка три, четыре... вели попроворней... чтобы не прохлаждались... Я из неволи тебя выведу! возьми у меня свежинки... я двух боровов убью... возьми солоду... когда взялся справлять тебя, буду справлять!..

— На эвтом благодарим, Петр Анисимыч...

— Готовься!— подтвердил Краюхин,— ты ни на что не смотри! Справим свадьбу за первый сорт... А пастух не замай, посидит... Ты дома скажи: его на год засадили... Мы с тобой порешили, нам это дороже всего...

Приехав в Воробьевку, Кузьма попросил Краюхина к себе в дом. Краюхин, отговариваясь, что его ждут домашние, согласился зайти на минуту. В избе тускло горела лучина. Мать невесты лежала на печи. Параша сидела у светца за шитьем. Краюхин помолился и произнес:

— Еще здравствуй, сватья!

— Здравствуй, сват,— с трудом проговорила хозяйка.— Не взыщи! Я вот третий день хвораю...

— Ишь когда вздумала хворать! А ты вари брагу... мы с сватом, слава богу! порешили... Пастуха засадили в чижовку!..

— Засадили?— спросила хозяйка...

— Нешто моих сил не хватит,— сказал Краюхин...— Хотели было в острог, ну я уговорил год продержать в чижовке... Все у нас с вами было ладно, по согласью сходились... а потом вдруг приходит эта самая нищета — наше все дело разбила!.. так теперь его в сибирку!.. А на свата Кузьму я просьбу окоротил!.. Мы с ним сошлись... Ну, мне пора домой... Прощайте!..

— Счастливо, сватенек,— сказала хозяйка,— не взыщи, попотчевать тебя нечем.

Кузьма проводил Краюхина и, вернувшись в избу, обратился к жене:

— Как же теперь быть? небойсь надо какое-нибудь разрешение сделать!.. Спроси у девки-то, идет, что ль, она или нет? Сейчас сват мне говорил: ежели твое дите за моего не пойдет, я и тебя засажу... почему что я тебя коштовал... напитков разных привозил... Иде ж, говорит, твоя дочь допреже была? а теперь она встрянулась — насчет делов — что за дурака отдают!..

Кузьма стоял среди избы, мрачно посматривая то на печку, то на дочь, неподвижно сидевшую у светца.

— Ну, что ж, Паранька, как ты думаешь?— грозно спросил Кузьма.

Девушка молчала; на шитье катились слезы.

— Паранюшка!— простонала мать с печи,— иди, милая, за Ивана... ты, вишь... пастуха посадили в чижовку — на целый год!..

— Паранька!— сказал отец,— одумайся! за пастухом тебе не быть... Я тебе сказываю: я его близко ко двору не подпущу!..

— Что ж, батюшка,— тихо произнесла девушка,— отдавай!.. из твоей воли не выступаю...

— Ну вот!— подхватила мать,— с согласьем?

— С согласьем... когда вы задумали над моей головой... Не замай сват приедет...

— Давно бы так-то,— сказал отец и сел за стол,— а в церкви не запируешь?..

— И в церкви скажу,— подтвердила девушка,— иду за него...

— Вот умница!— воскликнула мать,— и странние люди скажут: «Стало быть, очень умна, что идет за этакого человека!.. вот так дите!.. где найти такое дите? другие девки брыкаются... а эта родителев слухая...»

X

СВИДАНИЕ С ЗАКЛЮЧЕННЫМ

На другой день рано утром Параша с узелком в руках вышла из дома и, посмотрев на деревню, которая спала глубоким сном, направилась через одонья к лесу, стоявшему верстах в двух от Воробьевки, вправо от него, как на ладонке, видно было село Лебедкино с каменною церковью. Слегка морозило. На востоке разливался оранже-

вый свет — предвестник осеннего солнца. По тропинке, пролегавшей на дне лесного оврага, Параша вышла к реке, на берегу которой стояло волостное правление. Вправо и влево шли дороги в село, располагавшееся на двух косогорах. На крыльце волостного правления отставной солдат с небритой седой бородой, держа в руке бабий кот, искал моток дратвы, ругая вчерашнее заседание.

— Ишь окаянные! лаптищами-то шлындали, да на ногах и унесли дратву...

— Что, здесь Егор парень сидит?— спросила Параша, стоя у крыльца.

— Какой?— с недоумением глядя на девушку, возразил сторож.

— Молодой парень...

— Тебе на что?

— Да мне хотелось с ним повидаться.

— А тебе он кто?

— Он мне сродоч... двоюродный брат он нам...

— Ну, взойди,— сказал солдат и повел девушку в избу, разделявшуюся от правления сенями.

— Мне только повидаться,— говорила Параша, когда солдат отворял дверь.

Изба была широкая, с длинными лавками, с русской печью, близ которой при самом входе устроены были две чижовки с маленькими дверцами.

Солдат снял с пробоя цепь — и в избу вошел пастух.

— Ах, друг ты мой милый!— воскликнул Егор, увидав Парашу...— Как это господь занес тебя сюда?..

— Да, вишь, пришла тебя проведать,— сказала Параша,— все ли ты себе здоров?

— Я-то здоров, да, вишь, не благополучно... Этими делами-то замешался сюда...

— Она что ж тебе доводится?— спросил солдат, стоя у двери.

— В третьем колене...— проговорил пастух, севши на лавку.

— Она на тебя не похожа,— заметил солдат.

— Она мне, брат, вот что!— вдруг объявил пастух,— нечего тут хлопотать... мы с ней жили у любе... а потом я через нее в это место попал... Мне ее хотелось взять!

— А я думал, она тебе сестра,— сказал солдат, ковыряя шилом башмак,— так, стало, ты за то-то страдаешь?

— За самое за это! за одно слово только...

— Ну что ж?— разговорился солдат,— ничего! ты посидишь здесь, опять выйдешь... на поселенье не можно

сослать за эту штуку... Авось эта история — не душу загубил... Не этакие дела делают! Ну, разговаривайте себе! а я пойду от вас... Что хотите говорите, я вас запру замочком...

Солдат вышел.

— Ах, Параня, Параня! как это ты вздумала меня проведать?— говорил пастух.— А я не только что... сижу здесь хлеба не евши, все об тебе думаю...

— А я как услыхала, что ты сюда попал, захотелось мне тебя проведать, невозможно мне никак терпеть... Как я к тебе шла-то, так я в слезах не видала следа... И не чаяла я с тобой повидаться... все сердце мое изныло об тебе... Одолела меня грусть...

Девушка утерла занавеской глаза и продолжала:

— Обманули меня... запятнали мою душу навечно! Что бог мне скажет, а на уме у меня дюже чижало... Не стану я с ним жить, что бог ни даст!.. Я пришла успросить: надолго тебя тут посадили?

— Нет, на неделю.

— А я слышала, на год... Я затем-то к тебе и рвалась... Какой ты худой стал!— заметила девушка, подняв на парня глаза.

— Эхма! как мне худому не быть! сама знаешь... сердце начало сохнуть кое по тебе... кто ее знает? бывает, какое распоряжение выйдет... хотели к следователю весть...

— А я принесла тебе рубашку,— сказала девушка и начала развязывать узелок.

— Нет, видно, эту мне рубашку не носить...

— Нет, носи на здоровье,— перебила девушка,— ты у меня рубах не переносишь... А Ваньке хороших рубах не носить... они все на тебе будут...

— Что ж! ты разве выходишь за него?

— Послушай!— девушка взяла парня за руку,— я этих делов не пугаюсь! пусть отдают! ты сам рассуди: куда ж мне от него деваться? Никак я не могу против отца, матери попясться... Никто моей жисти не знает! будут они меня всё бить... Уж я колько думала об этом... Убечь от них али тебе стать опять перебивать? как бы хуже не было... Отец сказал, что и на глаза тебя не примет... Уж, видно, будем с тобой жить так... А он для меня все равно пень горелый в поле...

— А я думал,— проговорил парень,— как-нибудь обработаю своей силой... Как-нибудь свою голову заложу, да тебя возьму... Кабы ты знала, как моя душа прилегла к тебе! Я бог знает что могу сделать над собой...

— Не послухать отца, матери мне нельзя,— вымолвила девушка.

В это время у двери загремел замок, и в избу вошел сторож.

— Ступай, девица,— сказал он,— писарь идет... Бывает, я за тебя буду отвечать... А с тебя, Егор, магарыч!— обратился солдат к пастуху.

— Приставлю!

— Ну! где тебе приставить...

— Вот история какая! авось не сто рублей.

— Ведь это какая машина: она назвалась тебе сестрой, а то бы ее не пустил...

Сторож и девушка вышли. Пастух в задумчивости ходил по избе.

Накануне свадьбы, вечером, изба свата Кузьмы была наполнена народом. У переборки близ печи сидела в красном сарафане, с лентой в косе, Параша, окруженная подругами. Стол накрыт был скатертью, на образах висели полотенца. Изба, как и в обыкновенное время, освещалась лучиною. С улицы в маленькие окна смотрел народ. Девицы пели:

При вечеру — вечеру,
При Прасковьиным девишнику,
Прилетал млад ясен сокол.
Он садился на окошечко,—
На хрустальное стекольышко.

Так дело и кончилось «веселым пирком да свадебкой»...

Но, собственно-то, дело кончилось иначе. Случайно пришлось мне после прочесть в известиях одной губернской газеты настоящий конец того, что казалось только концом: «21 ноября 18... года в управление N...ской части дано знать о скоропостижной смерти крестьянина деревни Воробьевки Ивана Краюхина. При осмотре тела умершего оказались многочисленные ссадины и синие пятна, а на голове, на три пальца ниже соединения темянных костей, рана длиною в дюйм. Подозрение в совершении означенного преступления пало на жену Краюхина, Прасковью Губареву, а также на крестьянина деревни Чернолесок Егора Ефимова...» Обвинение заканчивалось словами: «Поименованных лиц на основании 201 и 208 ст. уст. уг. суд. предположено предать суду N...ского окружного суда, с участием присяжных заседателей». Что-то будет говорить прокурор; чем порешат дело присяжные?

1871

ПРИМЕЧАНИЯ

Наиболее полными прижизненными изданиями сочинений Н. В. Успенского явились «Рассказы» (1861; второе, дополненное и переработанное издание — 1864), «Новые рассказы» (1867), «Новейшие рассказы» (1871), «Картины из русской жизни» (1872), «Земство» (1876), «Повести, рассказы и очерки в трех томах» (1876), «Повести, рассказы и очерки в четырех томах (1883).

Книга Успенского «Из прошлого. Воспоминания о Н. А. Некрасове, А. И. Левитове, И. С. Тургеневе, графе Л. Н. Толстом, Г. И. Успенском, Д. В. Григоровиче, Н. Г. Помяловском и В. А. Слепцове» была напечатана в 1889 году.

Среди изданий Успенского в советскую эпоху выделяются однотомное Собрание сочинений под редакцией, со вступительной статьей и примечаниями К. Чуковского (1931) и выпущенные в 1957 году «Повести, рассказы и очерки» (вступительная статья Е. Покусаева, подготовка текста и примечания М. Блинчевской).

Настоящее издание подготовлено на основе однотомника 1957 года. Во вступительной статье и примечаниях учтены материалы из эпистолярного наследия Успенского, публиковавшиеся в сборнике «Звенья» (т. III—IV, 1934) и как приложение к книге К. И. Чуковского «Люди и книги шестидесятых годов» (1934), а также сведения, содержащиеся в работах Н. Ф. Бельчикова, В. А. Богданова, И. В. Дедусенко, Б. П. Козьмина, Ф. В. Панкратова, Е. И. Покусаева, К. И. Чуковского, других советских литературоведов.

Дата первой публикации дана в тексте, под произведением.

С. 23. *Дворник* — здесь: хозяин постоялого двора.

С. 24. *Истованный* — истинный, настоящий (обл.).

Пехра — мужичье (обл.).

Каляниться (или калячить) — канючить, докучать (обл.).

С. 26. *Сердохрестная* — то есть средокрестная, четвертая неделя великого поста.

С. 27. *Михайлов день* — 8 ноября по старому стилю.

Мурогая — мрачная (обл.).

С. 28. *Коник* — крытая лавка в избе; обычное место хозяина.

С. 31. *Подзатыльник* — сборка у кокошника.

С. 32. *Счунять* — журить, усовещать (обл.).

Буздать — здесь: наказывать (обл.).

Залавок — глухая лавка с подъемной крышкой у двери крестьянской избы.

Хоры — здесь: полати в избе.

С. 33. *Талька* — моток ниток определенной длины.

С. 34. *Дикая... рубашка* — то есть рубашка серого цвета.

С. 35. *Оскретки* — огарки.

С. 36. *Наклеска* — продольная грядка телеги.

С. 37. *Загнетка* — место, заулок на шестке русской печи.

С. 42. *Горнушка* — место, влево от шестка, русской печи, куда загребают жар.

С. 43. *Закут* — хлев для мелкого скота.

С. 45. *Додору нет* — то есть тесно, не продерешься к возам на базаре.

Прасол — торговец или маклер, посредник между базарным продавцом с возу и местным скупщиком.

С. 47. *Спасов день* — имеется в виду, вероятно, так называемый спас первый (1 августа по ст. ст.).

С. 48. *Шаркнуть* — здесь: поклониться в ноги.

С. 54. *Целовальник* — продавец вина в казенном питейном доме (кабаке).

Чуйка — длинный кафтан халатного покроя.

Егорьев день (он же Юрьев день) — 23 апреля (весенний), 26 ноября (зимний) по ст. ст.

С. 55. *Однодворец* — государственный крестьянин особой группы, занимавшей промежуточное положение между крестьянами и мелкопоместными дворянами.

С. 56. *Стыдь* — стужа (обл).

Шкалка (шкалик), *косушка* — кабацкие меры вина, водки.

С. 60. *Понява* — разновидность крестьянской юбки.

...Ратников скоро обещались распустить по домам — действие рассказа происходит во время Крымской войны 1853—1856 годов.

...Подпустит красного петуха — то есть подожжет.

С. 61. *Балы* — россказни, неправда (обл.).

С. 62. *Соломатники* (саламатники) — любители саламаты, то есть жидкого киселя, размазни (бран.).

Сиверка — холодная и мокрая погода при северном ветре.

С. 63. *Мухортный* — невзрачный, хилый человек; замухрышка.

Капернаум — город в Галилее, население которого, по библейской легенде, несмотря на все творимые Иисусом Христом чудеса, осталось глухим к его учению.

С. 67. *Слаудить* — вытащить.

С. 67. *Кошатничать* (коштанничать) — быть ходатаем по мирским делам.

С. 70. *Колбать* — плохо шить, копаться.

Ажно ль — неужели, разве что (обл.)

С. 73. *Стрекать* — здесь: удирать.

С. 76. *Страшная* (то есть страстная) — последняя неделя перед пасхой.

На святой — во время первой недели после пасхи.

С. 78. *На вешнего Николу* — 9 мая по ст. ст.

С. 83. *Фомина неделя* — вторая неделя после пасхи.

С. 94. *С Ильи-пророка* — то есть с 20 июля по ст. ст.

С. 101. *Ночь под светлый день* — ночь перед пасхой.

С. 108. *Декокт* — лекарственный отвар.

С. 122. *«Россия на пути своем к просвещению так рванулась вперед, что недаром Гоголь воскликнул: «Куда ты мчишься?..»* — пародийно-сатирически обыгрывая известную гоголевскую метафору о России как о «птице-тройке», Успенский присоединяется к оценке, которую Добролюбов в статье «Литературные мелочи прошлого года» дал казенному оптимизму предреформенной русской печати: «Уже несколько лет все наши газеты и журналы трубят, что мгновенно, как бы по мановению волшебства, Россия вскочила со сна и во всю мочь побежала по дороге прогресса...» (1859).

С. 165. *Намычка* — расчесанная кудель.

С. 167. *«И жизнь, как посмотришь с холодным вниманьем...»* — цитата из стихотворения М. Ю. Лермонтова «И скучно и грустно...» (1840).

«Кто меня враждебной властью из ничтожества воззвал?..» — цитата из стихотворения А. С. Пушкина «Дар напрасный, дар случайный...» (1828).

«Le Nord» — издававшаяся в Брюсселе газета, которую субсидировал крупный русский откупщик Кокорев.

С. 169. *«Что так жадно глядишь на дорогу...»* — цитата из стихотворения Н. А. Некрасова «Тройка» (1846).

С. 183. *Герменевтика* — толкование древних религиозных и литературных текстов.

С. 198. *Пир Валтасара* — по библейской легенде, во время пира у халдейского царя Валтасара таинственная рука начертала на стене письмена, предвещавшие ему гибель. В ту же ночь Валтасар был убит.

С. 200. *Иструб* — срубленная вчерне изба без крыши или колодезный сруб (обл.).

С. 207. *Ратафия* — пряная водка, ликер.

С. 214. *«Странник»* — издававшийся с 1860 года журнал духовно-религиозного характера.

«Подводный камень» — роман М. В. Авдеева (1860), трактующий вопросы о «лишних людях» и о трагическом положении женщины в дворянском обществе.

С. 256. *«Весть»* — выходившая в Петербурге с 1863 по 1870 год газета реакционно-крепостнического направления.

С. 264. *Грунтовый сарай* — навес на столбах, под которым посажены плодовые деревья. На лето навес раскрывается, а зимой забивается досками.

Заказные луга — луга, на которых крестьянам запрещалось косить траву, пасти скот и охотиться.

С. 265. *Дюссо и Борель* — модные петербургские рестораторы.

С. 267. *«La belle Hélène»* («Прекрасная Елена») — оперетта Ж. Оффенбаха (1864).

С. 270. *«Трова́тор»* («Трубадур») — опера Дж. Верди (1853).

«Miserere» («Помилуй») — начало католического песнопения.

С. 279. *«...О недавних правительственных распоряжениях относительно приходов и церквей»* — речь идет, по-видимому, о запрещении закреплять за девушками-сиротами священно- и церковнослужительские места их покойных отцов для передачи этих мест их будущим мужьям.

С. 284. *Шумский* (Чесноков) *Сергей Васильевич* (1820—1878) — русский актер, прославившийся исполнением ролей в пьесах И. С. Тургенева, А. Н. Островского, Ж.-Б. Мольера в Малом театре.

Тартюф — герой одноименной комедии Мольера (1664).

С. 289. *...Век целый исполинского дела искали...* — парафраз характеристики «нового человека» Агарина в поэме Н. А. Некрасова «Саша» (1855).

С. 290. *Овэн* (Оуэн) *Роберт* (1771—1858) — английский социалист-утопист, пытавшийся основать коммунистические колонии в США и Великобритании.

С. 293. *Ирод* — царь Иудеи с 40 года до н. э., которому христианское предание приписывает «избиение младенцев» при известии о рождении Иисуса Христа.

С. 299. *«В ущелии... духовное лицо говорило проповедь абхазцам...»* — во время написания повести «Издалека и вблизи» было утверждено «Положение о прекращении личной зависимости и поземельном устройстве» Абхазии (1870).

С. 300. *«Вы еще не в могиле, вы живы...»* — последняя строфа стихотворения Н. А. Некрасова «Рыцарь на час» (1862).

С. 306. *«Иллюстрация»* — журнал, выходивший в Петербурге в 1858—1863 годах; с 1863 года после слияния с «Иллюстрированным листком» выходил до 1873 года под названием «Иллюстрированная газета».

«Фенелла» («Немая из Портичи») — опера французского композитора Д.-Ф.-Э. Обера (1828).

С. 307. *Патти Аделина* (1843—1919) — итальянская певица (колоратурное сопрано), с успехом выступавшая на русской оперной сцене.

С. 308. *Кокшаров Николай Иванович* (1818—1892/93) — русский минералог и кристаллограф, академик, директор Минералогического общества с 1865 года.

С. 315. *В шармеровском фраке* — то есть во фраке от модного петербургского портного Шармера.

С. 321. *«Верь, ни единый пес не взвыл тоскливее лентяя...»* — неточная цитата из стихотворения Н. А. Некрасова «Песня о труде» (1867).

«Роскошны вы, хлеба заповедные...» — цитата из стихотворения Н. А. Некрасова «На родине» (1855).

С. 324. *...Рассуждаем по-потугински* — то есть в духе «западнических» монологов Созонта Потугина, одного из героев романа И. С. Тургенева «Дым» (1867).

С. 339. *Вамбери Арминий* (1832—1913) — венгерский путешественник и профессор восточных языков, автор переводившихся на русский язык книг «Путешествие по Средней Азии в 1863 г. Вамбери с картой» (Спб., 1865) и «Очерки Средней Азии» (М., 1868). Свое путешествие в Персию и в Среднюю Азию Вамбери совершил под видом богомольца-дервиша, присоединившись к группе возвращавшихся из Мекки паломников.

С. 364. *Алырник* — мошенник, бездельник (обл.).

Междворник — бобыль, нищий.

С. 371. *Пельки* — часть одежды, закрывающая грудь; отворот косоворотки и ее застежка.

С. 385. *Чижовка* — арестантское помещение.

СОДЕРЖАНИЕ

Николай Васильевич Успенский

ИЗДАЛЕКА И ВБЛИЗИ

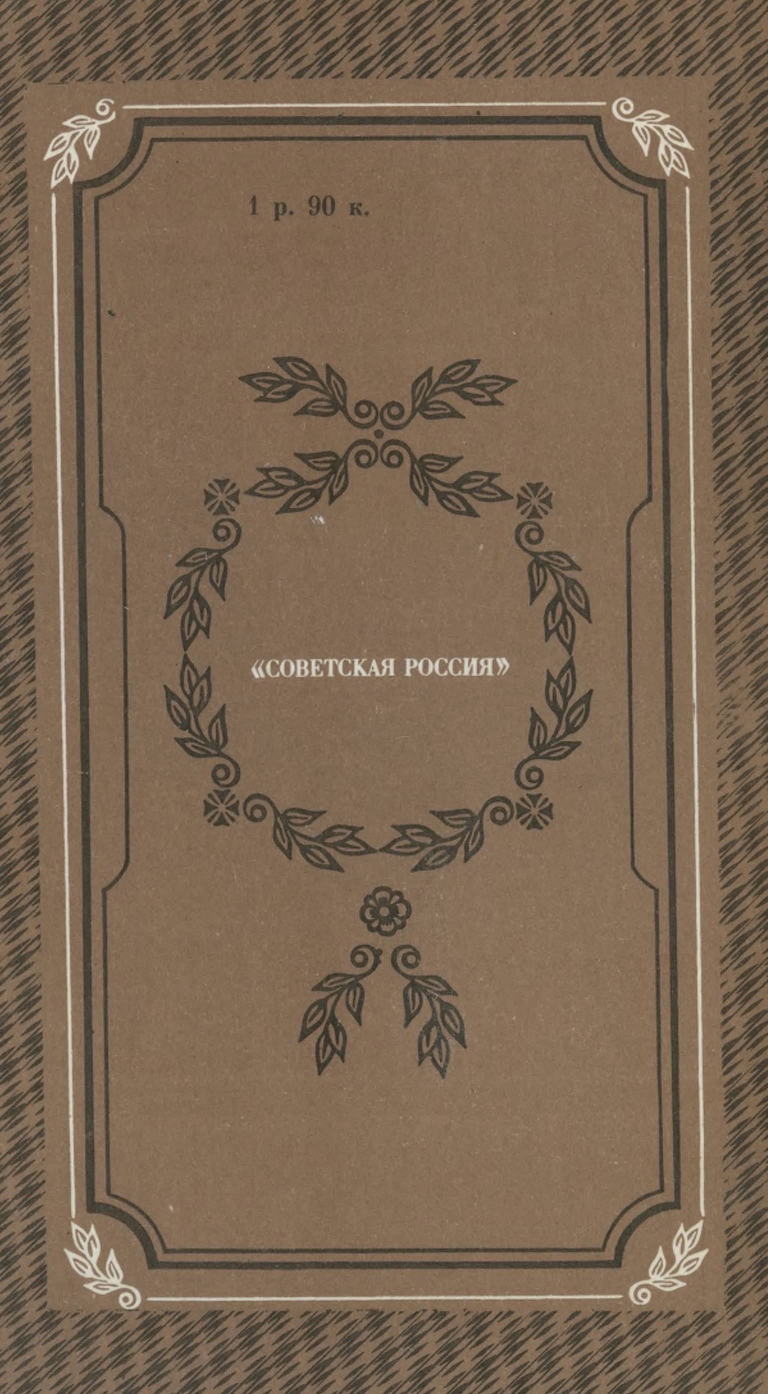
Редактор **Э. С. Смирнова**
Художественный редактор **Г. В. Шотина**
Технические редакторы **И. И. Павлова** и **Т. С. Маринина**
Корректоры **Л. В. Дорофеева, Т. Б. Лысенко**

ИБ № 4577

Сдано в набор 17.06.86. Подп. в печать 22.07.86. Формат 84×108/32. Бумага типогр. № 1. Гарнитура литературная. Печать высокая. Усл. п. л. 21,0. Усл. кр.-отт. 21,21. Уч.-изд. л. 22,98. Тираж 600 000 экз. (1 завод 1—250 000 экз.). Зак. № 1153. Цена в обложке 1 р. 90 к. Изд. инд. ЛХ-62.

Ордена «Знак Почета» издательство «Советская Россия» Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 103012, Москва, проезд Сапунова, 13/15.

Книжная фабрика № 1 Росглавполиграфпрома Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, 144003, г. Электросталь Московской области, ул. им. Тевосяна, 25.


1 р. 90 к.
«СОВЕТСКАЯ РОССИЯ»